И·А·БУНИН

2



Ив. Бунин



И·А·БУНИН

К 125-летию
со дня рождения
Ивана Алексеевича Бунина



И. А. Бунин. 1909. Фотография с дарственной надписью Н. Д. Телешову: «Митричу верно любящий его Ив. Бунин. 27 окт. 09». А в последние годы жизни Бунин написал под этим портретом: «За три дня до выбора в академики!»

И·А·БУНИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ВОСЬМИ ТОМАХ

И·А·БУНИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ВОСЬМИ ТОМАХ

И·А·БУНИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ВТОРОЙ

ПРОИЗВЕДЕНИЯ
1892-1909
ПЕРЕВОДЫ

МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
1994

ББК 84Р1
Б91

Федеральная целевая программа
книгоиздания России

Вступительная статья
П. М. Пильского

Составление, подготовка текста и комментарии
А. К. Бабореко

Художник *Г. В. Котлярова*

Б $\frac{4702010100-3}{M172(03)-94}$ Подписное

ISBN 5—239—01657—7 (т. 2)
ISBN 5—239—01655—0

© А. К. Бабореко. Составление, подготовка текста, комментарии, подбор иллюстраций, 1994

И. А. БУНИН

(К его сегодняшнему приезду в Ригу)

Наше первое знакомство.— Обеды у М. К. Куприной.— Бунин — как чтец.— Приглашение к МХТ.— «Римлянин-патриций».— Гордость и аристократизм.— Таинственные заклятья предков.— Элегантность.

Когда пришла первая весть о том, что Бунин приедет к нам, я нахмурил брови:

— Сколько же лет мы с ним знакомы?

И тотчас же определил: 32,— страшно вымолвить,— «мы были молоды тогда»,— а встретились впервые на обеде у Марии Карловны Куприной. Она издавала после смерти своей матери Давыдовой журнал «Мир Божий», впоследствии переименованный в «Современный Мир».

Бунин — остроумный собеседник, опасный, но беззлобный фехтовальщик на словесных рапирах. Он ловко подмечает у человека его слабую сторону, схватывает какую-нибудь мелочь его походки, улыбки, произношения, одним движением или жестом изображает его, и этот человек проходит пред вами, как живой.

Бунин еще и великолепный чтец. Не всем известно, что его когда-то приглашал Станиславский в Московский Художественный Театр чуть ли не на первые роли. Чехов ценил смех, остроумие, и недаром он так любил Бунина. Вспоминать — так вспоминать! Собирались за этими обедами писатель и поэт Александр Митрофанович Федоров, теперь постоянно живущий в Софии, Бунин, я, снимавший квартиру в том же доме, где помещалась редакция «Мира Божьего». Остроумной была Мария Карловна, остроумен был Куприн,— обеды проходили без скуки. Чего мы только не выдумывали!

Вдруг кто-то предлагает составить с виду серьезное, на самом деле взбалмошное объявление, начинающееся словами: «Нет более матрацов». И мы начинаем сочинять. Объявление обещает, как можно сконструировать очень многополезную вещь, служащую одновре́менно и матрацом, и платяным шкафом, и письменным столом, и даже электрической лампой. Как-то я выдумал объявление: «Продаются портативные, переносные намогильные памятники». Кому они могли быть нуж-

ны? А надо сказать, что тогда в России объявление, помещенное в наиболее распространенных органах печати, приносило не меньше 500 откликов, т. е. заказов. Если б вы объявили в газете, что выпущена брошюра, рекомендующая способ, как лучше разрушить платяной шкаф, то 500 экземпляров и такого наставления было бы непременно распродано. Можно было рекламировать промокаемые зонты, пристегивающиеся и отстегивающиеся подошвы,— 500 заказов было гарантировано. Однажды мы сочинили: «Продаются камышовые палки о двух концах». Кто были эти чудаки, откликавшиеся на такие объявления, не знаю. Но они действительно существовали.

Все это я рассказываю для того, чтобы вы пожали плечами вместе со мной: какая чепуха, какой вздор, будто Бунин — холоден, академичен, высокомерен, неприступен! Боже мой, какое величие! Но он слишком умен, чтобы носить такую маску, закутываться в такой плащ. Сказать ли вам, в чем тут дело? А дело в том, что у Бунина отточенная, строгая внешность, лицо «римлянина-патриция». Все.

Конечно, всем этим не исчерпывается его определение. Это только одна сторона его личности и характера. Есть другие, еще более ценные,— коренные черты человека. Бунин — усадебник. Поэтому в России он всегда проводил часть года в своем имении *, а в годы эмиграции,— с 1923 по 1933 г.— постоянно жил на вилле «Бельведер», на юге Франции, близ города Грасса,— отсюда зимой он только иногда уезжал в Париж. Борис Зайцев хорошо сказал: «В Грассе нельзя писать плохо», и там были написаны Буниным «Митина любовь», «Жизнь Арсеньева»,— история русской литературы запомнит это имя: «Грасс».

В литературной тонкости Бунина, его внешности живет дух аристократизма. Это — скупость слов, взвешенность эпитетов, неторопливый ход повествования, нежелание угождать читателю. При всей своей художественной объективности, Бунин никогда не хотел скрывать своих отношений к тем или иным фактам, типам, устоям, своих взглядов на те или иные явления русской жизни, и — вот что надо сказать и о его гордости.

Он — смел. Этот человек не пойдет на компромисс, не склонит своей головы пред властью, не станет заискивать, не сделает ни единой уступки,— могу обо всем этом свидетель-

* В имении своей двоюродной сестры С. Н. Пу́шешниковой — Васильевском в с. Глотове. Своего имения у него не было. *(Примеч. ред.)*

ствовать с полным убеждением. Бунина я видел на юге, в ту пору, когда большевики только что ушли и, несомненно, должны были скоро придти опять. У многих глаза бегали вправо и влево, мигали, косили в обе стороны,— «один глаз на нас, а другой в Арзамас»,— Бунин ходил с поднятой головой и это подчеркивал, раздражая до последней степени большевистское подполье, притаившихся в Одессе коммунистов, куда мы все тогда просверкали пятками из Петербурга, Москвы, Киева,— откуда только мы не бежали в тот скверный год, в те «окаянные дни», как называется одна из бунинских книг!

Аристократизм — космополитичен. Но Бунин,— прежде всего, писатель русский. В то же время — мировой. Его темы, раздумья, тревоги остановились и склонились над вопросами вечности и мира. У писателя Бунина хороший голос, красивый тембр, спокойные и внушительные ноты,— в литературе разгадываются и голоса, и они бывают грубые или слишком мягкие, авторитетные и бесхарактерные,— неотесанные и необразованные басы, и бархатистые, серьезно-ласковые баритоны.

В книгах есть и своя атмосфера, особенный воздух, иногда удушливый и тяжелый, в других — прозрачная легкость. У Бунина это — почти всегда вечерний воздух и предзакатная пора.

Задумчивый мир отдает ему свои дарственные тайны, не скупясь,— доверчиво и полно: так доверяется мудрость природы мудрости и проницательности человека. Нет такой бунинской вещи, где бы мы не чувствовали его тесной, прочной и глубокой связи с истоками мира, с корнями нашего бытия,— величавость надземных тайн у этого писателя сливается с открытым, видимым земным миром, нашептывают, звучат и поют голоса древности. Живые, нетленные предания отцов и дедов, как едва ощутимое и в то же время исключительно властное заповедничество предков, встают во всей своей властной, непобедимой силе.

Все стихи Бунина, как и его проза, полны дальних отголосков. С годами они усиливаются, звучат все мощней и значительней. Везде слышится чуть-чуть тревожная настороженность,— бессмертный и в то же время смертный мир стоит под мечом своей обреченности. Все подвластно неумолимым законам погребения и возрождения. Отсюда в писаниях Бунина преломление в двойном свете радости и печали, солнечных отсветов и тьмы. Отсюда и перемежающиеся настроения дня и ночи, весенних тревог, зимнего омертвения, осенней

тоски. Вот почему у Бунина так много двойных эпитетов, утончающихся и пышнеющих вместе с грозностью, величием или остротой момента.

Бунин не любит отягощать своих картин черными цветами, и все-таки чаще всего мы слышим затаенный голос печали, переходящий в грусть,— она никогда не становится ни скорбью, ни тоской. Это оттого, что эти настроения порождены не отдельными случаями, а исходят от сознания и чувствования *общей приговоренности.* Они очищены, обострены и умудрены холодной и строгой мыслью. У Бунина среди, с виду простых, описаний, среди точного и тонкого перечисления видимых признаков и предметов вдруг неожиданно прорывается самый драгоценный, затаенный и знаменательный звук, точнее — отзвук несчитанных времен, и даже «багряная печальная луна» «как будто выросла со дна. И *допотопная* лилия краснеет». Всеобщая изменчивость, непостоянство, зыбкость в наших мгновенных впечатлениях внезапно роднятся с вечностью, с повторяемостью, и «зал плывет, плывет в напевах счастья и тоски», «и веет, веет ветер бальный теплом душистых опахал»,— ровное биение сердца, размеренное пение строк, ритм и бег, неумолимый для всех, отраженный во всем. И образа в углу комнаты Арсеньева вызывают «своей арсеньевской *стариной* что-то обнадеживающее, *покорное непреложному и бесконечному течению земных дней».* Вот цыганка, пестрая разноцветностью своих желтых и красных лохмотьев. Но и она ворожит и тревожит «все своей *древностью,* говорившей о каких-то *далеких краях»,* о том, что «тут были *мои отцы, моя тайная связь с ними,*— разве могли бы мы любить мир так, как любим его, если бы он уже совсем был нов для нас?». Мистицизм и лиризм Бунина гораздо глубже и властней, чем это может ощутиться при поверхностном чтении. Здесь — строгость к себе, внутренняя сила, это — протест и примирение, печаль и счастье жить, думать и хранить в памяти то, что ускользает даже от непосредственного зрения.

Бунин весь собран. Он — крепок. Его кованый язык, его строгий стиль кажутся пружиной, стянутой в упругое, неразгибающееся кольцо. Но никакого напряжения нет,— все струится, течет, поет: мастерство на наших глазах становится редким замечательным искусством. Но Бунин не весь отдан миру тайн, сокровенным загадкам преданий, давно замолкших голосов, его прельщают вещи, предметы, их красота, особенно их элегантность.

Можно не объяснять, что чувство красоты, разлитой в природе, у Бунина всегда пронизано еще и острым внутренним постиганием какой-то тайны. Это ощущение таящихся и притягивающих к себе, незримых и неосязаемых сил угадывается у него чрез намеки, чрез будто случайные слова. И все-таки, кроме затаенной влекущей тайны, кроме этих внутренних покорений, всегда явственно у него звучит преклонение перед внешней красотой, умение и жажда любоваться вещами. Они также становятся неотъемлемой принадлежностью человека, спутниками его избалованного и взыскательного вкуса.

Можно было бы много написать о бунинском вкусе к внешнему искусственному миру. Когда он описывает зал в Большом Московском ресторане,— совсем, казалось бы, незначительная тема,— замечаешь, как его ласкает, нежит и балует вся эта тщательная сервировка, «белоснежные тугие скатерти», «изысканный жест распорядителя», «сияющего чистотой и любезностью», «густой темно-зеленый лавр» у полукруглого дивана и то, что на столе появилась розовая семга, смугло-телесный балык, оранжевый квадрат честера, черная блестящая глыба паюсной икры и белый, потный от холода, ушат с шампанским.

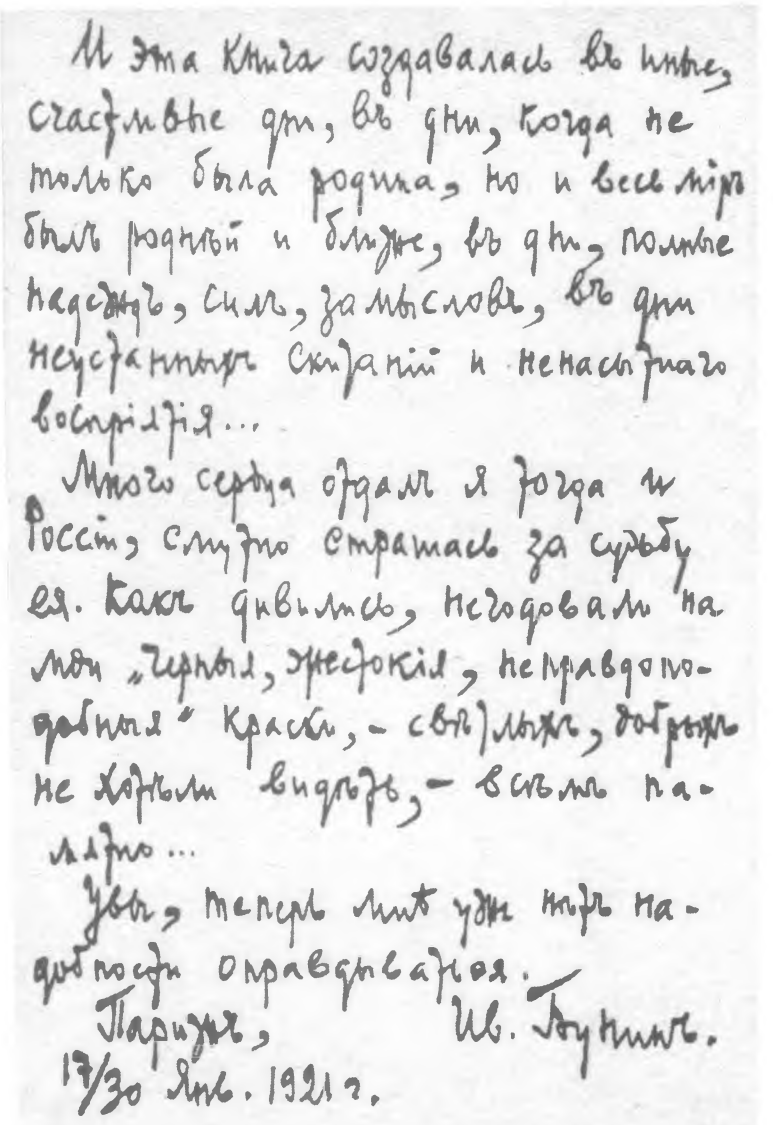
И к влюбленному Мите изменившаяся в ту весну Катя стала приходить в новом образе. Теперь она была похожа на молоденькую светскую даму. Она приезжала и проходила по коридору, шурша шелком, опустив на лицо вуальку, и Митю волновали ее белые туфельки, ее обтянутые шелковыми белыми чулками ноги. Помните ли вы бунинского композитора, пропустившего свое счастье? Судьба захотела устроить ему встречу с Идой где-то на узловой станции. Она уже вышла замуж и тоже прекрасно одета: «большой скромности, большого кокетства и дьявольских денег зимняя шляпка, на плечах тысячная соболья накидка, длинная соболья муфта, клетчатый темно-зеленый шотландский плед». И красота женщины вдруг заиграла всеми цветами и оттенками. В нарядности Бунин больше всего ценит одну черту — внешнюю скромность. Это — тонко. Тут скрывается одна из тайн его вкуса. Он любит элегантность. Прельстительны и очаровательны в своей сдержанной и неумолимой силе только оттенки. Между прочим, я заметил, что Бунин не любит духов. Мне так и не попались у него надушенные женщины, или, например, театральная зала, тоже пахнущая духами. У Бунина есть запахи, разлитые только в природе, духов у него нет. Бунин — строгость,

мудрость, элегантность. Это — аристократизм духа и аристократизм вкуса.

На своем втором вечере он будет говорить «О любви». В его книгах она всегда овеяна грустью, тоже непостоянная, тоже обреченная, не вечная человеческая любовь,— изменчивый и ласковый гость нашего сердца.

⟨1938⟩ *Петр Пильский*

ПРОИЗВЕДЕНИЯ
1892-1909



И эта Книга создавалась въ иные, счастливые дни, въ дни, когда не только была родина, но и весь міръ былъ родной и ближе, въ дни, полные надеждъ, силъ, замысловъ, въ дни неустанныхъ скитаній и ненасытнаго воспріятія...

Много сердца отдалъ я тогда и Россіи, слушно страшась за судьбу ея. Какъ дивились, негодовали на мои „черныя, жестокія, неправдоподобныя" краски, — свѣтлыхъ, добрыхъ не хорошихъ видѣлъ, — всѣмъ палъ...

Увы, теперь мнѣ уже нѣтъ надобности оправдываться.

Парижъ, Ив. Бунинъ.
17/30 Янв. 1921 г.

Предисловие к книге: Бунин Ив. Крик. Берлин: Книгоиздательство «Слово», 1921. Напечатано: «Крик», «Смерть», «Игнат», «Сила», «Хорошая жизнь», «Захар Воробьев», «Древний человек», «Ночной разговор»

ПЕРЕВАЛ

Ночь давно, а я все еще бреду по горам к перевалу, бреду под ветром, среди холодного тумана, и безнадежно, но покорно идет за мной в поводу мокрая, усталая лошадь, звякая пустыми стременами.

В сумерки, отдыхая у подножия сосновых лесов, за которыми начинается этот голый, пустынный подъем, я смотрел в необъятную глубину подо мною с тем особым чувством гордости и силы, с которым всегда смотришь с большой высоты. Еще можно было различить огоньки в темнеющей долине далеко внизу, на прибрежье тесного залива, который, уходя к востоку, все расширялся и, поднимаясь туманно-голубой стеной, обнимал полнеба. Но в горах уже наступала ночь. Темнело быстро, я шел, приближался к лесам — и горы вырастали все мрачней и величавее, а в пролеты между их отрогами с бурной стремительностью валился косыми, длинными облаками густой туман, гонимый бурей сверху. Он срывался с плоскогорья, которое окутывал гигантской рыхлой грядой, и своим падением как бы увеличивал хмурую глубину пропастей между горами. Он уже задымил лес, надвигаясь на меня вместе с глухим, глубоким и нелюдимым гулом сосен. Повеяло зимней свежестью, понесло снегом и ветром... Наступила ночь, и я долго шел под темными, гудящими в тумане сводами горного бора, склонив голову от ветра.

«Скоро перевал,— говорил я себе.— Скоро я буду в затишье, за горами, в светлом, людном доме...»

Но проходит полчаса, час... Каждую минуту мне кажется, что перевал в двух шагах от меня, а голый и каменистый подъем не кончается. Уже давно остались внизу сосновые леса, давно прошли низкорослые, искривленные кустарники, и я начинаю уставать и дрогнуть.

Мне вспоминается несколько могил среди сосен недалеко от перевала, где похоронены какие-то дровосеки, сброшенные с гор зимней бурей. Я чувствую, на какой дикой и безлюдной высоте я нахожусь, чувствую, что вокруг меня только туман, обрывы, и думаю: как пройду я мимо одиноких камней-памятников, когда они, как человеческие фигуры, зачернеют среди тумана? хватит ли у меня сил спуститься с гор, когда я уже и теперь теряю представление о времени и месте?

Впереди что-то смутно чернеет среди бегущего тумана... какие-то темные холмы, похожие на спящих медведей. Я пробираюсь по ним, с одного камня на другой, лошадь, срываясь и лязгая подковами по мокрым голышам, с трудом влезает за мною,— и вдруг я замечаю, что дорога снова начинает медленно подниматься в гору! Тогда я останавливаюсь, и меня охватывает отчаяние. Я весь дрожу от напряжения и усталости, одежда моя вся промокла от снега, а ветер так и пронизывает ее насквозь. Не крикнуть ли? Но теперь даже чабаны забились в свои гомеровские хижины вместе с козами и овцами,— кто услышит меня? И я с ужасом озираюсь:

— Боже мой! Неужели я заблудился?

Поздно. Бор глухо и сонно гудит в отдалении. Ночь становится все таинственнее, и я чувствую это, хотя не знаю ни времени, ни места. Теперь погас последний огонек в глубоких долинах, и седой туман воцаряется над ними, зная, что пришел его час, долгий час, когда кажется, что все вымерло на земле и уже никогда не настанет утро, а будут только возрастать туманы, окутывая величавые в своей полночной страже горы, будут глухо гудеть леса по горам и все гуще лететь снег на пустынном перевале.

Закрываясь от ветра, я поворачиваюсь к лошади. Единственное живое существо, оставшееся со мною! Но лошадь не глядит на меня. Мокрая, озябшая, сгорбившись под высоким седлом, которое неуклюже торчит на ее спине, она стоит, покорно опустив голову с прижатыми ушами. И я злобно дергаю повод, и снова подставляю лицо мокрому снегу и ветру, и снова упорно иду навстречу им. Когда я пытаюсь разглядеть то, что окружает меня, я вижу только седую бегущую мглу, которая слепит снегом. Когда я вслушиваюсь, я различаю только свист ветра в уши и однообразное позвякивание за спиною: это стучат стремена, сталкиваясь друг с другом...

Но странно — мое отчаяние начинает укреплять меня! Я начинаю шагать смелее, и злобный укор кому-то за все, что я выношу, радует меня. Он уже переходит в ту мрачную и стойкую покорность всему, что надо вынести, при которой сладостна безнадежность...

Вот наконец и перевал. Но мне уже все равно. Я иду по ровной и плоской степи, ветер несет туман длинными космами и валит меня с ног, но я не обращаю на него внимания. Уже по одному свисту ветра и по туману чувствуется, как глубоко овладела поздняя ночь горами,— уже давным-давно спят в долинах, в своих маленьких хижинах маленькие люди; но я не тороплюсь, я иду, стиснув зубы, и бормочу, обращаясь к лошади:

— Иди, иди. Будем брести, пока не свалимся. Сколько уже было в моей жизни этих трудных и одиноких перевалов! Как ночь, надвигались на меня горести, страдания, болезни, измены любимых и горькие обиды дружбы — и наступал час разлуки со всем, с чем сроднился. И, скрепивши сердце, опять брал я в руки свой страннический посох. А подъемы к новому счастью были высоки и трудны, ночь, туман и буря встречали меня на высоте, жуткое одиночество охватывало на перевалах... Но — идем, идем!

Спотыкаясь, я бреду как во сне. До утра далеко. Целую ночь придется спускаться к долинам и только на заре удастся, может быть, уснуть где-нибудь мертвым сном,— сжаться и чувствовать только одно — сладость тепла после холода.

День опять обрадует меня людьми и солнцем и опять надолго обманет меня... Где-то упаду я и уже навсегда останусь среди ночи и вьюги на голых и от века пустынных горах?

1892—1898



ТАНЬКА

Таньке стало холодно, и она проснулась.

Высвободив руки из попонки, в которую она неловко закуталась ночью, Танька вытянулась, глубоко вздохнула и опять сжалась. Но все-таки было холодно. Она подкатилась под самую «голову» печи и прижала к ней Ваську. Тот открыл глаза и взглянул так светло, как смотрят со сна только здоровые дети. Потом повернулся на бок и затих. Танька тоже стала задремывать. Но в избе стукнула дверь: мать, шурша, протаскивала из сенец охапку соломы.

— Холодно, тетка? — спросил странник, лежа на конике.

— Нет,— ответила Марья,— туман. А собаки валяются,— беспременно к метели.

Она искала спичек и гремела ухватами.

Странник спустил ноги с коника, зевал и обувался.

В окна брезжил синеватый холодный свет утра; под лавкой шипел и крякал проснувшийся хромой селезень. Теленок поднялся на слабые растопыренные ножки, судорожно вытянул хвост и так глупо и отрывисто мякнул, что странник засмеялся и сказал:

— Сиротка! Корову-то прогусарили?

— Продали.

— И лошади нет?

— Продали.

Танька раскрыла глаза.

Продажа лошади особенно врезалась ей в память. «Когда еще картохи копали», в сухой, ветреный день, мать на поле полудновала, плакала и говорила, что ей «кусок в горло не идет», и Танька все смотрела на ее горло, не понимая, о чем толк.

Потом в большой крепкой телеге с высоким передком

приезжали «анчихристы». Оба они были похожи друг на дружку — черны, засалены, подпоясаны по кострецам. За ними пришел еще один, еще чернее, с палкой в руке, что-то громко кричал и немного погодя вывел со двора лошадь и побежал с нею по выгону; за ним бежал отец, и Танька думала, что он погнался отнимать лошадь, догнал и опять увел ее во двор. Мать стояла на пороге избы и голосила. Глядя на нее, заревел во все горло и Васька... Потом «черный» опять вывел со двора лошадь, привязал ее к телеге и рысью поехал под гору... И отец уже не погнался...

«Анчихристы», лошадники-мещане, были, и правда, свирепы на вид, особенно последний — Талдыкин. Он пришел позднее, а до него два первые только цену сбивали. Они наперебой пытали лошадь, драли ей морду, били палками.

— Ну,— кричал один,— смотри сюда, получай с Богом деньги!

— Не мои они, побереги, полцены брать не приходится,— уклончиво отвечал Корней.

— Да какая же это полцена, ежели, к примеру, кобыленке боле годов, чем нам с тобой? Молись Богу!

— Что зря толковать,— рассеянно возражал Корней.

Тут-то и пришел Талдыкин, здоровый, толстый мещанин с физиономией мопса: блестящие, злые, черные глаза, форма носа, скулы — все напоминало в нем эту собачью породу.

— Что за шум, а драки нету? — сказал он, входя и улыбаясь, если только можно назвать улыбкой раздувание ноздрей.

Он подошел к лошади, остановился и долго равнодушно молчал, глядя на нее. Потом повернулся, небрежно сказал товарищам: «Поскореича, ехать время, я на выгоне дожду»,— и пошел к воротам.

Корней нерешительно окликнул:

— Что ж не глянул лошадь-то?

Талдыкин остановился.

— Долгого взгляда не стоит,— сказал он.

— Да ты поди, побалакаем...

Талдыкин подошел и сделал ленивые глаза.

— Ну?

Он внезапно ударил лошадь под брюхо, дернул ее за хвост, пощупал под лопатками, понюхал руку и отошел.

— Плоха? — стараясь шутить, спросил Корней.

Талдыкин хмыкнул:

— Долголетня?

— Лошадь не старая.

— Тэк. Значит, первая голова на плечах?

Корней смутился.

Талдыкин быстро всунул кулак в угол губ лошади, взглянул как бы мельком ей в зубы и, обтирая руку о полу, насмешливо и скороговоркой спросил:

— Так не стара? Твой дед не ездил венчаться на ней?.. Ну, да нам сойдет, получай одиннадцать желтеньких.

И, не дожидаясь ответа Корнея, достал деньги и взял лошадь за оброть.

— Молись Богу да полбутылочки ставь.

— Что ты, что ты? — обиделся Корней.— Ты без креста, дядя!

— Что? — воскликнул Талдыкин грозно,— бабурился? Денег не желаешь? Бери, пока дурак попадается, бери, говорят тебе!

— Да какие же это деньги?

— Такие, каких у тебя нету.

— Нет, уж лучше не надо...

— Ну, через некоторое число за семь отдашь, с удовольствием отдашь,— верь совести...

Корней отошел, взял топор и с деловым видом стал тесать подушку под телегу.

Потом пробовали лошадь на выгоне... И как ни хитрил Корней, как ни сдерживался, не отвоевал-таки!

Когда же пришел октябрь и в посиневшем от холода воздухе замелькали, повалили белые хлопья, занося выгон, лозины и завалинку избы, Таньке каждый день пришлось удивляться на мать.

Бывало, с началом зимы для всех ребятишек начинались истинные мучения, проистекавшие, с одной стороны, от желания удрать из избы, пробежать по пояс в снегу через луг и, катаясь на ногах по первому синему льду пруда, бить по нем палками и слушать, как он гулькает, а с другой стороны — от грозных окриков матери:

— Ты куда? Чичер, холод — а она, на-кося! С мальчишками на пруд! Сейчас лезь на печь, а то смотри у меня, демоненок!

Бывало, с грустью приходилось довольствоваться тем, что на печь протягивалась чашка с дымящимися рассыпчатыми картошками и ломоть пахнущего клетью, круто посоленного хлеба. Теперь же мать совсем не

давала по утрам ни хлеба, ни картошек, на просьбы об этом отвечала:

— Иди, я тебя одену, ступай на пруд, деточка!

Прошлую зиму Танька и даже Васька ложились спать поздно и могли спокойно наслаждаться сиденьем на «грубке» печки хоть до полуночи. В избе стоял распаренный, густой воздух; на столе горела лампочка без стекла, и копоть темным, дрожащим фитилем достигала до самого потолка. Около стола сидел отец и шил полушубки; мать чинила рубахи или вязала варежки; наклоненное лицо ее было в это время кротко и ласково. Тихим голосом пела она «старинные» песни, которые слыхала еще в девичестве, и Таньке часто хотелось от них плакать. В темной избе, завеянной снежными вьюгами, вспоминалась-Марье ее молодость, вспоминались жаркие сенокосы и вечерние зори, когда шла она в девичьей толпе полевою дорогой с звонкими песнями, а за ржами опускалось солнце и золотою пылью сыпался сквозь колосья его догорающий отблеск... Песней говорила она дочери, что и у нее будут такие же зори, будет все, что проходит так скоро и надолго, надолго сменяется деревенским горем и заботою...

Когда же мать собирала ужинать, Танька в одной длинной рубашонке съерзывала с печи и, часто перебирая босыми ножками, бежала на коник, к столу. Тут она, как зверок, садилась на корточки и быстро ловила в густой похлебке сальце и закусывала огурцами и картошками. Толстый Васька ел медленно и таращил глаза, стараясь всунуть в рот большую ложку... После ужина она с тугим животом так же быстро перебегала на печь, дралась из-за места с Васькой и, когда в темные оконца смотрела одна морозная ночная муть, засыпала сладким сном под молитвенный шепот матери: «Угодники Божии, святителю Микола-милосливый, столп-охранение людей, Матушка Пресвятая Пятница — молите Бога за нас! Хрест в головах, хрест у ногах, хрест от лукавого...»

Теперь мать рано укладывала спать, говорила, что ужинать нечего, и грозила «глаза выколоть», «слепым в сумку отдать», если она, Танька, спать не будет. Танька часто ревела и просила «хоть капуски», а спокойный насмешливый Васька лежал, драл ноги вверх и ругал мать:

— Вот домовой-то,— говорил он серьезно,— все спи да спи! Дай бати дождать!

Батя ушел еще с Казанской, был дома только раз, говорил, что везде «беда»,— полушубков не шьют, больше помирают,— и он только чинит кое-где у богатых мужиков. Правда, в тот раз ели селедки, и даже «вот такой-то кусок» соленого судака батя принес в тряпочке: «на кстинах, говорит, был третьего дня, так вам, ребята, спрятал»... Но когда батя ушел, совсем почти есть перестали...

Странник обулся, умылся, помолился Богу; широкая его спина в засаленном кафтане, похожем на подрясник, сгибалась только в пояснице, крестился он широко. Потом расчесал бородку-клинушек и выпил из бутылочки, которую достал из своего походного ранца. Вместо закуски закурил цигарку. Умытое лицо его было широко, желто и плотно, нос вздернут, глаза глядели остро и удивленно.

— Что ж, тетка,— сказал он,— даром солому-то жжешь, варева не ставишь?

— Что варить-то? — спросила Марья отрывисто.

— Как что? Ай нечего?

— Вот домовой-то...— пробормотал Васька.

Марья заглянула на печку:

— Ай проснулся?

Васька сопел спокойно и ровно.

Танька прижукнулась.

— Спят,— сказала Марья, села и опустила голову.

Странник исподлобья долго глядел на нее и сказал:

— Горевать, тетка, нечего.

Марья молчала.

— Нечего,— повторил странник.— Бог даст день, Бог даст пищу. У меня, брат, ни крова, ни дома, пробираюсь бережками и лужками, рубежами и межами, да по задворкам — и ничего себе... Эх, не ночевывала ты на снежку под ракитовым кустом — вот что!

— Не ночевывал и ты,— вдруг резко ответила Марья, и глаза ее заблестели,— с ребятишками с голодными, не слыхал, как голосят они во сне с голоду! Вот, что́ я им суну сейчас, как встанут? Все дворы еще до рассвету обегала — Христом-Богом просила, одну краюшечку добыла... и то, спасибо, Козел дал... у самого, говорит, оборочки на лапти не осталось... А ведь ребят-то жалко — в отделку сморились...

Голос Марьи зазвенел.

— Я вон,— продолжала она, все более волнуясь,—

гоню их каждый день на пруд... «Дай капуски, дай картошечек...» А что я дам? Ну, и гоню: «Иди, мол, поиграй, деточка, побегай по ледочку...»

Марья всхлипнула, но сейчас же дернула по глазам рукавом, поддала ногой котенка («У, погибели на тебя нету!..») и стала усиленно сгребать на полу солому.

Танька замерла. Сердце у нее стучало. Ей хотелось заплакать на всю избу, побежать к матери, прижаться к ней... Но вдруг она придумала другое. Тихонько поползла она в угол печки, торопливо, оглядываясь, обулась, закутала голову платком, съерзнула с печки и шмыгнула в дверь.

«Я сама уйду на пруд, не буду просить картох, вот она и не будет голосить,— думала она, спешно перелезая через сугроб и скатываясь в луг.— Аж к вечеру приду...»

По дороге из города ровно скользили, плавно раскатываясь вправо и влево, легкие «козырьки»; меринок шел в них ленивой рысцою. Около саней легонько бежал молодой мужик в новом полушубке и одеревеневших от снегу нагольных сапогах, господский работник. Дорога была раскатистая, и ему поминутно приходилось, завидев опасное место, соскакивать с передка, бежать некоторое время и затем успеть задержать собой на раскате сани и снова вскочить бочком на облучок.

В санях сидел седой старик, с нависшими бровями, барин Павел Антоныч. Уже часа четыре смотрел он в теплый, мутный воздух зимнего дня и на придорожные вешки в инее.

Давно ездил он по этой дороге... После Крымской кампании, проиграв в карты почти все состояние, Павел Антоныч навсегда поселился в деревне и стал самым усердным хозяином. Но и в деревне ему не посчастливилось. Умерла жена... Потом пришлось отпустить крепостных... Потом проводить в Сибирь сына-студента... И Павел Антоныч стал совсем затворником. Он втянулся в одиночество, в свое скупое хозяйство, и говорили, что во всей округе нет человека более жадного и угрюмого. А сегодня он был особенно угрюм.

Морозило, и за снежными полями, на западе, тускло просвечивая сквозь тучи, желтела заря.

— Погоняй, потрогивай, Егор,— сказал Павел Антоныч отрывисто.

Егор задергал вожжами.

Он потерял кнут и искоса оглядывался.

Чувствуя себя неловко, он сказал:

— Чтой-то Бог даст нам на весну в саду: прививочки, кажись, все целы, ни одного, почитай, морозом не тронуло.

— Тронуло, да не морозом,— отрывисто сказал Павел Антоныч и шевельнул бровями.

— А как же?

— Объедены.

— Зайцы-то? Правда, провалиться им, объели кое-где.

— Не зайцы объели.

Егор робко оглянулся.

— А кто ж?

— Я объел.

Егор поглядел на барина в недоумении.

— Я объел,— повторил Павел Антоныч.— Кабы я тебе, дураку, приказал их как следует закутать и замазать, так были бы целы... Значит, я объел.

Егор растянул губы в неловкую улыбку.

— Чего оскаляешься-то? Погоняй!

Егор, роясь в передке, в соломе, пробормотал:

— Кнут-то, кажись, соскочил, а кнутовище...

— А кнутовище? — строго и быстро спросил Павел Антоныч.

— Переломился...

И Егор, весь красный, достал надвое переломленное кнутовище. Павел Антоныч взял две палочки, посмотрел и сунул их Егору.

— На́ тебе два, дай мне один. А кнут — он, брат, ременный — вернись, найди.

— Да он, может... около городу.

— Тем лучше. В городе купишь... Ступай. Придешь пешком. Один доеду.

Егор хорошо знал Павла Антоныча. Он слез с передка и пошел назад по дороге.

А Танька, благодаря этому, ночевала в господском доме.

Да, в кабинете Павла Антоныча был придвинут к лежанке стол, и на нем тихо звенел самовар. На лежанке сидела Танька, около нее Павел Антоныч. Оба пили чай с молоком.

Танька запотела, глазки у нее блестели ясными звездочками, шелковистые беленькие ее волосики были причесаны на косой ряд, и она походила на мальчика. Сидя

прямо, она пила чай отрывистыми глотками и сильно дула в блюдечко. Павел Антоныч ел крендели, и Танька тайком наблюдала, как у него двигаются низкие серые брови, шевелятся пожелтевшие от табаку усы и смешно, до самого виска ходят челюсти.

Будь с Павлом Антонычем работник, этого бы не случилось. Но Павел Антоныч ехал по деревне один. На горе катались мальчишки. Танька стояла в сторонке и, засунув в рот посиневшую руку, грела ее. Павел Антоныч остановился.

— Ты чья? — спросил он.

— Корнеева,— ответила Танька, повернулась и бросилась бежать.

— Постой, постой,— закричал Павел Антоныч,— я отца видел, гостинчика привез от него.

Танька остановилась.

Ласковой улыбкой и обещанием «прокатить» Павел Антоныч заманил ее в сани и повез. Дорогой Танька совсем было ушла. Она сидела у Павла Антоныча на коленях. Левой рукой он захватил ее вместе с шубой. Танька сидела не двигаясь. Но у ворот усадьбы вдруг ерзнула из шубы, даже заголилась вся, и ноги ее повисли за санями. Павел Антоныч успел подхватить ее под мышки и опять начал уговаривать. Все теплей становилось в его старческом сердце, когда он кутал в мех оборванного, голодного и иззябшего ребенка. Бог знает, что он думал, но брови его шевелились все живее.

В доме он водил Таньку по всем комнатам, заставлял для нее играть часы... Слушая их, Танька хохотала, а потом настороживалась и глядела удивленно: откуда эти тихие перезвоны и рулады идут? Потом Павел Антоныч накормил ее черносливом — Танька сперва не брала — «он чернищий, ну-кось умрешь», дал ей несколько кусков сахару. Танька спрятала и думала: «Ваське не дам, а как мать заголосит, ей дам».

Павел Антоныч причесал ее, подпоясал голубеньким пояском. Танька тихо улыбалась, встащила поясок под самые мышки и находила это очень красивым. На расспросы она отвечала иногда очень поспешно, иногда молчала и мотала головой.

В кабинете было тепло. В дальних темных комнатах четко стучал маятник... Танька прислушивалась, но уже не могла одолеть себя. В голове у нее роились сотни смутных мыслей, но они уже облекались сонным туманом.

Вдруг на стене слабо дрогнула струна на гитаре, и пошел тихий звук. Танька засмеялась.

— Опять? — сказала она, поднимая брови, соединяя часы и гитару в одно.

Улыбка осветила суровое лицо Павла Антоныча, и давно уже не озарялось оно такою добротою, такою старчески-детскою радостью.

— Погоди,— шепнул он, снимая со стены гитару.

Сперва он сыграл «Качучу», потом «Марш на бегство Наполеона» и перешел на «Зореньку»:

Заря ль моя зоренька,
Заря ль моя ясная!

Он глядел на задремывающую Таньку, и ему стало казаться, что это она, уже молодой деревенской красавицей, поет вместе с ним песни:

По заре-заре
Играть хочется!

Деревенской красавицей! А что ждет ее? Что выйдет из ребенка, повстречавшегося лицом к лицу с голодною смертью?

Павел Антоныч нахмурил брови, крепко захватив струны...

Вот теперь его племянницы во Флоренции... Танька и Флоренция!..

Он встал, тихонько поцеловал Таньку в голову, пахнущую курной избой.

И пошел по комнате, шевеля бровями.

Он вспомнил соседние деревушки, вспомнил их обитателей. Сколько их, таких деревушек,— и везде они томятся от голода!

Павел Антоныч все быстрее ходил по кабинету, мягко ступая валенками, и часто останавливался перед портретом сына...

А Таньке снился сад, по которому она вечером ехала к дому. Сани тихо бежали в чащах, опушенных, как белым мехом, инеем. Сквозь них роились, трепетали и потухали огоньки, голубые, зеленые — звезды... Кругом стояли как будто белые хоромы, иней сыпался на лицо и щекотал щеки, как холодный пушок... Снился ей Васька, часовые рулады, слышалось, как мать не то плачет, не то поет в темной дымной избе старинные песни...

1892

КАСТРЮК

I

Внезапно выскочив из-за крайней избы, с полевой дороги, во всю прыть маленьких лошадок, летели по деревенской улице барчуки из Залесного. Подпрыгивая и хватаясь за холки, они гнались вперегонки, и ветер пузырями надувал на их спинах ситцевые рубашки. Теленок шарахнулся от них в сенцы, куры и впереди них петух, приседая к земле, неслись куда глаза глядят. Но отчаяннее всех улепетывала по деревенской улице маленькая белоголовая девочка в одной рубашонке. Обезумев от страха, она вскочила на огороды, несколько раз с размаху упала по дороге и вдруг увидала в воротах риги дедушку. С звонким криком бросилась она в его колени.

— Что ты, что ты, дурочка? — закричал и дед, ловя ее за рубашку.

— Барчуки... на жеребцах! — захлебываясь от слез, едва могла выговорить внучка.

Дед усадил ее на колени, начал уговаривать.

Внучка скоро затихла и, изредка всхлипывая, обиженным вздрагивающим голосом начала рассказывать, как было дело.

Поглаживая ее по голове, дед задумчиво улыбался.

В риге было прохладно и уютно. В мягкую темноту ее из глубины ясного весеннего неба влетали ласточки и с чиликаньем садились на переметы, на сани, сложенные в угол риги. Все было ясно и мирно кругом — и на деревне, и в далеких зазеленевших полях. Утреннее солнце мягко пригрело землю, и по-весеннему дрожал вдали тонкий пар над ней. Там, в полях, подымалась пашня, блестящие черные грачи перелетали около сох. Здесь, на деревне, в холодке от изб, только девочки тоненькими голосками напевали песни, сидя на траве за коклюшками.

Кроме ребятишек и стариков, все были в поле — даже все Орелки, Буянки и Шарики.

Дед сегодня первый раз за всю жизнь остался дома на стариковском положении. Старуха померла мясоедом. Сам он пролежал всю раннюю весну и не видал, как деревня уехала на первые полевые работы. К концу Фоминой он стал выходить, но еще и теперь не поправился как следует. И вот, всеми обстоятельствами деревенской жизни, вынужден он проводить самое дорогое для работы утро дома.

— Ну, Кастрюк (деда все так звали на деревне, потому что, выпивши, он любил петь про Кастрюка старинные веселые прибаутки), ну, Кастрюк,— говорил ему на заре сын, выравнивая гужи на сохе, между тем как его баба зашпиливала веретье на возу с картошками,— не тужи тут, поглядывай обáпол дому да за Дашкой-то... Кáбы ее телушка не забрухала...

Дед, без шапки, засунув руки в рукава полушубка, стоял около него.

— Кому Кастрюк — тебе дяденька,— говорил он с рассеянной улыбкой.

Сын, не слушая, затягивал зубами веревку и продолжал деловым тоном:

— Твое дело, брат, теперь стариковское. Да и горевать-то, почесть, не по чем: оно только с виду сладко хрип-то гнуть.

— Да уж чего лучше,— отвечал дед машинально.

Когда сын уехал, он сходил за чем-то в пуньку, пóтом передвинул в тень водовозку — все искал себе дела. То он бережливо, согнув старую спину, сметал муку в закроме, то там и сям тюкал топором... В риге он сел и пристально чистил трубку медной капаушкой. Иногда ворчал:

— Долго ли пролежал,— глядь, уж везде беспорядок. А умри — и все прахом пойдет.

Иногда старался подбодрить себя. «Небось!» — говорил он кому-то с задором и значительно; иногда подергивал плечами и с ожесточением выговаривал: «Эх, мать твою не замать, отца твоего не трогать! Был конь, да уездился...» Но чаще опускал голову.

Закипели в колодезях воды,
Заболело во молодце сердце,--

напевал он, и ему вспоминалось прежнее, мысли тянулись к тому времени, когда он сам был хозяином, работником,

молодым и выносливым... Гладя внучку по голове, он с любовью перебирал в памяти, что́ в такой-то год, в эту пору он сеял, и с кем выходил в поле, и какая была у него тогда кобыла...

Внучка шепотом предложила пойти наломать веничков, про которые мать уже давно толковала. Дед легкомысленно забыл про пустую избу и, взяв за руку внучку, повел ее за деревню. Идя по мягкой, давно не езженной полевой дороге, они незаметно отошли от деревни с версту и принялись ломать полынь.

Вдруг Дашка встрепенулась.

— Дедушка, глянь-ка! — заговорила она и быстро и нараспев,— глянь-ка! Ах, ма-а-тушки!

Дед глянул и увидал бегущий вдали поезд. Он торопливо подхватил внучку на руки и вынес ее на бугорок, а она тянулась у него с рук и радостно твердила:

— Дедушка! Рысью, рысью!

Поезд разрастался и под уклон работал все быстрее, весь блестя на солнце. Долго и напряженно глядела Дашка на бегущие вагоны.

— Должно, к завтрему приедет,— сказала она в раздумье.

Блестя трубой, цилиндрами, мелькающим поршнем, колесами, поезд тяжелым взмахом урагана пронесся мимо, завернул и, мелькнув задним вагоном, стал сокращаться и пропадать вдали.

Жаворонки пели в теплом воздухе... Весело и важно кагакали грачи... Цвели цветы в траве около линии... Спутанный меринок, пофыркивая, щипал подорожник, и дед чувствовал, как даже мерину хорошо и привольно на весеннем корму в это ясное утро.

— Здорово, сударушка,— закричал он, завидев идущего по рельсам сторожа-солдата.— «Здравия желаем, ваше благородие!» — прибавил он, чтобы подделаться к солдату и поболтать немного.

— Здравствуй,— сказал солдат сухо, не вынимая изо рта трубки.

— Иди, сударушка, покурим,— продолжал дед,— погуторь с Кастрюком. Я, брат, ноне тоже замест часового приставлен.

— Я путь должо́н обревизовать к прибытию второго номера,— ответил сторож и, наклонившись, тюкнул молотком по рельсе и пошел дальше.

Дед застенчиво улыбнулся и крикнул солдату вдогонку:

— А то погодил бы!

Солдат не обернулся.

— По дороге назад дед поболтал с пастухами и полюбовался на стадо.

— Дюже хороши ноне корма будут! — сказал он.

— Хороши,— ответил подпасок и вдруг, с криком: «Азад, смёртные!» — бросился за свиньями.

Стадо привольно разбрелось по пару. Жеманно, на разные лады, тонкими голосками перекликались ягнята. Один, упав на колени, засовал мордочкой под пах матери и так торопливо, дрожа хвостиком и подталкивая ее, стал сосать, что дед засмеялся от удовольствия...

II

Поспешно подходя к своей избе, он увидал, что по выгону, прямо к ней, едет молодой барин из Залесного, и бросился отгонять под гору соседскую кобылу: вороной барский жеребец весь заиграл и заплясал, выгибая шею.

Сдерживая его и сгибая своей тяжестью дрожки, барин въехал в тень избы и остановился. Дед почтительно стал у порога.

— Здравствуй, Кастрюк,— сказал барин ласково и, отирая красное лицо с рыжей бородой, достал папиросы.

— Жарко! — прибавил он и протянул папироску и деду.

— Непривычны, Миколай Петрович,— захихикал тот.— Трубочку вот, а то шкалик-другой красенького — это мы, старики, любим!

— А я было к вам по дельцу,— начал Николай Петрович, отдуваясь.— Ездил повещать на Мажаровку... надевай шапку-то, Семен!.. да вот, кстати, и к вам. Девок своих не пошлете ли ко мне?

— Аль еще не сажали? — спросил дед участливо.

— Запоздали нынче... не я один.

— Запоздали, Миколай Петрович, запоздали...

— Я...— продолжал барин и вдруг так зычно гаркнул: «балуй», что дед со всех ног бросился держать жеребца.

— Немножко-то посадил,— опять начал барин,— а пора и совсем управиться. Девчонок-то своих и турили бы ко мне.

— Разя один совладаешь, Миколай Петрович?

— Да ты скажи своим-то...

— Солдатка-то дома, что ль? — спросил дед деловым тоном у подошедшей старухи и замялся.

— Кабы солдатка была, она бы сбила,— сказал он, как бы оправдываясь.— А я, сударушка, дома ноне сижу... Мне и отойтить нельзя... Кабы прежнее мое дело, покоситься там али под пáринку,— я бы единым духом.

— Жалко,— сказал барин задумчиво.— Видно, вечерком заверну,— и взялся за вожжи.

Чтобы как-нибудь задержать его, дед вдруг сказал:

— Ты, сударушка, нанял бы меня в работники...

— Что ж, нанимайся,— сказал барин, рассеянно улыбаясь.

— А когда заступать?

Барин пристально поглядел на него и качнул головою.

— Заступать когда? Эка ты — шустрый какой!

— Я-то, сударушка? Да я их всех, молоденьких, за пояс заткну! Я еще жениться хочу! Да на свадьбе еще плясать буду!

— Да уж ты! — перебил барин, усмехаясь, ударил вожжой жеребца и покатил по выгону.

Дед постоял, подумал...

Все говорило ему, что он теперь отживший человек. Так только, для дому нужен, пока еще ноги ходят... «Ишь покатил!» — подумал он с сердцем, глядя вслед убегающим дрожкам, и пошел вынимать из печки похлебку.

Пообедав, внучка с ребятишками ушла в лужок за баранчиками. Все они так жалобно просились пустить их, что дед не мог устоять. Только сказал:

— Не найдете, ребята, разве снытку только...

В избе он от нечего делать снова принялся за еду. Он натер себе картошек, налил в них немного молока (боялся, что и за это сноха будет ругаться) и долго ел месиво.

В пустой избе стоял горячий, спертый воздух. Солнце сквозь маленькие, склеенные из кусочков, мутные стекла било жаркими лучами на покоробленную доску стола, которую, вместе с крошками хлеба и большой ложкой, черным роем облепили мухи.

Вдруг дед с радостью вспомнил, что есть еще дело — достать из-под крыши пачку листовой махорки, раскрошить ее и набить трубку. Влезая в сенцах по каменной стене под застреху, он едва не сорвался — голова у него закружилась, в спине заломило... Он опять с горечью подумал о своей старости и, уже лениво дотащившись до

порога избы, на который еще падала тень, медленно занялся делом.

В полдень деревня вся точно вымерла. Тишина весеннего знойного дня очаровала ее...

Старухи-соседки долго «искались» под старой лозиной на выгоне, потом легли, накрыли головы занавесками и заснули. Самые маленькие ребятишки хлопотливо лепили из глины ульи, собравшись в размытом спуске около пруда. Изредка мычал теленок, привязанный за кол около спящих баб. Изредка доносился крик петуха и нагонял на деревню тихую дрему. А в полях по-прежнему заливались жаворонки, зеленели всходы, и по горизонтам, как расплавленное стекло, дрожал и струился пар.

Дед лег около пуньки, стараясь заснуть. Для этого он старался представить себе, как шумит лес, как ходит волнами рожь на буграх по ветру и шуршит, переливается, и слегка покачивался сам. Но сон не приходил.

Лежа с закрытыми глазами, дед все думал о своей старости.

Теперь небось Андрей крепко спит под телегою. Деду же, может быть, до самой смерти не придется больше заснуть в поле. В рабочую пору он будет проводить долгие знойные дни наедине с внучкою... А ведь было время — лучше его не косил никто во всей округе. Бывало, когда всей деревней косили у барина, он всех вел за собою. Да никто не мог и выпить больше его, когда, вернувшись гурьбой с поля на господский двор, мужики усаживались около амбара за ведром водки и начиналась «веселая беседушка».

Никогда, однако, не пропивал он ума и разума. Все у него было всегда в порядке: и изба каждую осень крылась новой соломой, и кобыла была всегда в теле («Печка! — говорили мужики,— хоть спать ложись на спине!»), и свадьбу сына он справил всем на удивление. Вся деревня собралась смотреть, когда на первый, после княжьего пира, престольный праздник Андрей поехал к тестю. Рядом со своей разряженной бабой сел он в новые «козырьки», покрытые цветной попоной, выставил за грядку одну ногу в валенке и покатил по выгону... Дед надеялся тогда, что под старость будет у него первая во всей деревне семья, что никому не позволит он ссориться, заводить дележи...

— Пироги ситные в обмочку, думал, буду есть,— пробормотал он.

Ан все вышло не по-гаданному.

Младший сын отделился, а старший хотя и остался с ним, да не много вышло проку... Главное же — старуха всех подрезала. Умерла в самое плохое, голодное время. Да ослабели и его ноженьки, и придется ему теперь до смерти сидеть с ребятишками, вроде караульщика.

«Ишь, ровесник-то мой,— подумал он с озлоблением,— Салтан-то — и то убёг со двора!»

И чего он, дед, маялся на свете и на что надеялся — Бог его знает!

«Ни почету не дождался,— думал дед, вспоминая сына, посадившего его караульщиком,— ни богачества — ничего! И помрешь вот-вот — и ни один кобель по тебе не взвоет!»

III

Долог этот день показался ему!

Дашка воротилась из лужка и присоединилась к ребятам, игравшим в спуске.

«Ай уж и мне пойтить к ним свистульки лепить?» — думал дед с горькой улыбкой и наконец не выдержал.

— Посмотри, сударушка, за избой,— сказал он старухе-соседке, которая около пуньки медленно скатывала холсты.

— Ай соскучился? — спросила та жалобно.

— Соскучился, сударушка! И как только это вы, бабы, дома сидите!

— А ты надолго небось?

— Нет, я сейчас, в одну минутую...

До заката было еще далеко. Но Андрей должен был, по расчетам деда, управиться раньше вечера. Он поглядывал на солнце и решал, что осминник надо досадить именно к этой поре.

На выгоне он встретил возвращавшегося с поля Глебочку. Глебочка, высокий, худощавый мужик с веснушками на бледном лице и с опухшими красными веками, в старом полушубке, из лохматых дыр которого виднелась белая рубаха, покачивался, сидя боком на спине лошади; перевернутая соха тащилась сзади, дребезжа палицей о подвои.

— Ай, сударушка, рассохи-то пропил? — пошутил дед.

— Пропил,— с бледной улыбкой ответил Глебочка.

— А мои скоро?
— Должно, едут.
— Где ж девки-то твои?
— Девти идут,— ответил Глебочка картаво.

На валу, под молодыми лозинками, дед сел и, щурясь от низкого солнца, глядел вдаль, по дороге.

Тишина кроткого весеннего вечера стояла в поле. На востоке чуть вырисовывалась гряда неподвижных нежно-розовых облаков. К закату собирались длинные перистые ткани тучек... Когда же солнце слегка задернулось одной из них, в поле, над широкой равниной, влажно зеленеющей всходами и пестреющей паром, тонко, нежно засинел воздух. Безмятежнее и еще слаще, чем днем, заливались жаворонки. С паров пахло свежестью, зацветающими травами, медовой пылью желтого донника... Дед закрывал глаза, прислушивался, убаюкиваясь.

«Эх, кабы теперь дождичка,— думал он,— то-то бы ржи-то поднялись! Да нет, опять солнышко чисто садится!»

Вспоминая, что и завтра предстоит ему стариковский день, он морщился, придумывал, как бы избавиться от него. Он досадливо качал головою, скреб спину, облеченную в длинную стариковскую рубаху... и наконец пришел к счастливой мысли.

— Ну, прикончил? — говорил он через полчаса заискивающим тоном, шагая рядом с сыном и держась за оглоблю сохи.

— Кончить-то кончил,— отвечал Андрей ласково,— а ты-то как? Небось соскучился?

— И-и, не приведи Бог! — воскликнул дед ото всего сердца.— Сослужил, брат, службу... не хуже какого-нибудь солдата старого на капусте!

И, смеясь, не желая придавать своим словам просящего выражения, попросился в ночное.

— С ребятами... а? — сказал он, заглядывая сыну в глаза.

— Что ж, веди! — ответил Андрей.— Только не забудь на полях кобылу напоить.

Дед закашлялся, чтобы скрыть свою радость.

IV

На закате, после ужина, положил он на спину кобылы зипун и полушубок, взвалился на нее животом и рысцой тронул за ребятами.

— Эй, погоди старика,— кричал он им.

Ребята не слушали. Старостин сынишка обскакал его, растаращив босые ножки на спине кругленького и ёкающего селезенкой мерина. Легкая пыль стлалась по дороге. Топот небольшого табуна сливался с веселыми криками и смехом.

— Дед,— кричали некоторые тоненькими голосками,— давай на обгонки!

Дед легонько поталкивал лаптями под брюхо кобылы.

В лощинке, за версту от деревни, он завернул на пруд.

Отставив увязшую в тину ногу и нервно вздрагивая всей кожей от тонко поющих комаров, кобыла долго-долго однообразно сосала воду, и видно было, как вода волнисто шла по ее горлу. Перед концом питья она оторвалась на время от воды, подняла голову и медленно, тупо огляделась кругом. Дед ласково посвистал ей. Теплая вода капала с губ кобылы, она не то задумалась, не то залюбовалась на тихую поверхность пруда. Глубоко-глубоко отражались в пруде и берег, и вечернее небо, и белые полоски облаков. Плавно качались части этой отраженной картины и сливались в одну от тихо раскатывающегося все шире и шире круга по воде... Потом кобыла сделала еще несколько глотков, глубоко вздохнула и, с чмоканьем вытащив из тины одну за другою ноги, вскарабкалась на берег.

Позвякивая полуоторванной подковой, бодрой иноходью пошла она по темнеющей дороге. От долгого дня у деда осталось такое впечатление, словно он пролежал его в болезни и теперь выздоровел. Он весело покрикивал на кобылу, вдыхал полной грудью свежеющий вечерний воздух.

«Не забыть бы подкову оторвать»,— думал он.

В поле ребята курили донник, спорили, кому в какой черед дежурить.

— Будя, ребята, спорить-то,— сказал дед.— Карауль пока ты, Васька,— ведь, правда, твой черед-то. А вы, ребята, ложитесь. Только смотри не ложись головой на межу — домовой отдавит!

А когда лошади спокойно вникли в корм и прекратилась возня улегшихся рядышком ребят, смех над коростелью, которая оттого так скрипит, что дерет нога об ногу, дед постлал себе у межи полушубок, зипун и с чистым сердцем, с благоговением стал на колени

и долго молился на темное, звездное, прекрасное небо, на мерцающий Млечный Путь — святую дорогу ко граду Иерусалиму.

Наконец и он лег.

Темнота разливалась над безбрежной равниной. В свежести весенней степной ночи тонули поля. За ними, за ночным мраком, слабо, как одинокая мачта, на слабом фоне заката маячил силуэт далекой-далекой мельницы...

1892



НА ЧУЖОЙ СТОРОНЕ

На вокзале не было обычной суматохи: наступала святая ночь. Когда прошел курьерский девятичасовой поезд, все поспешили докончить только самые неотложные дела, чтобы поскорее разойтись по квартирам, вымыться, надеть все чистое и в семье, с облегченным сердцем, дождаться праздника, отдохнуть хотя ненадолго от беспорядочной жизни.

Полутемная зала третьего класса, всегда переполненная людьми, гулом нестройного говора, тяжелым теплым воздухом, теперь была пуста и прибрана. В отворенные окна и двери веяло свежестью южной ночи. В углу восковые свечи слабо озаряли аналой и золотые иконы, и среди них грустно глядел темный лик Спасителя. Лампада красного стекла тихо покачивалась перед ним, по золотому окладу двигались полосы сумрака и света...

Проезжим мужикам из голодающей губернии некуда было пойти приготовиться к празднику. Они сидели в темноте, на конце длинной платформы.

Они чувствовали себя где-то страшно далеко от родных мест, среди чужих людей, под чужим небом. Первый раз в жизни им пришлось двинуться на «низы», на дальние заработки. Они всего боялись и даже перед носильщиками неловко и торопливо сдергивали свои растрепанные шапки. Уже второй день томились они скукой, ожидая, пока к ним выйдет тщедушная и горделивая фигурка помощника начальника станции (они уже успели прозвать его «кочетком») и строго объявит, когда и какой товарный поезд потянет их на Харцызскую. Со скуки они весь день проспали.

Надвигались тучи. Изредка обдавал теплый благовонный ветер, запах распускающихся тополей. Не смолкая ни на минуту, несся с ближнего болота злорадный хохот

лягушек и, как всякий непрерывный звук, не нарушал тишины. Направо едва-едва светил закат; тускло поблескивая, убегали туда рельсы. Налево уже стояла синяя темнота. Огонек диска висел в воздухе одинокой зеленовато-бледной звездочкой. Оттуда, с неизвестных степных мест, шла ночь...

— Ох, должно, не скоро еще! — шепотом сказал один, полулежавший около вокзальных ведер, и протяжно зевнул.

— Служба-то? — отозвался другой.— Должно, не скоро. Теперь не более семи.

— А то и всех восемь наберется,— добавил третий.

Всем было тяжко. Только один не хотел сознаться в этом.

— Ай соскучился? «А-а-а...» — зевнул он, передразнивая первого говорившего.— Гляди, ребята, заревет еще, пожалуй!

— Будя, Кирюх, буровить-то,— серьезно ответил первый и деловым тоном обратился к соседу: — Парменыч, поди глянь на часы, ты письмённый.

Парменыч отозвался добрым слабым голосом:

— Не уразумею, малый, по тутошним, все сбиваюсь: целых три стрелки.

— Да ай не все равно? — опять заметил Кирилл насмешливо.— Хушь смотри, хушь не смотри — одна честь...

Долго молчали. Тучи надвинулись, густая темнота теплой ночи мягко обнимала все. Старик открыл трубку, помял пальцем красневший в ней огонь и на время так жарко раскурил ее, что смутно осветил свои седые солдатские усы и ворот зипуна. На мгновение выступили из мрака и белая рубаха лежащего на животе Кирилла, и заскорузлые, изорванные полушубки двух других пожилых мужиков. Потом он закрыл трубку, попыхтел и покосился влево, на своего племянника. Тот дремал. Длинные худые ноги его, завернутые в белые суконные портянки, лежали без движения; по очертаниям худощавого тела было видно, что это совсем еще мальчик, истомленный и до времени вытянувшийся на работе.

— Федор, спишь? — тихо окликнул его старик.

— Н-нет,— ответил тот сиплым голосом.

Старик ласково наклонился к нему и, улыбаясь, шепотом спросил:

— Ай соскучился?

Ответ последовал не сразу:

— Чего ж мне скучать?
— Да ну! Ты скажи, не бойся.
— Я и так не боюсь.
— То-то, мол, не таись...

Федька молчал. Старик поглядел на его худенькие плечи... потом тихонько отвернулся.

Уже и на закате стемнело. Контуры вокзальных крыш едва рисовались на фоне ночного неба. Там, где оно сливалось с темнотою земли, перекрещивались и мигали зеленые, синие и красные огоньки. Осторожно лязгая колесами, прокатился мимо платформы паровоз, осветил ее красным отблеском растопленной печки, около которой, как в тесном уголке ада, копошились какие-то черные люди, и все опять потонуло в темноте. Мужики долго прислушивались, как он где-то в стороне сипел горячим паром.

Потом издалека гнусаво запел рожок. Из темноты и из-за разноцветных огней выделился треугольник огненных глаз. Он разгорался и приближался медленно-медленно, а за ним тянулся длинный, бесконечно длинный товарный поезд; подвигаясь все слабее, он остановился и затих. Через минуту что-то завизжало, заскрипело, вагоны дрогнули, подались назад — и замерли. Раздались чьи-то громкие голоса и тоже смолкли. Кто-то невидимый нес фонарь, и светлый круг, колеблясь, двигался по земле, под стеной вагонов.

— Тридцать четыре,— сказал один из мужиков.
— Кого? Вагонов-то? Боле будя.
— А может, и боле...

Федька облокотился на руку и долго глядел на темную массу паровоза, смутно освещенную посередине, слушал, как что-то клокотало и замирало в нем, как потом он отделился от поезда и, облегченно и тяжело дохнув несколько раз, ушел в темноту, отрывистыми свистками требуя пути... Ничто, ничто не напоминало тут праздника!

— Я думал, они хушь в праздник-то не ходят,— сказал Федька.

— Ну да, не ходят! Им нельзя не ходить...

И послышались несмелые предположения, что, может быть, с этим-то поездом их и отправят. Тяжело в такую ночь сидеть в темноте товарных вагонов, да уж все одно, лучше бы отправили!

Старик заговорил о Харцызской. Но впереди была полная неизвестность: и где эта Харцызская, и когда они

приедут туда, и какая будет работа, да и будет ли еще? Вот если бы земляков встретить, которые направили бы на хорошее место! А то, пожалуй, опять придется сидеть где-нибудь в томительном ожидании, запивать сухой хлеб теплой водой из вокзальной кадки. И тоска, тревога снова овладела всеми. Даже Кирилл заворочался, беспокойно зачесался, сел и опустил голову...

— И чего тут остались? — послышался один неуверенный голос.— Хушь бы в город пошли — авось всего версты четыре...

— А ну как сейчас велят садиться? — угрюмо ответил Кирилл.— Его пропустишь, а там и сиди опять десять ден.

— Надо пойтить спросить...

— Спросить? У кого?

— Да у начальника...

— И правда, пожалуй...

— Да его теперь небось нету...

— Ну, кто-нибудь за него...

— Служба-то и тут такая же будет,— проговорил Кирилл по-прежнему угрюмо.

— Не такая же, короткая, сказывали, будет... И разговеться тоже нечем...

— А как совсем пойдешь Христа ради?

И все с тоской поглядели на вокзальные постройки, где светились окна, где в каждой семье шли приготовления к празднику.

— Дни-то, дни-то какие! — со вздохом, слабым задушевным голосом сказал старик.— А мы, как татаре какие, и в церкви ни разу не были!

— Ты бы теперь уж на клиросе читал, дедушка...

Но старик не слыхал этих мягко и грустно сказанных слов. Он сидел и бормотал в раздумье:

«Предходят сему лицы ангельскии, со всяким началом и властью... лице закрывающе и вопиюще песнь аллилуия...»

И, помолчав, прибавил увереннее, глядя в одну точку перед собою:

«Воскресни, Боже, суди земли, яко Ты наследиши во всех языцех...»

Все упорно молчали.

Все думали об одном, всех соединяла одна грусть, одни воспоминания. Вот наступает вечер, наступает сдержанная суматоха последних приготовлений в церкви. На дворах запрягают лошадей, ходят мужики в новых сапо-

гах и еще распоясанных рубахах, с мокрыми расчесанными волосами; полунаряженные девки и бабы то и дело перебегают от изб к пунькам, в избах завязывают в платки куличи и пасхи... Потом деревня остается пустою и тихою... Над темной чертой горизонта, на фоне заката, видны силуэты идущих и едущих на село... На селе, около церкви, поскрипывают в темноте подъезжающие телеги; церковь освещается... В церкви уже идет чтение, уже теснота и легкая толкотня, пахнет восковыми свечами, новыми полушубками и свежими ситцами... А на паперти и на могилах, с другой стороны церкви, темнеют кучки народа, слышатся голоса...

Вдруг где-то далеко ударили в колокол. Мужики зашевелились, разом поднялись и, крестясь, с обнаженными головами, до земли поклонились на восток.

— Федор! Вставай! — взволнованно пробормотал старик.

Мальчик вскочил и закрестился быстро и нервно. Засуетились и прочие, торопливо накидывая на плечи котомки.

В окнах вокзала уже трепетали огни восковых свечей. Золотые иконы сливались с золотым их блеском. Зала третьего класса наполнялась служащими, рабочими. Мужики стали на платформе, у дверей, не смея войти в них.

Поспешно прошел молодой священник с причтом и стал облачаться в светлые ризы, шуршащие глазетом; он что-то говорил и зорко вглядывался в полусумрак наполнявшейся народом залы. Зажигаемые свечи осторожно потрескивали, ветерок колебал их огни. А издалека, под темным ночным небом, лился густой звон.

«Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небеси...» — торопясь, начал священник звонким тенором.

И как только он сказал это, вся толпа заволновалась, задвигалась, крестясь и кланяясь, и сразу стало светлее в зале, на всех лицах засиял теплый отблеск восковых свечей, загоревшихся во всех руках.

Одни мужики стояли в темноте. Они опустились на колени и торопливо крестились, то надолго припадая лбами к порогу, то жадно и скорбно смотря в глубину освещенной залы, на огни и иконы, подняв свои худые лица с пепельными губами, свои голодные глаза...

— Воскресни, Боже, суди земли!

1893

НА ХУТОРЕ

Долго-долго погорала заря бледным румянцем. Неуловимый свет и неуловимый сумрак мешались над равнинами хлебов. Темнело и в деревне,— одни оконца изб на выгоне еще отсвечивали медным блеском. Вечер был молчалив и спокоен. Загнали скотину, пришли с работ, поужинали на камнях перед избами и затихли... Не играли песен, не кричали ребятишки...

Все задумалось вечерней думой,— задумался и Капитон Иваныч, сидя у поднятого окна.

Усадьба его стояла на горе; мелкорослый сад, состоявший из акаций и сирени, заглохший в лопухах и чернобыльнике, шел вниз, к лощине. Из окна, через кусты, было далеко видно.

Поле молчало, лежало в бледной темноте. Воздух был сухой и теплый. Звезды в небе трепетали скромно и таинственно. И одни только кузнечики неутомимо стрекотали под окнами в чернобыльнике, да в степи отчетливо выкрикивал «пать-пальвать» перепел.

Капитон Иваныч был один — как всегда.

Ему словно на роду было написано всю жизнь прожить одиноко. Мать и отец его, очень бедные, мелкопоместные дворяне, проживавшие у князей Ногайских, умерли, когда ему было меньше году от рождения. Детство и отрочество он провел в доме сумасшедшей тетки, старой девы, и в школе кантонистов. В юности он писал песни, подражая Дельвигу и Кольцову, называл *ее* в своих стансах Валентиной — на деле ее звали Анютой, и была она дочь чиновника, служившего в комиссариате,— но взаимности не имел.

Имя у него было «как у дворецкого», наружность, не обращающая на себя внимания; смуглый, худощавый и высокий, он похож был, по отзывам приятелей, на

семинариста даже тогда, когда по протекции князя (недаром говорили, что князь — отец Капитона Ивановича), добился офицерского чина. Тут ему досталось именьице от тетки, и он вышел в отставку. Он еще воображал себя порою то героем из какого-нибудь романа Марлинского, то даже Печориным, стригся по новейшей моде — «а-ля полька»... Но ничего не вышло из этого. «Валентина» поехала гостить к подруге и вышла замуж. А он «до гробовой доски» запер стихи в шифоньерке.

Он стал хозяйствовать; думал служить в только что открывшемся земстве, но и в земстве ему не повезло: предводитель, закусывая однажды в буфете дворянского собрания, сказал, что Капитон Иваныч «добряк, но фантазер... старый фантазер... отживающий свое время тип...». Капитон Иваныч перезнакомился с соседями мелкопоместными и увлекся охотой, приобретя себе незаменимого друга в легавой Джальме. И дни пошли за днями и стали слагаться в годы... Он стал настоящим мелкопоместным, носил «тужурку» и длинные черные усы; забыл даже думать о своей наружности и, вероятно, не знал, что его смуглое, немного рябое лицо очень привлекательно своей спокойной добротою...

Нынче он грустил. Утром зашла богомолка Агафья, бывшая дворовая Капитона Иваныча, и, между прочим, сказала:

— А помните, сударь, Анну Григорьевну?

— Помню,— сказал Капитон Иваныч.

— Умерла-с. Великим постом схоронили.

Целый день потом Капитон Иваныч неопределенно улыбался. А вечером... Вечер настал такой тихий и грустный!

Капитон Иваныч не стал ужинать, не лег спать рано, как ложился обыкновенно. Он свернул толстую папиросу из черного крепкого табаку и все сидел у окна, поджав под себя одну ногу.

Ему хотелось куда-то пойти. Как человек, привыкший все спокойно обдумывать, он спрашивал себя: «куда?» Разве перепелов ловить? Но заря уже прошла, да и идти не с кем. Семен нынче в ночном... Да и что перепела!

Он вздыхал и почесывал свой давно не бритый подбородок.

Как, в сущности, коротка и бедна человеческая жизнь! Давно ли был он мальчиком, юношей? Школа кантонистов — хорошо, что теперь их нет более! — холод, голод,

поездки к тетке... Вот был человек! Он отлично помнил ее, старую худую деву с растрепанными, сухими черными волосами, с безумными глазами,— говорили, от несчастной любви сошла с ума,— помнил, как она, по старой институтской привычке, твердила наизусть французские басни, закатывая глаза и делая блаженную, важную физиономию; помнил и «Полонез» Огинского... Страстно и необычно звучал он, потому что с безумной страстью играла его старая дева... Ах, этот полонез! И *она* играла его...

Звезды в небе светят так скромно и загадочно; сухо трещат кузнечики, и убаюкивают и волнует этот шепот-треск... В зале стоят старинные фортепианы. Там открыты окна... Если бы туда вошла теперь она, легкая, как привидение, и заиграла, тронула старые звонко-отзывчивые клавиши! А потом они вышли бы из дома и пошли рядом полевой дорогою, между ржами, прямо туда, где далеко-далеко брезжит свет запада...

Капитон Иваныч поймал себя и усмехнулся.

— Расфа-нта-зировался...— протянул он вслух.

Трещали кузнечики в тихом вечернем воздухе, и из сада пахло лопухами, бледной, высокой «зарей» и крапивой. И этот запах напоминал — вечера, когда он приезжал домой, из города, и сладко было ему думать о ней, обманывать себя надеждами на счастье.

Ни одного огонька не светилось на деревне, когда он поднимался в гору. Все спало под открытым звездным небом. Темны и теплы были апрельские ночи; мягко благоухали сады черемухой, лягушки заводили в прудах дремотную, чуть звенящую музыку, которая так идет к ранней весне... И долго не спалось ему тогда на соломе, в садовом шалаше! По часам следил он за каждым огоньком, что мерцал и пропадал в мутно-молочном тумане дальних лощин; если оттуда с забытого пруда долетал иногда крик цапли — таинственным казался этот крик и таинственно стояла темнота в аллеях... А когда перед зарею, охваченный сочной свежестью сада, он открывал глаза — сквозь полураскрытую крышу шалаша на него глядели целомудренные предутренние звезды...

Капитон Иваныч встал и пошел по дому. Шаги его отдавались по комнатам, полы кое-где гнулись и скрипели.

«Восемьдесят лет домику! — думал Капитон Иваныч.— Вот осенью надо звать плотников, а то холод зимою будет ужасный!»

Шагая по зале, он чувствовал себя как-то неловко. Высокий, худой, немного сгорбленный, в длинных старых сапогах и расстегнутой тужурке, из-под которой виднелась ситцевая косоворотка, он бродил по залу и, поднимая брови, покачивая головою, напевал «Полонез». Он чувствовал, что он сам следит за своею походкою и фигурою, представляет себя как другого человека, шагающего в полусвете старинной залы, человека, который бродит один-одинешенек, которому грустно и которого ему до боли жаль... Он взял картуз и вышел из дому.

На дворе было светлее. Свет зари, погасающей за деревней, еще слабо разливался по двору.

— Михайла! — тихонько позвал Капитон Иваныч старого пастуха. Никто не откликнулся. Михайла ушел «ко двору, рубаху сменить».

Стараясь придумать себе дело, он направился по двору к варку: накосил ли Митька травы коровам? Но, думая совсем о другом, Капитон Иваныч только постоял у варка.

— Митька! — позвал он.

Опять никто не отозвался. Только за воротами тяжело-тяжело вздохнула корова и завозились и затрепыхали крыльями на насесте куры.

«Да и на что они мне нужны?» — подумал Капитон Иваныч и не спеша пошел за каретный сарай, туда, где начинались на косогоре ржи. Шурша, пробрался он по глухой крапиве на бугор, закурил и сел.

Широкая равнина лежала внизу в бледной темноте. С косогора была далеко видна молчаливо утонувшая в сумраке окрестность.

«Сижу, как сыч на бугре,— подумал Капитон Иваныч.— Вот, скажет народ, делать нечего старику!»

«А ведь правда — старик я,— продолжал он размышлять.— Умирать скоро... Вот и Анна Григорьевна померла... Где же это все девалося, все прежнее?»

Он долго смотрел в далекое поле, долго прислушивался к вечерней тишине...

— Как же это так? — сказал он вслух.— Будет все по-прежнему, будет садиться солнце, будут мужики с перевернутыми сохами ехать с поля... будут зори в рабочую пору, а я ничего этого не увижу, да не только не увижу — меня совсем не будет! И хоть тысяча лет пройдет — я никогда не появлюсь на свете, никогда не приду и не сяду на этом бугре! Где же я буду?

Сгорбившись, закрывши глаза и потягивая левою рукой черный, седеющий ус, он сидел, покачивался...

Сколько лет представлялось, что вот там-то, впереди, будет что-то значительное, главное... Был когда-то мальчиком, был молод... Потом... в жаркий день на выборы на дрожках ехал по большой дороге! — И Капитон Иваныч сам усмехнулся на такой скачок своих мыслей...

Но и это уже давно было. И вот доходишь до такой поры, в которой, говорят, все кончается; семьдесят, восемьдесят лет... а дальше уже и считать не принято! Что же, наконец, долга или коротка жизнь?

«Долга! — подумал Капитон Иваныч.— Да, все-таки долга!»

В темном небе вспыхнула и прокатилась звезда. Он поднял кверху старческие грустные глаза и долго смотрел в небо. И от этой глубины, мягкой темноты звездной бесконечности ему стало легче. «Ну, так что же! Тихо прожил, тихо и умру, как в свое время высохнет и свалится лист вот с этого кустика...» Очертания полей едва-едва обозначались теперь в ночном сумраке. Сумрак стал гуще, и звезды, казалось, сияли выше. Отчетливее слышался редкий крик перепелов. Свежее пахло травою... Он легко, свободно вздохнул полной грудью. Как живо чувствовал он свое кровное родство с этой безмолвной природой!

1892

ВЕСТИ С РОДИНЫ

«А право,— с улыбкой подумал Волков, сидя вечером в собрании сельскохозяйственного общества,— нигде так не развиваются способности к живописи, как на заседаниях! Ишь, как старательно выводят!»

Головы сидящих за зеленым освещенным столом были наклонены; все рисовали — вензеля, монограммы, необыкновенные профили. Чай, бесшумно разносимый сторожами, изредка прерывал эти занятия. Спор вице-президента с одним из членов общества на время оживил всех; но доклад, который монотонно начал читать секретарь, снова заставил всех взяться за карандаши. Рассеянно глядя на белую руку президента, в которой дымилась папироса, Волков почувствовал, что его трогают за рукав: перед ним стоял его товарищ по агрономическому институту и сожитель по меблированным комнатам, поляк Свида, высокий, худой и угловатый в своем старом мундире.

— Здравствуйте,— сказал он шепотом,— о чем речь?

— Доклад Толвинского: «Из практики сохранения кормовой свекловицы».

Свида сел и, протирая снятые очки, утомленными глазами посмотрел на Волкова.

— Там вам телеграмму принесли,— сказал он и поднял очки, разглядывая их на свет.

— Из института? — быстро спросил Волков.

— Не могу знать.

— Из института, верно,— сказал Волков.

И, поднявшись торопливо, на цыпочках пошел из залы. В швейцарской, где уже не надо было держать себя напряженно, он вздохнул свободнее, быстро надел шинель и вышел на улицу.

Дул сырой мартовский ветер. Темное небо над

освещенной улицей казалось черным, тяжелым пологом. Около колеблющихся в фонарях газовых рожков видно было, как из этой непроглядной темноты одна за другой неслись белые снежинки. Волков поднял воротник и быстро пошел по мокрым и блестящим асфальтовым панелям, засовывая руки в карманы.

«И чего только не рисуют,— думал он.— И как старательно!»

Темнота, сырой ветер, треск проносящихся экипажей не мешали его спокойному и бодрому настроению. Телеграмма, верно, из института... Да она теперь и не нужна. Он уже знал, что через полмесяца будет помощником директора опытного поля; перевезет туда все свои книги, гербарии, коллекции, образцы почв... Все это надо будет уставить, разложить (он уже ясно представлял себе свою комнату и себя самого за столом, в блузе), а затем начать работать серьезно — и практически, и по части диссертации...

— «Восста-аньте из гробов!» — пропел он с веселым пафосом, заворачивая за угол, и столкнулся с невысоким господином, у которого из-под шапки блеснули очки.

— Иван Трофимыч?

Иван Трофимыч живо вскинул кверху бородку и, улыбаясь, стиснул руку Волкова своею холодною и мокрою маленькой рукою.

— Вы откуда?

— Из сельскохозяйственного,— ответил Волков.

— Что же так рано?

— «По домашним обстоятельствам». А вы?

— Из конторы. Работаем, батенька...

— У вас, значит, и вечерние занятия?

— Да, то есть нет, только весною — к отчету подгоняем... Да скверно, знаете... Даже не скверно, собственно говоря, а прямо-таки — подло... Бессмыслица...

Иван Трофимыч запустил руки в карманы и съежился в своем пальтишке с небольшим, потешным воротником из старого меха.

— Почему? — спросил Волков.

Иван Трофимыч встрепенулся.

— То есть как почему? Да на кой черт кому нужна эта работа? Какой смысл, позвольте спросить, в этих пудоверстах, осе-верстах, пробегах и во всяких этих столах переборов и всяческих ахинеях?

— Ну, положим, смысл-то есть...

— Белиберда! — воскликнул Иван Трофимыч с сердцем.

Волков снисходительно улыбнулся.

— Ну, идите куда-нибудь еще,— сказал он спокойно.

— То есть куда это?

— Да у вас ведь имеется диплом?

— Самый форменный.

— Ну, и что же?

— Ну, и что же? — повторил Иван Трофимыч, поднимая брови и сверкая очками.— Вы думаете, я не ушел бы? Да ради Бога — куда угодно! Вы подумайте только,— начал он с напряжением, отчетливо, беря Волкова за борт пальто, но Волков перебил его:

— Отчего же не идете?

— Вам сколько лет? — вдруг спросил Иван Трофимыч.

— Двадцать четыре года пять месяцев. А что?

— Ну, вот видите! А мне сорок... И главное, никуда, то есть так-таки никуда меня не пустят. Я ведь якутский человек. Понимаете? Вот теперь люди мрут от голода, есть живое, святое дело... Понимаете? Святое! А разве нас с вами пустят туда?

— Я занимаюсь наукой и работаю, могу сказать, серьезно,— сказал Волков.

— И пудо-верстами вы бы занялись так же серьезно?

— Пожалуй, и пудо-верстами... Я, право, не понимаю, господа...

— Прекрасно,— почти закричал Иван Трофимыч,— я отлично знаю, что вы, господа, многого действительно не понимаете! Только вот что, батенька,— утешаю себя недоверием, понимаете, утешаю себя тем, что многие из вас только играют в эту трезвость! Разумеется, уже сама по себе эта игра...

— Именно играть-то мы и не хотим,— перебил Волков.— Вы говорите: идите, помогайте. А мы будем помогать наукой, а не «хорошими» словами.

Иван Трофимыч махнул рукой.

— Мы, знаете, так раскричались с вами,— сказал он с улыбкой и крепко пожал руку Волкова,— будьте здоровы!

И, повернувшись, съежился и скрылся за углом.

Волков постоял, подумал... И, мгновенно забыв об Иване Трофимыче, зашагал еще быстрее.

Он торопливо пробежал лестницу своих меблированных комнат, отпер номер и при спичке разорвал телеграмму.

«Посылаются пятницу девятнадцатого»,— стояло в ней.

На столе, кроме телеграммы, лежали два письма. Адрес на одном из них написан был рукой зятя. Волков зажег свечи, сел на диван и с улыбкой принялся за письмо.

«Любезный брат Дмитрий,— читал он,— мы, разумеется, все живы и здоровы, про тебя, конечно, ничего не знаем: как уехал, прислал два слова; пиши, брат, пожалуйста, поскорее, приедешь ли ты хоть к Святой неделе. Отвечай поскорее, а то вот-вот полая вода и на станцию не будет ни проходу, ни проезду...»

Волков перевернул страницу и стал просматривать конец письма:

«Невозможно проехать в город, все метели, а голодают у нас здорово. Впрочем, я тебе не писал со Святок, и ты не знаешь, что в Двориках умерло несколько человек. Умерла, брат, наша Федора, кривой солдат воргольский и Мишка Шмыренок. У Мишки прежде умер ребенок, а на первой неделе и сам он — от голодного тифа...»

Волков вдруг опустил письмо... переставил подсвечник и снова с ужасом и напряжением перечитал эти две строки:

«...Умерла Федора, кривой солдат воргольский и Мишка Шмыренок...»

— Не может быть! — сказал он громко, поднимаясь,— не может быть! Мишка, друг детства... головастиков вместе ловили... от голода!

Волков опять сел, криво улыбнулся, снова вскочил и торопливо пошел к дверям. Но от двери он круто повернулся и зашагал по комнате, быстро пощелкивая пальцами и ловя разлетевшиеся мысли...

Он читал в газетах, что там-то и там-то люди пухнут от голода, уходят целыми деревнями побираться, покупал сборники и всякие книжки в пользу голодающих или, как на них печаталось, «в пользу пострадавших от неурожая». Но те, пухнувшие от голода, казанские мужики не отделялись от газетных строк; а это не казанские мужики, это истомился и свалился с ног и скончался на холодной печке Мишка Шмыренок, с которым он когда-то, как с родным братом, спал на своей детской кроватке, звонко

перекликался, купаясь в пруде, ловил головастиков. И вот он умер, и в распутицу для него ездили в село за тесом на гроб. Максим, колесник, сколотил этот гроб, и в него положили детски-худое тело Мишки. У него и прежде были узкие плечи, худощавое лицо... Но еще худее стал он, когда его, в белой новой рубахе, клали в гроб. И наутро этот гроб поставили на розвальни и повезли по весенним полям в село...

Наклонившись под кровать, Волков вытащил оттуда большой деревянный ящик. В ящике лежало несколько ветхих детских учебников, и на исподней стороне их переплетов Волков увидал рисунки Мишки: кривой дом с зигзагообразным дымом из трубы, удивительно изогнувшийся конь с хвостом, похожим на этот дым, и разъехавшиеся в разные стороны каракули: «Михаил Колесов»...

Еще до сих пор от этих книг пахло курной избой. Вместе с Мишкой бегал он в Дворики учиться по ним у солдата Савелия. Там, при тусклом свете коптящей лампочки, за столом сидела толпа ребятишек. Поминутно чмокала отворявшаяся дверь, и словно вплывали в волнах пара новые ученики. Шумно усаживались они за стол и, положив на него локти и болтая под лавкой ногами, наперебой начинали долбить уроки.

— «Богородица-диво-радуйся... Богородица-диво-радуйся...» — тоненьким голоском заливался Мишка.

— «А ну-ка, Бишка, почитай, что в книжке...» — сосредоточенно бубнил старостин сын Никитка, толстый малый, который всегда сидел без полушубка, но в шарфе.

Сам Догадун, староста, коренастый мужик с румяным лицом и сивыми кудрями, расчесанными на прямой ряд, стоял против стола, опершись на сажень, с которой не расставался.

— Никит,— перебивал он иногда важно,— ты что учишь?

Никитка решительно откашливался, краснел и отвечал сиплым шепотом.

— Выучил?

— Нет еще.

— Ну, так стой, погоди, ребята,— продолжал Догадун,— разгадай задачу... А вы все, ребята, тоже не дреми!

И он начинал:

— Шли пять стариц, и несли они, ребята, по пяти

костылей. На кажном костылю — по пяти суков, на кажном суку — по пяти кошелей, у кажном кошеле — по пяти пирогов, у кажном пирогу... к примеру сказать, по пяти воробьев. Сколько это воробьев выходит?.. Ну-ка, барчук?

И с каким удовольствием барчук забивался тогда с Мишкой в угол и каким торопливым шепотом начинал считать воробьев, пока явившаяся за ним кухарка не увозила их обоих на розвальнях домой!

Мать Мишки жила тогда у Волковых. Теперешний помощник директора опытного поля ревел тогда по целым вечерам, если к нему не пускали Мишку. У Мишки болели с лета губы от лопухов и козельчиков, и боялись, что это пристанет к барчуку. Но Мишка успевал-таки иногда удрать в хоромы. Вечером он внезапно влетал в детскую.

— Насилушка убег,— говорил он, запыхавшись, и его глазки сверкали радостью.

От него пахло снегом, зимней свежестью; он летел по сугробам босой, в изорванной на животе рубашонке и коротеньких портчонках. Нянька с неудовольствием поглядывала на него, грязного от сажи, оборванного и взлохмаченного. Но Митя испускал при его появлении звонкий крик, настаивал, чтобы Мишка непременно остался с ним в детской на ночь. Весь вечер они строили на постели «кутки», были «нарочно разбойники», разглядывали и вырезывали картинки...

«Как же так случилось,— думал Волков,— как могло это случиться — эта голодная смерть?»

Его повезли в летний день в тарантасе в город в гимназию. Мишка только за гумном успел увидеть его. Он с утра сидел в конопляник, желая проститься с ним. В дом, где была суета, его не пускала мать... И когда Митя довольно холодно попрощался с ним, он повернулся, заплакал и тихо пошел по меже к деревне, поддерживая одной рукой штанишки и ступая босыми ножками по горячей пыли... Митя же глядел вперед, все мысли его заняты были только новым кепи...

В гимназии он стоял на актах и ждал книжки с золоченым переплетом, а Мишка в это время стоял с плетушкой колоса около риги... Надвигались зимние сумерки... все было серо, тихо в деревушке, приютившейся около лощинки, среди снежных полей, слившихся с темным небом... слышались голоса баб, скликавших выпущенных

овец — «вычь, вычь, вычь!..». Покачивая бадьей, его мать шла в лощинку за снеговой водою...

Митя в бессознательном веселье напивался на первых студенческих вечеринках, а Мишка был в это время уже хозяин, мужик, обремененный горем и семьею. В те зимние ночи, когда Митя, среди говора, дыма и хлопанья пивных пробок, до хрипоты спорил или пел: «Из страны, страны далекой...», Мишка шел с обозом в город... В поле бушевала вьюга... В темноте брели по пояс в снегу мужики, не присаживаясь до самого рассвета: на санях были навалены бочки с винокуренного завода. Иногда весь обоз останавливался... Сквозь вьюгу и ветер слышалась перекличка, ругань... Мишке приходилось лазить по сугробам, отыскивая дорогу, или одеревеневшими пальцами и зубами затягивать оборвавшуюся завертку...

Когда Митя приезжал гимназистом на каникулы, он еще был близок с Мишкой. Он просил его говорить ему «ты», они ходили с ним ловить перепелов, вели задушевные беседы, лежа по ночам на межах, среди ржей. Но потом...

Волков закрыл лицо руками. Он вспомнил свою последнюю встречу с Мишкой,— месяца три тому назад, на Рождестве.

Волков был в деревне. На хутор съехалось много гостей. На другой день Нового года задумали ехать в город, в театр, и ночью поехали на тройках на станцию.

Ночь была страшно морозная и ветреная; сухой, мерзлый снег визжал и скрипел под санями; за необозримым мертвым полем всходил красный огромный месяц, и в его низком свете видно было, как задирала и дымилась поземка. Волков, отвернувшись от колючего ветра, слушал визг саней и курил папиросу; ветер разносил красные искры и доносил до него отрывки разговоров, смех, звон бубенчиков на другой тройке... Кто-то крикнул: «пошел», лошади рванулись, ветер стал кидать снегом в лицо и размахивать и отбрасывать обмерзший воротник. Волков приподнялся, чтобы поправить шубу... Чья-то пешая, занесенная снегом фигура мелькнула перед ним.

На станции пришлось ждать долго, и когда Волков пошел пред приходом поезда в залу третьего класса за билетом, то увидал эту фигуру около дверей.

— Мишка! Ты? — воскликнул Волков.

И вдруг случилось то, от чего теперь у него облилось

сердце кровью: Мишка, прежде веселый, бойкий, торопливо сдернул шапчонку и ответил испуганно и покорно:

— Я-с, Дмитрий Петрович...

— Ты зачем здесь? — спросил Волков, подавая ему руку.

Он был в растрепанных лаптях, и углы воротника его рваного зипуна торчали по-нищенски, закрывая исхудалое, больное лицо.

— Попроситься в город,— отвечал Мишка простуженным голосом.

— Как попроситься?

— На машину...

— Да как попроситься?

Мишка слабо улыбнулся.

— Даром не проедешь,— сказал он тихо.

Волков купил ему билет, всунул его в руку ему. Мишка, стоя без шапки, долго и безучастно глядел на билет.

В поезде Волков вспомнил про Мишку снова и пошел искать его. В промерзлом, трещащем на ходу вагоне он увидал его около красной, раскаленной печки.

— Ты зачем в город-то?

— Беда! — заговорил Мишка монотонно.— Може, в городе что найду... Совсем обезживотел...

— Не может быть! — воскликнул опять Волков.— Не может этого быть!.. Коллекции, гербарии... «Кормовая свекловица»... Какая галиматья!

И, стискивая пальцы, стал хохотать и качаться, как от зубной боли.

1893

НА КРАЙ СВЕТА

I

То, что так долго всех волновало и тревожило, наконец разрешилось: Великий Перевоз сразу опустел наполовину.

Много белых и голубых хат осиротело в этот летний вечер. Много народу навек покинуло родимое село — его зеленые переулки между садами, пыльный базарный выгон, где так весело в солнечное воскресное утро, когда кругом стоит говор, гудит бранью и спорами корчма, выкрикивают торговки, поют нищие, пиликает скрипка, меланхолично жужжит лира, а важные волы, прикрывая от солнца глаза, сонно жуют сено под эти нестройные звуки; покинуло разноцветные огороды и густые верболозы с матово-бледной длинной листвой над криницею, при спуске к затону реки, где в тихие вечера в воде что-то стонет глухо и однотонно, словно дует в пустую бочку; навсегда покинуло родину для далеких уссурийских земель и ушло «на край света»...

Когда на село, расположенное в долине, легла широкая прохладная тень от горы, закрывающей запад, а в долине, к горизонту, все зарумянилось отблеском заката, зарделись рощи, вспыхнули алым глянцем изгибы реки и за рекой как золото засверкали равнины песков, народ, пестреющий яркими, праздничными нарядами, собрался на зеленую леваду, к белой старинной церковке, где молились еще казаки и чумаки перед своими далекими походами.

Там, под открытым небом, между нагруженных телег, начался молебен, и в толпе воцарилась мертвая тишина. Голос священника звучал внятно и раздельно, и каждое слово молитвы проникало до глубины каждого сердца...

Много слез упало на этом месте и в былые дни.

Стояли здесь когда-то снаряженные в далекий путь «лыцари». Они тоже прощались, как перед кончиной, и с детьми и с женами, и не в одном сердце заранее звучала тогда величаво-грустная «дума» о том, «як на Чорному морі, на білому камені сидить ясен сокіл-білозірець, жалібненько квилить-проквиляє...». Многих из них ожидали «кайдани турецькії, каторга бусурманськая», и «сиві тумани» в дороге, и одинокая смерть под степным курганом, и стаи орлов сизокрылых, что будут «на чорнії кудрі наступати, з лоба очі козацькії видирати...». Но тогда надо всем витала гордая казацкая воля. А теперь стоит серая толпа, которую навсегда выгоняет на край света не прихоть казацкая, а нищета, эти желтые пески, что сверкают за рекою. И как на великой панихиде, заказанной по самом себе, тихо стоял народ на молебне с поникшими, обнаженными головами. Только ласточки звонко щебетали над ними, проносясь и утопая в вечернем воздухе, в голубом глубоком небе...

А потом поднялись вопли. И среди гортанного говора, плача и криков двинулся обоз по дороге в гору. В последний раз показался Великий Перевоз в родной долине — и скрылся... И сам обоз скрылся наконец за хлебами, в полях, в блеске низкого вечернего солнца...

II

Провожавшие возвращались домой.

Народ толпами валил под гору, к хатам. Были и такие, что только вздохнули и пошли домой торопливо и беспечно. Но таких было мало.

Молча, покорно согнувшись, шли старики и старухи; хмурились суровые хозяйственные мужики; плакали дети, которых тащили за маленькие ручки отцы и матери; громко кричали молодые бабы и дивчата.

Вот две спускаются под гору, по каменистой дороге. Одна, крепкая, невысокая, хмурит брови и рассеянно смотрит своими черными серьезными глазами куда-то вдаль, по долине. Другая, высокая, худенькая, плачет... Обе наряжены по-праздничному, но как горько плачет одна, прижимая к глазам рукава сорочки! Спотыкаются сафьяновые сапоги, на которые так красиво падает из-под плахты белоснежный подол... Звонко, с неудержимой радостью пела она до глубокой ночи, бегая на реку с вед-

рами, когда отец Юхыма твердо сказал, что не пойдет на новые места. А потом...

— Прокинулись сю ніч,— говорил Юхым растерянно,— прокинулись вони, Зинька, та й кажуть: «Їдемо на переселенне!» — «Як же так, тату, вы ж казали...» — «Ні, кажуть, я сон бачив...»

А вот на горе, около мельниц, стоит в толпе стариков старый Василь Шкуть. Он высок, широкоплеч и сутул. От всей фигуры его еще веет степной мощью, но какое у него скорбное лицо! Ему вот-вот собираться в могилу, а он уже никогда больше не услышит родного слова и помрет в чужой хате, и некому будет ему глаза закрыть. Перед смертью оторвали его от семьи, от детей и внучат. Он бы дошел, он еще крепок, но где же взять эти семьдесят рублей, которых не хватило для разрешения идти на новые земли?

Старики, рассеянно переговариваясь, каждый со своей думой, стоят на горе. Они все глядят в ту сторону, куда отбыли земляки.

Уже давно не стало видно и последней телеги. Опустела степь. Весело и кротко распевают, сыплют трели жаворонки. Мирно и спокойно догорает ясный день. Привольно зеленеют кругом хлеба и травы, далеко-далеко темнеют курганы; а за курганами необъятным полукругом простерся горизонт, между землей и небом охватывает степь полоса голубоватой воздушной бездны, как полоса далекого моря.

«Що воно таке, сей Уссурійський край?» — думают старики, прикрывая глаза от солнца, и напрягают воображение представить себе эту сказочную страну на конце света и то громадное пространство, что залегает между ней и Великим Перевозом, мысленно увидать, как тянется длинный обоз, нагруженный добром, бабами и детьми, медленно скрипят колеса, бегут собаки и шагают за обозом по мягкой пыльной дороге, пригретой догорающим солнцем, «дядьки» в широких шароварах.

Небось и они все глядят в эту загадочную голубоватую даль:

«Що воно таке, сей Уссурійський край?»

А старый Шкуть, опершись на палку, надвинув на лоб шапку, представляет себе воз сына и с покорной улыбкой бормочет:

— Я йому, бачите, і пилу і фуганок дав... і як хату строїть він тепер знає... Не пропаде!

— Богато людей загинуло! — говорят, не слушая его, другие.— Богато, богато!

III

Темнеет — и странная тишина царит в селе.

Теплые южные сумерки неясной дымкой смягчают вечернюю синеву глубокой долины, затушевывают эту огромную картину широкой низменности с темными кущами прибрежных рощ, с тускло блестящими изгибами речки, с одинокими тополями, что чернеют над долиной. Старинный Великий Перевоз сереет своими скученными хатами в котловине у подошвы каменистой горы. Смутно, как полосы спелых ржей, желтеют за рекой пески. За песками, уже совсем неясно, темнеют леса. И даль становится дымчато лиловой и сливается с сумеречными небесами.

Все как всегда бывало в этой мирной долине в летние сумерки... Но нет, не все! Много стоит хат темных, забитых и немых...

Уже почти все разбрелись по домам. Пустеет дорога. Медленно бредет по ней несколько человек, провожавших переселенцев до ближнего перекрестка.

Они чувствуют ту внезапную пустоту в сердце и непонятную тишину вокруг себя, которая всегда охватывает человека после тревоги проводов, при возвращении в опустевший дом. Спускаясь под гору, они глядят на село другими глазами, чем прежде,— точно после долгой отлучки...

Вот расстилается пахучий дымок над чьей-то хатой... покойно и буднично...

Вот красной звездочкой, среди темных садов, среди скученных дворов, загорелся огонек...

Глядя на огоньки и в долину, медленно расходятся старики, и на горе, близ дороги, остаются одни темные ветряки с неподвижно распростертыми крыльями.

Молча идет под гору, улыбаясь своей странной улыбкой старческого горя, Василь Шкуть. Медленно отложил он калитку, медленно прошел через дворик и скрылся в хате.

Хата родная. Но Шкуть в ней больше не хозяин. Ее купили чужие люди и позволили ему только «дожить» в ней. Это надо сделать поскорее...

В теплом и душном мраке хаты выжидательно трюкает сверчок из-за печки... словно прислушивается... Сонные мухи гудят по потолку... Старик, согнувшись, сидит в темноте и безмолвии.

Что-то он думает? Может быть, про то, как где-то там, по смутно белеющей дороге, тихо поскрипывает обоз? — Э, да что про то и думать!

Звонкий девический голос замирает за рекою:

Ой, зійди, зійди,
Ясен місяцю!

Глубокое молчание. Южное ночное небо в крупных жемчужных звездах. Темный силуэт неподвижного тополя рисуется на фоне ночного неба. Под ним чернеет крыша, белеют стены хаты. Звезды сияют сквозь листья и ветви...

IV

А они еще недалеко.

Они ночуют в степи, под родным небом, но им уже кажется, что они за тысячу верст ото всего привычного, родного.

Как цыганский табор, расположились они у дороги. Распрягли лошадей, сварили ужин; то вели беспокойные разговоры, то угрюмо молчали и сторонились друг друга...

Наконец, все стихло.

В звездном свете темнели беспорядочно скученные возы, виднелись фигуры лежащих людей и наклоненных к траве лошадей. Сторожевые, с кнутами в руках, сонно ежились возле телег, зевали и с тоской глядели в темную степь...

Но с какой радостью встрепенулись они, когда услыхали скрип проезжей телеги! Земляк! Они окружили его, улыбались и жали ему руку, словно не видались много-много лет.

Разбуженные говором, подымались с земли и другие и, застенчиво скрывая свою радость, тоже толпились у телеги проезжего, закуривали трубки и были готовы говорить хоть до самого света...

Потом опять все затихло.

Взволнованные встречей, засыпали они, закрывая головы свитками, и все думали об одном,— о далекой

неизвестной стране на краю света, о дорогах и больших реках в пути, о родном покинутом селе...

Холоднело. Все спало крепким сном — и люди, и дороги, и межи, и росистые хлеба.

С отдаленного хутора чуть слышно донесся крик петуха. Серп месяца, мутно-красный и поникший на сторону, показался на краю неба. Он почти не светил. Только небо около него приняло зеленоватый оттенок, почернела степь от горизонта да на горизонте выступило что-то темное. Это были курганы. И только звезды и курганы слушали мертвую тишину на степи и дыхание людей, позабывших во сне свое горе и далекие дороги.

Но что им, этим вековым молчаливым курганам, до горя или радости каких-то существ, которые проживут мгновение и уступят место другим таким же — снова волноваться и радоваться и так же бесследно исчезнуть с лица земли? Много ночевавших в степи обозов и станов, много людей, много горя и радости видели эти курганы.

Одни звезды, может быть, знают, как свято человеческое горе!

1894

СВЯТЫЕ ГОРЫ

I

Путь к Донцу, к древнему монастырю на Святых Горах, пролегает на юго-восток, на Азовские степи.

Ранним утром Великой субботы я был уже под Славянском. Но до Святых Гор оставалось еще верст двадцать, и нужно было идти поспешно. Этот день мне хотелось провести в обители.

Предо мной серело пустынное поле. Один сторожевой курган стоял вдалеке и, казалось, зорко глядел на равнины. С утра в степи было по-весеннему холодно и ветрено; ветер просушивал колеи грязной дороги и шуршал прошлогодним бурьяном. Но за мной, на западе, картинно рисовалась на горизонте гряда меловых гор. Темнея пятнами лесов, как старинное, тусклое серебро чернью, она тонула в утреннем тумане. Ветер дул мне навстречу, холодил лицо, рукава, степь увлекала, завладевала душой, наполняла ее чувством радости, свежести.

За курганом блеснула круглая ложбина, налитая весенней водой. Я свернул к ней на отдых. Есть что-то чистое и веселое в этих полевых апрельских болотцах; над ними вьются звонкоголосые чибисы, серенькие трясогузки щеголевато и легко перебегают по их бережкам и оставляют на иле свои тонкие, звездообразные следы, а в мелкой, прозрачной воде их отражается ясная лазурь и белые облака весеннего неба. Курган был дикий, еще ни разу не тронутый плугом. Он расплывался на два холма и, словно поблекшей скатертью из мутно-зеленого бархата, был покрыт прошлогодней травой. Седой ковыль тихо покачивался на его склонах — жалкие остатки ковыля. Время его, подумал я, навсегда проходит; в вековом забытье он только смутно вспоминает теперь далекое былое, прежние степи и прежних людей, души которых были роднее и ближе ему, лучше нас

умели понимать его шепот, полный от века задумчивости пустыни, так много говорящей без слов о ничтожестве земного существования.

Отдыхая, я долго лежал на кургане. С полей уже тянуло теплом. Облака светлели, таяли. Жаворонки, невидимые в воздухе, напоенном парами и светом, заливались над степью безотчетно-радостными трелями. Ветер стал ласковый, мягкий. Солнце согревало меня, и я закрывал глаза, чувствуя себя бесконечно счастливым. В южных степях каждый курган кажется молчаливым памятником какой-нибудь поэтической были. А побывать на Донце, на Малом Танаисе, воспетом «Словом»,— это была моя давнишняя мечта. Донец видел Игоря,— может быть, видел Игоря и Святогорский монастырь. Сколько раз разрушался он до основания и пустели его разбитые стены! Сколько претерпел он, стоя на татарских путях, в диких степных равнинах, когда иноки его были еще воинами, когда они переживали долгие осады от полчищ диких орд и воровских людей!

Скрип телеги, на которой сидел старик, свесив с грядки ноги в допотопных сапогах, и сопение волов, которые, покачиваясь и вытягивая шеи, придавленные тяжелым ярмом, медленно тащились по дороге, разогнали мои думы. Я зашагал еще поспешнее.

Полоса леса серовато чернела вдали. Я не сводил с нее глаз, думая, что за лесом-то и откроется долина Донца и Горы. Лес оказался очень старым, заглохшим. Меня поразила его безжизненная тишина, его корявые, иссохшие дебри. Замедляя шаги, я с трудом пробирался по хворосту и бурелому, который гнил в грязи глубоких рытвин дороги. Ни одной птицы не слышно было в чащах. Иногда дорогу затопляло целое болото весенней воды. Сухие деревья сквозили кругом; их кривые сучья бросали слабые, бледные тени.

Скоро, однако, в пролете лесной дороги снова проглянула просторная вольная даль. Сухой степной ветер все усиливался, разгоняя в ярком весеннем небе белые облака, делая даль бесконечной. Монастыря же все не было.

Хохол, к которому я подходил с расспросами о дороге, рослый мужик с маленькой головой, одетый в короткую, словно из осиновой коры сшитую свитку, не спеша шел за плугом. Плуг тащили четыре вола, а волов вела девочка.

— Тату! — сказала она мужику, обращая его внимание на меня.

Он остановился.

— Эта дорога на Святые Горы? — спросил я.

— А куды вам треба?

— В монастырь.

— Якій монастырь?

— Да вы разве никогда не были на Святых Горах?

— В якономії?

— Да не в экономии, а в самом монастыре, в церкви.

— У церкві? Та у нас своя церква на селі.

— А в монастыре?

— Та був, ще хлопцем. Тоді чума на скот була, так казали, що там пробував такий монах, що знав замовляти. От і ходили усі, у кого скотина боліла; звісно, молебствіе служили і в село привозили того инока. Ну, походив він по дворах, покропив водою, а про те ничого не помоглось.

— Так это дорога туда?

— Эге ж...

И хохол, даже не взглянув на меня, снова спокойно пошел за плугом.

Я уже чувствовал усталость. Ноги ныли в пыльных, горячих сапогах. И я принялся считать шаги, и занятие это так увлекло меня, что я очнулся только тогда, когда дорога круто завернула влево и вдруг ослепила резкой белизной мела. Вдалеке, налево, на самом горизонте, над чащей леса сверкал золотой звездой купол церкви. Но я едва взглянул туда. Передо мной, в огромной, глубокой долине, открылся Донец.

Долго простоял я неподвижно, глядя на мутную синеву этих привольных лугов. Все они были затоплены водой,— Донец был в разливе. Стальные полосы реки сверкали в чащах коричневых камышей и залитых половодьем прибрежных лесов, а к югу разливались еще шире, совсем уже смутные у подножья далеких меловых гор. И горы эти белели так смутно-смутно... Потом я обгонял идущий на богомолье народ — женщин, подростков, дряхлых калек, с выцветшими от времени и степных ветров глазами, и все думал о старине, о той чудной власти, которая дана прошлому... Откуда она и что она значит?

Между тем монастырь все еще не показывался. Небо потускнело, ветер начал пылить по дороге, и в степи

стало скучно. Донец скрылся за холмами. Я попросил проезжего хлопца подвезти меня, и он посадил меня в свою тележку на двух колесах. Мы разговорились, и я не заметил, как мы въехали в лес и стали спускаться под гору.

Все круче, отвеснее становилась горная дорога, каменистая, узкая, живописная. Мы спускались все ниже и ниже, а столетние красноватые стволы мачтовых сосен, гордо выделяясь среди разнообразной лесной заросли, мощно вцепившись корнями в каменистые берега дороги, плавно подымались все выше и выше, возносились зелеными кронами к голубому небу. Небо над нами казалось еще глубже и невиннее, и чистая, как это небо, радость наполняла душу. А внизу, сквозь зеленую чащу леса, между соснами, вдруг проглянула глубокая и, как показалось, тесная долина, золотые кресты, купола и белые стены домов у подошвы лесистой горы — все скученное, картинно сокращенное отдалением,— и светлая полоса узкого Донца, и густая синева воздуха над сплошными луговыми лесами за ним...

II

Донец под Святыми Горами быстр и узок. Правый берег его возвышается почти отвесной стеной и тоже щетинится лесной чащей. Под ним-то и стоит белокаменная обитель с величавым, грубо раскрашенным собором посреди двора. Выше, на полугоре, белея в зелени леса, висят два меловых конуса, два серых утеса, за которыми ютится старинная церковка. А еще выше, уже на самом горном перевале, рисуется в небе другая.

С юга надвигалась туча, но весенний вечер был еще ясен и тепел. Солнце медленно уходило за горы; широкая тень стлалась по Донцу от них. По каменному двору обители, мимо собора, я пошел к крытым галереям, что ведут в гору. В этот час пусто было в их бесконечных переходах. И чем выше подымался я, тем все более веяло на меня суровой монастырской жизнью — от этих картинок, изображающих скиты и кельи отшельников с гробами вместо ночных лож, от этих печатных поучений, развешанных на стенах, даже от каждой стертой и ветхой ступеньки. В полусумраке этих переходов чудились тени отошедших от мира сего иноков, строгих, молчаливых схимников...

Меня тянуло туда, к меловым серым конусам, к месту

той пещеры, где в трудах и молитве, простой и возвышенный духом, проводил свои дни первый человек этих гор, та великая душа, которая полюбила горный хребет над Малым Танаисом. Дико и глухо было тогда в первобытных лесах, куда пришел святой человек. Лес бесконечно синел под ним. Лес глушил берега, и только река, одинокая и свободная, плескала и плескала своими холодными волнами под его навесом. И какая тишина царила кругом! Резкий крик птицы, треск сучьев под ногами дикой козы, хриплый хохот кукушки и сумеречное уханье филина — все гулко отдавалось в лесах. Ночью величавый мрак простирался над ними. По шороху и плеску воды угадывал инок, что вплавь переходят Донец люди. Молчаливо, как рать дьяволов, перебирались они через реку, шуршали по кустам и исчезали во мраке. Жутко тогда было в горной норе одинокому человеку, но до рассвета мерцала его свечечка и до рассвета звучали его молитвы. А утром, изнуренный ночными ужасами и бдением, но с светлым лицом, выходил он на Божий день, на дневную работу, и опять кротко и тихо было в его сердце...

Глубоко внизу подо мною все тонуло в теплых сумерках, мелькали огни. Там уже начиналась сдержанно-радостная тревога приготовлений к светлой заутрене. А здесь, за меловыми утесами, было тихо и еще брезжил свет зари. Птицы, живущие в трещинах скал и под карнизами церковки, реяли вокруг, визжа, как старый флюгер, и всплывали снизу и неслышно падали вниз, в сумрак, на своих мягких крыльях. Туча с юга заволокла все небо, вея теплотой дождя, весенней душистой грозы, и уже содрогалась от вспышек молний. Сосны горного обрыва слились в темную опушку и чернели, как горб спящего зверя...

Я успел сходить и на вершину горы, в верхнюю церковку, нарушил шагами ее гробовую тишину. Монах, как привидение, стоял за ящиком с свечами. Два-три огонька чуть потрескивали... Поставил и я свою свечу за того, кто, слабый и преклонный летами, падал ниц в этом маленьком храме в те давние грозные ночи, когда костры осады пылали под стенами обители...

III

Утро было праздничное, жаркое; радостно, наперебой трезвонили над Донцом, над зелеными горами колокола, уносились туда, где в ясном воздухе стремилась к небу

белая церковка на горном перевале. Говор гулом стоял над рекой, а на баркасе прибывало по ней в монастырь все больше и больше народу, все гуще пестрели праздничные малороссийские наряды. Я нанял лодку, и молоденькая хохлушка легко и быстро погнала ее против течения по прозрачной воде Донца, в тени береговой зелени. И девичье личико, и солнце, и тени, и быстрая речка — все было так прелестно в это милое утро...

Я побывал в скиту — там было тихо, и бледная зелень березок слабо шепталась, как на кладбище,— и стал взбираться в гору.

Взбираться было трудно. Нога глубоко тонула во мху, буреломе и мягкой прелой листве, гадюки то и дело быстро и упруго выскальзывали из-под ног. Зной, полный тяжелого смолистого аромата, неподвижно стоял под навесами сосен. Зато какая даль открылась подо мною, как хороша была с этой высоты долина, темный бархат ее лесов, как сверкали разливы Донца в солнечном блеске, какою горячею жизнью юга дышало все кругом! То-то, должно быть, дико-радостно билось сердце какого-нибудь воина полков Игоревых, когда, выскочив на храпящем коне на эту высь, повисал он над обрывом, среди могучей чащи сосен, убегающих вниз!

А в сумерках я уже опять шагал в степи. Ветер ласково веял мне в лицо с молчаливых курганов. И, отдыхая на них, один-одинешенек среди ровных бесконечных полей, я опять думал о старине, о людях, почивающих в степных могилах под смутный шелест седого ковыля...

1895



УЧИТЕЛЬ

I

Накануне сочельника учитель земской школы в Можаровке, Николай Нилыч Турбин, занимался очень неохотно. Класс был наполовину пуст. Турбин с усилием дотягивал занятия до половины второго. За последнее время во многих неприятностях и в утомительной работе он подкреплял себя напряженным ожиданием праздника и надеждой съездить домой. Но ехать оказалось не на что. Турбин давно уже понял, что никуда не поедет, но сказать себе это определенно все оттягивал. Теперь больше всего хотелось остаться одному. «Обсудим, обсудим!» — думал он беспокойно, прикрывая глаза, и ребята думали, что он или сердит, или нездоров. И правда, к концу занятий у него начало ломить в левой стороне головы.

Когда же школа опустела, Турбин со злобой прихлопнул дверь в передней и быстро пошел в свою комнату.

— Пусть будет так! — сказал он и, хмурясь, скинул с себя пиджак. Повесив его под простыню на стену, он накинул на себя длинный тулуп, крытый казинетом, и лег на кровать. «Ночной зефир струит эфир...» — напевал он мысленно. В голове стояло одно и то же: «Пусть будет так! — черт его побери, не ехать так не ехать... эка важность!» Тащиться к дьячку обедать не хотелось. Левая сторона головы продолжала болеть. Он обмял плечом подушку поудобнее и старался не шевелиться.

Сквозь дремоту он слышал, как приходил сторож Павел, обивал от снега лапти, крякал с мороза, сморкался и гремел ведрами; видел сквозь полузакрытые веки, что в комнате разливается отсвет заката, и чувствовал, что от холода стынут ноги и кончик носа...

II

Турбину шел двадцать четвертый год. Был он белокур, очень высок ростом, худ и от застенчивости очень неловок. Был он сын сельского дьякона, учился в семинарии, но курса не кончил: по бедности пришлось вернуться домой; дома он все выписывал программы, думая приготовиться то в юнкерскую, то в межевую школу. Кончил, однако, экзаменом на сельского учителя и рад был этому. Жить дома было тяжело. Матери он не помнил, а дьякон отличался болезненно-угрюмым характером; лицо у него было как на старинных иконах у схимников,— темное, деревянное, фигура сухая, сутулая; говорил он глухим басом и все кашлял, заправляя за ухо длинные косицы седых волос. Даже тон его был всегда один — такой, словно он старался вразумить, растолковать, образумить.

Однако, проживши год одиноко, Турбин стал вспоминать об отце с тоской и нежностью, дни и ночи мечтал о поездке домой. Он все обманывал себя надеждами на будущее: вот, мол, дай только это время пережить, а там... все пойдет прекрасно. Лето он пробыл на кондиции — из-за одного содержания — у богатого лесорубщика и думал отправиться домой в августе, хотя недельки на две. Но нужно было справить к зиме тулуп. Осенью он надеялся на святки. Со всеми подробностями представлял он себе, как приедет домой... долго будет сидеть с отцом в первый вечер за самоваром, в знакомой чистой и теплой хате, задушевно будет говорить с ним до поздней ночи. А потом поедет в большое торговое село к двоюродной сестре; у сестры будут каждый вечер гости, барышни и молодые люди с фабрики. «Надо будет захватить с собою гитару»,— думал Турбин.

Чтобы скопить денег, он от священника перешел обедать и ужинать к дьячку. Но в ноябре отец написал ему, что он должен ехать в губернский город лечиться, и просил денег. Чтобы предупредить отказ, письмо было строго и властно. Внизу же была приписка: «А последнее мое слово: имей Бога и сознание, пожалей мою старость». И учитель отослал все свое сбережение. Осталась надежда заработать корреспонденциями. Он стал почти ежедневно посылать в губернский город статейки под заглавием: «Родные отголоски» и за подписью «Ариель». Но из них взяли только пару заметок — о дождях и о несчастном случае на винокуренном заводе.

III

Школа стояла одиночкой, на горе. Слева были церковь и кладбище, походившее на запущенный сад, справа — косогор. Дорога шла из полей мимо училища влево под гору. Под горой, ниже кладбища, жили духовные; против них, через дорогу, стояли лавка и кабак Грибакина. На той стороне, за речкой, была усадьба Линтварева с белыми хоромами и скучно синеющими рядами елей перед ними. Винокуренный завод вечно дымился в стороне от нее, над речкой. Подле него находились неуклюжие заводские строения — очистные, подвальные — и домики на манер железнодорожных — для служащих.

С завода приходили к Грибакину гости — старый барский повар, всеми уважаемый за его поездку в Иерусалим, о которой он постоянно со смирением и важностью рассказывал, и за его близкое знакомство с интимной жизнью господ, конторщики, подвальные, дистиллятор, медник. Это был народ, лавочнику нужный; по вечерам они забавлялись у него стуколкой. Турбин избегал попадать на такие вечера: его усаживали за карты, а он не любил проигрываться. Да и Грибакин обходился с ним учтиво, но холодно. Весной он заметил, что у его жены, нахально-красивой молодой женщины, стали завязываться с учителем какие-то особенные разговоры, заметил и не подал виду, выжидая, что дальше будет: такой он был благообразный и вежливый старичок в опрятной серой поддевочке. И правда, учитель нравился лавочнице. Но он старался отделываться от нее шуточками. Она сперва покрикивала на него — «это еще что за новости?»,— а потом начала звать гулять на кладбище и все чаще напевать сдержанно-страстно, прикрывая, как бы в изнеможении, глаза:

Вот скоро, скоро я уеду,
Забудь мой рост, мои черты!

Тогда Турбин стал пропадать по вечерам в поле. «Пойдут сплетни,— думал он,— различные неприятности... немыслимо!» И лавочница стала говорить ему при встречах дерзости.

«Ага,— думал Грибакин,— перековала язычок!»

В гостях на заводской стороне учитель бывал у дистиллятора Таубкина. Таубкин, молодой еврей, рыжий и золотушный, в золотых очках для близоруких, был

человек очень радушный, и у него собиралась большая компания. Но между нею и учителем отношения тоже как-то не завязывались. Учитель дичился, а заводские все были друг с другом запанибрата,— все жили дружно, одними интересами, часто бывали друг у друга, пили портвейн и закусывали сардинами, танцевали под аристон, а после играли в «шестьдесят шесть». Старшие рабочие на заводе из очистной, здоровые мужики в фартуках, отличались во всем грубой решительностью и собственным достоинством. Учитель некоторых из них побаивался даже,— например, посыльного на почту: говорил ему «вы», давал на водку, но посыльный все-таки поражал его своим презрительным спокойствием.

IV

Осень началась солнечными днями.

По воскресеньям Турбин с утра уходил в поле, туда, где видны были на горизонте станция и один за другим уходящие вдаль телеграфные столбы. Его тянуло туда, потому что в ту сторону поезд должен был унести его на родину.

С утра было светло и тихо. Низкое солнце блестело ослепительно. Белый, холодный туман затоплял реку. Белый дым таял в солнечных лучах над крышами изб и уходил в бирюзовое небо. В барском парке, прохваченном ночною сыростью, на низах стояли холодные синие тени и пахло прелым листом и яблоками; на полянах, в солнечном блеске, сверкали паутины и неподвижно рдели светло-золотые клены. Резкий крик дроздов иногда нарушал тишину. Листья, пригретые солнцем, слабо колеблясь, падали на темные, сырые дорожки. Сад пустел и дичал; далеко виден был в нем полураскрытый, покинутый шалаш садовника.

Не спеша, учитель всходил на гору. Село лежало в широкой котловине. Ровно тянулся ввысь дым завода; в ясном небе кружили и сверкали белые голуби. На деревне всюду резко желтела новая солома, слышался говор, с громом неслись через мост порожние телеги... А в открытом поле — под солнцем, к югу — все блестело; к северу горизонт был темен и тяжел и резко отделялся грифельным цветом от желтой скатерти жнивья. Издалека можно было различить фигуры женщин, работающих на картофельных полосах, медленно едущего по

полю мужика. Золотистыми кострами пылали в лощинах лесочки. Кирпично краснели крыши помещичьих хуторов. Учитель напряженно смотрел на них. Им овладевало беспокойство одиночества, тянуло в эту неизвестную ему среду, в новую обстановку, где жизнь, как ему казалось, проходит свободно, легко, весело. И за думами о помещичьей жизни он совсем не видел простора, красоты, которая была вокруг.

На месте срубленного леса белела щепа, среди обрубленных сучьев и поблекших листьев возвышались три длинные, тонкие березки с уцелевшими макушками. Их очертания так хорошо гармонировали с открытыми далями. А Турбин, при виде этих березок, всегда вспоминал, что здесь он встретил жену Линтварева. С Линтваревыми он познакомился и встречался несколько раз на станции. Они держали себя с ним просто и даже ласково. Про Линтварева было слышно, что он окончил курс в университете, увлечен земскими делами, профессиональным образованием. Все это, с придачей богатства и знатности, внушило Турбину большое уважение к Линтваревым. При встрече с ним жена Линтварева так ласково улыбнулась ему и показалась так изящна и аристократична, что учитель покраснел от радости и тут же решил непременно побывать у них в гостях, завязать прочное знакомство. Он долго глядел вслед ее английскому шарабану. Он не видел, куда идет, мечтая о том, как он будет сидеть у Линтварева на балконе, вести интересный, живой разговор, пить прекрасный чай и курить дорогую сигару...

V

В конце сентября, в октябре дожди лили с утра до ночи. Линтваревы уехали. Сад их почернел, стал как будто ниже и меньше.

Деревня приняла темный, жалкий вид. Холодный ветер затягивал окрестности туманной сеткой дождя. В училище запахло кислой печной сыростью, стало холодно, темно и неуютно.

Турбин вставал еще при огне, в ту неприязненную пору, когда, после мрачной дождливой ночи, над грязными полянами, над колеями дорог, полными водою, недовольно начинал дымиться бледный рассвет. Будил стук дверей. Ребята натаскивали на лаптях в переднюю

грязи, возились, топали и кричали. В двери несло ледяной сыростью. С дрожью подходил учитель к умывальнику. Потом спешно пил горячий жидкий чай вприкуску и тушил лампочку. После ее желтого света в комнате синел холодный утренний сумрак. В этом сумраке учитель входил в класс и, завернувшись в тулуп, натягивая его на холодеющие колени, садился за свой стол. Начиналась упорная работа. Сперва он горячился, напрягал все усилия говорить понятней и сдержаннее, потом только смотрел, как сечет в окна косой дождь и тянутся обозы к заводу; мужики шлепали по грязи, накрывшись рогожами; от потных, потемневших лошадей валил пар. И все представлял учитель самого себя едущим на вокзал в телеге: телега медленно качается, хлюпает по дороге, и заливается-стонет ветер, гнет в поле одинокую голую березку...

Оживлялся он при говоре и толкотне уходивших учеников.

— Здорово льет? — спрашивал он Павла, засовывая ноги в старые большие калоши.

— Кажись, перестает,— каждый день отвечал на это Павел.

— По морю, яко посуху,— каждый день говорил лавочник, стоя под навесом кабака, и снисходительно смеялся.

Турбин, всегда в этот момент перебиравшийся на другую, менее грязную сторону дороги, махал с ответным смехом рукою и вдруг делал со всех своих длинных ног гигантский, отчаянный шаг. Шлепнув калошей в лужу и видя, что над этим прыжком покатывается со смеху сидящая за шитьем под окном лавочница, он, с кривой улыбкой, неловко пробирался под плетнем дальше.

— Писем, Иван Филимонович, нету? — кричал он издалека лавочнику.— Вы, говорят, на станции были?

— Пишут-с!

— То-то несуразный-то! — говорила лавочница как бы с сожалением, качая головою и откусывая нитку.

Дьячок Скрябин был самый убогий человек в селе. Унылый, поблекший нос, жидкая коса, слезящиеся глаза — все в нем напоминало старуху. Тяжело было глядеть, как он весной, в полую воду, или осенью, под дождем, брел к выгону в огромных растрепанных валенках, внутри которых была солома. На клиросе он читал и подпевал разбитым голосом так, словно он был выпив-

ши или бредил. В избе у него, как и у большинства духовных, было довольно чисто и уютно, но толклось семь человек детей. Никто не обращал на них внимания. И сам Скрябин, и жена его только и думали с утра до ночи что об еде. Скрябин ел походя: то лазил в печку за картофелем, то пек яйца, то наливал через полчаса после обеда чашку похлебки, то жевал хлеб. Раза три или четыре в день он возился с самоваром, собирал щепки, раздувал его то губами, то старым голенищем. У жены Скрябина было приветливое, открытое и покорное лицо. Когда в октябре она умерла перед концом беременности, Турбин долго не мог без содрогания видеть ее хибарки.

Чаще всего после обеда он бывал в гостях у священника о. Федора Рокотова. Священник выходил заспанный, с светлыми слезящимися глазами и красными полосами на виске от рубцов подушки. Он улыбался и говорил с благодушным снисхождением к своей слабости:

— А я прилег на минуту, да и задремал, как сурок...

Вечером затевалась игра в преферанс на орехи. Иногда Турбин играл с поповной на двух гитарах «В глубокой теснине Дарьяла», «Раздумье Вольтера» или на мотив малороссийского казачка «Прибежали в избу дети»... Томной меланхолией звучали струны гитар. Священник острил насчет худобы и роста Турбина. И Турбин всегда при этом смеялся, прикрывая, по своей манере, рот рукою.

VI

Деревня тонула в сырых сумерках, зажигались на заводе огни и тянуло дымом самоваров, а он скользил по липкой грязи, мучился медленным восхождением на гору. Темь, холод, запах угарной печки и одиночество встречали его в безмолвном училище. Но первое время это не смущало его. Первый год в школе прошел как-то удивительно быстро. Турбин мечтал. Молодым скрытным семинаром он мечтал о многом — думал стать миссионером, городским священником. Представлял он себя в губернском городе о. Николаем в шелковой лиловой рясе, на которую падают выхоленные кудри, даже почему-то в золотых очках, как протоиерей в Вознесенском соборе. Мечтал о жизни с достатком, думал вести хорошее знакомство, быть человеком просвещенным, следящим за наукой, за политикой. Эти мечты погибли. Едучи

в школу, он весь был переполнен рвением поскорее начать работать, сразу сделать свою школу образцовой, пописывать статейки по народному образованию, приняться за составление учебников. День за днем тускнели эти мечты. В Можаровке близость завода наводила его на мысль попасть на службу по акцизу, да так, чтобы годиков через пять получать тысячи три, а то и четыре,— бывали примеры.

Но прежде всего необходимо заняться самообразованием,— решил он,— это прежде всего; завести знакомство, почувствовать себя человеком. Вот только дай пройдет эта осень! Съезжу домой, а вернусь — буду ходить к Линтвареву, буду, Бог даст, с живыми, настоящими людьми общаться...

И, волнуясь, он расхаживал по своей комнате. Потом брал выпрошенную еще в семинарии у товарища книжку журнала и принимался за статью: «Взгляд на русское судоустройство и судопроизводство». Но статья была невеселая. Осилив несколько страниц, Турбин опускал книгу, закрывал глаза и опять отдавался думам... Иногда, поздней ночью, растроганный нежностью к отцу, Турбин писал к нему длинные письма; но наутро они казались ему витиеватыми и невыразительными, и он не посылал их...

Когда обнаружилось, что ехать не на что, вечера изменились. Он стал проводить их в беспокойной тоске и бесплодных придумываниях, как устроить эту поездку. Иногда он решался даже на последнее средство — занять денег. Но тотчас же отказывался от него. «Немыслимо! Долги — погибель!» Проклиная в душе и себя, и темноту, и училище, он шагал к дьячку ужинать. Возвратясь, тотчас же завертывался в тулуп и ложился в постель. Вся тоска осенних дней охватывала его тогда. Черная ночь глядела в окна. На деревне во мраке зиял огнями завод; огненными искрами роились его высокие трубы; когда тяжелым взмахом налетал ветер, чаще и гуще стрекал косой дождь в стекла окон и еще жалобней завывало в печке... А на рассвете отдаленными-отдаленными, протяжными стонами доносилась перекличка петухов; медленно-медленно пробуждалась после долгой ночи жизнь. Дождь стихал; холоднело; ветер гнал в холодном небе белесые космы туч. Над деревней, над голыми полями занимался новый скучный день...

А потом пошли метели, засыпая снегом избы, слепя

окна. Побелевшая деревня еще более опустела и затихла — даже собаки забивались в сенцы.

С утра до ночи неслась над ней вьюга и стояли мутные сумерки. В белой пыли тонули и завод и церковь. Ветер по ночам жалобно перезванивал на колокольне...

VII

Часов около шести Павел с громом уронил на пол вьюшку. Чтобы загладить свою неловкость, он закряхтел и чмокнул губами:

— Ну и студено же на дворе! Вызвездило — страсть!

— А ты плешивых посчитай! — раздался из темноты спокойный голос учителя.

— Ай, проснулись!

— Подремал,— отвечал учитель, зевая.

На душе у него было пусто. Он спустил длинные ноги с кровати и соображал, идти или нет к дьячку. Есть хотелось,— надо было идти.

На селе было темно и тихо. Морозило; на черном небе сверкали крупные звезды. Лай собачонки с того боку деревни звонко отдавался в чистом воздухе... Свежесть зимней ночи ободрила Турбина.

— Отцу Алексею — почтение! — сказал он шутливо-громко и с ударением на «о», нагибаясь и входя в избушку дьячка.— С преддверием!

Дьячок чинил хомут, сидя на лавке около коптившей лампочки. Он медленно поднял голову и, приложив большой палец к ноздре, сильно дунул носом в сторону. И опять посмотрел на Турбина сквозь висевшие на кончике носа очки.

— Не на званом ли обеде были? — спросил он, слабо улыбаясь и утирая нос полою.

— На званом, отец Алексей, на званом.

Старшая дочка дьячка, косенькая, миловидная и тихая девочка лет шести, шлепая босыми ножками по полу, собрала на стол. Турбин молча принялся хлебать щи.

— Попробую и я с вами...— сказал дьячок, откладывая хомут в сторону, подошел к лейке над лоханью, плеснул водой на руки и взялся за ложку.

Косенькая девочка молча стояла у печки. Дьячок посмотрел на нее, опустил голову и сказал:

— Еже во плоти Рождество Господа нашего Иисуса Христа... Да... воспоминание избавления церкви и державы...

А там и отдание праздника, и Новый год... Что-то я забыл, когда восход солнца? Заход знаю, а вот восход? Вы не помните?

Турбин захохотал, откинувшись к стене и закрыв рот рукою.

— А на что он вам, отец Алексей?

Девочка подошла к столу и серьезно стала убирать ложки. Турбин смолк и поскорее выбрался на улицу.

— Эхе-хе-хе-хе! — говорил он, шагая в гору и качая головой.

На полугоре он остановился и глубоко вздохнул свежим воздухом.

«Какой же, собственно, смысл в тоске? — подумал он.— Живут и хуже моего!»

К удивлению его, в училище светился огонь. Не отец ли приехал? Или кто-нибудь из забытых товарищей? Но тогда у крыльца были бы лошади... «Наверно, Слепушкин или Кондрат Семеныч».

VIII

Кондрат Семеныч был сын обедневшего помещика, учился в гимназии, но дотянул только до пятого класса. Этому, впрочем, помогло и то, что на охоте с борзыми он сломал себе ногу. От отца Кондрату Семенычу осталось только тридцать десятин земли, небольшой флигелек на выезде Можаровки, шитье с дворянского мундира, портрет Николая I, два бронзовые шандала и дорожный ларчик красного дерева, из затейливых ящиков которого пахло старинными кислыми духами. Кондрат Семеныч сдал исполу мужикам землю, нанял кучера, записного охотника и пьяницу Ваську, и уже не разлучался с ним.

Кондрат Семеныч был широкоплеч, небольшого роста, особенно тогда, когда оседал на левый бок, на хромую ногу; черные волосы его кудрявились, а загорелое, кирпичного цвета лицо оживлялось маленькими веселыми глазками; нижняя челюсть выдавалась у него, но это придавало ему только добродушное выражение; концы черных усиков на короткой верхней губе лихо завивались кверху.

Душа у Кондрата Семеныча была добрая, открытая. Пил он и в кабаках, и в гостях, и на охоте, лгал, хвастался отчаянно и не скрывал этого: «А я тебе, брат, чертовски

брехал вчера»,— сплетничал без всякой предвзятой цели — просто под влиянием расположения к другу, а друзьями у него на селе были почти все. Колтыхая по деревенской улице, он так же дружески встречался и с помещиком, как и ставил ногу на втулку колеса к мужику, насыпая из его кисета цигарку махоркой. Носил, как все мелкопоместные, длинные сапоги, шаровары, картуз и поддевку, которая издавала какой-то особый запах — запах пороха и лошади; как и они, любил хвастнуть своей рыженькой троечкой.

Турбин был у него раза два. Он надеялся через Кондрата Семеныча познакомиться со многими помещиками. Но тот только силился напоить его. К тому же и обстановка у него была не такая, какую думал встретить Турбин: крыльцо перед домом было разрушено; в прихожей пол был как в свиной закуте — так он был унавожен жившими здесь и зиму и лето турманами, которые при входе людей поднимались тучей, с шумом и свистом крыльев, и совсем затемняли свет, проникавший сквозь радужные от времени стекла. В углу залы был насыпан ворох овса; тут же на соломе повизгивали, ползали и тыкались слепыми мордами гончие щенята; большая красивая сука, спавшая возле них, подняла голову с лап и наполнила всю залу музыкальным лаем. Голые стены кабинета были темны от табаку и мух; над турецким диваном висели нагайки, кинжалы и желтые шкурки лисиц. Под окном, на письменном столе, кучей была насыпана махорка, стояла коробка колесной мази, лежала шлея; из-под стола зеленела четверть водки. Турбин чувствовал себя неприятно. Не нравилось ему и то, что Кондрат Семеныч говорил ему «ты» и называл его циркулем.

Слепушкин служил на заводе подкурщиком; лицо у него было толстое, обрюзглое и темное, как у заправского алкоголика, голос тяжелый, фигура медведя. Пил Слепушкин водку, смешанную с пивом: такой состав назывался «ершом», по трудности проглотить его сразу. В гостях у Турбина он засиживался до трех часов ночи и часто просил писать к лавочнику записки, чтобы тот прислал «дюжинку».

— Не понимаю,— говорил он сонно, облокотясь на стол и глядя на учителя свинцовыми глазами,— не понимаю этих нежностей: ведь мне он не поверит... а я, надеюсь, в состоянии заплатить вам этот несчастный целковый.

— Само собой,— говорил Турбин, расхаживая по комнате,— я не сомневаюсь, но право же...

— Само собой, само собой! — дразнил Слепушкин.

— Пусть будет так...— начинал Турбин,— но главная вещь...

Тогда Слепушкин подымался.

— А уж этого «пусть будет так» я совсем не выношу! — говорил он с искренним презрением.— Вероятно, мы теперь не скоро увидимся.

IX

С неудовольствием вспоминая все это, Турбин подошел к училищу и заглянул в окно.

Кондрат Семеныч лежал на кровати. Таубкин, выгнув сутулую спину и запустив руки в карманы модных узких брюк, сверкал очками. Слепушкин сосредоточенно играл на гитаре, опустив голову и покачиваясь. Ему вторил на гармонике один из подвальных, Митька Лызлов, белобрысый и безусый. Он играл и с блаженной усмешкой тянул фальцетом:

А всем барышням-модисткам
По поклончику по низком!

Но кто-то был еще, какой-то благообразный господин с лысиной во всю голову, с длинными черными баками. Осторожно Турбин пробрался к противоположному окну, и даже руки у него похолодели: это был Прохор Матвеич, линтваревский лакей.

«Значит, Линтварев приехал,— думал Турбин.— Но какова это будет штука, если я пойду к нему, буду сидеть в зале — и вдруг входит Прохор Матвеевич?»

Стук двери и голоса послышались на крыльце. Турбин прижался за угол. По снегу заскрипели шаги, Лызлов звонко заиграл на гармонике. Турбин осторожно пробрался в школу. Дверь на крыльцо осталась открытой; в комнате пахло табаком и свежестью морозного воздуха. Турбин поморщился. Но вдруг взгляд его упал на стол: конверт из плотной бумаги! Турбин смешался, покраснел, неловко рванул его...

«Многоуважаемый Николай Нилыч,— стояло в письме,— простите за поздний ответ. В тот приезд, как получил ваше письмо, я не успел ответить, а теперь хотелось бы поговорить с вами лично по поводу вашей просьбы,

почему надеюсь, что вы не откажете мне в удовольствии видеть вас у себя на второй день праздника вечером. Преданный вам Линтварев».

Это был ответ на просьбу Турбина помочь школе учебниками. Но теперь Турбину было не до учебников; он ходил по комнате и бормотал с сияющим лицом:

— Преданный! Гм... Вот, ей-Богу, чудак!..

И внутри у него все дрожало от радости.

X

К утру сочельника комната его сильно настудилась. Вода в умывальнике замерзла. Стекла окон были сверху донизу запушены инеем и зарисованы серебряными пальмовыми листьями, узорчатыми папоротниками. Турбин спал крепко, а проснулся с ощущением какой-то хорошей цели. Он вскочил и отдернул примерзшую форточку. Резкий скрип саней стоял над всем выгоном: из-под горы тянулся длинный обоз, весь завеянный ночной поземкой; морды лошадей были в кудрявом инее. Все тонуло в ярких, но удивительно нежных и чистых красках северного утра. Выгоны, лозины, избы — все казалось снеговыми изваяниями. И на всем уже сиял огнистый блеск восходящего солнца. Турбин заглянул из форточки влево и увидал его за церковью во всем ослепительном великолепии, в морозном кольце с двумя другими, отраженными солнцами.

— Поразительно! — воскликнул он и, торопливо захлопнув форточку, юркнул под одеяло.

— Уши! — сказал он громко и засмеялся, вспомнив, что мужики называют эти отражения солнца «ушами».

Передняя, куда он вышел умываться, вся была озарена солнцем. Он долго и особенно тщательно мылся, потом заглянул в классную: и там было теперь весело от солнца и тишины предпраздничного утра. «Не шуми ты, рожь...» — затянул он во все горло... Голос гулко отдался в пустой комнате, и это напомнило ему его одиночество. Он замолк и пошел в переднюю пить чай на окне, при солнце. Сообразивши, что идти к обедне уже поздно, он даже обрадовался. Его тянуло обдумать, получше обдумать что-то. Но, подавляя внутреннюю торопливость, он убрал чашки и самовар, надел новое пальто и медленно вышел.

Щурясь от ослепительного сверканья на парче снега,

от блестящих, отшлифованных, как слоновая кость, ухабов дороги, глубоко дыша холодным воздухом, он шел и все любовался деревней, синими резкими тенями около строений и горизонтом зеленоватого неба над далеким лесочком в снежном поле: туда, к горизонту, небо было особенно нежно и ясно. Иней приятно садился на веки, пар шел от дыханья, солнце пригревало щеку... Хорошо бы теперь откинуться в задок барских саней, полузакрыть глаза и только покачиваться, слушая, как заливается колокольчик над тройкой, запряженной впротяжку!

«Ну, так как же? Иду, значит? Или нет — не сто́ит?» — думал Турбин, шагая.

В душе он еще вчера решил, что пойдет. «Да, так лучше,— говорил он себе,— пойду на третий день, утром, по делу, ненадолго. Немыслимо сразу в гости прийти... это он для приличия... Поговорю и уйду. А там, на Новый год, примерно, уж и вечерком можно».

Незаметно он уходил все дальше и, говоря одно, повторял в то же время другое: «Ну, так как же?..» Представив себе все неприятности этого посещения, он тотчас же начинал разубеждать себя в этом, говорил, что «глупо рисовать все в дурном смысле», что он не хуже других... В конце концов эта путаница мысли испортила ему настроение, утомила, стала мучить. Он поспешно пошел обедать.

Вернувшись и увидя свою бедную комнатку вымытой и прибранной к празднику, он почувствовал себя совсем одиноким и стал думать спокойнее и серьезнее.

XI

Наступил праздник.

Турбин чувствовал себя как-то особенно, как привык чувствовать себя с детства в большие праздники, чинно стоял в церкви, чинно разговлялся у батюшки. Дома, не зная, за что приняться, он бесцельно походил по классу, заглянул в окно... В безлюдье села чувствовалось: все дождались чего-то, оделись получше и не знают, что делать. С утра было серо и ветрено. После полудня воздух прояснился, облачное небо посинело, бледно-желтым пятном обозначилось солнце, снег стал ярче и желтее, поземка струйками закурилась на гребнях сугробов, подхватываясь и развеваясь белой пылью, криво понеслись по ветру галки. Проезжий мужик повязал уши плат-

ком, стал на колени и погнал лошадь. Розвальни бежали, разрывая переносы сухого снега на обмерзлой дороге, постукивая и раскатываясь...

Скука с новой силой охватила Турбина.

Но вечером, когда он пошел на заводскую сторону, он неожиданно столкнулся с Линтваревым и совершенно потерялся от смущения.

— С праздником! — сказал он не то галантно, не то в шутку, неестественно изгибаясь.

Линтварев был среднего роста, с простым приятным лицом, с русою бородкой и ласковыми глазами. На нем был полушубок и валенки, на голове — барашковая шапка.

— Ах, Николай Нилыч! — сказал он, встрепенувшись, как будто даже заискивающе.— Здравствуйте, здравствуйте!.. Благодарю вас... Ну, что, как вы,— не соскучились?

— Пока еще нет,— ответил Турбин, краснея и силясь вложить в каждое слово не то что-то особенное, не то ироническое.

— Да, да...

Постояли, помялись.

— Ну, так увидимся? До завтра?

Турбин опять не то галантно, не то комически раскланялся.

Домой он шел очень быстро. Как быть, где взять крахмальную рубашку? В вышитой положительно невозможно!

XII

Вечером он долго, с великим трудом зашивал задник сапога нитками и замазывал их чернилами.

Все утро он ходил по комнатам в одном белье, умывался, несколько раз принимался чистить сапоги, пачкал и опять мыл руки и все думал о рубашке.

— Ничего не придумаешь! — говорил он, останавливаясь среди комнаты.— Послать к Слепушкину? Немыслимо! Начнут судить, рядить... дойдет до Линтварева... Гадость!

Но нечто подобное случилось.

Около полудня к крыльцу школы подлетела тройка Кондрата Семеныча. С мороза его лицо было особенно свежо и темно-красно. Подбородок был выбрит, усы

чернели ярко и лихо. На нем была сюртучная пара; в передней он сбросил енотовую шубу. Коренастый, приземистый,— об дорогу не расшибешь, что называется,— бойко прихрамывая, он быстро вошел к Турбину, крепко поцеловался с ним, причем на Турбина пахнуло морозной свежестью и запахом закуски, и тотчас принял живейшее участие в заботах о его наряде.

— Валяй, брат, валяй смелей!

Турбин хотя и относился к Кондрату Семенычу как к человеку пустому, однако знал, что Кондрат Семеныч «бывал в обществе» и может подать совет.

— Как валять-то? — говорил он, сдерживая улыбку.— Тут такая неприятная история! Рубашки крахмальной нет!

Кондрат Семеныч качнул головой.

— Это, брат, скверно. В вышитой явиться в первый раз в дом — нахальство!

— Ну, так как же! — говорил Турбин растерянно.

— Ни черта,— сказал Кондрат Семеныч.— Не робей!

И, отворив форточку, он своим хриплым охотничьим голосом гаркнул:

— Васька! Домой валяй! Духом доставь рубашку крахмальную... в сундуке, под летней поддевкой...

Пока Василий ездил за рубашкой, Кондрат Семеныч рассказал, где он успел уже побывать, и с улыбкой сатира, от которой заблестели его маленькие карие глаза, вытащил из рукава шубы бутылку водки.

— Хвати для храбрости! Хочешь? — говорил он, обивая сургуч с горлышка.

— Ну уж нет!

— Что, думаешь, пахнуть будет? Ни капельки. Только чаем зажуй. А впрочем, черт с тобой. Нет ли чашечки?

Выпив и закусив кренделем, Кондрат Семеныч заговорил серьезно:

— Ты, брат, себя поразвязней держи, посвободнее. А то ведь будешь сидеть, как кнут проглотил.

— А как брюки? ничего? — спрашивал Турбин.

Кондрат Семеныч оглядел их с полной добросовестностью и подумал.

— Сойдет! — сказал он решительно,— за милую душу сойдет. Только вот смяты немного. Снимай, давай разгладим.

— Нет, нет, пустяки,— пробормотал Турбин, густо краснея.

— Ну, как знаешь.

Кондрат Семеныч лег на постель и вполголоса запел:

Вода — для рыбы, раков,
А мы, герои, водку пьем!

В это время Васька внес рубашку. Но едва Турбин надел ее, Кондрат Семеныч так и покатился со смеху.

— Нет... Не срамись! — хрипел он, задирая ее на голову Турбина,— не годится!

Правда, рубашка не годилась. Накрахмалена она была отвратительно — вся была грязно-синяя, ворот ее был непомерно широк.

— Декольте! — повторил Кондрат Семеныч сквозь смех.

Турбин снова покраснел и даже запотел от злобы.

— Я вам не шут гороховый! — крикнул он бешено.

— Да за что ж серчаешь-то? — заговорил Кондрат Семеныч растерянно.— Сам тонок, как шест, хоть грачей доставать, а на меня серчает... Ну, хочешь, достану?

— Не понимаю — где? — глядя в сторону, пробормотал Турбин.

— Да уж это мое дело. Ну, хочешь?

И, не дожидаясь ответа, хлопнул дверью, накинул на себя шубу и выскочил на крыльцо. Рыженькая троечка подхватила под гору. Турбин бросился к дверям:

— Кондрат Семеныч! Кондрат Семеныч!

Но Кондрат Семеныч только рукой махнул.

— Это Бог знает что такое! — сказал Турбин, чуть не плача.— Это значит, всему заводу будет известно!..

Однако, когда Кондрат Семеныч через десять минут явился обратно и привез с собой Таубкина и его крахмальную рубашку, когда Таубкин самым задушевным тоном стал просить «не беспокоиться» и когда рубашка оказалась как раз в пору, Турбин, весь красный от волнения, начал улыбаться.

— Что вы беспокоитесь? — говорил Таубкин фальцетом.— Что такое? Разве я не понимаю? Конечно, это останется между нами. Хотите мои часы?

Турбин отказывался. Кондрат Семеныч преувеличенно расхваливал его костюм.

Наконец Турбин был готов. Он повеселел, хотя и чувствовал себя наряженным и точно связанным. Он садился то на один, то на другой стул.

— Вы к нему по делу? — вдруг спросил Таубкин, как будто вскользь.

— Да, то есть так... по делу отчасти.

— Так вам, пожалуй, пора.

Турбин уже давно думал про это. «Пожалуй, что и правда пора,— соображал он,— что же, к шапочному разбору-то прийти? Только хозяев в неловкое положение поставишь...»

— А который час?

— Четверть восьмого.

— Вали, брат, вали,— сказал Кондрат Семеныч.

— Пожалуй,— согласился Турбин, медленно подымаясь.

Напевая, Кондрат Семеныч накинул на себя шубу, осмотрел пальто Турбина.

— Молодец! — сказал он, смеясь глазами.— Хочешь подвезу?

Турбин заторопился отказаться.

— Ну, черт с тобой! Едем.

Он сунулся лицом к лицу Турбина для поцелуя, вывалился в сани рядом с Таубкиным и крикнул:

— Обрати посерьезнее внимание на Линтвариху. Хороша, анафема!

XIII

Уже подходя к аллее перед линтваревским домом, Турбин вдруг оробел, оглянулся и поспешно зашагал опять под гору. «Рано, рано, немыслимо так рано!..»

Волнуясь, он дошел до моста и опять оглянулся. Вот будет скверно, если видели, что он приходил! Но никого не было кругом. Только на деревне горланили на «улице» девки. Из дома через аллею загадочно светились окна. Что там, в доме? Начался вечер или нет? И кто там, и что делают? А обстановка? «Небось люстры, паркет, бархат, фамильные портреты... Вот отсчитаю сто... нет, двести, и тогда пойду».

Вдруг на мосту послышался скрип шагов. Турбин быстро повернулся и, не оглядываясь, почти побежал по аллее. Не думая, он быстро растворил дверь, шагнул через три ступеньки в сенях и стал шарить по притолке звонка. В дверях щелкнул замок, и нарядная горничная появилась на пороге.

— Павел Андреевич дома?

— Пожалуйте-с.

Горничная помогла ему снять пальто. Как в тумане, увидал он большую светлую залу, открытый блестящий рояль, тонкие стулья, тропические растения... Поразили его только ширмочки около них из матового стекла; все остальное показалось ему чересчур просто. Цапаясь когтями по паркету, из столовой выбежала щеголевато-тонкая черная собачка, а за нею быстро вышел Линтварев.

— Имею честь поздравить! — сказал Турбин и в смущении вынул носовой платок.

Предупредительно-ласково Линтварев пожал ему руку.

— Милости просим, милости просим!

И, пропуская Турбина вперед, повел его в столовую.

— А, Николай Нилыч! — сказала Надежда Константиновна так, словно давно ждала его.

Турбин расшаркался, оглянулся.

— Николай Нилыч Турбин... Господин Турбин...— поспешно говорил хозяин.

Молодой, свежий, красивый флотский офицер встал быстро и поклонился с преувеличенной вежливостью. Невысокий, худощаво-широкоплечий, с обветренным, инородческого типа лицом доктор пожал ему руку просто и без улыбки. Пожилой, солидный господин, не вставая, сдержанно-вежливо наклонил голову.

— Присаживайтесь-ка! — сказала хозяйка опять так, словно хотела сказать: «Ну, наконец-то, вот теперь все пойдет прекрасно».

Турбин сел, вытер платком лоб, все еще глядя словно через воду. То, что один из гостей не подал ему руки, заставило его ощутить почти физическую боль в сердце.

— Николай Нилыч, вам сколько кусков сахару? — обратилась к нему хозяйка с улыбкой.

Турбин встрепенулся.

— Я бы попросил без сахару,— сказал он.

И он взял стакан, замирая от страха повалить его на скатерть или прикоснуться руками к рукам Надежды Константиновны. Так как общий разговор на минуту прервался, то она продолжала:

— Ну что, как ваша школа?

— Ничего, прекрасно,— ответил Турбин, и его голос ему показался чужим и слишком громким.

— А в Можаровке вы на все святки остались? — заботливо прибавил хозяин.

— Да, уж нынешний год, думаю... решил так, что не ездить лучше.

— Да?

Линтварев наклонил голову, словно приятно изумился. Затем торопливо, с виноватой улыбкой — по необходимости, мол,— обернулся к соседу.

Стараясь держаться свободнее, Турбин стал осматриваться.

XIV

Тот, что не подал руки Турбину, Беклемишев, был богатый помещик и видный человек в земстве. Он был плотен, родовит, с матовым цветом моложавого лица, сед. Держался с удивительным хладнокровием. И Турбин старался не глядеть на него.

Земский доктор держался строго, но просто, и его черемисское лицо и взгляды сквозь очки между быстрыми глотками чая не пугали. Родственницы хозяйки, княжны Трипольские, часто вставляли свои замечания в рассказ Беклемишева о его поездке к министру Ермолову ленивым тоном, гримасничая, когда улыбались. Их Турбин уже видел несколько раз осенью, когда они амазонками проезжали по селу кататься. И у священника и у лавочника велись тогда бесконечные разговоры о них. От старого повара все знали, что княжны очень богаты, живут то в Петербурге, то в своем имении, то гостят у Линтварева, а больше всего — за границей.

— Что ж им? Катайся в свое удовольствие, да и только! — говорил лавочник с умилением.

Когда о Турбине забыли, он успокоился и только чувствовал себя как-то странно-хорошо в этой новой обстановке, среди легко развивающегося разговора, сидя около хозяйки, похожей на английскую леди: таких изящных черт лица, такой чистоты и нежности кожи он еще никогда не видывал. А когда он вставал, так было легко и приятно отодвигать тонкий красивый стул, ходить по паркету в этой просторной столовой, ярко озаренной большой лампой над столом, видеть блеск серебряного самовара и посуды из тончайшего стекла. Было, правда, одно очень неприятное обстоятельство: во время рас-

сказа Беклемишева Турбин, не зная, что делать, наклонился и поймал собачку; но та, как стальная, выскочила из рук и при этом так пронзительно взвизгнула, что хозяйка схватилась за висок и все встрепенулись, обратили на него глаза, и Турбин готов был провалиться сквозь землю от смущения. Но сама же хозяйка и сумела замять эту историю: так непринужденно, словно ничего и не было, обратилась к нему: «Николай Нилыч, вы позволите еще чаю?» — что он ободрился и смог очень ловко ответить: «Нет, merci... достаточно уже».

Он выпил два стакана, наслаждаясь ароматом рома, который с тихой лаской подливал ему в чай хозяин, и от рому оживился, почувствовал смелость и верную упругость в ногах. Он даже не смутился, когда приехало еще несколько человек гостей: красивая, полная вдова-помещица, завитая, с горящими от мороза ушками, старик-помещик, который немножко рисовался простотой, но которого все любили за эту простоту и тотчас окружили с веселыми улыбками, еврей-инженер, сухой, черненький, подвижной, вроде той собачки, которую поймал Турбин, и, наконец, член суда, такой чистый, как все судейские, свободный и веселый остряк, делавший умные, насмешливые глаза.

Говорили о театре. Трипольские с восторгом рассказывали об игре Заньковецкой в Петербурге, бранили Мазини, хвалили Фигнера... рассказывали про своих знакомых, про поэта Надсона. Как будто желая описать, какой он милый и больной человек, княжны рассказывали, что он у них был в гостях, а потом они его навестили в Ницце. Член суда декламировал пародии Буренина на надсоновские стихи. Потом разговор разбился — в одном месте слышались имена земцев, в другом все еще Мазини и Фигнера. Учитель, изгибаясь и покачиваясь, подходил то к одной, то к другой группе и все время был в напряженном состоянии от желания хоть что-нибудь сказать. Но весь разговор шел о неизвестном, и он молчал или смеялся сдержанно и неискренно, когда смеялись другие.

— А вы все о своем профессиональном образовании? — сказал он наконец, подходя к Линтвареву и Беклемишеву.

Беклемишев тихо поднял на него глаза.

— Нет, почему же...— сказал Линтварев, улыбаясь.

Турбин, тоже улыбаясь, продолжал:

— Вы хотите, как я слышал, так серьезно им заняться?

От неловкости Турбин подчеркивал слова, и их можно было принять за насмешку. Особенно нехорошо ему было от пристального и спокойного взгляда Беклемишева. Но все-таки он присел к столу, предварительно посмотрев на стул и раздвинув полы сюртука, расставил острыми углами свои тонкие ноги и, поставив локоть на колено, стал пощипывать кончики своих жидких белесых усов.

— Меня, по правде сказать, очень интересует этот вопрос,— сказал он, помолчав, как-то внезапно.— Я, конечно, говорю искренне...

— С какой же именно стороны вас интересует? — спросил Беклемишев.

— То есть как с какой стороны? Вообще... в применении его в жизни.

Беклемишев, поставив руки на стол и соединяя ладони, смотрел, ровно ли приходятся пальцы один к другому. Линтварев старательно набивал машинкой папиросы.

— Я читал,— продолжал Турбин уже с усилием,— недавно в одной газетке про книжицу какого-то Весселя о профессиональном образовании... Меня, собственно, удивило, что к его мыслям, очевидно, многие относятся враждебно: например, директор ремесленного училища цесаревича Николая... Мне кажется, что тут есть несправедливость... Он говорит, например, что школа, собственно, несовместима с мастерской...

— То есть это,— мягко перебил Линтварев,— Песталоцци мнение, а Вессель, хотя и...

— Ну да, и Песталоцци,— перебил в свою очередь Турбин, и в нем уже загорелось желание спора.— Только, по моему мнению, это и понятно... Когда мне, позвольте спросить, обучать своего какого-либо мальца мастерить разные безделушки, когда он сам, в своем быту, так сказать...

— Зачем же непременно безделушки?

Турбин развел руками.

— Мне, собственно, это все представляется как бы игрушками... Мне трудно это объяснить, но все эти затеи... Говорят, подспорье хозяйству... но ведь смешно подпирать то, что разваливается окончательно... да и не соответствует все это духу нашего народа, истого земледельца... А учить его, например, делать плетушки...

— Ну да, ученого учить — только портить,— насмешливо сказал Беклемишев.

Турбин хотел продолжать, сказать, что́ он думает, более ясно и связно. Но Беклемишев, как бы забыв о его присутствии, тихо и спокойно промолвил Линтвареву:

— Да, так я думаю, что это еще гадательно: князь слишком глуп для этого, а Гарницкий — юн.

Линтварев виновато посмотрел на Турбина. Турбин смолк. Теперь ему хотелось одного — поскорее уйти из столовой. Но встать сразу было неловко.

— А я все хотел попросить у вас какой-либо книжицы из вашей библиотеки,— сказал он наконец, подымаясь.

— С величайшим удовольствием,— поспешил ответить Линтварев.

Турбин встал и медленно прошелся по столовой. Он долго стоял перед камином, рассматривал большой портрет Толстого, писанный масляными красками. Но ему уже было не по себе. Музыка в зале ударила ему по сердцу как-то болезненно. И, под предлогом, что он идет слушать, он вышел в залу.

XV

Играл член суда.

— Что это? — спросил сидевший около него старик-помещик, обращаясь к хозяйке.

— Соната Грига. Вы не знаете?

— Десять лет не играл,— сказал помещик со вздохом,— а хорошо!

— Чудо! — подтвердила хозяйка.

Музыка Грига решительно не нравилась Турбину. Звуки лились вычурно, быстро и не трогали его сердце. Он чувствовал, что она так же чужда ему, как все общество, окружавшее его. В начале вечера он все ждал, что будет что-то хорошее. Теперь это чувство ослабело. Он думал, что надо идти домой, что никому он не нужен. Никто даже не поинтересовался им, не поговорил, чтобы узнать, что он за человек. Даже хозяин только предупредительно, беспокойно вежлив с ним...

Музыка смолкла. «Посижу еще, послушаю немного и уйду»,— решил Турбин. Но поднялся разговор о Григе. Старик-помещик добродушно-насмешливо покачивал головой. «Хорошо, а не забирючивает»,— говорил он. Член суда горячился, доказывая, что «Григ великолепен».

И покачивая головою, тихо начал «Белые ночи» Чайковского:

Какая ночь! На всем какая нега!

Турбин не знал ни этих слов, ни Чайковского; но при первых же чистых звуках мелодии у него дрогнуло сердце: что-то нежно-призывающее было в них; а когда эти зовущие звуки определились в томительно-грустные, Турбину захотелось плакать.

Но рояль стих. Турбин встал: ему хотелось еще музыки, но он не знал, что назвать. Он подумал о «Молитве девы»... но это было как-то неловко сказать.

— Будьте добры, сыграйте еще что-нибудь,— обратился он к члену суда.

— Что же? — спросил тот, перебирая ноты.

— Что-нибудь Бетховена.

Член суда посмотрел на него внимательно.

— Сонату? — спросил он.

Турбин в смущении качнул станом.

— Да, сонату...

— Какую же?

— Все равно...— пробормотал Турбин, чувствуя, что над ним смеются.

Но тут позвали к столу. Турбин настроил себя чинно и шел медленнее всех.

Хозяин особенно хвалил и предлагал селедку. Член суда, с видом знатока, попробовал ее и нашел «гениальной».

— Николай Нилыч! Водки? — сказал хозяин.

— Можно! — ответил Турбин.

— Хинной или простой?

— Хинной так хинной.

— Так будьте добры — распоряжайтесь сами.

— Не беспокойтесь, не беспокойтесь, пожалуйста!

Около стола теснились, оживленно переговаривались. С тарелкою в руках Турбин долго стоял в конце всех. Он не обедал и с особенным удовольствием выпил рюмку водки, погонялся вилкой за ускользающим грибком и ограничился на первое время пирогом. После первой же рюмки он почувствовал легкий хмель, очень захотел есть и долго, поглядывая искоса и стараясь не торопиться, ел одних омаров. Член суда уже дружески предлагал ему выпить с ним, и Турбин выпил еще рюмку простой водки. И водка и дружеский тон члена суда совсем размягчили его.

Первые минуты опьянения он чувствовал себя так же, как в самом начале вечера: как сквозь воду видел блеск огней и посуды, лица гостей, слышал говор и смех, чувствовал, что теряет способность управлять своими словами и движениями, хотя сознавал еще все ясно. Раскрасневшееся, потное лицо затягивало паутиной; в голове слегка шумело. Но все-таки он старался оглядываться смело и весело своими томными глазами. Ему было жарко. Когда же Линтварев (Турбину казалось, что и Линтварев запьянел) взял его под руку и повел к столу ужинать, он почувствовал себя очень большим и неловким.

— Не выпьем ли еще по единой? — сказал член суда.

— Блаженный Теодорит велит повторить,— отвечал Турбин со смехом.

— Repetitio est mater studiorum *. Не так ли? — промолвил с другого конца флотский офицер, явно подделываясь под семинарскую речь.

Турбин понял это и вызывающе поглядел на офицера. «Ну и черт с тобой!» — подумал он и, усмехаясь, крикнул:

— Optime! **

Член суда поспешил налить. Хозяйка как будто вскользь, но значительно поглядела на него. И это Турбин заметил, но никак не мог обидеться: так просто и тепло стало у него на душе.

— Да и последняя! — сказал он, выпивая и махая рукой.— Я и так мокрый как мышь.

Удерживаясь от смеха, младшая княжна зажала рот платком.

Ужин, как показалось, прошел чрезвычайно быстро. Турбин запомнил только, что ел горячий ростбиф, что сои огнем охватили ему рот, что он пил мадеру, лафит и плохо соображал, о чем идет говор.

Когда подали шампанское (был день рождения хозяйки), Турбин быстро встал и оглушительно крикнул «ура!». Но за оживлением на это не обратили особенного внимания. Все столпились в кучу, поздравляя хозяйку и самого Линтварева. Линтварев, с бокалом в одной руке, прижимал другую к сердцу и старался казаться и тронутым и шутливым.

— Ура! — крикнул еще раз Турбин, но уже потише и улыбнулся слабой, жалкой улыбкой.

---

* Повторение — мать учения *(лат.)*.

** Превосходно! *(лат.)*

— Не сто́ит! — шепнул доктор, сжимая ему локоть.

— Ну, не надо...

И, улыбаясь, Турбин медленно пошел в залу. Теперь он уже освоился с тем, что не может управлять собою.

XVI

В зале Прохор Матвеич разносил чай, снова предложенный хозяином. «Люблю, грешный человек! — говорил он.— Господа, кто желает китайского зелья?» Все приняли это предложение с шумными одобрениями, как на земских собраниях: «Просим, просим!..»

— Сергей Львович, сыграть просим! — крикнул хозяин.

— Благодарю, господа, я чувствую себя слишком утомленным,— отнекивался Сергей Львович, продолжая пародировать гласных. Но тут поднялся такой шум и крик, что отказываться стало невозможно.

— Просим! — крикнул Турбин уже после всех.

— Давненько я не брал в руки шашек,— говорил Сергей Львович, кряхтя и усаживаясь за рояль.

— Сергей Львович! Вебера! — крикнул член суда.

Сергей Львович поднял брови и подумал.

— Нет,— сказал он с улыбкой,— попробуем блеснуть техникой. Ну-ка...

— Тарантелла...— шепнул флотский офицер.— Николая Рубинштейна.

Член суда утвердительно кивнул головой.

Из медленных, в которых сказывалась хитрая, сдержанная удаль, звуки быстро превратились в шумные, быстрые и затрепетали в каком-то диком восторге. Возгласы одобрения поминутно заглушали их. Казалось, что если бы танец не кончился, можно было бы задохнуться от напряжения... Турбин хохотал нервным смехом.

— Вот это так та́к,— бормотал он в восторге.

— А теперь,— крикнул Линтварев,— гроссфатер!

Под церемонные звуки старинной музыки дамы во главе с хозяином и членом суда начали комически двигаться, раскланиваться, но спутались, перемешались и со смехом остановились.

— Ну, лянсье! — взывал хозяин.

— Не выйдет!

— Выйдет!

Турбин тоже порывался танцевать и быстро оглядывался кругом.

— Сергей Львович! — вдруг завопил он.— Пожалуйста!.. ту, веселую...

— Тарантеллу?

— Да, да!

Сергей Львович мельком взглянул на него и ударил по клавишам. И не успели опомниться гости и хозяин, как произошло нечто дикое: не слушая музыки, без всякого такта, Турбин вдруг зашаркал ногами, потом все быстрее, быстрее пошел мелкой дробью и вдруг стукнул в паркет, подпрыгнул и пустил руки между ногами, словно разрубил что-то со всего размаха.

— Браво! — крикнул кто-то насмешливо.— Бис!

И под разрастающиеся звуки Турбин охотно побежал назад, заплетая и размахивая ногами, как веслами, хотел еще раз стукнуть в пол — и вдруг замер: в двух шагах от него стоял отец Линтварева! Шаркая и подаваясь вперед, он поторопился из маленькой гостиной, где играл в карты, на шум в зале. Увидев пляску, он с изумлением поднял свою седую большую голову и, приложив к переносице пенсне, глядел прямо в лицо Турбину остановившимися глазами.

Турбин качнулся в сторону и с жалкой улыбкой махнул рукой. Доктор быстро подошел к нему.

— Пойдемте, батенька, домой,— сказал он ему строго.

— Нет, чего же? — ответил Турбин.— Я еще не хочу.

Лицо его было бледно, холодный пот крупными каплями покрывал лоб.

— Нельзя, нельзя,— повторил доктор еще строже и, взяв его под руку, повел в переднюю.

Турбин, приплясывая, покорно пошел...

XVII

Спал или не спал он, добравшись домой? До головокружения живы и беспокойны были сновидения. Казалось, что он все еще в гостях: люди двигались, перетасовывались, проходили перед ним как в пантомиме, и он сам во всем участвовал и чувствовал, что все выходит хорошо и ловко, хотя и беспокоит что-то, спутывает все. Турбин старался вспомнить, что же это мешает, и никак не мог, и мучился, осаждаемый сновидениями. Истомленный до

последней степени, он наконец открыл глаза. Дневной свет сразу отрезвил его,— стыд, жгучий стыд до слез, до физической боли пронзил его душу. Он стиснул зубы, крепко прижал голову к подушке.

Вдруг он вскочил. Он решился переломить себя, задавить все эти воспоминания. Он поспешно одевался, убирал комнату. В ногах была слабость, но голова не болела. Он старался делать все как можно правильнее и серьезнее. И в то же время беспокойно выискивал оправдания себе...

Отворилась дверь.

— Самовар-то ставить, что ль? — спросил Павел.

— А почему же не ставить? — хрипло крикнул Турбин.

— Да то-то, мол, надо ли?

Турбин отвернулся и еще крепче стиснул зубы. Павел помолчал, потом вдруг лукаво заглянул Турбину в глаза и, с просиявшим лицом, быстрым шепотом спросил:

— Ай слетать к Ивану Филимонычу?

— Это зачем?

— За похмелочкой? А?

— Убирайся ты от меня к шуту со своими бессмысленными глупостями! — закричал Турбин, багровея от злобы.

После чая он лежал на кровати и с глухой яростью придумывал самые оскорбительные фразы, которые, вероятно, посыпались по его адресу, как только он вышел, в доме Линтварева. А на селе! С какими глазами показаться теперь на село?

Однако он заставил себя одеться и пошел к дьячку обедать. «Знают или нет?» — думал он, боязливо глядя на заводскую сторону.

Около лавки он постарался идти как можно медленнее.

— С праздником, Иван Филимоныч! — сказал он, увидя лавочника, стоявшего около саней с ящиком водки.

Лавочник считал бутылки, передавая их в лавку мальчику, и ответил учтиво и поспешно:

— И вас также! Милости просим.

— Постараюсь.

— Николай Нилыч теперь загордел,— вдруг раздался голос лавочницы с крыльца.

Она смотрела на Турбина насмешливо-пристально. Лавочник вдруг обернулся к ней с строгим взглядом, и по

одному этому взгляду Турбин понял, что все известно, все... и с замирающим сердцем поспешил скрыться в избе дьячка.

Обед прошел спокойно. Но, когда Турбин уже поднялся из-за стола, дьячок, глядя в сторону, сказал так, словно продолжал давно начатый разговор:

— И совсем не стоило туда ходить. И батюшка то же говорит, и Иван Филимоныч.

Турбина словно ударили по голове.

— Куда это? — через силу спросил он.

— Если, гырт,— продолжал дьячок уныло-невозмутимым тоном,— если, гырт, съесть-спить, так и у меня был бы сыт, не попрекнул бы куском... Да и правда: не нам с вами бывать у таких персон!

— Ну, да я... я, отец Алексей, кажется, сам не маленький...

Дьячок только вздохнул. Дрожащими руками Турбин нашел скобку и хлопнул дверью.

— И прекрасно! И прекрасно! — с злобной радостью похохатывал он, почти бегом взбираясь на гору.

XVIII

— Дома? — раздался в передней голос Слепушкина, как только Турбин вошел к себе и, скинув пальто, упал на постель.

Павел отвечал что-то торопливым шепотом.

— Ну, ну, не надо; не буди... Бог с ним.

Дверь хлопнула, все стихло. Турбин лежал без движения...

— Поздравляю! — раздался вдруг крик Кондрата Семеныча, со смехом ввалившегося в комнату.— Ты, говорят, черт знает каких штук там натворил? Какой это ты танец своего изобретения плясал?

— Оставьте, пожалуйста, меня в покое! — тихо ответил Турбин.

— Да нет, как же, брат, ты, говорят, вдребезги насадился?

Ухмыляясь, Кондрат Семеныч присел на кровать и продолжал уже с искренним участием, обращаясь к Турбину, как к заведомому пьянице:

— Гм, пожалуй, правда, свинство! Ты бы хоть на первый-то раз поддержался немного... Надо сходить извиниться. Еще, пожалуй, с места попрут...

А через полчаса на столе стояла бутылка водки. Турбин, уже захмелевший, облокотившись на стол и положив голову на руки, сидел молча.

— Черт знает что! — говорил Кондрат Семеныч,— говорят, тебя за крыльцо выкинули?

— Кто это?

— Что?

— Говорит-то?

— Слепушкин.

Турбин злорадно захохотал.

А Кондрат Семеныч с серьезным лицом грустно продолжал:

— Он, брат, Линтварев-то этот, глумился над тобой. Оплевать, воспользоваться твоей необразованностью! Подло, брат! Мне тебя от души жаль.

Турбин вдруг сморщился, захлюпал, хотел что-то сказать, но захлебнулся слезами и только зубами скрипнул.

— Ну, вот, опять готов! — сказал Кондрат Семеныч с сожалением.— Тебе, брат, стоит бросить пить.

— Да не пьян я! — закричал Турбин бешено, с красными, полными слез глазами, и треснул кулаком по столу.

XIX

— Э-эй, держись! — крикнул Васька, когда рыженькая троечка что есть духу разнеслась в темноте под гору и толпа ребят и девок, как стадо овец, шарахнулась в сторону.

Взрыв хохота и криков на время покрыл звон колокольчиков... Мелькнули огни кабака... Турбина охватило отчаянное чувство смелости и веселья.

— Делай! — крикнул он Ваське.

Сани налетели на водовозку, сбили ее в сторону. Около завода какая-то фигура вынырнула из темноты и упала на ноги Турбина.

— Митька? Ты? — крикнул Кондрат Семеныч.

— Ребята гнались,— молчи!

И на повороте в село фигура выпрыгнула из саней и опять скрылась в темноте.

В избах светились огни, чернели кучки народа на улице, шум и гам покрывали горластые песни, толкотня, пляска, гармоники. Стоном стояла и разливалась про-

тяжная «страдательная», ее заглушал азартный трепак, топот ног и взвизгивания...

Сперва попали в какую-то избу, битком набитую народом. С непривычки Турбину показалось даже страшно в ней: так было жарко, низко и людно... Шла игра в «короли». Неиграющие, ложась друг другу на плечи и почти доставая головами до потолка, покрытого от черной топки словно черным густым лаком, теснились к столу. За столом сидели ребята в расстегнутых полушубках и чистых рубахах, девки в красных ситцах, сильно пахнущих краскою. У всех были сжаты корабликом карты в руках и напряженно веселы лица. Ребятишки шмыгали по ногам, лезли из сенец в избу. «Выстудили избу, окаянные!» — кричала на них хозяйка и громко спрашивала Кондрата Семеныча:

— А это чей же будет?

— Свой, тетка! — ответил Турбин с хохотом и, севши на лавку, не удержался, завалился за сидящих и задрал ноги.

А через минуту он был опять в санях.

Кондрат Семеныч втащил в них какую-то хохочущую солдатку и, стоя, крикнул Ваське:

— К печнику!

— Попала шлея под хвост! — подхватил Турбин.

XX

От посещения печника более всего осталось в памяти его пение. И сам печник, волосатый, пожилой мужик, и жена его, всегда веселая и разбитная баба, больше всего на свете любили водку и песни. Гости за посещение их избы напаивали их, и беспутные супруги бывали очень довольны такими вечерами. И теперь тотчас же в печке запылал огонь, зашипела и затрещала яичница с ветчиной, загудела труба на самоваре. Запьяневшая, раскрасневшаяся хозяйка поддувала пламя под таганчиком и с ласковой улыбкой останавливалась, рассматривая Турбина. Затем начался пир. За каждым куском следовала водка; ошалевший Турбин не отставал от других, хотя уже чувствовал, что с великим трудом слышит говор и песни вокруг себя. Песни начал печник. Положив голову на руку, он что ни есть мочи разливался таким неистовым криком, что на шее у него вздувались синие жилы.

— Ешьте, что ль, ветчину-то! — кричала хозяйка.

Турбин машинально, кусок за куском, ел страшно соленую ветчину, и челюсти у него ломило от бесплодных усилий разжевать эти жареные брусочки.

На печника уже не обращал никто внимания. Перебивая его песни, Кондрат Семеныч с Васькой лихо играли на двух гармониках «барыню», а бабы, с прибаутками, с серьезными, неподвижными лицами выхаживали друг перед другом, постукивая каблуками.

Посылала меня мать
Караулить гусака,—

вычитывала хозяйка.

Уж я ее кнутом,
И кнутом, и прутом,—

бойко покрикивала в ответ солдатка, то прихлопывая в ладоши, то упирая руки в бока.

— Делай! — повторял Васька, потрясая гармоникой над головою и пускаясь в самые отчаянные варьяции «барыни». В чаду беспричинной напряженной веселости сознание учителя иногда прояснялось. «Где это я? Что такое?» — спрашивал он себя, но тотчас начинал хлопать в ладоши и в такт «барыни» стучать сапогами в пол.

А за окном, которое завесили попоной, галдел народ, порываясь в избу. Горький пьяница, рабочий с завода, «Бубен», огромный худой мужик, с лошадиным лицом, с растрепанными пьяными губами, несколько раз отворял дверь.

— Не пускай, ну его к черту! — говорил Кондрат Семеныч.

— Ну, что ты? Кого тебе? — спрашивала хозяйка, загораживая порог.

Улыбаясь и качаясь, «Бубен» придерживался за притолку и говорил:

— Да чего? Да ничего! Зайтить закурить только.

— Никого тут нетути. Иди.

— Буде, буде толковать-то!

— Тури его в шею! — кричал Кондрат Семеныч.

У Турбина нестерпимо ломило в темени от жары и водки. Но он все еще не отставал от других, и, когда раздались крики, что с лошадей сняли вожжи и чересседельник, он даже выскочил вместе с Васькой на улицу, готовый на отчаянную драку. На морозе водка еще более разобрала его, и с этого момента воспоминания его совершенно путаются.

Запомнил он только то, что долго бродил по сенцам, а когда Кондрат Семеныч выпихнул к нему какую-то бабу, он потащил ее на скотный двор, и она вырывалась и торопливо шептала:

— Что ты, что ты? Ай подеялось?.. Ай очумел?.. Ох, батюшки, пусти, пусти-и... Тут погребица!..

И ошалевший Турбин опять с трудом отыскал дверь в избу и очутился в полном мраке, и эта темнота, шепот, возня на соломе еще более взбудоражили его кровь. Он долго шарил по соломе трясущимися руками, наткнулся на печника, который сидел на полу и бормотал что-то, повалил кочергу... потом потерял всякое представление о том, где он...

Чувствовал только во сне, что откуда-то по ногам несет холодом. Он тщетно прятал их под солому. Потом началась страшная жажда. Все внутри у него горело, и он чувствовал это сквозь сон, и никак не мог проснуться, и все шептал горячечным шепотом:

— Пить... Бога ради, пить!..

Казалось, что какая-то толпа растет вокруг него, а он пляшет под «тарантеллу», пляшет, пляшет без конца и вдруг слышит над самой своей головой рукоплескания и крики, отчаянный крик. Он вскочил: петух еще раз крикнул на всю избу и затрепыхал крыльями.

Холод плыл по ногам. Еле-еле светало. В смутном сумраке было видно несколько человек, спящих на соломе. Шатаясь, Турбин начал шарить по печуркам спичек; в печурках были какие-то сырые теплые перья; на грубке лежала деревянная спичечница, но она была пуста. Турбин задыхался от жажды.

— Бога ради, напиться! — сказал он громко.

— Ох, чтоб тебе совсем! Вот напужал-то!

Солдатка вскочила и, заспанная, торопливо и неловко стала завязывать юбку и завертывать под платок сбитые волосы.

— Пить нет ли? Душа запеклась!

— Посмотри в угле, в щербатом чугунчике.

Турбин с жадностью припал к чугунчику. Но квас был так кисел и холоден, что Турбина с первых глотков подхватила лихорадка, и, не попадая зуб на зуб, он бросился по нарам, через Кондрата Семеныча, на печку; Кондрат Семеныч замычал и заскрипел во сне зубами.

Какой-то тяжелый запах и тепло охватили Турбина,

и он заснул как убитый. Но и этот сон продолжался как будто мгновение. Затопили печку по-черному, и дым, пеленой потянувшийся под потолком в дверь, завешенную попоной, стал душить Турбина. Он зарывал голову в солому и сор, но ничто не помогало. Тогда он свесил голову с печки, кое-как приладил ее к кирпичам и так проспал до самых завтраков.

В завтраки Кондрат Семеныч, с опухшим лицом, но уже в спокойном, будничном настроении, сидел за столом против печника, похмелялся и, вертя цигарку, поглядывал на сонное лицо Турбина. Оно было как мертвое: истомленное, страдальческое и кроткое.

— Вот те и педагог! — сказал он с сожалением.— Пропал малый!

— Сирота небось! — задумчиво произнес печник.

1894

В ПОЛЕ

I

Темнеет, к ночи поднимается вьюга...

Завтра Рождество, большой веселый праздник, и от этого еще грустнее кажутся непогожие сумерки, бесконечная глухая дорога и поле, утопающее во мгле поземки. Небо все ниже нависает над ним; слабо брезжит синевато-свинцовый свет угасающего дня, и в туманной дали уже начинают появляться те бледные неуловимые огоньки, которые всегда мелькают перед напряженными глазами путника в зимние степные ночи...

Кроме этих зловещих таинственных огоньков, в полуверсте ничего не видно впереди. Хорошо еще, что морозно, и ветер легко сдувает с дороги жесткий снег. Но зато он бьет им в лицо, засыпает с шипеньем придорожные дубовые вешки, отрывает и уносит в дыму поземки их почерневшие, сухие листья, и, глядя на них, чувствуешь себя затерянным в пустыне, среди вечных северных сумерек...

В поле, далеко от больших проезжих путей, далеко от больших городов и железных дорог, стоит хутор. Даже деревушка, которая когда-то была возле самого хутора, гнездится теперь верстах в пяти от него. Хутор этот господа Баскаковы много лет тому назад наименовали Лучезаровкой, а деревушку — Лучезаровскими Двориками.

Лучезаровка! Шумит, как море, ветер вокруг нее, и на дворе, по высоким белым сугробам, как по могильным холмам, курится поземка. Эти сугробы окружены далеко друг от друга разбросанными постройками: господским домом, «каретным» сараем и «людской» избой. Все постройки на старинный лад — низкие и длинные. Дом обшит тесом; передний фасад его глядит во двор только тремя маленькими окнами; крыльца — с навесами на

столбах; большая соломенная крыша почернела от времени. Была такая же и на людской, но теперь остался только скелет этой крыши, и узкая, кирпичная труба возвышается над ним, как длинная шея...

И кажется, что усадьба вымерла: никаких признаков человеческого жилья, кроме начатого омета возле сарая, ни одного следа на дворе, ни одного звука людской речи! Все забито снегом, все спит безжизненным сном под напевы степного ветра, среди зимних полей. Волки бродят по ночам около дома, приходят из лугов по саду к самому балкону.

Когда-то... Впрочем, кто не знает, что было «когда-то»! Теперь числится при Лучезаровке уже всего-навсего двадцать восемь десятин распашной и четыре десятины усадебной земли. В город переселилась семья Якова Петровича Баскакова: Глафира Яковлевна замужем за землемером, и почти круглый год живет у нее и Софья Павловна. Но Яков Петрович — старый степняк. Он на своем веку прогулял в городе несколько имений, но не пожелал кончать там «последнюю треть жизни», как выражался он о человеческой старости. При нем живет его бывшая крепостная, говорливая и крепкая старуха Дарья; она нянчила всех детей Якова Петровича и навсегда осталась при баскаковском доме. Кроме нее, Яков Петрович держит еще работника, заменяющего кухарку: кухарки не живут в Лучезаровке больше двух-трех недель.

— Тот-то у него будет жить! — говорят они.— Там от одной тоски сердце изноет!

Поэтому-то и заменяет их Судак, мужик из Двориков. Он человек ленивый и неуживчивый, но тут ужился. Возить воду с пруда, топить печи, варить «хлебово», месить резку белому мерину и курить по вечерам с барином махорку — невелик труд.

Землю Яков Петрович всю сдает мужикам, домашнее хозяйство его чрезвычайно несложно. Прежде, когда в усадьбе стояли амбары, скотный двор и рига, усадьба еще походила на человеческое жилье. Но на что нужны амбары, рига и скотные дворы при двадцати восьми десятинах, заложенных, перезаложенных в банке? Благоразумнее было их продать и хоть некоторое время пожить на них веселее, чем обыкновенно. И Яков Петрович продал сперва ригу, потом амбары, а когда употребил на топку весь верх со скотного двора, продал и каменные

стены его. И неуютно стало в Лучезаровке! Жутко было бы среди этого разоренного гнезда даже Якову Петровичу, так как от голода и холода Дарья имела обыкновение на все большие зимние праздники уезжать в село к племяннику, сапожнику, но к зиме Якова Петровича выручал его другой, более верный друг.

— Селям алекюм! — раздавался старческий голос в какой-нибудь хмурый день в «девичьей» лучезаровского дома.

Как оживлялся при этом, знакомом с самой Крымской кампании, татарском приветствии Яков Петрович! У порога почтительно стоял и, улыбаясь, раскланивался маленький седой человек, уже разбитый, хилый, но всегда бодрящийся, как все бывшие дворовые люди. Это прежний денщик Якова Петровича, Ковалев. Сорок лет прошло со времени Крымской кампании, но каждый год он является перед Яковом Петровичем и приветствует его теми словами, которые напоминают им обоим Крым, охоты на фазанов, ночевки в татарских саклях...

— Алекюм селям! — весело восклицает и Яков Петрович.— Жив?

— Да ведь севастопольский герой-то,— отвечал Ковалев.

Яков Петрович с улыбкой осматривал его тулуп, крытый солдатским сукном, старенькую поддевочку, в которой Ковалев казался седеньким мальчиком, поярковые валенки, которыми он так любил похвастать, потому что они поярковые...

— Как вас Бог милует? — спрашивал Ковалев.

Яков Петрович осматривал и себя. И он все такой же: плотная фигура, седая, стриженая голова, седые усы, добродушное, беспечное лицо с маленькими глазами и «польским» бритым подбородком, эспаньолка...

— Байбак еще,— шутил в ответ Яков Петрович.— Ну, раздевайся, раздевайся! Где пропадал? Удил, огородничал?

— Удил, Яков Петрович. Там посуды полой водой унесло нынешний год — не приведи, Господи!

— Значит, опять в блиндажах сидел?

— В блиндажах, в блиндажах...

— А табак есть?

— Есть маленько.

— Ну, садись, давай завертывать.

— Как Софья Павловна?

— В городе. Я был у ней недавно, да удрал скоро. Тут скука смертная, а там еще хуже. Да и зятек мой любезный... Ты знаешь, какой человек! Ужаснейший холоп, интересан!

— Из хама не сделаешь пана!

— Не сделаешь, брат... Ну, да черт с ним!

— Как ваша охота?

— Да все пороху, дроби нету. На днях разжился, пошел, пришиб одного косолобого...

— Их нынешний год страсть!

— Про то и толк-то. Завтра чем свет зальемся.

— Обязательно.

— Я тебе, ей-Богу, от души рад!

Ковалев усмехался.

— А шашки целы? — спрашивал он, свернув цигарку и подавая Якову Петровичу.

— Целы, целы. Вот давай обедать и срежемся!

II

Темнеет. Наступает предпраздничный вечер.

Разыгрывается на дворе метель, все больше заносит снегом окошко, все холоднее и сумрачнее становится в «девичьей». Это старинная комнатка с низким потолком, с бревенчатыми, черными от времени стенами и почти пустая: под окном длинная лавка, около лавки простой деревянный стол, у стены комод, в верхнем ящике которого стоят тарелки. Девичьей по справедливости она называлась уже давным-давно, лет сорок — пятьдесят тому назад, когда тут сидели и плели кружева дворовые девки. Теперь девичья — одна из жилых комнат самого Якова Петровича. Одна половина дома, окнами на двор, состоит из девичьей, лакейской и кабинета среди них; другая, окнами в вишневый сад,— из гостиной и залы. Но зимой лакейская, гостиная и зала не топятся, и там так холодно, что насквозь промерзает и ломберный стол, и портрет Николая I.

В этот непогожий предпраздничный вечер в девичьей особенно неуютно. Яков Петрович сидит на лавке и курит. Ковалев стоит у печки, склонив голову. Оба в шапках, валенках и шубах; баранье пальто Якова Петровича надето прямо на белье и подпоясано полотенцем. Смутно виден в сумраке плавающий синеватый дым махорки.

Слышно, как дребезжат от ветра разбитые стекла в окнах гостиной. Метель бушует кругом дома и часто прерывает разговор его обитателей: все кажется, что кто-то подъехал.

— Постой! — вдруг останавливает Ковалева Яков Петрович.— Должно быть, это он.

Ковалев смолкает. И ему почудился скрип саней у крыльца, чей-то голос, невнятно донесшийся сквозь шум метели...

— Поди-ка посмотри,— должно быть, приехал.

Но Ковалеву вовсе не хочется выбегать на мороз, хотя и он с большим нетерпением ожидает возвращения Судака из села с покупками. Он прислушивается очень внимательно и решительно возражает:

— Нет, это ветер.

— Да что тебе, трудно посмотреть-то?

— Да что ж смотреть, когда никого нет?

Яков Петрович вздергивает плечами; он начинает раздражаться...

Так было все хорошо складывалось... Приезжал богатый мужик из Калиновки с просьбой написать прошение к земскому начальнику (Яков Петрович славится в околотке как сочинитель прошений) и привез за это курицу, бутылку водки и рубль денег. Правда, водка была выпита при самом сочинении и чтении прошения, курица в тот же день зарезана и съедена, но рубль остался цел,— Яков Петрович приберег его к празднику... Потом вчера утром внезапно явился Ковалев и принес с собой кренделей, полтора десятка яиц, да еще и шестьдесят копеек. И старики были веселы и долго обсуждали, что купить. В конце концов развели в чашке сажи из печки, завострили спичку и жирными, крупными буквами написали в село к лавочнику: «В харчевню Николай Иванова. Отпусти 1 ф. махорки полуотборной, 1000 спичек, 5 сельдей маринованных, 2 ф. масла конопляного, 2 осьмушки фруктового чаю, 1 ф. сахару и $1^1/_2$ ф. жамок мятных».

Но Судака нет с самого утра. А это влечет за собой то, что предпраздничный вечер пройдет вовсе не так, как думалось, и, главное, придется самим идти за соломой в омет; от вчерашнего дня соломы осталось в сенцах чуть. И Яков Петрович раздражается, и все начинает рисоваться ему в мрачных красках.

Мысли и воспоминания идут в голову самые невеселые... Вот уж около полугода он не видал ни жены, ни

дочери... Жить на хуторе становится с каждым днем все хуже и скучнее...

— А, да черт его побери совсем! — говорит Яков Петрович свою любимую успокаивающую фразу.

Но сегодня она не успокаивает...

— Ну, и холода же завернули! — говорит Ковалев.

— Ужаснейший холод! — подхватывает Яков Петрович.— Ведь тут хоть волков морозь! Смотри... Хх! Пар от дыхания видно!

— Да,— продолжает Ковалев монотонно.— А ведь, помните, мы под Новый год когда-то цветочки рвали в одних мундирчиках! Под Балаклавой-то...

И опускает голову.

— А он, видимое дело, не приедет,— говорит Яков Петрович, не слушая.— Мы в дурацкой ажитации, ни больше ни меньше!

— Не ночевать же он останется в харчевне!

— А ты что думаешь? Ему очень нужно!

— Положим, здорово метет...

— Ничего там не метет. Обыкновенно, не лето...

— Да ведь трус государственный! Замерзнуть боится...

— Да как же это замерзнуть? День, дорога табельная...

— Постойте! — перебивает Ковалев.— Кажется, подъехал...

— Я говорю тебе, выйди, посмотри! Ты, ей-Богу, совсем отетеревел нынче! Надо же самовар ставить и соломы надергать.

— Да ведь, конечно, надо. А то что ж там сделаешь ночью?

Ковалев соглашается, что идти за соломой необходимо, но ограничивается приготовлениями к топке: он подставляет к печке стул, взлезает на него, отворяет заслонку и вынимает вьюшки. В трубе начинает завывать на разные голоса ветер.

— Впусти хоть собаку-то! — говорит Яков Петрович.

— Какую собаку? — спрашивает Ковалев, кряхтя и слезая со стула.

— Да что ты дураком-то прикидываешься? Флембо́, конечно,— слышишь, визжит.

Правда, Флембо, старая сука, жалобно повизгивает в сенцах.

— Надо Бога иметь! — прибавляет Яков Петрович.—

Ведь она замерзнет... А еще охотник! Лодырь ты, брат, как я погляжу! Уж правда байбак.

— Да оно и вы-то, должно быть, из той же породы,— улыбается Ковалев, отворяет дверь в сенцы и впускает в девичью Флембо.

— Затворяй, затворяй, пожалуйста! — кричит Яков Петрович.— Так и понесло по ногам холодом... Куш тут! — грозно обращается он к Флембо, указывая пальцем под лавку.

Ковалев же, прихлопывая дверь, бормочет:

— Там несет — свету Божьего не видно!.. А, должно быть, скоро нас потащут в Богословское! Вот-вот отец Василий припожалует за нами. Я уж вижу. Все мы ссоримся. Это перед смертью...

— Ну, уж это обрекай себя одного, пожалуйста,— возражает Яков Петрович задумчиво.

И опять выражает свои мысли вслух:

— Нет, я уж больше не буду сидеть в этом тырле сторожем! Кажется, скоро-скоро затрещит эта проклятая Лучезаровка...

Он развертывает кисет, насыпает цигарку махоркой и продолжает:

— Дошло до того, что завяжи глаза да беги со двора долой! А все моя доверчивость дурацкая да друзья-приятели! Я всю жизнь был честен, как булат, я никому ни в чем не отказывал... А теперь что прикажете делать? На мосту с чашкой стоять? Пулю в лоб пустить? «Жизнь игрока» разыграть? Вон у племянничка, Арсентия Михалыча, тысяча десятин, да разве у них есть догадочка помочь старику? А уж сам я по чужим людям не пойду кланяться! Я самолюбив, как порох!

И, окончательно раздраженный, Яков Петрович совсем зло прибавляет:

— Однако телиться нечего, надо за соломой отправляться!

Ковалев еще больше сгорбливается и запускает руки в рукава тулупа. Ему так холодно, что у него стынет кончик носа, но он все еще надеется, что как-нибудь «обойдется»... может быть, Судак подъедет... Он отлично понимает, что Яков Петрович ему одному предлагает отправляться за соломой.

— Да ведь телиться! — говорит он.— Ветер-то с ног сшибает...

— Ну, барствовать теперь не приходится!

— Побарствуешь, когда поясницу не разогнешь. Не молоденькие тоже! Слава Богу, двум-то нам под сто сорок будет.

— Уж, пожалуйста, не прикидывайся мерзлым бараном!

Яков Петрович тоже отлично понимает, что один Ковалев ничего не поделает в занесенном снегом омете. Но и он надеется, что как-нибудь обойдется без него...

Между тем в девичьей становится уже совсем темно, и Ковалев наконец решается посмотреть, не едет ли Судак. Шаркая разбитыми ногами, идет он к двери...

Яков Петрович пускает через усы дым, и так как ему уже очень хочется чаю, то мысли его принимают несколько иное направление.

— Гм! — бормочет он.— Как вам это покажется? Хорош праздничек! Лопать, как собаке, хочется. Ведь неедалого царства нету... Прежде хоть венгерцы ездили!.. Ну, погоди же, Судак!

Двери в сенцах хлопают, вбегает Ковалев.

— Нету! — восклицает он.— Как провалился! Что ж теперь делать? В сенцах соломы чуть!

В снегу, в тяжелом тулупе, маленький и сгорбленный, он так жалок и беспомощен.

Яков Петрович вдруг подымается.

— А вот я знаю, что делать! — говорит он, осененный какой-то хорошей мыслью, наклоняется и достает из-под лавки топор.

— Эта задача очень просто разрешается,— прибавляет он, опрокидывая стул, стоящий около стола, и взмахивает топором.— Таскай пока солому-то! Черт его побери совсем, мне свое здоровье дороже стула!

Ковалев, тоже сразу оживившийся, с любопытством смотрит, как летят щепки из-под топора.

— Ведь там небось еще на потолке много? — подхватывает он.

— Валяй на чердак да самовар вытрясай!

В растворенную дверь несет холодом, пахнет снегом... Ковалев, спотыкаясь, таскает в девичью солому, ручки старых кресел с чердака...

— За милую душу истопим,— твердит он.— Крендели еще есть... Яиц бы напечь!

— Тащи их на кон. А то сидим плакучими ивами!

III

Медленно протекает зимний вечер. Не смолкая бушует метель за окнами...

Но теперь старики уже не прислушиваются к ее шуму. Поставили в сенцах самовар, затопили в кабинете печку и оба сели около нее на корточки.

Славно охватывает тело теплом! Иногда, когда Ковалев запихивал в печку большую охапку холодной соломы, глаза Флембо, которая тоже пришла погреться к двери кабинета, как два изумрудные камня, сверкали в темноте. А в печке глухо гудело; просвечивая то тут, то там сквозь солому и бросая на потолок кабинета мутно-красные, дрожащие полосы света, медленно разрасталось и приближалось гудящее пламя к устью, прыскали, с треском лопаясь, хлебные зерна... Мало-помалу озарялась вся комната. Пламя совсем овладевало соломой, и когда от нее оставалась только дрожащая груда «жара», словно раскаленных, золотисто-огненных проволок, когда эта груда опадала, блекла, Яков Петрович скидывал с себя пальто, садился задом к печке и поднимал на спине рубаху.

— Аа-аа,— говорил он.— Славно спину-то нажарить!

И когда его толстая спина становилась багровой, отскакивал от печки и накидывал тулуп.

— Вот так пробрало! А то ведь беда без бани... Ну да уж нынешний год обязательно поставлю!

Это «обязательно» Ковалев слышит каждый год, но каждый год с восторгом принимает мысль о бане.

— Добро милое! Беда без бани,— соглашается он, нагревая у печки и свою худощавую спину.

Когда дрова и солома прогорели, Ковалев поджаривал в печке крендели, отклоняя от жара пылающее лицо. В темноте, озаренный красноватым жерлом печки, он казался бронзовым. Яков Петрович хлопотал около самовара. Вот он налил себе в кружку чаю, поставил ее около себя на лежанке, закурил и, немного помолчав, вдруг спросил:

— А что-то теперь поделывает премилая сова?

Какая сова? Ковалев хорошо знает, какая сова! Лет двадцать пять тому назад он подстрелил сову и где-то на ночлеге сказал эту фразу, но фраза эта почему-то не забылась и, как десятки других, повторяется Яковом Петровичем. Сама по себе она, конечно, не имеет смысла,

но от долгого употребления стала смешной и, как другие, подобные ей, влечет за собой много воспоминаний.

Очевидно, Яков Петрович совсем повеселел и приступает к мирным разговорам о былом. И Ковалев слушает с задумчивой улыбкой.

— А помните, Яков Петрович? — начинает он...

Медленно протекает вечер, тепло и светло в маленьком кабинете. Все в нем так просто, незатейливо, постаринному: желтенькие обои на стенах, украшенных выцветшими фотографиями, вышитыми шерстью картинами (собака, швейцарский вид), низкий потолок оклеен «Сыном Отечества»; перед окном дубовый письменный стол и старое, высокое и глубокое кресло; у стены большая кровать красного дерева с ящиками, над кроватью рог, ружье, пороховница; в углу образничка с темными иконами... И все это родное, давно-давно знакомое!

Старики сыты и согрелись. Яков Петрович сидит в валенках и в одном белье, Ковалев — в валенках и поддевочке. Долго играли в шашки, долго занимались своим любимым делом — осматривали одежду — нельзя ли как-нибудь вывернуть? — искроили на шапку старую тужурку; долго стояли у стола, мерили, чертили мелом...

Настроение у Якова Петровича самое благодушное. Только в глубине души шевелится какое-то грустное чувство. Завтра праздник, он один... Спасибо Ковалеву, хоть он не забыл!

— Ну,— говорит Яков Петрович,— возьми эту шапку себе.

— А вы-то как же? — спрашивает Ковалев.

— У меня есть.

— Да ведь одна вязаная?

— Так что ж? Бесподобная шапка!

— Ну, покорнейше благодарим.

У Якова Петровича страсть делать подарки. Да и не хочется ему шить...

— Который-то теперь час? — размышляет он вслух.

— Теперь? — спрашивает Ковалев.— Теперь десять. Верно, как в аптеке. Я уж знаю. Бывало, в Петербурге, по двое серебряных часов нашивал...

— Да и брешешь же ты, брат! — замечает Яков Петрович ласково.

— Да нет, вы позвольте, не фрапируйте сразу-то!

Яков Петрович рассеянно улыбается.

— То-то, должно быть, в городе-то теперь! — гово-

рит он, усаживаясь на лежанку с гитарой.— Оживление, блеск, суета! Везде собрания, маскерады!

И начинаются воспоминания о клубах, о том, сколько когда выиграл и проиграл Яков Петрович, как иногда Ковалев вовремя уговаривал его уехать из клуба. Идет оживленный разговор о прежнем благосостоянии Якова Петровича. Он говорит:

— Да, я много наделал ошибок в своей жизни. Мне не на кого пенять. А судить меня будет уж, видно, Бог, а не Глафира Яковлевна и не зятек миленький. Что ж, я бы рубашку им отдал, да у меня и рубашек-то нету... Вот я ни на кого никогда не имел злобы... Ну, да все прошло, пролетело... Сколько было родных, знакомых, сколько друзей-приятелей — и все это в могиле!

Лицо Якова Петровича задумчиво. Он играет на гитаре и поет старинный печальный романс.

Что ты замолк и сидишь одиноко?—

поет он в раздумье:

Дума лежит на угрюмом челе...
Иль ты не видишь бокал на столе?

И повторяет с особенной задушевностью:

Иль ты не видишь бокал на столе?

Медленно вступает Ковалев.

Долго на свете не знал я приюту,—

разбитым голосом затягивает он, сгорбившись в старом кресле и глядя в одну точку перед собою.

Долго на свете не знал я приюту,—

вторит Яков Петрович под гитару:

Долго носила земля сироту,
Долго имел я в душе пустоту...

Ветер бушует и рвет крышу. Шум у крыльца... Эх, если бы хоть кто-нибудь приехал! Даже старый друг, Софья Павловна, забыла...

И, покачивая головой, Яков Петрович продолжает:

Раз в незабвенную жизни минуту,
Раз я увидел созданье одно,
В коем все сердце мое вмещено...
В коем все сердце мое вмещено...

Все прошло, пролетело... Грустные думы клонят голову... Но печальной удалью звучит песня:

Что ж ты замолк и сидишь одиноко?
Стукнем бокал о бокал и запьем
Грустную думу веселым вином!

— Не приехала бы барыня,— говорит Яков Петрович, дергая струны гитары и кладя ее на лежанку. И старается не глядеть на Ковалева.

— Кого! — отзывался Ковалев.— Очень просто.

— Избавь, Бог, плутает... В рог бы потрубить... на всякий случай... Может быть, Судак едет. Ведь замерзнуть-то недолго. По человечеству надо судить...

Через минуту старики стоят на крыльце. Ветер рвет с них одежду. Дико и гулко заливается старый звонкий рог на разные голоса. Ветер подхватывает звуки и несет в непроглядную степь, в темноту бурной ночи.

— Гоп-гоп! — кричит Яков Петрович.

— Гоп-гоп! — вторит Ковалев.

И долго потом, настроенные на героический лад, не унимаются старики. Только и слышится:

— Понимаешь? Они тысячами с болота на овсяное поле! Шапки сбивают!.. Да все матерые, кряковые! Как ни дам — просто каши наварю!

Или:

— Вот, понимаешь, я и стал за сосной. А ночь месячная — хоть деньги считай! И вдруг прет... Лобище вот этакий... Как я его брызну!

Потом идут случаи замерзания, неожиданного спасения... Потом восхваление Лучезаровки.

— До смерти не расстанусь! — говорит Яков Петрович.— Я все-таки тут сам себе голова. Имение, надо правду сказать, золотое дно. Если бы немножко мне перевернуться! Сейчас все двадцать восемь десятин — картофелем, банк — долой, и опять я кум королю!

IV

Всю долгую ночь бушевала в темных полях вьюга.

Старикам казалось, что они легли спать очень поздно, но что-то не спится им. Ковалев глухо кашляет, с головой закрытый тулупом; Яков Петрович ворочается и отдувается; ему жарко. Да и слишком уж грозно буря потрясает стены, слепит и засыпает снегом окна! Слишком неприятно дребезжат разбитые стекла в гостиной! Жутко там теперь, в этой холодной, необитаемой гостиной! Она пустая, мрачная,— потолки в ней низкие, амбразуры

маленьких окон глубоки. Ночь же такая темная! Смутно отсвечивают свинцовым блеском стекла. Если даже прильнешь к ним, то разве едва-едва различишь забитый, занесенный сугробами сад... А дальше мрак и метель, метель...

И старики сквозь сон чувствуют, как одинок и беспомощен их хуторок в этом бушующем море степных снегов.

— Ах ты, Господи, Господи! — слышится порою бормотанье Ковалева.

Но опять странной дремотой обвевает его шум метели. Он кашляет все тише и реже, медленно задремывает, словно погружается в какое-то бесконечное пространство... И опять чувствует сквозь сон что-то зловещее... Он слышит... Да, шаги! Тяжелые шаги наверху где-то... По потолку кто-то ходит... Ковалев быстро приходит в сознание, но тяжелые шаги ясно слышны и теперь... Скрипит матица...

— Яков Петрович! — говорит он.— Яков Петрович!

— А? Что? — спрашивает Яков Петрович.

— А ведь по потолку-то кто-то ходит.

— Кто ходит?

— А вы послушайте-ка!

Яков Петрович слушает: ходит!

— Да нет, это всегда так,— ветер,— говорит он наконец, зевая.— Да и трус же ты, брат! Давай-ка лучше спать.

И правда, сколько уже было толков про эти шаги на потолке. Каждую непогожую ночь!

Но все-таки Ковалев, задремывая, шепчет с глубоким чувством:

— Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго... Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы, летящия в дни... На аспида и василиска наступиши и попреши льва и змия...

И Якова Петровича что-то беспокоит во сне. Под шум метели мерещится ему то гул векового бора, то звон отдаленного колокола; слышится невнятный лай собак где-то в степи, крик работника Судака... Вот шуршат у крыльца сани, скрипят чьи-то лапти по мерзлому снегу в сенцах... И сердце Якова Петровича сжимается от боли и ожидания: это его сани, а в санях — Софья Павловна, Глаша... подъезжают они медленно, забитые снегом, еле видные в темноте бурной ночи... едут, едут, но почему-то

мимо дома, все дальше, дальше... Их увлекает метель, засыпает их снегом, и Яков Петрович торопливо ищет рог, хочет трубить, звать их...

— Черт знает что такое! — бормочет он, очнувшись и отдуваясь.

— Что это вы, Яков Петрович!

— Не спится, брат! А ночь давно, должно быть!

— Да, давненько!

— Зажигай-ка свечку-то да закуривай!

Кабинет озаряется. Щурясь от свечки, пламя которой колеблется перед заспанными глазами как лучистая, мутно-красная звезда, старики сидят, курят, с наслаждением чешутся и отдыхают от сновидений... Хорошо проснуться в долгую зимнюю ночь в теплой, родной комнате, покурить, поговорить, разогнать жуткие ощущения веселым огоньком!

— А я,— говорит Яков Петрович, сладко зевая,— а я сейчас вижу во сне, как ты думаешь, что?.. Ведь приснится же!.. Будто я в гостях у турецкого султана!

Ковалев сидит на полу, сгорбившись (какой он старенький и маленький без поддевочки и со сна!), в раздумье отвечает:

— Нет, это что — у турецкого султана! Вот я сейчас видел... Верите ли? Один за одним, один за одним... с рожками, в пиджачках... мал мала меньше... Да ведь какого транташá около меня разделывают!

Оба врут. Они видели эти сны, даже не раз видели, но совсем не в эту ночь, и слишком часто рассказывают их они друг другу, так что давно друг другу не верят. И все-таки рассказывают. И, наговорившись, в том же благодушном настроении, тушат свечу, укладываются, одеваются потеплей, надвигают на лоб шапки и засыпают сном праведника...

Медленно наступает день. Темно, угрюмо, буря не унимается.

Сугробы под окнами почти прилегают к стеклам и возвышаются до самой крыши. От этого в кабинете стоит какой-то странный, бледный сумрак...

Вдруг с шумом летят кирпичи с крыши. Ветер повалил трубу...

Это плохой знак: скоро, скоро, должно быть, и следа не останется от Лучезаровки!

1895

НА ДАЧЕ

I

Окна в сад были открыты всю ночь. А деревья раскидывались густой листвой возле самых окон, и на заре, когда в саду стало светло, птицы так чисто и звонко щебетали в кустах, что отдавалось в комнатах. Но еще воздух и молодая майская зелень в росе были холодны и матовы, а спальни дышали сном, теплом и покоем.

Дом не походил на дачный; это был обыкновенный деревенский дом, небольшой, но удобный и покойный. Петр Алексеевич Примо, архитектор, занимал его уже пятое лето. Сам он больше бывал в разъездах или в городе. На даче жила его жена, Наталья Борисовна, и младший сын, Гриша. Старший, Игнатий, только что кончивший курс в университете, так же, как и отец, появлялся на даче гостем: он уже служил.

В четыре часа в столовую вошла горничная. Сладко зевая, она переставляла мебель и шаркала половой щеткой. Потом она прошла через гостиную в комнату Гриши и поставила у кровати большие штиблеты на широкой подошве без каблука. Гриша открыл глаза.

— Гарпина! — сказал он баритоном.

Гарпина остановилась в дверях.

— Чого? — спросила она шепотом.

— Поди сюда.

Гарпина покачала головой и вышла.

— Гарпина! — повторил Гриша.

— Та чого вам?

— Поди сюда... на минутку.

— Не піду, хоч заріжте!

Гриша подумал и крепко потянулся.

— Ну, пошва вон!

— Бариня загадали вчора спитать вас, чи поїдете у город?

— А дальше?

— Казали, шоб не їздили, бо барин сьогодні прыїдуть.

Гриша, не отвечая, одевался.

— Повотенце? — спросил он громко.

— Та на столі — óн! Не збудіть бариню...

Заспанный, свежий и здоровый, в сером шелковом картузе, в широком костюме из легкой материи, Гриша вышел в гостиную, перекинул через плечо мохнатое полотенце, захватил стоявший в углу крокетный молоток и, пройдя переднюю, отворил дверь на улицу, на пыльную дорогу.

Дачи в садах тянулись и направо и налево в одну линию. С горы открывался обширный вид на восток, на живописную низменность. Теперь все сверкало чистыми, яркими красками раннего утра. Синеватые леса темнели по долине; светлой, местами алой сталью блестела река в камышах и высокой луговой зелени; кое-где с зеркальной воды снимались и таяли полосы серебряного пара. А вдали широко и ясно разливался по небу оранжевый свет зари: солнце приближалось...

Легко и сильно шагая, Гриша спустился с горы и дошел по мокрой, глянцевитой и резко пахнущей сыростью траве до купальни. Там, в дощатом номере, странно озаренном матовым отсветом воды, он разделся и долго разглядывал свое стройное тело и гордо ставил свою красивую голову, чтобы походить на статуи римских юношей. Потом слегка прищуривая серые глаза и посвистывая, вошел в свежую воду, выплыл из купальни и сильно взмахнул руками, увидав, что на горизонте чуть-чуть показавшееся солнце задрожало тонкой огнистой полоской. Белые гуси с металлически-звонкими криками, распустив крылья и шумно бороздя воду, тяжело шарахнулись в тростники. Широкие круги, плавно перекатываясь, закачались и пошли к реке...

— Григорий Петрович! — крикнул чей-то голос с берега.

Гриша перевернулся и увидал на берегу высокого мужика с русой бородою, с открытым лицом и ясным взглядом больших голубых глаз навыкате. Это был Каменский, «толстовец», как его называли на дачах.

— Вы придете сегодня? — крикнул Каменский, снимая картуз и вытирая лоб рукавом замашной рубахи.

— Здравствуйте!.. Приду,— отозвался Гриша.— А вы куда, если не секрет?

Каменский с улыбкой взглянул исподлобья.

— Ведь вот люди! — сказал он важно и ласково.— Всё у них секреты!

Гриша подплыл к берегу и, стоя и качаясь по горло в воде, пробормотал:

— Ну, если хотите, не секрет... Я просто полюбопытствовал, почему вы меня спросили?

— А мне нужно побывать у знакомых.

— Да, так вы в город едете!

— Разве в город только ездят? — снова перебил Каменский.— И разве знакомые бывают только в городе?

— Конечно, нет. Только я не понимаю...

— Вот это верно. Я сказал, что буду и в городе и у знакомых — вот тут недалеко — на огородах.

— Так, значит, попоздней прийти?

— Да, попоздней.

— Тогда до свидания! — крикнул Гриша и подумал: «Правду говорит Игнатий — психопаты!» Но, отплывши, он опять обернулся и пристально посмотрел на высокую фигуру в мужицкой одежде, уходившую по тропинке вдоль реки.

На реке еще было прохладно и тихо. За лугами, в синеющей роще, куковала кукушка. У берега зашуршали камыши, и из них медленно выплыла лодка. Седенький старичок в очках и поломанной соломенной шляпе сидел в ней, рассматривая удочку. Он поднял ее и соображал что-то, лодка остановилась и вместе с ним, с его белой рубашкой и шляпой, отразилась в воде. А из купальни слышались крики, плеск и хохот. По гнущимся доскам бежали с берега, стуча сапогами, гимназисты, студенты в белых кителях, чиновники в парусинных рубашках...

Грише не хотелось возвращаться туда, и он стал нырять, раскрывать глаза в темно-зеленой воде, и его тело казалось ему чужим и странным, словно он глядел сквозь стекло. Караси и гольцы с удивленными глазками останавливались против него и вдруг таинственно юркали куда-то в темную и холодную глубину. Вода мягко, упруго сжимала и качала тело, и приятно было чувствовать под ногами жесткий песок и раковины... А наверху уже припекало. Теплая, неподвижная вода блестела кругом, как зеркало. С зеленых прибрежных

лозин в серых сережках тихо плыл белый пух, и тянуло запахом тины и рыбы.

II

Ровно час после купанья Гриша посвятил гимнастике. Сперва он подтягивался по канату и висел на трапеции в саду, потом в своей комнате становился в львиные позы, играя двухпудовыми гирями.

Со двора звонко и весело раздавалось кудахтанье кур. В доме еще стояла тишина светлого летнего утра. Гостиная соединялась со столовой аркой, а к столовой примыкала еще небольшая комната, вся наполненная пальмами и олеандрами в кадках и ярко озаренная янтарным солнечным светом. Канарейка возилась там в покачивающейся клетке, и слышно было, как иногда сыпались, четко падали на пол зерна семени. В большом трюмо, перед которым Гриша ворочал тяжестями, вся эта комната отражалась в усиленно-золотистом освещении с неестественно прозрачной зеленью широкой цветочной листвы.

Когда же Гриша вышел на балкон, сел за накрытый стол и, покачиваясь на передних ножках стула, стал, слегка расширяя ноздри, медленно пить молоко, в тишине дома раздался томный голос Натальи Борисовны:

— Гарпина!

«Какая скука! — подумал Гриша.— Каждый день начинается одним и тем же воззванием!»

— Гарпина! — повторила Наталья Борисовна нетерпеливее.— Гри-иша!

Гриша лениво поднялся с места.

— Ну, что тебе? — сказал он, входя в спальню.

Наталья Борисовна, полная женщина лет сорока, сидела на постели и, подняв руки, подкалывала темные густые волосы. Увидав сына, она недовольно повела плечом.

— Ах, какой ты, брат, невежа! — сказала она, смягчая слова улыбкой.

Гриша молча ждал. В комнате с опущенными шторами стоял пахучий полусумрак. На ночном столике возле свечки тикали часики и лежала развернутая книжка «Вестника Европы».

— Да как же, право! — добавила Наталья Борисовна еще ласковее.— Зову, зову!..

И она попросила достать из столика деньги, посмотреть, где записка — что́ взять в библиотеке, собрать журналы и позвать Гарпину.

— Гарпина сейчас едет в город,— сказала она,— не нужно ли тебе чего?.. Нынче приедет отец и, вероятно, с ним Игнатий.

— Будь добра, поскорее! — перебил Гриша.— Ты ведь знаешь, что сейчас я должен идти к Каменскому.

— Ну, ты невозможен, наконец! — воскликнула Наталья Борисовна.— Я же тебе и хотела про это сказать... Ты, например, даже ничего не сообщил мне о нем...

— Ты сама его видела.

— Что же я могла видеть в десять минут, когда человек брал заказ? Кроме как о шкапе, мы двух слов не сказали.

— Но ведь и я хожу к нему только третий день.

— Но все-таки?

— Обыкновенный толстовец.

— Ну, словом, позови его, пожалуйста, к нам сегодня вечером. Ты знаешь, это будет интересно Игнатию. Только позови, голубчик, как-нибудь потоньше, а то ведь откажется!

Гриша кивнул головой и вышел.

III

«Опять день, опять долгий день!» — шевельнулось в глубине души Натальи Борисовны, когда она, после чая и переговоров с кухаркой, взяла зонтик, книжку журнала и, покачиваясь, слегка щурясь от яркого утреннего света и придерживая левой рукой подол широкого чесучового платья, медленно сошла с балкона и направилась в общий дачный парк по своему саду, где, в солнечном блеске, на яблонях в белых нарядных цветах, гудели пчелы, а в чащах журчали горлинки.

«Как трогательно!» — подумала она с ленивой улыбкой, отворив калитку и увидав невдалеке профессора Камарницкого под руку с женою. И тотчас же ласково крикнула им слабым голосом:

— Откуда Бог несет?

Профессор, грубоватый на вид, рыжий и курносый, двигался не спеша, и его толстые очки блестели очень строго; в петличке у него краснел цветок, в руках была

корзина. Профессорша, маленькая еврейка, похожая на гитару, преклоняла свою черную головку к его плечу.

— Здрасьте! — сказала она небрежно, сквозь зубы. Как всегда, в ее меланхолических глазах и во всем птичьем личике было что-то надменное и брезгливое: никто не должен был забывать, что профессорша — марксистка, жила в Париже, была знакома с знаменитыми эмигрантами.

— Что это вы так рано? — спросила Наталья Борисовна.

— По грибы,— ответила профессорша, а профессор, силясь улыбнуться, прибавил:

— Дачей нужно пользоваться.

«Какие скучные!» — подумала Наталья Борисовна, глядя им вслед.

— Ах, какие скучные! — повторила она, выходя в парк.

На обширной поляне парка стояли одни темно-зеленые широковетвистые дубы. Тут обыкновенно собирались дачники. Теперь большинство их, чиновники, шли по дороге, пролегающей между дубами, к железнодорожной станции. Барышни в пестрых легких платьях и мужчины в чесуче, в мягкой обуви проходили мимо Натальи Борисовны и углублялись по узкой дороге в лес, где от листвы орешника стоял зеленоватый полусвет, сверкали в тени золотые лучи, а воздух был еще легкий и чистый, напоенный резким запахом грибов и молодой лесной поросли.

И Наталья Борисовна снова почувствовала себя хорошо и покойно на этой дачной поляне, раскланиваясь с знакомыми и садясь на скамейку под свой любимый дуб. Она откинулась на ее спинку, развернула книгу и, еще раз оправив складки платья, принялась за чтение. Иногда она тихо подымала голову, улыбалась и переговаривалась с дачницами, расположившимися под другими дубами, и опять не спеша опускала глаза на статью по переселенческому вопросу.

А поляна оживлялась. Подходили дамы и барышни с работой и книгами, няньки и важные кормилицы в сарафанах и кокошниках. Изредка, но все-таки без надобности щелкая, прокатывались велосипедисты в своих детских костюмах. Худые проносились с форсированной быстротой, согнувшись и работая ногами, как водяные пауки. Коренастые, у которых узкий костюм плотно об-

тягивал широкие зады, ехали тише, уверенно и весело оглядываясь. Блестящие спицы велосипедов трепетали на солнце частыми золотыми лучами. А дети взапуски бегали, звонко перекликались и прятались друг от друга за дубами.

— Жарко! — сказала Наталья Борисовна, прищуриваясь, опуская на колени книгу и обращаясь к молоденькой женщине, сидевшей невдалеке с вязаньем в руках.

— Жарко! — согласилась та, сдувая со щеки длинный волос.

Золотистый, чуть заметный туман стоял вдали в знойном воздухе. На местах солнечных золотисто-зеленые мухи словно прилипали к дорожкам и деревьям. Вверху, над вершинами дубов, где ровно синела глубина неба, собирались облака с причудливо округляющимися краями. Веселый и томный голос иволги мягкими переливами звучал в чаще леса.

IV

Гриша шел к Каменскому, сбивая палкой цветы по дороге.

Каменский занимался столярной работой, и Гриша брал у него уроки. Ему давно хотелось узнать какое-нибудь ремесло и потому, что это полезно для здоровья, и потому, что когда-нибудь будет приятно показать, что вот он, образованный человек, умеет работать и простую работу. По дороге он, между прочим, думал, что, выучившись, он сам сделает себе идеальные шары и молотки для крокета, да, пожалуй, и всю мебель для своей комнаты... простую, удобную и оригинальную. Занимало и то, что теперь он может похвалиться, что знает «живого толстовца».

В доме отца Гриша с детства видел самых разнохарактерных людей: тузов разных служб и профессий, имеющих всегда такой вид, словно они только что плотно пообедали, богатых толстых евреев, которые важно, по-гусиному, переваливались на ходу, известных докторов и адвокатов, профессоров и бывших радикалов. И отец называл за глаза тузов мошенниками, евреев — «жидовскими мордами», остальных — болтунами, ничтожеством. Когда Гриша только что начал читать серьезные книги, знакомиться с студентами, ему часто приходилось удивляться: вдруг оказывалось, что какой-

нибудь писатель или знаменитый профессор, который представлялся человеком необыкновенным,— ни больше ни меньше, как «идиот», «посредственность», вся известность которой основывается на энциклопедических иностранных словарях да на приятельстве с людьми влиятельными. И говорил это не кто-нибудь иной, а сам Петр Алексеич, которому было достаточно рассказать в шутливом тоне, что такая-то знаменитость затыкает уши ватой, любит чернослив и, как огня, боится жены, чтобы авторитет этой знаменитости навсегда померк в глазах Гриши. Такие же новости привозил из столицы и Игнатий, а он, как человек крайне нервный, был еще более резок в мнениях.

— Что ж, и терпентин на что-нибудь полезен,— сказал он однажды словами Пруткова, когда зашел разговор о толстовцах и о толстовском учении — этой «доморощенной философии самоучки с недисциплинированной головой». И Гриша, робея Каменского, усвоил себе манеру насмешливо щуриться, думая о нем.

Жил Каменский на мельнице, в версте от деревни. Мельница стояла на зеленом выгоне, к югу от дачных садов, там, где местность еще более возвышалась над долиной. Хозяин почему-то забросил ее: маленькое поместье с высоким тополем над соломенной крышей избушки, с бурьяном на огороде медленно приходило в запустение. Внизу, в широкой долине, темным бархатом синели и, сливаясь, округлялись вершины лесов. Мельница, как объятья, простирала над долиной свои изломанные крылья дикого цвета. Она, казалось, все глядела туда, где горизонт терялся в меланхолической дымке, а хлеба со степи все ближе и ближе подступали к ней; двор зарос высокой травою; старые серые жернова, как могильные камни, уходили в землю и скрывались в глухой крапиве, голуби покинули крыши. Одни кузнечики таинственно шептались в знойные летние дни у порога избушки, мирно дремлющей на солнце.

— Вот и келья под елью! — усмехнулся Гриша, взглянув на мельницу в первое утро. Он уже представлял себе, как Каменский начнет поучать его, спасать его душу, и заранее вооружился враждебной холодностью. Однако Каменский только показал ему, как надо распиливать доски; и это даже обидело Гришу: «не хочет снизойти до меня»,— думал он, искоса поглядывая на работающего учителя и стараясь подавить в себе чувство невольного почтения к нему.

Сегодня он подходил к этой келье в девятом часу. Обыкновенно Каменский в это время работал. Но теперь в сенцах, где стоял верстак, никого не было.

— Алексей Александрович! — окликнул Гриша и, не получив ответа, пошел к мельнице: там вчера Каменский распиливал большие доски. Но и в мельнице было пусто. Только воробьи стаей снялись с пола да ласка таинственно, как змейка, шмыгнула по стояку в развалившийся мучной ларь.

«Значит, у огородника загостился»,— подумал Гриша, возвращаясь в избу.

В сенцах, обращенных дверями к северу, было прохладно от глиняного пола; в сумраке стоял уксусный запах стружек и столярного клея. Грише нравился этот запах, и он долго сидел на пороге, помахивая на себя картузом и глядя в поле, где дрожало и убегало дрожащими волнами марево жаркого майского дня. Дачные сады казались в нем мутными, серыми набросками на стекле. Грачи, как всегда в жару, кричали где-то в степи тонкими томными голосами. А на дворе мельницы не было ни малейшего дуновения ветерка, на глазах сохла трава... Разгоняя дремоту, Гриша поднялся с порога.

Близ порога валялся топор. На верстаке, среди инструментов, в белой пыли пиленого дерева, лежали две обгорелые печеные картошки и книга в покоробленном переплете. Гриша развернул ее: Евангелие. На заглавном листе его было написано: «Боже мой! Я стыжусь и боюсь поднять лицо мое к Тебе, Боже мой, ибо беззакония наши стали выше головы и вина наша возросла до небес...»

— Что это такое? — пробормотал Гриша, чувствуя, как что-то новое, возвышенное коснулось его души.

— Странный человек! — прибавил он в раздумье и снова развернул Евангелие. В середине его были письма («Дорогие братья во Христе Алексей Александрович и Павел Федорыч...» — начиналось одно из них), бумажки с выписками... На одной было начало стихотворения:

> Долго я Бога искал в городах и селениях шумных,
> Долго на небо глядел — не увижу ли Бога...

На другой опять тексты:

«Итак, станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности...»

Ласточка с щебетаньем влетела в сенцы и опять унеслась стрелою на воздух. Гриша вздрогнул и долго следил

за ней в небе. Вспомнилось нынешнее утро, купальня, балкон, теплица — и все это вдруг показалось чужим и далеким... Он постоял перед дверью в избу, тихо отворил ее.

В передней узкой комнате загудели мухи; воздух в ней был душный, обстановка мрачная, почти нищенская: почерневшие бревенчатые стены, развалившаяся кирпичная печка, маленькое, тусклое окошечко. Постель была сделана из обрубков полен и досок, прикрытых только попоной; в головах лежал свернутый полушубок, а вместо одеяла — старое драповое пальто. На столе, среди истрепанных книг, валялись странные для этой обстановки предметы — бронзовый позеленевший подсвечник, большой нож из слоновой кости, головная щетка и фотографический портрет молодой женщины с худощавым грустным лицом. Из деликатности Гриша отвел глаза от стола — и сердце его сжалось при взгляде на эти старые, засиженные мухами, уже давно не бывшие в употреблении вещи и на этот портрет.

Зачем это самоистязание? Он смотрел на бревенчатые стены, на нищенское ложе, стараясь понять душу того странного человека, который одиноко спал на нем. Были, значит, и у него другие дни, был и он когда-то другим человеком... Что же заставило его надеть мужицкие вериги?

— Странный человек! — повторил Гриша, хмурясь на темную фототипию, висевшую над кроватью,— снимок с картины знаменитого художника. Это было жестокое изображение крестной смерти, написанное резко, с болью сердца, почти с озлоблением. Все, что вынесло человеческое тело, пригвожденное по рукам и ногам к грубому тяжелому кресту, было передано в лице почившего Христа, исхудалого, измученного допросами, пытками и страданием медленной кончины. И тяжело было глядеть на стриженую, уродливую голову привязанного к другому кресту и порывающегося вперед разбойника, на его лицо с безумными глазами и раскрытым ртом, испустившим дикий крик ужаса и изумления перед смертью Того, Кто назвал себя Сыном Божиим... Морщась, Гриша отворил дверь в другую комнату.

Тут было очень светло от солнца, совершенно пусто и пахло закромом. По полу когда-то прошелся широкими полукругами веник, но не докончил своего дела, и мучная пыль белела в углах и на карнизах. У одного

окна, на котором грудами лежали литографированные тетрадки, учебник «Эсперанто», изречения Эпиктета, Марка Аврелия и Паскаля, стоял стул. На нем Каменский, должно быть, отдыхал и читал. На простенке были приклеены хлебом печатные рассуждения под разными заглавиями: «О Слове», «О Любви», «О плотской жизни». Среди же них еще стихотворение, крупно написанное на белом листе бумаги:

Боже! Жизнь возьми — она
Вся Тебе посвящена!
Дни возьми — пусть каждый час
Слышишь Ты хвалебный глас!

А ниже — из псалмов Давида:

«Ты дал мне познать путь жизни; Ты исполнишь меня радостью перед лицом Твоим!»

Как все это было странно и ново для Гриши! Он с изумлением смотрел кругом, прислушивался к тишине этого заглохшего поместья и к тому, что пробуждалось в его сердце, долго ходил из угла в угол... Потом вернулся в полутемную комнату, вышел в сени, снова развернул Евангелие...

«Дети! Недолго уже быть Мне с вами...» — читал он отмеченные карандашом слова последней вечери Христа с учениками. «Да не смущается сердце ваше»... «Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел»... «Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее; но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир»...

Отняв глаза от книги, Гриша долго и напряженно глядел в угол, ничего не видя перед собою. И он, этот странный человек, терпит скорбь, «ибо беззакония наши стали выше головы!». Запах избы от ветхого переплета книги напомнил Грише тяжелую работу, кусок корявого хлеба, жесткое деревянное ложе, черные бревенчатые стены. А пустая, безмолвная и вся озаренная солнцем комната — светлое одиночество в минуты отдыха и созерцательной, тихой жизни.

«Ты исполнишь меня радостью перед лицом Твоим!» — вспомнил Гриша и почувствовал, как у него самого радостно и жутко затрепетало сердце и глаза наполнились слезами непонятного восторга... «После сих слов,— читал он дальше, ощущая в волосах словно дуновение морозного ветра,— после сих слов Иисус возвел

очи Свои на небо и сказал: «Отче! Пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя... Я открыл имя Твое человекам... Соблюди их во имя Твое!..»

V

— А, вы уже пришли! — раздался голос Каменского.

Гриша смущенно захлопнул книгу.

— Извините,— сказал он, подымаясь.

— В чем вы извиняетесь? — спросил Каменский, стоя перед ним с мешком в руке и пристально глядя ему в лицо.

— Да вот залез в ваши книги,— ответил Гриша небрежно.

— Так что ж тут дурного?

— Я говорю, взял вашу книгу... ну, без спросу, что ли...

— Вашу? Что это значит?

— Как что значит?

— Да так. Зачем вы все такие слова употребляете?

Они стояли друг против друга, и Гриша чувствовал, что пристальный взгляд улыбающихся глаз Каменского все более подчиняет его себе.

— Что это вы покупали? — спросил он, чтобы переменить разговор.

— А вот луку немного и хлеба.

И Каменский опустил мешок на землю.

— Так, может быть, начнем? — добавил он.— Я вот покажу вам, разведу огонь и присоединюсь к вам.

Гриша встрепенулся.

— Нет, нет, вы сначала разведите.

— Успеется,— отозвался Каменский.— Давайте доску в верстак, попробуйте фуганком.

Гриша с преувеличенным вниманием стал слушать, как надо работать фуганком, и помогать заправлять доску в верстак.

— Ну-ка, попробуйте! — сказал Каменский.

Гриша взял фуганок и с такой силой зашаркал им по доске, что в два-три взмаха испортил ее.

— Да вы потише! — ласково засмеялся Каменский.

Он ушел в избу, вынес оттуда чугунчик с водой, поставил его на таган около порога и развел огонь. Синий дымок поплыл по двору. Поглядывая на него, Каменский взял из-за верстака кадушку, сел на порог

и стал набивать обручи. Стук молотка звонко отдавался в пустой кадке. Подлаживая под этот стук, Гриша пристально шмыгал фуганком по доске. Стружки кремового цвета, красиво загибаясь, падали на пол.

— Вы живете только с матерью? — спросил вдруг Каменский, опуская молоток.

— Нет, и отец часто приезжает,— поспешно ответил Гриша, поднимая запотевшее и возбужденное лицо.— А в городе всегда вместе.

— Он что же — все города украшает?

— Как города украшает?

— Строит дома богатым людям? Созидает Вавилон?

— Ах, вот что... Если хотите, да.

— Ну, этого-то я не хочу! — серьезно сказал Каменский.

И, положив в воду картофелю и луку, поправив огонь, опять сел на порог за работу.

— Да,— сказал он задумчиво.— А брат ваш что делает?

— Он только что кончил курс... Теперь служит... то есть работает у патрона.

— Так,— сказал Каменский.— У патрона... А вы тоже думаете этим заняться?

Гриша помолчал.

— Не знаю,— сказал он тихо.

Каменский тоже помолчал.

— Это хорошо, что не знаете,— сказал он почти строго и стал задумчиво глядеть вдаль.— Люди все еще идут в Египет за помощью. Но и египтяне — люди, а не Бог, и кони их — плоть, а не дух.

И, подняв глаза на Гришу, прибавил:

— И вы будете также... также несчастны и одиноки, если будете не жить, а служить. Вы скоро забудете людей, будете знать только отношения вместо людей, и вам будет очень тяжело...

Гриша вспомнил свою семью и опустил глаза.

— Я испытал это на себе,— опять заговорил Каменский.— Я видел, как растет пропасть между моими поступками и намерениями, как жизнь моя обращается в служение крахмальным рубашкам; видел, как растет пропасть между мной и людьми. И когда я приехал в деревню к своим, где думал начать новую жизнь, я ясно увидел, как велика эта пропасть. Я мог только с крыльца слушать говор и весь этот смутный шум

деревни, наблюдать жизнь простых и добрых людей, которых я прежде намеревался учить злым и ненужным делам, думая, что эти дела добрые и нужные дела,— только наблюдать: между нами была пропасть. Я был как человек, стоящий у ручья, которому хотелось пить, но которому сказали, что, прежде чем пить, надо взмутить воду, и он стал пить мутную воду, хотя и знал, что мутить воду было не нужно...

Гриша слушал, стараясь не проронить ни одного слова. «Разве ты теперь-то не одинок?» — хотелось ему сказать. Но, боясь сказать это невпопад, неумело, боясь, что Каменский заговорит с ним как с мальчиком, молчал.

— А про Египет,— спросил он наконец,— это чьи слова?

— Исаии. Вы не читали?

— Никогда.

Каменский подумал.

— Завтра воскресенье,— сказал он,— мы не будем работать. Если хотите, приходите, и мы почитаем вместе.

— Во сколько?

— Когда хотите. Хоть часов в десять. Раньше нельзя, так как я пойду в город на почту.

— Непременно приду! — воскликнул Гриша.— У вас тут так хорошо!

Он помолчал и вдруг с трудом выговорил:

— А вы не будете ли добры пожаловать к нам сегодня вечером?.. Мама будет очень рада вас видеть...

— С удовольствием,— ответил Каменский.— Я людей не избегаю.

Он попробовал палочкой картошки в чугуне, встал и ушел в избу. Гриша торопливо схватил картуз. Очевидно, Каменский сейчас будет обедать и пригласит его... и выйдет неловкость, неприятность, которая испортит все настроение. Есть Грише не хотелось, но отказаться неловко... да даже если бы и хотелось и он сел, вышло бы все-таки что-то фальшивое.

— Ну,— сказал он как можно спокойнее, когда Каменский вышел из избы с глиняной миской и ложкой в руках,— мне необходимо домой...

И, чувствуя, что краснеет, Гриша поспешно добавил:

— Сегодня, знаете, брат и отец приедут... Так мне необходимо... До вечера, значит?

— До свиданья, до вечера! — ответил Каменский ласково.

За мельницей Гриша вздохнул свободнее. Он был взволнован, ему хотелось подумать о чем-то, но он ничего не думал и только шел все дальше в степь. Позади него живописно синела долина, но ему хотелось уйти в открытое поле. И он шел по парам, уже заросшим высокой травой и цветами, и ему было приятно, что они щелкают его по ногам, что поднявшийся ветер обвевает лицо солнечной теплотою, запахом зеленых хлебов.

— Как хорошо! — воскликнул Гриша, останавливаясь и снимая картуз.

Он постоял, подумал, послушал жаворонков и тихо добавил:

— Ты исполнишь меня радостью перед лицом Твоим!

Потом лег на межу навзничь и стал делать то, что делал в детстве — медленно-медленно закрывать глаза так, чтобы солнечные лучи ярко-золотистою паутиною протянулись к ресницам, а потом задрожали и превратились в трепещущие кружки, радужные, как хвост павлина...

«Как жить? — думал Гриша.— Как жить, чтоб всегда было хорошо, легко, свободно, просто? И чтоб и другим было так же? Как жить?»

Он постарался представить себе, что будет в его жизни... в тридцать, сорок, пятьдесят лет... Но все было смутно и непонятно. Представилось только что-то похожее на туманную синеву в долине под мельницей...

VI

— Откуда так стремительно?

Гриша остановился среди поляны и поднял голову. По дороге от станции шла в большой шляпке стройная и худощавая барышня, одна из служащих в управлении железной дороги.

— А вас, Марья Ивановна, почему это интересует? — спросил Гриша с тем неестественным спокойствием, с которым говорят красивые молодые люди с хорошенькими девушками.

Марья Ивановна пожала ему руку. Темно-каштановые волосы локонами падали на ее плечи; простое и наивное личико с голубыми глазами было очень миловидно. Глазами Марья Ивановна кокетничала, бойко и гордо прищуривала их; однако бойкость не удавалась ей, и чаще всего, особенно при новых людях, взгляд Марьи

Ивановны пропадал в пространстве, хотя болтала она в это время без умолку.

— Как жарко! — начала она скороговоркой, стараясь не глядеть на Гришу.— А в вагоне просто дышать нечем... И работы сегодня была такая масса! Я уже заявила сегодня своему патрону, что, если будет такая жара, я не буду больше являться на службу.

— А кто же вас заставляет являться? — спросил Гриша.

— Вот мило! Если бы у меня была пара серых в яблоках и коляска на резине, меня, может быть, и не заставляли бы.

Гриша улыбнулся.

— Ведь вот,— сказал он тоном Каменского.— Они не могут без серых, все серые нужны!

— А что же прикажете делать?

— Пахать,— ответил Гриша полушутя, полусерьезно.

— Пахать! — воскликнула Марья Ивановна.— Это новость!

— Вовсе не новость.

— Сохой пахать?

— Сохой.

Марья Ивановна посмотрела куда-то вдаль и легонько вздохнула:

— Это хорошо в теории, а не на практике.

— А вы не отделяйте теории от практики! — добавил Гриша наставительно, поклонился и быстро пошел к своему саду.

На балконе завтракала Наталья Борисовна.

— Игнатик приехал! — сказала она.

Гриша промолчал и сел за стол. На столе был приготовлен ему прибор и завтрак: масло, яйца, глянцевито-зеленые огурцы. Среди стаканов стоял серебряный кофейник, подогреваемый синими огнями бензиновой лампы. Наталья Борисовна старательно снимала ножом и вилкой мясо с крылышка холодного цыпленка. Гриша посмотрел на ее плотную спину, на расставленные и приподнятые руки и почему-то вспомнил черепаху. Красивое лицо его стало неприятно.

— Что так поздно? — спросила Наталья Борисовна немного заискивающим тоном.

— Где же Игнатий? — сказал Гриша вместо ответа.

— Купаться ушел. А ты это все у Каменского?

Гриша сделал усталое лицо.

— У Каменского,— пробормотал он.

Наталья Борисовна позвонила. Гарпина внесла на тарелке сковородку с шипящим в масле куском бифштекса.

— Дайте вина! — коротко приказал Гриша. И, когда подали бутылку, залпом выпил стаканчик и принялся за еду очень поспешно.

— Уже? — спросила Наталья Борисовна.— А кофе?

Гриша бросил салфетку и встал.

— Mercí, не хочу.

— Мало же!..

Гриша прошел в свою комнату и лег на кровать. Ему хотелось еще подумать, как в поле, удержать утреннее хорошее настроение. Но от вина и еды приятно напряженнее билось сердце. Гриша с удовольствием вытянул ноги, положил их на отвал кровати, прикрыл глаза... и внезапно заснул крепким сном.

А Наталья Борисовна, балуясь гусиным перышком, откинулась на спинку стула и долго смотрела куда-то в одну точку. О чем она думала? Она бы и сама не сказала. Но, подымаясь из-за стола, она почему-то глубоко вздохнула и пошла по дому лениво.

В спальне она подняла штору, села около окна и машинально взяла книгу. Но читать не хотелось. И она перевела глаза на портрет Петра Алексеевича, стоявший на ее письменном столике. С портрета пристально и насмешливо глядели на нее небольшие, чуть-чуть прищуренные глаза еще бодрого и свежего мужчины лет пятидесяти. Его правильная, яйцеобразная голова с продолговатой бородой, в которой седина тронула волосы только около щек, еще до сих пор была гордо откинута назад. Было видно, что этот человек весь свой век прожил в холе и до старости сохранит барскую осанку высокой, в меру полной фигуры.

«Подурнел! — подумала Наталья Борисовна.— Плечи подняты по-стариковски, под глазами мешки...»

На мгновение она вспомнила свою молодость, прежнего Петра Алексеевича, на мгновение ей стало неприятно, что он так опустился теперь... Но, в сущности, он теперь был ей совсем чужой человек; а думать о прошлом — это и утомительно, и не приводит ни к чему хорошему. И Наталья Борисовна принялась бесцельно смотреть в окно.

Ветер опять стих, и опять стало жарко и скучно. Но

уже длинные тени легли от садов и дачи дремали мирным послеобеденным сном долгого летнего дня. По улице прокатилась со станции линейка с дачниками и скрылась, громыхая развинченными гайками. «Са-ахарно морожино...» — меланхолично доносилось откуда-то издалека.

А в доме было так тихо, что по всем комнатам отдавалось ровное постукивание часов в столовой.

VII

Вечером на поляне около сада Примо играли в крокет.

Солнце скрылось в густую чащу леса за поляной, и лес темнел на шафрановом фоне заката. Воздух был сухой и теплый, даже душный. Около играющих стояли знакомые и незнакомые барышни и студенты; потом они разбрелись и зрителями остались маленькие гимназисты. Их очень занимал непрекращающийся спор между Гришей и Игнатием.

— А я тебе говорю, что ты ее убил! — азартно кричал Игнатий, стоя перед Гришей.— Я стоял вот здесь,— продолжал он, все более волнуясь, отбегая и стукая молотком по тому месту, где стоял,— я стоял вот на этом самом месте и отлично видел, как шар Марьи Ивановны коснулся фока!

На толстого Игнатия в широком, мешковатом костюме из чесучи было смешно смотреть. Он неуклюже бегал среди дужек и поминутно снимал соломенную шляпу, обтирая платком круглую, коротко остриженную голову и красное лицо.

— Шнурки-то подбери,— презрительно говорил Гриша, указывая Игнатию на мотающиеся завязки его мягких скороходов.

— Игнатик! — пробовала вмешаться Наталья Борисовна, делая страдальческое лицо и смеясь внутренним смехом.— Keep your temper, sir! *

— Оставь, пожалуйста, мама! — огрызался Игнатий.— Это же глупо, наконец! Я отлично видел, как шар коснулся фока.

Гриша смотрел на Марью Ивановну и думал, что она сегодня была бы очень хороша, если бы не надела этой красной шелковой кофты, широкие рукава которой она поминутно вздергивала и взбивала на плечах.

---

* Сдерживайтесь, сэр! *(англ.)*

— Ты слеп, мой милый! — лениво возражал он брату.

— Ты слеп!

— Все равно, я не уступлю.

— И я не уступлю!

— Ты молоток сломаешь.

— Ну и отлично!

— Ничего тут нет отличного.

— Я тебе уже давеча раз уступил,— опять стукая молотком в землю, кричал Игнатий,— ты еще давеча нарушил правила.

— Вечно с правилами!

— Конечно, с правилами! Раз ты их не исполняешь...

В это время к крокету подошел профессор Камарницкий с женой.

— Здрасьте, господа! — сказала Софья Марковна.— Продолжайте, продолжайте, пожалуйста.

Но Грише совестно было продолжать спор. Он отвернулся и сказал:

— Марья Ивановна! Вы должны решить.

Марья Ивановна положила ручку молотка за голову на плечи, взялась за нее руками и, качаясь на носках, ответила детским тоном:

— Я не знаю.

И, не то улыбаясь, не то гримасничая, она рассеянно смотрела своими голубыми глазами в небо. Грише страстно захотелось подойти и поцеловать ее в губы. И он машинально ответил:

— В таком случае давай новую партию. Мы считаем себя побежденными.

— Павел! — сказала профессорша.— Будем играть?

Профессор покорно согласился. Все взяли молотки и собрались в одно место. Игнатий обтер лоб платком, бросил на землю шляпу и быстрыми ударами молотка согнал шары к фоку.

— Итак, господа,— крикнул он тоном герольда,— мы играем в следующем порядке: одну партию составляет Павел Антоныч, Софья Марковна и Гриша; вторую — я, мама и Марья Ивановна. Гриша, мы начинаем: согласен?

— Согласен, согласен.

Широко шагая, Игнатий торжественно подошел к фоку, отставил левую ногу.

— Господа, начинаю! — крикнул он и ударил в шар.

Шар прошел дужку, стукнулся о проволоку второй и наискось проскочил третью.

— Вот это удар! — восторженно завопил Игнатий, любуясь, как шар волчком завертелся на одном месте.

А через минуту он уже снова раздраженно кричал на всю поляну:

— Если ты, мама, не умеешь играть — брось! Это глупо, наконец! Не умеет даже крокировать!

— Да ведь нога же соскользнула!

И, улыбаясь, Наталья Борисовна снова приподняла край юбки, неумело поставила ботинку на шар, сильно размахнулась, но молоток боком стукнул ее по ноге и выскользнул из рук.

— Не могу сегодня...— выговорила она, трясясь от смеха, и отошла в сторону.

Зараженная этим смехом, Марья Ивановна принялась хохотать как помешанная.

— Сначала, сначала! — кричала она, бегая за шарами и раскидывая их в разные стороны.

Игнатий в отчаянии поднял плечи, покраснел и сделал ужасное лицо.

— Это черт знает что такое! — воскликнул он басом и, не выдержав, сам расхохотался.

Подъехал еще знакомый — адвокат Викентьев. У него всюду были знакомые, и в городе, с извозчичьей пролетки (пешего его трудно было себе представить) он широко и приветливо размахивал шляпой чуть не каждому встречному. Всюду он держал себя как дома, всюду напевал отрывки оперных арий с мягким удальством итальянского тенора и считал себя общим любимцем.

— Стой, стой! — закричал он извозчику, соскакивая с пролетки, и быстро, покачиваясь, пошел к крокету. Это был человек небольшого роста, кругленький, с маленькими ногами и руками. Называя себя «верным шестидесятником», он небрежно повязывал галстук, не стриг своих серых, мягких волос и часто развязно закидывал их назад. Матовое его лицо было моложаво и неприятно.

— Наталья Борисовна! — крикнул он, махая на себя шляпой.— Благоверного вашего лицезрел!

— Где? — спросила Наталья Борисовна, идя к нему навстречу.

— В городе-с.— Викентьев быстро поцеловал у ней руку, оглянулся.— Да-с, на стогнах града... Оказывается,

он вернулся еще вчера, «выпимши малость»... Здравствуйте, барышня!.. Мое почтение, Софья Марковна...

Он пожал всем руки и опять оглянулся:

— Коллеге почтение! Давно изволили пожаловать?

— Только сегодня,— сказала Наталья Борисовна.— Да вы откуда, Александр Иванович?

Викентьев махнул рукой и вздохнул:

— И в городе был, и за городом был... у одного почтенного отца семейства... Ну что же? Я вам помешал? Примете меня в заморскую игру?.. Хотя, по правде сказать, я голоден, как сорок тысяч братьев Фридрихов...

Но играть было уже поздно. Сумрак мягко синел в парке, и над вершинами дубов показывались серебряные звезды... Хор молодых голосов запел где-то далеко протяжную малороссийскую песню, и Викентьев стал тихонько подтягивать:

Та налетіли гуси з далекого краю...

— Отчего это,— сказал он,— когда поют хорошую песню, становится кого-то жалко и совсем не знаешь, горя или радости хочется?.. Пойдемте гулять, господа! В такую ночь надо жить только природой.

Пошли смотреть на долину, в сторону, противоположную мельнице Каменского,— туда, где видны были огни города; полежали на скате, непринужденно, по-дачному, снявши шляпы. Синяя темнота все сгущалась от востока над долиной. Прошел за рекою поезд, и долго слышен был его отдаленный шум... Потом все затихло. Город на горизонте роился бледными огнями, а из парка доносилась то та, то другая печальная песня.

— Славно! — сказал Викентьев.— Люблю я эту самую природу, люблю, грешным делом, полежать вот так на травке, но... «камергер редко наслаждается природой»!.. Право, иной раз хочется стать рыбаком, бродягой или хоть толстовцем... вроде вашего новоявленного отца Каменского. Кстати, он еще тут обретается?

Гриша насторожился.

— Да,— ответила Наталья Борисовна.— Обещался сегодня быть у нас.

— Вот как! — сказала Софья Марковна.— Это интересно. Павел, пойдем к Наталье Борисовне?

Профессор, запинаясь, отказался:

— Нет, ты уж, будь добра, иди одна; мне он не интересен, да и надо вовремя лечь в постель.

— Да, он не интересен,— подтвердил Викентьев.— Я с ним встречался. Говорит как по писаному, но все это не ново и хорошо только на словах. «Нельзя объять необъятного»... Да и сам Лев Николаевич-то, кажется, уж соскучился забавляться...

Заговорили о том, что влияние Толстого проходит, что Толстой велик как романист и слаб как философ, что он умеет только отрицать и ничего не дает положительного... Гриша внимательно слушал. Слова Викентьева заставили его задуматься.

«Болван! — думал он про Викентьева.— Но это-то, пожалуй, отчасти и правда... Не ново-то не ново...»

Посидели еще, не зная, что делать. Всем было хорошо, но все чего-то ждали. И когда Наталья Борисовна сказала, что хочется чаю, поднялись очень живо, словно исполнили обязанность.

У крыльца профессор и Викентьев откланялись. Остальные вошли в дом. В сумраке на балконе кто-то медленно поднялся со стула.

— Здравствуйте! — сказал приятный важный голос.

— Ах, это вы, Алексей Александрович! — воскликнула Наталья Борисовна, дружески пожимая ему руку.— Очень, очень рада вас видеть... Что же это Гарпина не зажгла вам лампы?

— Она у Петра Алексеича.

— Разве он приехал?

— Да, мы уже беседовали с ним. Он пошел в кабинет обливать голову водою.

Наталья Борисовна покраснела. «Ах, Боже мой, как нарочно!» — подумала она, но тотчас же весело сказала:

— Ну, господа, вы незнакомы? Знакомьтесь, знакомьтесь, пожалуйста...

VIII

По всем комнатам пахло сигарами. Из кабинета раздавались мужские голоса, слышны были сиплые вскрикиванья Ильи Подгаевского, странного субъекта, безотлучно пребывавшего при Петре Алексеевиче и участвовавшего во всех его попойках. Петр Алексеевич редко появлялся один и на этот раз привез с собой еще какого-то военного доктора, которого называл Васей, и своего секретаря, Бобрицкого, молодого человека, очень похо-

жего на жирафа своей маленькой головой и большой, длинной фигурой в клетчатой паре.

Среди сидящих и разговаривающих за круглым столом в ярко освещенной гостиной Каменский резко выделялся своей высокой фигурой и одеждой. Присутствие его одних смущало, других очень интересовало. Марья Ивановна боялась взглянуть на него и, махая в раскрасневшееся лицо платком, быстро-быстро заговаривала то с тем, то с другим так, словно отвечала на экзамене. Грише очень хотелось уйти с ней на качели в сад, но он знал, что будет спор, так как заметил, с какой порывистой приветливостью пожал руку Каменского Игнатий: очевидно, рад новому человеку, с которым можно сцепиться. Однако разговор шел пока незначительный. Поддерживал его только агроном, человек в золотом пенсне, всегда сдержанный, вежливый и элегантный (агрономией он занимался теоретически, в городе). В тон ему держался и Бобрицкий. Немного отодвинувшись от стола и вытянув ноги, он держал стакан чаю в руках и, когда пил, далеко отставлял мизинец, украшенный перстнем с большим куском бирюзы.

— Вы позволите вам чаю? — с легкой запинкой спросила Наталья Борисовна Каменского.

И все тотчас с любопытством обратились в его сторону: откажется или нет? И что возьмет к чаю?

— Пожалуйста,— очень вежливо ответил Каменский.

То, что он приветлив, тоже немного удивляло всех. Верно, он знал, что Примо устроили сегодня вечер с толстовцем, знал, что за каждым его движением будут следить, будут оглядывать его одежду, и потому надел чистую рубашку, умылся, причесал бороду и густые русые волосы, подстриженные в скобку. Теперь его открытое лицо было красиво.

Подошел еще гость, статистик Бернгардт, бородатый, сумрачный человек. Он недавно вернулся из Сибири, и Грише казалось, что это суровые сибирские мужики приучили его быть таким скупым на слова. И теперь он молча сел в угол со стаканом чаю и принялся рассматривать волосы в своей большой темной бороде. Каменский тотчас заговорил с ним о Сибирской железной дороге. Бернгардт отвечал отрывисто, а все поглядывали на них, как бы спрашивая: какой интерес представляет Каменскому железная дорога? Ведь «они» отрицают цивилизацию!

Вдруг агроном почтительно промолвил:

— Правда, что Лев Николаевич не совсем здоров?

— Да, да,— поспешил ответить Бобрицкий,— я читал недавно сам.

— Нет, неправда,— ответил Каменский.— Я недавно имел о нем известия.

Бобрицкий поднял брови.

— Но я же сам, своими глазами читал в «Новом Времени»! — сказал он.

— Вы не верьте. Газеты для того же и существуют, чтобы выдумывать неправду,— возразил Каменский с снисходительной улыбкой.

Игнатий задвигался на стуле.

— Ну, знаете, это слишком сильно сказано! — проговорил он с неприятной улыбкой.

— А где он теперь? В Ясной Поляне? — перебила Марья Ивановна.

— Что вы?

Каменский спросил очень ласково, но Марья Ивановна смешалась. Она встряхнула локонами и с трудом выговорила:

— Правда, что он только лето живет в деревне?

— Да, вот это правда.

Все переглянулись и помолчали. Каменский налил в блюдце чаю и уже начал говорить с агрономом о рамочных ульях, как вдруг Софья Марковна выговорила громко и насмешливо:

— А правда, что он уже сменил пресловутую блузу на костюм велосипедиста?

— Вот это опять неправда,— уже совсем важным тоном возразил Каменский.

Снова переглянулись, а Игнатий издал какой-то носовой звук.

— Я, собственно, не понимаю...— начал он, собирая хлебные крошки.

Но в это время раздался насмешливо-отчетливый голос Петра Алексеевича:

— А правда, что мы с Илюшей еще пьяны?

Все живо обернулись.

Улыбаясь, Петр Алексеевич медленно шел с коробкой сигар в одной и с дымящейся папиросой в другой руке, немного приподняв плечи и не поворачивая головы, как уходят богатые люди из ресторанов среди кланяющихся лакеев. После холодной воды он посвежел и ободрился;

слегка прищуренные глаза блестели, смуглое припухшее лицо было весело. И, как всегда, он был очень представителен; небольшое брюшко, туго обтянутое жилетом, не портило его высокой, плотной фигуры; ноги сравнительно с ней были тонки, но стройны.

Зато маленький, тщедушный человек, который шел за ним в длинном черном сюртуке, производил странное впечатление: старческое лицо его, лицо скопца и алкоголика, было желто и испито; длинные, монашеские волосы жидкими темными космами падали на плечи; маленькие агатовые глаза неестественно блестели.

— Отставной профессор консерватории, потом монах, пьяница и мой друг, Илья Подгаевский,— отрекомендовал его Петр Алексеевич, здороваясь с гостями и усаживаясь к столу.

— Полно, Петр! — с пафосом воскликнул Подгаевский, кивнул всем головой и задумчиво зашагал из угла в угол, бросая себе в рот мятные лепешечки.

Наступило минутное молчание. Каменский пристально, без стеснения рассматривал то Подгаевского, то хозяина. Последний, очевидно, заметил это, потому что отчетливо повторил, обращаясь уже к одному Каменскому:

— Так ка́к вы нас находите? Пьяны мы или уже можем вести душеспасительные беседы?

— Мы этого еще не знаем,— ответил Каменский серьезно.

Петр Алексеевич сделал вид, что уже не слушает, и обратился к Наталье Борисовне:

— Мамаша,— сказал он,— налейте и мне стаканчик чаю, только, пожалуйста, без коньяку!

— Вот как! — засмеялась Наталья Борисовна.

— Я слышу разговор о Толстом,— продолжал Петр Алексеевич, оглядывая всех и подчеркивая слова,— и вот мне перестало хотеться того, чего прежде хотелось, и стало хотеться того, чего прежде не хотелось. И когда я понял то, что́ понял, я перестал делать то, чего не надо делать, и стал делать то, чего не делал и что́ нужно делать.

Все засмеялись.

— Очень, очень удачно скопирован Толстой! — подхватил Бобрицкий.

— Какой догадливый! — пробормотал Петр Алексеевич, раздувая ноздри.

— Нет, почему вы так против велосипедистов? —

улыбаясь, но уже нервно прикрывая глаза и волнуясь, заговорил Игнатий.

— Разве я это сказал? — спросил Каменский и поднял брови.

— То есть не сказали, но, в сущности, это понятно... И это странно... Я думаю, что всякий труд, исполняемый с наименьшим напряжением мускулов...

Все прислушивались. Каменский же немного наклонил голову, и по лицу его было видно, что он хочет вникнуть в каждое слово. Но Игнатий запнулся, щелкнул пальцами и прибавил торопливо:

— Я хочу сказать, что такой труд, во всяком случае, более нужен, чем какой-либо другой...

— Я вас не понимаю,— спокойно возразил Каменский.

— Не понимаете? — переспросил Игнатий.

— Извините, не понимаю.

Игнатий вздернул плечами.

— Что же тут непонятного? Разве я темно выражаюсь?

— Нет, но вы, очевидно, не подумали, что сказали.

Игнатий прикрыл глаза, соображая, подумал он или нет, и наконец выговорил:

— Нет, знаете, я темно выразился, но вполне понятно, что́ я хотел сказать. Я хотел сказать, что всякий труд...

— Нужно всегда различать,— тихо, но властно перебил Каменский, кладя ладони на стол,— нужно всегда различать, что́ нужно и что́ не нужно в жизни; именно, как сказал Петр Алексеевич, надо знать, что́ нужно делать и чего не нужно делать.

Он мельком взглянул на Петра Алексеевича и продолжал:

— Да, именно так. Поэтому слово «всякий» очень часто не имеет ни значения, ни смысла. Всякий труд! Да вот ведь и обезьяна трудилась, и ей стало жарко и скучно наконец.

— То есть я не понимаю, про какую обезьяну вы говорите?

— А вот про ту, что катала чурбан. Помните басню? О труде надо думать серьезно и избирать надо тот труд, который не ограничивается одним наименьшим напряжением мускулов. Труд жизни...

Игнатий заволновался еще больше.

— Вы думаете, кажется, что я не имею понятия о труде?

— О чьем труде?

— Вообще о труде... Я не меньше вашего работал и работаю...

— Я о вас пока не говорил.

— Но ведь это понятно!

— Я о вас не говорил. О вас я еще буду говорить.

Игнатий вспыхнул.

— Но ведь это, конечно, и от меня будет зависеть,— резко возразил он.— Личности тут ни при чем.

— Нет, именно при чем. И отчего нам не говорить друг о друге? Мы не должны учить других, когда еще не очистились сами, но мы должны быть братьями и помогать друг другу.

— Однако же вы говорите тоном именно поучения!

Каменский немного смутился, но тотчас же оправился.

— Я не поучаю,— сказал он серьезно,— я говорю только то, что мне кажется истиной, которую я уразумел сердцем. Я не насилую вас — это главное. И вы напрасно сердитесь на меня.

— Я нисколько не сержусь, я сказал только, что знаю, что́ такое труд, не хуже другого...

— По вашим рукам этого не видно.

— Если вы,— перебила Каменского Софья Марковна, и все оглянулись на нее,— если вы подразумеваете под трудом труд только физический, то я думаю, что ограничивать настолько труд по меньшей мере странно. Умственная жизнь человека нуждается в полном развитии и усовершенствовании.

— Илья? — спросил Петр Алексеевич.— Справедливая это мысль? Правда, мы с тобой труженики и умственно развиваемся?

И с заигравшею в глазах злою улыбкой оглядел всю компанию, долил чай коньяком и выпил, как воду.

— Илюша! Что же ты? — добавил он, обращаясь к Подгаевскому.

Подгаевский, который шагал вокруг стола, оживился.

— Изволь! — сказал он, наливая и себе коньяку.— Но ты обратился ко мне с вопросом. Так я тебе скажу, мой милый, что мысль Софьи Марковны совершенно справедливая. И твоя обычная ирония тут ни при чем. «Оставь ее отжившим и нежившим!»

— Будто бы мы с тобой еще не отжили? — спросил Петр Алексеевич.

— Мы тени, мой милый! Но сущность наша и красота ве-чны! — сипло вскрикнул Подгаевский.

Петр Алексеевич дослушал его и спокойно выговорил:

— Вот и врешь! И мы с тобой, к сожалению, не тени, и красота не вечна. Например, вот мамаша была очень красива, а теперь только старая корга.

Поднялся общий смех и говор.

— Виноват...— говорил Каменский с блестящими глазами.

IX

— Виноват, я не договорил,— повторил он.— Я вас перебью на минуту,— продолжал он только для того, чтобы вдуматься в то, что хотел сказать, так как намеревался говорить долго.— Я хотел ответить вам, Софья Марковна... Оставим на минуту труд в стороне, нужно сперва говорить о жизни... И вот я думаю так: жизнь человека должна быть направлена прежде всего к раскрытию и познанию...

— К раскрытию чего?

— К раскрытию того, что нужно и важно для человека, к развитию его добрых чувств, чтобы он мог любовно и радостно исполнять свое назначение на земле и волю Пославшего его...

— Пославшего его,— повторил Игнатий.— Кто же этот Пославший?

— А это называйте как хотите — Роману, Вишну, Фта... Дух Жизни, одним словом.

— Дух Жизни! Что такое Дух Жизни?

— А вам что — хочется решить его, как уравнение?

— Нисколько, это уравнение, состоящее из всех неизвестных, следовательно, я и пытаться не буду решать такое уравнение... Да это и не уравнение будет.

Петр Алексеевич насмешливо кивнул на Игнатия.

— Игнатий-то! — сказал он.— Как уравнению-то обрадовался!

— Дай мне, пожалуйста, говорить! — воскликнул Игнатий с злобой.— Так я говорю: это для меня только звук, и я не знаю, что он значит...

— Дело не в звуке...

— Так позвольте: что же такое Дух Жизни?

— Дух Жизни?.. «Свет, и нет в нем никакой тьмы» — вот вам одно определение. Добро, любовь — вот вам другое.

— А почему я должен поклоняться добру? — вмешался Подгаевский, внезапно останавливаясь против Каменского.

— В самом деле,— подхватил Игнатий,— почему?

— Да зачем вы ставите эти вопросы? Вы следуйте веленьям своего сердца, в котором заключены добро и любовь.

— А если у меня не заключено ничего подобного?

— Это неправда. Еще Тертуллиан сказал, что душа христианка.

Игнатий заморгал, развел руками, поднял плечи.

— Да что же это за доказательство! — воскликнул он насмешливо и басом.— Добро, Любовь... А если я не верю Тертуллиану вашему, и моя башка, мои мозги...

Каменский нахмурился и повторил уже назло:

— Да, еще Тертуллиан сказал. А царь Давид вот что: «И рече безумец в сердце своем — несть Бога!»

— Не следует, я думаю, забывать того, что Давид совмещал в себе массу достоинств, но еще более недостатков,— перебила Софья Марковна.

— Господа, позвольте! — закричал Игнатий.— Мы уклонились, так нельзя...

— Вы же не дали мне договорить,— сказал Каменский.

Лицо у него раскраснелось, руки нервно гладили скатерть.

— Ну, продолжайте, продолжайте, пожалуйста!

Каменский подумал и опять заговорил размеренно:

— Я говорил: человек должен уяснить себе, для чего он живет...

— Виноват,— снова не выдержал Игнатий,— одно слово... Как это уяснить, для чего я живу? Я могу сказать, для чего я сегодня в город ездил...

— Да, вот именно так,— подтвердил Каменский,— именно, надо уяснить себе цель жизни так же, как цель поездки в город. И вот: есть жизнь телесная и плотская и есть жизнь духовная и душевная. Жизнь телесная...

— Ну, это уже начинается метафизика какая-то! — воскликнула Софья Марковна.

— Позвольте,— начал Игнатий.

— Виноват,— заговорил и агроном, хотевший примирить и успокоить всех.

А Петр Алексеевич выговорил громче всех:

— Мы вот с Илюшей живем плотской жизнью!

— Метафизика — родня поэзии! Я стою за метафизику! — почти закричал Подгаевский.— Вы говорите: труд; но прогре-сс движется не трудом, а тво-рче-ством!

— Это, положим, вздор! — добавила Софья Марковна.— Возьмите Липперта...

Каменский почувствовал, что здесь нельзя говорить. Но то, что́ ему хотелось сказать этим людям, которые кричат только от скуки, волновало его, и он поднялся со стула. Встал и Игнатий.

— Что же вы сотворили? — почти строго спрашивал Каменский.— Что? Я скажу вам, что́ вы сотворили: рабовладельчество, проституцию...

— А что вы так против проституции? — вмешался Петр Алексеевич уже с явной насмешкой.— Вот Илья иначе думает.

Каменский пристально посмотрел на Петра Алексеевича, но тот сделал мутные глаза и отвернулся.

— При со-временных условиях это не-обхо-димо-е учреждение! — уже кричал Подгаевский.

— Позвольте... Что же, современные условия хороши?

— Нет, вы позвольте!

Лицо Подгаевского исказилось, глаза бегали; то, что у него не было двух верхних зубов, еще более делало его некрасивым.

— Нет, дайте же мне договорить! — пробовал как можно спокойнее возражать Каменский.— Вы сказали именно то, что нужно; вы сказали как человек, который на вопрос: почему он едет так плохо и тихо, ответил, что у него сломана ось. Остановись же,— сказали ему,— почини ее.

— Позвольте-с,— заговорил Бернгардт сумрачно, приближаясь к Каменскому,— современные условия зависят не от одного человека. Это не телега, в которой едет благодушный мечтатель и единственный обладатель ее, это — наполненный народом дилижанс. И починка зависит не от единичной воли... Конечно, можно и пренебречь сломанным экипажем, встать, махнуть рукой и отправиться пешечком, только это и нечестно, и навряд хорошо для отправившегося пешечком...

— Да,— горячо подхватил Каменский,— если дилижанс плох, нужно его оставить и не тащиться в нем или не сваливать все на других, на «обстоятельства»... И во всяком случае, починка делается не злобой, а единением и любовью!

— А может быть, непротивлением злу? — перебил Бернгардт и резко захохотал.

Вдруг Петр Алексеевич поднялся.

— Мамаша! — воскликнул он.— Это, наконец, подло с вашей стороны! Вы меня все равно не приучите к духовной жизни, я не обедал сегодня!

— Господа, перейдемте в столовую,— обратилась Наталья Борисовна к окружающим.

Гриша поднялся и скрылся в своей комнате. Понемногу стали подыматься и остальные. Разговор оборвался, и по рассеянным взглядам было видно, что продолжение его и нежелательно.

Агроном сел за рояль и, одним пальцем аккомпанируя, вполголоса запел пролог из «Паяцев». Около него стояли Бобрицкий, Софья Марковна и Подгаевский; Подгаевский покачивал головой и намеревался подтягивать. Петр Алексеевич в ленивой позе сидел на диване; Бернгардт ходил из угла в угол: он не хотел даже серьезно говорить с Каменским, унижать себя. А Игнатий с Каменским незаметно вышли на балкон. Игнатия мало интересовала закуска, и он думал, что, пожалуй, вышло неловко это всеобщее нападение на Каменского. Спорить больше ему не хотелось, хотя он и был немного обижен, так как любил оставаться в горячих разговорах победителем. Он стоял против Каменского и машинально повторял:

— Да-а-с, батенька!

Лицо Каменского было строго и рассеянно. Облокотившись на перила балкона, он старался собрать мысли, так как твердо решил опять завести разговор.

А Марья Ивановна, полуосвещенная светом, падавшим из гостиной на балкон, глядела в сад и говорила тихо и восторженно:

— Как хорошо!

В саду было очень темно и тепло. Ночные неопределенные облака неподвижно дремали в темноте над садом. Дремотно где-то щелкал соловей, невнятно доносился аромат резеды с цветника у балкона...

X

Гриша сидел за ужином, мрачно покусывая ногти.

Когда собрались в столовую, произошла маленькая неловкость.

— How did you get acquainted with him? *— вдруг спросила профессорша Наталью Борисовну, указывая глазами на Каменского.

— Энгельса зашел попросить,— пробормотал Петр Алексеевич.

А Каменский мягко, но серьезно заметил:

— Я знаю английский язык, так что вы говорите лучше на каком-нибудь другом.

И когда Софья Марковна смешалась и покраснела, он добавил снисходительно:

— Да вы не конфузьтесь. Языки надо знать, это ведет людей к сближению. Ведь вся беда людей с древнейших времен и до этого вечера состоит в неуменье и бессознательном нежелании общаться с людьми.

Он вызывал на беседу, и лицо его становилось все сосредоточеннее. Но кругом шел оживленный разговор о знакомых, об опере; занимал всех и ужин — молодые картошки с зеленью, бифштекс, вина... К ужину вышел и военный доктор, похожий на цыгана. Заспанный, добродушный, он все старался казаться трезвым и поэтому расшаркивался, подымал плечи и хриплым голосом говорил любезности дамам.

Тогда Каменский, обращаясь как будто к одному Игнатию, произнес целую речь. Голос его стал торжественным, глаза строгими и выразительными.

Он опять начал с того, что нужно в жизни. Современный человек, говорил он, отличается тем, что умеет становиться на всевозможные точки зрения и ни одной не признавать безусловно справедливой, ни одной не увлекаться сердечно. Жизнь стала слишком сложна, и сложная общественная организация парализует нашу волю и растягивает нас в разные стороны. Мы одурманили себя ненужными делами, мы загипнотизированы книгами и разучились говорить языком сердца. Мы слишком заняты, по словам Лаодзи и Амиеля, слишком много читаем пустого и бесплодного, когда надо стараться упрощать жизнь, стараться быть искренним, вникающим

---

* Как вы познакомились с ним? *(англ.)*

в свою душу, когда нужно отдаться Богу, служить только Ему, остальное же все приложится. Мы устали от вероучений, от научных гипотез о мире, устали от распрей за счастье личности, слишком много пролили крови, вырывая это счастье друг у друга, когда жизнь наша должна состоять в подавлении личных желаний и исполнении закона любви. Злоба — смерть, любовь — жизнь, говорил он. Жизнь только в жизни духа, а не в жизни тела. Плод же духа — любовь, радость, мир, милосердие, вера, кротость, воздержание... Это повторяли людям все великие учители человечества, начиная с Будды...

— Ну, знаете, батенька. Будда был довольно-таки ограниченный субъект! — перебил Игнатий.

Каменский, не слушая, продолжал говорить. Он настаивал на том, что мы сами создаем себе миллионы терзаний только потому, что не хотим прислушаться к тому, что́ говорит нам сердце голосом любви, всепрощения и благоволения ко всему живущему; настаивал на том, что мы гибнем, развивая в себе зверские похоти, тысячи ненужных потребностей и желаний. «Желаете и не имеете; убиваете и завидуете и не можете достигнуть»,— напомнил он слова апостола Иакова.

— Это все очень не ново! — послышались голоса,— это все давно слышанное. К сожалению, не так просто все развязывается. И любить по закону нельзя. Странный рецепт: возьми да полюби!

Гриша терялся — с обеих сторон говорили правду!

Размахивая полами сюртука, Подгаевский ходил по комнате и кричал над ухом Каменского:

— Я ска-жу вам словами такого же апостола, Павла: «Освободившись от греха, вы стали рабами праве-дности!»

— Лучше быть рабом праведности, чем похоти,— пробовал возражать Каменский.

Но Подгаевский был уже пьян. Пьян был и «Вася», который все наклонялся и что-то бормотал на ухо Петру Алексеевичу, воображая, что говорит шепотом. А Петр Алексеевич сидел с раскрасневшимся лицом и мутным взглядом.

Ах, что кому до нас,
Когда праздничек у нас! —

запел он вдруг фальшиво и резко.

Дамы встали и начали прощаться. Поднялся и Каменский.

— Что же вы? — спросил Петр Алексеевич.— Уже уходите? Напрасно! Давайте споем.

Каменский пожал плечами.

— Какой вы веселый! — сказал он, нахмуриваясь.

— Веселый! — повторил Петр Алексеевич и вдруг прибавил с неприятной улыбкой: — Кстати о труде! Шкап-то скоро будет готов?

— В четверг принесу.

— После дождичка?

— А разве в четверг будет дождь?

— Да вот Брюс пишет — будет.

— Я в Брюса, к сожалению, не верю. До свидания!

— Жаль! А закусить разве не хотите? Ведь хочется небось?

Каменский посмотрел на него долгим взглядом, пожал окружающим руки и пошел из дома через балкон. Петр Алексеевич поднялся.

— Николка! — крикнул он на весь дом.

И, когда вбежал лакей, прибавил:

— Лошадей нам! Вася, Илюша — в «Добро пожаловать!». Едем!

— Петр Алексеевич,— сказала Наталья Борисовна,— я тебя прошу, не езди!

— Мамаша! Оставьте! Стыдно при чужих людях...

Ах, что кому до нас,—

запел он снова, обнял доктора и Подгаевского и пошел в кабинет...

Дом опустел. Было слышно, как в столовой убирали посуду. Гриша сидел в своей комнате у открытого окна, стиснув зубы.

— В наше время таких бы не слушали,— со злобой говорил на балконе Бернгардт.

— Вы и теперь не слушаете,— отвечал злобно и Каменский.

— Мы жизнью жертвовали!

— Однако вы живы.

— Не каламбурьте! Вы увлекаете общество от полезной и честной работы в свою келью под елью.

— Это что же вы называете работой? Неужели эта дача похожа на рабочий дом?

— Я не про эту дачу говорю. Вы не ехидничайте.

Любовь!.. А ведь у вас злоба кипит, вы сами просите борьбы... Вы, например, меня ненавидите сейчас.

— Поверьте мне, как брату,— горячо возразил Каменский,— у меня никакой нет злобы против вас. Запомните слова Паскаля: «Есть три рода людей: одни те, которые, найдя Бога, служат Ему, другие, которые заняты исканием Его, и третьи, которые, не найдя Его, все-таки не ищут Его»...

— Опять тексты!

— Да, тексты! — повторил Каменский снова с сердцем...

— Покойной ночи! — послышался немного погодя голос Игнатия.

— Прощайте! — ответил грустно и важно Каменский.

XI

На заре Гришу разбудили удары грома. Он открыл глаза.

День был серый и дождливый. От надвигающихся туч в комнате темнело; в сумраке мелькал красноватый отблеск молнии, после чего начинался где-то вверху смутный рокот. Он приближался тяжкими раскатами, так что дрожали стекла, и вдруг разражался треском и резкими ударами над самой крышей дома... И начинал сыпать дождь, сначала осторожно, потом все шире и шире, и затихший сад, густые чащи сочной зелени у раскрытых окон стояли не шелохнувшись, насыщаясь влагою. Тяжелый запах цветущих тополей наполнял сырой воздух.

Гриша хотел уже вставать, как в столовой послышались тяжелые шаги Петра Алексеевича. Он что-то невнятно приказывал лакею, который звенел ключами, отворяя шкап.

— Гриша! — раздался вдруг его голос в гостиной.

Гриша не ответил.

Петр Алексеевич подошел к порогу и раздвинул портьеры. Он был в шляпе и крылатке, которая сползла у него с плеч.

— Ты спишь? — спросил он.

— Нет,— ответил Гриша и нахмурился.— А что?

— Да так... Я, знаешь, хотел спросить кое-что...

— Именно?..

— Именно... Гм!.. Ну, да все равно... Я хотел тебе

сказать вот что: не замечал ли ты, что свинья одно из самых иронических животных?.. Это во-первых...

Язык Петра Алексеевича заплетался.

— Во-вторых, я зашел к тебе на минутку...— продолжал он медленно.— Я хотел тебе передать, что встретил сейчас Каменского... В город, брат, уже прет!.. И знаешь, что он мне сказал? Он сказал, что я — новая интеллигенция, так называемая «честная», но со всеми признаками самого обыкновенного буржуя, то есть настоящей свиньи... И что будто это порождение последних дней... Это недурно! А главное, изречение!

И тоном Каменского Петр Алексеевич прибавил:

— «Ибо ради вас имя Божие хулится у язычников!..» Как тебе это нравится?

Гриша молчал.

— Молчишь? — опять заговорил Петр Алексеевич.— Молчи, брат! Только знаешь что? Ты о себе подумай... подумай и лучше застрелись, если ничего не выдумаешь... Непременно застрелись, если не станешь не чем иным, как иронизирующей свиньей!

Дождь лил, ровно и однообразно шумя по траве и деревьям. Мягкими переливами звучал под дождем голос иволги.

Гриша лежал на кровати и зло, загадочно улыбался...

1895

ВЕЛГА

Слышишь, как жалобно кричит чайка над шумящим, взволнованным морем?

В туманной дали, на западе, теряются его темные воды; в туманную даль, на север, уходит каменистый берег. Холодно и ветрено. Глухой шум зыби, то ослабевая, то усиливаясь,— точно ропот соснового бора, когда по его вершинам идет и разрастается буря,— глубокими и величавыми вздохами разносится вместе с криками чайки... Видишь, как бесприютно вьется она в тусклом осеннем тумане, качаясь по холодному ветру на упругих крыльях? — Это к непогоде.

День с самого утра хмурится. Здесь, на этом неприветливом северном море, на его пустынных островах и прибрежьях, круглый год ненастье. Теперь же осень, а север еще печальнее осенью. Море угрюмо вздулось и становится темно-железного цвета. Издали необозримая равнина его кажется выше берега, она уходит в туманный простор на запад, а ветер все быстрее гонит с запада волны и далеко разносит крик чайки.

— Кри-э! — жалобно и пронзительно звучит по ветру.

Утром она беспокойно и криво летала над самым прибоем. Море непрерывно крутящимися валами окаймляло берег. Здесь оно, налетая на него с грохотом и шумом, рыло под собою гравий, там, как кипящий снег, рассыпáлось с шипеньем и широко взлизывалось на берег, но тотчас же скользило, как стекло, назад, подпирая собою новый крутящийся вал, а вдали расшибалось о камни и высоко взвивалось в воздух. И далеко гудел берег от прибоя... Чайка с криком бросалась между волнами, плавно скользя по воде в их ухабы, выносилась на новой волне до высокого гребня и взлетала вся в брызгах и пене. Ветер вольно носил ее низко над морем.

Но потом она словно устала. Надвигается ненастный вечер, и бессильно качается чайка по ветру, все дальше уходит, белея в тумане, от берега в море... Слышишь, как жалобно раздаются ее радостные стенания?

Вон она уже еле-еле виднеется в сумраке. Быстро спускается темная бурная ночь; чаще и чаще мелькают в море седые космы пены. Шум прибоя растет, ледяной ветер вздымает и бешено срывает волны, разнося по воздуху брызги и резкий запах моря.

— Кри-э!..— доносится откуда-то издалека, снизу.

Слушай, я расскажу тебе, под шум бушующего северного моря, старую северную легенду.

I

Было это давно, в незапамятное время.

У холодного северного моря жила молодая и сильная Велга. На закат были воды, на восток — песчаный берег, близко за селением сходившийся с небом. Что было там, к востоку, Велга не знала и не хотела знать. Она никогда не ходила к востоку. Не ходил и отец ее, не ходила и мать, не ходила и старшая сестра, Снеггар. Они знали только море.

Возле моря прошло детство Велги. Быстро прошло оно, и весело было ей в детстве! Зимой, когда море только под самым краем неба чернело волнами, а у берегов было покрыто белым снегом, Велга спала в мягком гагачьем пуху и, просыпаясь, видела перед собой живой свет очага среди темной и низкой хижины. Летом, когда светит солнце, дует теплый ветер и вода легко плещется в море, Велга искала на песках яички зуйков и плавунчиков или бегала к прибою, ложилась ничком на берег, а волны с шумом обдавали ее... Так забавлялась она летом, и всегда с Велгой были Ирвальд и Снеггар.

Толстая Снеггар часто смеялась и пела, да не умела она так звонко кричать и так смело кидаться в шумящее море, как Велга. Но Ирвальд умел, и раз Велга сказала ему:

— Отчего ты не брат мне, Ирвальд? Отчего у меня нет брата, которого я любила бы так, как тебя, Ирвальд? Я бы не скучала без тебя долгую зиму.

Он взглянул на нее, улыбнулся и вдруг кинулся к морю.

— Смотри, смотри: гагара! — закричал он ей.

И они, как ветер, гнались друг за другом, убегали туда, где в прибрежных пещерах звонко раздается голос, где у берега громоздятся высокие скалы, а тяжелая вода с шумом поднимается и скользит между ними, шипит и кипит, опускаясь, и с журчаньем, струями сливается с плоского камня. Там дразнили они волны, близко подбегая к ним...

Зачем так быстро прошло детство Велги?

Все нетерпеливее проводила она долгие зимы в хижине, занесенной снегом. Стало ей четырнадцать лет, а Ирвальду — шестнадцать, и часто уходил он теперь за рыбой в море. Но зато как радовалась Велга, когда Ирвальд возвращался!

— Милый Ирвальд,— говорила она ему,— мне хочется плакать, что так долго тебя не было, и хочется смеяться, что я опять вижу тебя!

Но уж выросла и Снеггар большая. Ирвальд забывать стал о Велге. Он часто сидел возле Снеггар и глядел в ее веселое лицо. А Велга издали следила за ними. Не хотелось ей при сестре разговаривать с Ирвальдом. Но, когда он уходил по берегу к своему дому, Велга догоняла его и провожала до самого порога.

— Милый Ирвальд,— говорила она ему,— зачем ты так долго сидел возле Снеггар? Зачем горе мешает моей радости?

И стала Велга петь на берегу моря звонкие песни сквозь слезы. А когда с ней встречались подруги, она замолкала, и лицо ее становилось сурово и гордо.

II

Хижина отца Велги стояла вдалеке от рыбачьего селенья, на каменистом прибрежье, засыпанном жесткими песками, и в часы прилива море добегало до ее порога.

Если же прилив был в бурю, то оно хлестало даже в окна, затянутые кишками гагары. Тогда Снеггар обрывала песню, бросала в испуге работу и уходила от окон. Старая мать Велги бормотала заклятия и с тревогой прислушивалась к завыванию ветра. Но сама Велга не боялась бури. Она вместе с отцом выходила на мокрый порог хижины, скатывала на ветру сети, а потом вбегала в воду, и холодная вода, поднимаясь и опускаясь, обнимала и мыла ее босые ноги, обдавая их шипящею серою пеной и опутывая мокрыми бледно-

зелеными травами. Велга разрывала их ногами и вдыхала сильной грудью свежий, влажный ветер, поднимала навстречу ему голову, а ветер трепал ее русые волосы. Так стояла она, молодая и стройная, и лицо ее было смело, бирюзовые глаза зорко глядели вдаль. Но только птицы св. Петра носились там крикливыми стаями и по воде взбегали, распустив крылышки, на самые высокие гребни взметывающихся и рассыпающихся водяных бугров.

Девушки стали называть Велгу печальною и злою, потому что никогда не смеялась Велга и не пела с сестрой за работой. Но никогда до пятнадцати лет не бывала Велга печальною и злою. Сердце ее было отважно, как у молодой птицы, и радовалась Велга на бури и море, на солнце и землю, на свою девичью свободу. Только без Ирвальда грустила она: сильно хотелось ей рассказать ему, как хорошо жить на свете.

Ирвальд давно был в море. Утомилась Велга ходить по прибрежью и следить за волнами: хотелось ей крикнуть через море, что утомилась она ожидать Ирвальда, что нельзя ему любить Снеггар, если Велга не может жить без него.

А когда подул теплый ветер с заката и стало опускаться к морю солнце, Велга пришла к сестре и сказала ей:

— Милая Снеггар, хочешь, я расскажу тебе, как ласков летний ветер, как легко пахнет море водой и как мне грустно без Ирвальда?

— Не хочу,— отвечала Снеггар, праздно и спокойно сидя у порога.

Велга ушла от нее, села на берегу и долго слушала, как плещется теплая вода в сумерках. Слезы, как теплая вода, падали на ее руки.

Увидав Ирвальда, она вскрикнула, а он засмеялся и приказал ей носить из лодки рыбу и сети на берег. Она послушно и долго трудилась с ним, а когда стал подниматься над морем большой бледный месяц, она утомилась, села в пустую лодку и вздохнула ночным ветром.

— Ирвальд,— сказала она,— я ждала тебя — и беспокойно билось и томилось мое сердце. Но когда ты приехал, так легко стало мне!

А Ирвальд сидел, глядел на месяц. Стыдно стало Велге, что он не ответил ей, и она, опустив глаза, спросила его тихо:

— Ты слышал мои слова, Ирвальд?

— Да,— сказал Ирвальд.

И тогда совсем низко наклонила Велга голову и проговорила:

— Возьми меня в свой дом, Ирвальд! Я буду ходить с тобой в море, буду петь тебе песни и работать с тобой. Так сладко жить на свете с тобой!

— Мы никогда не будем жить с тобой,— твердо ответил ей Ирвальд.— Завтра я опять уйду в море, а когда вернусь, возьму за руку Снеггар. Вместе проведем мы зиму, а летом уплывем, как две гагары.

— А я? — медленно сказала Велга и почувствовала, как тяжело застучало ее сердце.— Я останусь одна? — громко сказала Велга.

— Да,— ответил Ирвальд.

Тогда Велга быстро прыгнула на берег и быстро пошла по берегу. И когда далеко ушла, кинулась на серый камень и закричала месяцу, что ей больно в сердце, и зарыдала, и упала на камень.

III

Слышишь, как дико завывает ветер во мраке? Неприветливо северное море!

Осень наступила наутро, и зашумели в тусклом тумане отяжелевшие волны. И когда пахнуло на Велгу холодным ветром, вскочила она и бросилась в воду. Но волна поднялась и далеко отшвырнула ее на берег.

— Море не хочет, чтобы я умерла,— сказала себе Велга.— Прежде я должна убить Ирвальда.

И молча возвратилась она домой. Высохли на щеках ее слезы, и спокойно было ее суровое лицо, но темно на сердце.

— Снеггар,— сказала она сестре,— уехал Ирвальд?

— Да,— отвечала Снеггар.

— Когда вернется он? — спросила Велга.

— Когда начнет падать мокрый снег и потемнеет море,— отвечала Снеггар.

Тогда Велга съела рыбы и ушла на порог хижины. Там села она на ветру и просидела весь день, скорбно сдвинув брови. На ночь она вернулась под кровлю, а утром опять вышла за двери, ожидая Ирвальда. И так проводила она дни и ночи, пока не пошел первый, мокрый снег.

«Скоро вернется Ирвальд,— думала Велга, и сладостная горечь обиды томительно вливалась в ее сердце.— Я убью его, а потом и сама успокоюсь в могиле».

Но Ирвальд не возвращался. Уж надвигались сумерки, и все чаще стала Велга подниматься с порога и, стоя, напряженно глядеть в море. И в сумерках из хижины вышел старый отец Велги. Ветер развевал его длинные седые волосы.

— Велга, дитя мое,— сказал он ласково,— отчего ты покинула родной дом? Вот поднимается зловещая ночная буря, перед которой неутешно тоскует сердце человека. Помоги мне укрепить подпорками стены, положить камней на кровлю из кожи тюленей, и укроемся под кровлю от непогоды и ночи.

От нежных слов дрогнуло сердце Велги жалостью к самой себе, к отцу и к Ирвальду. Она поспешно стала помогать в работе. Ветер валил их с ног и застилал весь воздух водяною пылью, словно в море бушевала вьюга. В самые окна хлестали волны косматой пеной, и в испуге поспешила Велга под кровлю.

Там, в темноте ночи, вдруг вспомнила она, как много лет тому назад, когда Ирвальд был еще ребенком, он остался ночевать в их хижине. Он был в эту ночь ее гостем, и она сама постлала ему постель и поцеловала его, по обычаю гостеприимства, перед сном. Она вспомнила милое ей лицо его, и еще больше овладели ее сердцем жалость и любовь к нему. Тогда она, забыв, что хотела убить его, быстро встала с ложа и в тревоге стала слушать. Ей чудились в шуме ветра его крики, и всю ночь трепетала она от страха и, обессиленная, забылась сном лишь под утро.

Море же стало стихать; в воздухе повеяло дыханием зимнего мороза. И когда Велга проснулась и отворила на дневной свет дверь дома, навстречу ей переступила порог Снеггар.

— Велга! — сказала она.— Буря унесла Ирвальда на дикие острова Ледяного моря и разбила его лодку. Он один теперь в море и ждет смерти от холода, голода и толстых клювов морских птиц.

— Кто сказал тебе? — крикнула Велга.

— Я была у вещей Чарны, и она гадала мне на кишках гагары,— отвечала Снеггар и, закрыв лицо руками, стала плакать.

— Снеггар...— нежно хотела проговорить Велга.

Но брови ее сурово сдвинулись, и она сильной рукой распахнула дверь дома.

IV

Она быстро пошла по прибрежью на север. В холодный темный вечер вступила она в хижину Чарны, теплую от костра, пылающего красным пламенем.

— Научи меня, о вещая! — воскликнула она перед Чарной.— Укажи путь к Ирвальду!

— Поспеши! — сказала Чарна.— Два дня и две ночи надо плыть к Ирвальду. Не поспеешь к рассвету третьего дня — он погибнет. Но скажи мне, Велга, слыхала ли ты о пустынях Ледяного моря, где так же дико и печально, как в первые дни мира?

Как пойманная рыба, затрепетало сердце Велги.

— Пожалей меня, Чарна,— отвечала она.— Горько мне расстаться с жизнью. Но, если так надо, скажи: что будет со мной?

— Два дня и две ночи проведешь ты в тоске и страхе среди моря,— сказала Чарна.— А когда ступишь на остров, где томится Ирвальд, обратишься ты в чайку, и не узнает он, для кого ты погибла.

Как первый снег побледнела Велга, но глаза ее сверкнули радостью, и она отвечала Чарне:

— Я иду, Чарна!

— Поспеши,— сказала Чарна.

Против ветра, по мокрому песку прибрежья побежала Велга к шумящему темному морю. Хотелось ей крикнуть «прости» сестре, отцу и матери, но беспокойно билась у берега лодка на волнах, и быстро прыгнула в нее Велга. На закат, где едва светила кровавая полоса зари, направила она лодку и стояла, качаясь на волнах, и слезы горели на ее глазах, а ветер развевал в темноте ее белую одежду и дул в лицо с Ледяного моря.

V

На рассвете увидала она себя окруженной бледным морем у песчаного пустынного острова. Никого не было на том острове. Только вода взбегала на его песок и белела пеной. «Водяные пастушки» на высоких и тонких ногах бегали у прибоя и искали среди раковин пищи.

Но и «водяных пастушков» было мало. На зиму улетают они к берегам, где дуют теплые ветры.

А Ледяное море уже начиналось. Целый день плыла Велга и вступила в те безграничные воды, что уходят на край света и сливаются с небом. Все тяжелее стучали волны в дно лодки, потому что уже нет земли под теми волнами. Дикие северные птицы живут в тех морях, вдали от людей, на скалистых островах. Они сильны и одеты плотным пухом; они всю зиму могут плавать среди льдов и глубоко ныряют в ледяную воду. Тысячи их гнездились на островах, и каждый остров, как снегом, белел птицами. Там были гнезда на уединенных утесах и в норах, под утесами. И в сумерках проплывала Велга мимо самого большого острова.

Он весь, сверху донизу, был покрыт, как серою корой, засыхающим пометом птиц, их перьями и пухом. Птицы длинными рядами сидели на всех уступах скал. Внизу гнездились те, что были поменьше, наверху стояли и дремали самые большие и прожорливые, с белыми животами и черными спинами, с толстыми шеями и маленькими головами, с блестящими глазами в кольцах белого пуха и с огромными уродливыми клювами, с крепкими грубыми лапами и короткими руками без пальцев. Птицы громко разговаривали, а как только наступили сумерки и Велга, обессиленная борьбой с морозным ветром, причалила к берегу на отдых, тысячи их поднялись с шумом над нею, а самые большие загоготали и заревели дико и радостно, стараясь перекричать друг друга... И как снег побледнела Велга, собрала последние силы и опять прыгнула в лодку.

И к вечеру последнего дня показался среди пасмурного тумана высокий и дикий утес на краю света, тот, до которого доходили только могучие викинги и вбили в него железные кольца, чтобы привязывать лодки. Яростный шум и гул бурунов сливался там с тысячеголосыми криками хищных птиц, кружившихся в тумане. А Ирвальд лежал у прибоя, обессиленный предсмертным сном от холода и голода. Он был бледен, как морская пена, и в кудрях его был мокрый песок.

— Ирвальд! — крикнула Велга страстно и звонко.

От голоса ее мгновенно очнулся Ирвальд. Хотела Велга крикнуть ему, что она любит его, как в детстве, но не коснулись ее ноги земли, когда она прыгнула с лодки на берег: в воздухе повисла она крылатою белою чайкой,

и крик ее раздался жалобно-радостным криком чайки над Ирвальдом. Он мгновенно очнулся от крика,— голос друга коснулся его сердца,— но, взглянув, он увидел лишь чайку, взлетевшую с криком над лодкой...

Он уплыл на восток. Она долго вилась над водой, провожая Ирвальда. А когда он сокрылся вдали, закачалась она бесприютною чайкой по ветру. Так тоскует она и доныне, вспоминая утесы в тумане, где когда-то томился Ирвальд. Но в стенаньях ее звучит радость.

1895



БЕЗ РОДУ-ПЛЕМЕНИ

I

С вечера я спал крепко, потому что слишком измучился за день, но потом мне стало сниться, что я иду по каким-то станционным дворам и запасным путям, среди паровозов и вагонов, ищу мужа Зины и хочу непременно убедить его, что я вовсе не враг ему. Я любил Зину, но теперь не думаю о себе, желаю только ее счастия. Казалось даже, что я говорил ему это, но он все уходил от меня и я плохо его видел, а моя нежность к Зине возрастала, все кругом темнело, странно вытягиваясь коридором, и вот этот коридор — слабо освещенный, насквозь видный ряд вагонов — уже бежит, дрожа подо мною, и какая-то красивая девушка, перебивая мои слова веселым шепотом, зовет и уводит меня за руку все дальше по узкому коридору поезда. Я едва поспеваю за нею, в поезде темнеет, вагоны бегут, увлекая меня за собою,— падают все ниже и ниже, точно сама земля падает под ними, и радость, страсть и отчаяние достигают во мне такого напряжения, что я делаю усилие крикнуть — и просыпаюсь.

Так начался этот день. Очнувшись, я долго и тупо глядел на стену, изумленный спокойным видом комнаты. Давно день, ставни открыты, и на часах — половина десятого... Боже, какой тяжелый вздор снился мне! И что это напоминает он неприятное и как будто неестественное? Ах, да! Зина повенчалась вчера с Богаутом...

Вот теперь я уж твердо верю в это. Правда, я ждал этого — и все-таки продолжал ходить к Соймоновым. И вдруг однажды вечером — темнота и тишина во всем доме; старик Соймонов один сидит в темном кабинете, усиленно курит, задыхаясь более обыкновенного, и говорит мне, как только я появляюсь на пороге, неестественно равнодушно:

— А Катерина Семеновна с Зиной по лавкам поехали.

И, попыхтев, продолжает иронически:

— Великое переселение народов, что называется... К семейному торжеству готовимся... Нынче, знаете, весьма скоропалительно выходят эти истории!

Он хочет смягчить свои слова иронией, но я понимаю его и стараюсь только об одном — получше попадать ему в тон, чтобы поскорее и поприличнее уйти.

И я ушел, пришибленный, точно выгнанный из дому. Чтобы заглушить чувство боли, я усиленно развивал в себе злобу, презрение к этим свадебным приготовлениям. Я бродил по городу и, когда однажды встретил жениха, проехавшего с какими-то картонками в коляске, остановился и расхохотался. Катается на чужих лошадях и доволен! Как домой, является в чужую семью, где портнихи и белошвейки завалили все комнаты материями и выкройками!.. А потом будут сумерки, освещенная церковь, суета около паперти... Подкатывают кареты, и щеголь пристав горячится, чтобы сохранить порядок в этой церемонии... И церемония совершается в образцовом порядке!

Но даже попытки злиться не удавались мне. Я ходил на службу, и тоска, боль дурманили мне голову. А тут еще Елена! Она одинока, измучена беганьем по урокам, бросила семью и живет впроголодь; но зато у нее есть цели и надежды, мечты о курсах, о науке, о работе для общества. У меня нет пока никаких целей, и вольно же ей было мечтать увлечь и меня за собою! Всегда резко-бодрая, она изменилась за последнее время. То грустно-ласкова со мной, то хмурится, точно ей больно. А когда я заявил ей третьего дня о своем отъезде, она вспыхнула, взглянула на меня изумленными глазами, потом неловко и кротко улыбнулась и, едва выговорив: «До свидания»,— ушла... Я рассеянно посмотрел ей вслед.

Но вот эти сумерки наступили, и я очнулся. Я минута за минутой пережил в воображении все, что должно происходить в церкви, и жгучая злоба, ревность разрывали мне сердце. Я плакал и кого-то умолял сжалиться надо мною... Если бы вошла она в эту минуту! Я обезумел бы от счастья, целовал бы ее ноги! Иногда я порывался бежать к ней и у нее искать спасения от моей скорби. Но она-то и мучила меня. Выхода не было, и я метался по своей комнате... Потом острая боль стала замирать. Совсем стемнело; затихающий гул соборного

колокола медленно и ровно раскачивался над городом. Я знал, что все уже кончилось там, в церкви. Острую боль заменила тупая, скучная, и я крепко заснул.

Вот опять день, но мне теперь легче. То, что снилось, так странно слилось со всем пережитым за последнее время. Надо встать, собраться и куда-нибудь уехать...

II

Я долго мылся холодной водой, потом, не спеша, стал одеваться, что-то обдумывая. За стеной малороссийской скороговоркой ругала кухарку хозяйка. Мимо окна мягко прокатил по немощеной мостовой извозчик; стуча сапогами по деревянному тротуару, прошли два семинариста. Мне бы тоже давно пора идти — на службу, но я уже давно бросил думать о службе.

— Вы ж, панычу, справди уедете сёгодня? — спросила Одарка, входя в комнату с кипящим самоваром в руках.

— Что? — машинально проговорил я и, помню, долго глядел на нее без ответа. «Да,— думал я.— Зина уедет сегодня с мужем в Крым. Значит, мне тоже надо уехать отсюда».

— Непременно уеду,— ответил я твердо.— Непременно.

И, как только Одарка скрылась, заварил чаю и несколько раз прошелся из угла в угол, оглядывая, с чего начать сборы в дорогу. Но вдруг дверь снова распахнулась: почтальон!

Я быстро схватил письмо — и мгновенно разочаровался. «Пожалуйста, не уходи никуда завтра. Мне нужно серьезно поговорить с тобой. Елена». «Какое бабье письмо! — подумал я со злобой.— Не уходи, серьезно поговорить! Что я могу сказать ей?» Взволнованный, я кинул письмо на стол и опустился в кресло.

День облачный, ветреный — стоит уже конец сентября,— и ветер проносит по улице пыль и листья. В открытую форточку долетает тревожный шум тополей. Улица, где я так однообразно провел почти два года, безлюдная, тихая и вся в деревьях. Деревья на бульваре и около тротуаров — старые и развесистые. Теперь они шумят сухой листвою; ветер гонит облака пыли и качает их из стороны в сторону... А пять месяцев тому назад, в теплые апрельские дни, они кудрявились нежной, мелкой зеленью, голубое небо сияло между их вершинами, и я бро-



И. А. Бунин и М. А. Алданов. Ницца, 1928 или 1929.
Датировано Г. Н. Кузнецовой, приславшей этот снимок



Ю. А. Бунин, М. А. Бунина; стоят:
Е. А. Бунин и его жена Настасья Карловна



Могила Ю. А. Бунина (1857—1921) и его племянника Д. А. Пу́шешникова (1880—1945) на Донском кладбище в Москве



Елец. Мужской монастырь



Орел. Общий вид от устья



Орел, р. Ока и архиерейский дом



Орел, р. Ока и Мариинский мост



Орел. Гостиная улица



Орел. Берег р. Орлика. Вид на рощу И. С. Тургенева



Болховская ул. и Александровский женский институт



Орел. Дворянское собрание



Купальни на р. Орлике и город



Орел. Александровский институт благородных девиц



Орел. Ильинская площадь



Витебск. Соборная площадь



Смоленск. Памятник героям Отечественной войны 1812 г.



Витебск. Елагская улица



А. П. Чехов. Фотография с дарственной надписью: «Милому Ивану Алексеевичу Бунину от коллеги. Антон Чехов. 1901. II. 19»



Портрет И. А. Бунина с его надписью:
«1909. Ив. Бунин. После избрания в академики»



Одесса. Дом, в котором была квартира семейства Цакни́ и где жил Бунин после женитьбы на Анне Николаевне в 1898 г. Херсонская ул., ныне ул. Пастера, дом 44, во дворе



Одесса. Гостиница «Петербургская». Здесь останавливался Бунин



Одесса, ул. Херсонская, ныне ул. Пастера, дом 44; балкон квартиры, в которой жили Бунин и А. Н. Цакни, на втором этаже



Одесса. Бывший дворец Потоцкой, ныне — Музей русского и украинского искусства. Здесь жил хранитель музея художник В. П. Куровский, и у него останавливался Бунин в некоторые свои приезды в Одессу: Софиевская, 5 (ныне — ул. Короленко)



Ю. А. Бунин. Полтава. 1889—1894



И. А. Бунин (справа), С. А. Найденов, А. М. Федоров. 1903



Дом С. Н. Пушешниковой, двоюродной сестры Бунина, в имении Васильевском в селе Глотово, Орловской губ. Бунин обычно летом жил здесь — каждый год начиная с 1906 г. и до октября 1917 г.



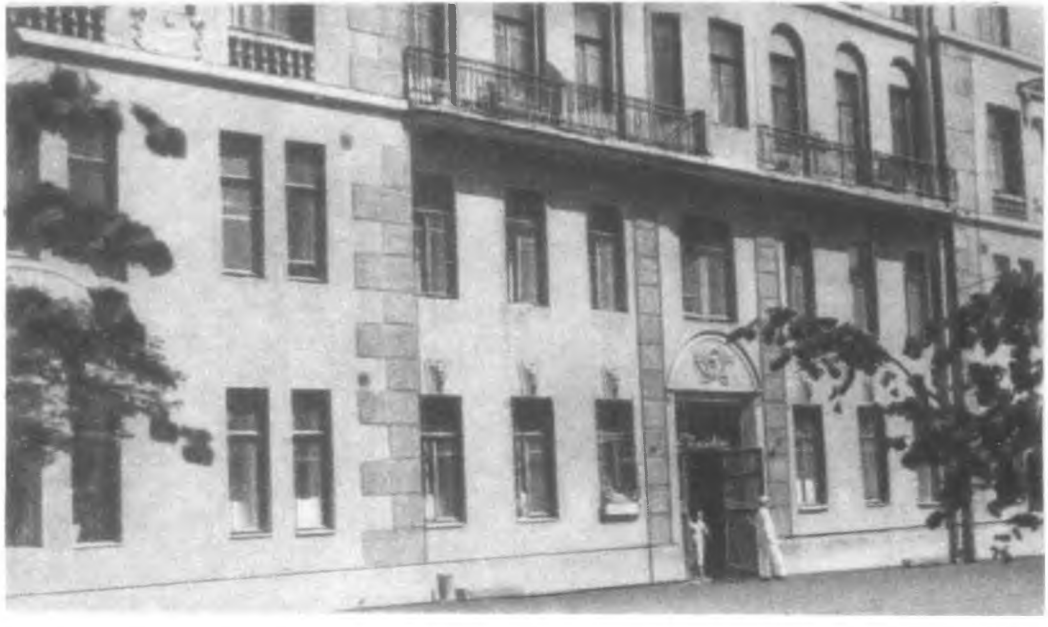
Елец. Женский монастырь



И. А. Бунин. Фотография не позднее 1910 г.



Москва. Поварская ул., дом 26; на первом этаже в квартире № 2 — от входа налево — жили И. А. Бунин и В. Н. Бунина у ее родителей, Муромцевых, с 26 октября 1917 г. и до 21 мая 1918 г. Иван Алексеевич писал здесь «Окаянные дни»



Москва. Поварская ул., дом 26; квартира № 2 — от входа налево первые окна



Москва. Пашков дом, в котором был открыт Румянцевский музей. Архитектор В. Баженов. Ныне — Российская государственная библиотека



Интерьер одной из комнат парижской квартиры Бунина, некоторые вещи из которой перевезены в Орел и находятся в Музее Бунина

дил под ними по мягкой, влажной земле, чему-то радуясь!

Пять месяцев... И мне хочется твердо и определенно сказать себе, что я очень глупо провел эти пять месяцев. Убедить себя в этом мне тем легче, что я не только не люблю Зины теперь, но даже со стыдом вспоминаю все, что говорил ей.

В марте образовался у нас «музыкально-драматический кружок», и я сам написал об этом событии корреспонденцию в «Летопись Юга». Корреспонденции увеличивают мое жалованье в земской управе рублей на восемь, на десять в месяц, и я аккуратно сообщаю в «Летопись» обо всех выдающихся городских событиях. С кривой улыбкой я пишу газетным жаргоном о положении народной столовой и чайной, о полковых праздниках и дамском благотворительном кружке, о доме трудолюбия, где бедные старики и старухи, измученные и обездоленные жизнью, обречены под конец этой жизни выполнять идиотскую работу — трепать, например, мочало... Пишу о том, что сельскохозяйственное общество «заслушало» и «передало в комиссию» чрезвычайно любопытный доклад под заглавием: «К вопросу об урегулировании свиноводства», и тут же добавляю, что «нельзя не отметить и другого отрадного факта: в среде местного интеллигентного общества, по инициативе супруги начальника губернии, возникла благая мысль организовать в нашем богоспасаемом городке кружок с целью проведения в жизнь и доставления публике здоровых и разумных развлечений...» С той же улыбкой я отправился и в дворянский клуб, на один из вечеров «кружка», в качестве скрипача, участвующего в концерте.

Утомленный однообразной зимней жизнью — службой, обедами в кухмистерской и скучными вечерами в своей студенческой комнатке, где всегда пахнет дешевым глицериновым мылом и где вся мебель состоит из стола, кровати, двух-трех стульев и плетеной корзины,— я был возбужден клубом. Я был доволен, что меня знакомят с семьями вице-губернатора и председателя суда, с чиновниками особых поручений и с богатым молодым помещиком Вечесловым, который так хорошо играет в любительских спектаклях... Все они такие свежие, бодрые, и все хотят незаметно обласкать тебя... В клубе — светло, просторно, зеркала, бархатная мебель, пахнет дорогим табаком, и оживленно идет говор.

А главное, я не чувствую себя лишним на этот раз: я сыграл, как настоящий скрипач, одну вещь грустную, нежную, похожую на колыбельную песенку, а другую — бойкую, в темпе мазурки, с резкими ударами смычка,— исполнил все, что полагается, и был одобрен... Вот тут-то и состоялось мое знакомство с Соймоновыми.

Все они мне понравились: и сам доктор, пожилой человек, похожий на помещика, с одышкой, и его жена, болтливая, молодящаяся дама, и ее падчерица Зина, высокая девушка с темно-синими глазами и длинными ресницами.

— Зиночка, матушка! Что это ты сидишь такая сонная? — сказал Александр Данилыч, подводя меня к дочери.— Я вот тебе еще жениха привел, Сергей Николаевич Ветвицкий.

— Ну, садитесь и рассказывайте,— проговорила Зина. Она улыбнулась и подняла ресницы, но только на мгновение перевела глаза на меня, а потом снова стала равнодушно глядеть в сторону, сидя прямо и машинально играя веером.

Я спросил:

— С чего начать прикажете?

— В качестве жениха — с того, кто вы такой, откуда? «Имя, родина, родные»?

— Зовусь Магометом я,— сказал я с шутливой грустью.

— Полюбив, мы умираем? — добавила Зина. Потом пристально и задумчиво посмотрела на меня.

— Вы не декадент? — спросила она.

— Почему? — ответил я, невольно смущаясь от ее взгляда.

— Да так... про вас ходят слухи, что нелюдим, гордец... потом, у вас такое лицо...

— Какое? — спросил я живо.

— Больное,— ответила Зина, подумав.— Вы больны?

Я посмотрел на ее глаза и губы, на все ее красивое тело высокой и уже вполне развившейся девушки, услыхал запах ее духов...

— Болен,— ответил я шутливо, с болью чувствуя все обаяние ее.

— Чем?

— Жаждой того, чего у меня нет,— сказал я.— А хочу я многого... Любви, здоровья, крепости духа, денег, деятельности...

К удивлению моему, она, помолчав, быстро и серьезно ответила:

— Я очень понимаю вас. У меня тоже ничего нет. Только не нужно говорить об этом...

Я хотел что́-то возразить, но удержался и только с радостью почувствовал, что между нами уже установилась какая-то тонкая связь.

— Ну, а почему же вы думаете, что я гордец и нелюдим? — спросил я.

— Потому что у вас очень надменный и грустный взгляд,— сказала Зина.— Мне кажется, что вы никогда никого не любили и что вы большой эгоист.

Я был задет за живое, но опять сдержал себя и стал говорить полушутливым тоном:

— Может быть... Кого любить? За что?

— Виновата,— вдруг сказала Зина.— Мне нужно подойти к тетушке.

И она с приветливой и радостной улыбкой пошла навстречу старухе, сопровождаемой белокурым и женственным молодым человеком,— старухе с лошадиным лицом и совиными глазами, которые посмотрели на меня очень удивленно. Я, как истый пролетарий, опять почувствовал себя лишним и надулся. А когда Зина вернулась ко мне, начал притворно-лениво и очень некстати глумиться над жандармским полковником, над любительницей-певицей, пожилой, некрасивой и сильно декольтированной девушкой, над виолончелистом...

— Посмотрите,— говорил я,— какой он маленький, плюгавый. Лицо — конфетное, но зато волосы совсем как у Рубинштейна...

— А это кто, не знаете? — продолжал я, все более раздражаясь и все более желая вовлечь ее в разговор.— Вот тот пожилой господин с артистической наружностью и лицом алкоголика? Посмотрите, как у него запухли глаза и как он смотрит всегда — точно сонный, с холодным презрением. Это настоящий клубный посетитель, и про него непременно говорят, что он — умница, золотая голова, только спился, опустился и должен всем...

— Это Алексей Алексеевич Бахтин, мой дядя,— ответила Зина с неловкой улыбкой.

III

Таков был первый вечер. Однако я часто начал бывать у Соймоновых, и Зина сперва радовалась мне. Мы даже говорили друг другу, что мы — большие друзья, но что-то мешало нашей дружбе: общее у нас было одно — жажда жизни,— в остальном мы были чужды друг другу. Это я чувствовал больше всего, когда у Соймоновых собирались гости. Наши разговоры,— даже наедине,— не удовлетворяли меня. Наступили апрельские дни, мне хотелось куда-нибудь за город, в степь... Но она неизменно отвечала:

— Я вовсе не хочу, чтобы мы сделались басней города. Вот соберемся как-нибудь компанией. Вы ведь все равно знаете, что я только для вас поеду.

И я ограничивался тем, что провожал ее в лавки или в народную чайную, где она, в числе других дам-благотворительниц, дежурила по пятницам. А вечером я один уходил за город, к вокзалу, за реку или в городской сад, где еще не началась летняя ресторанная жизнь.

По вечерам в саду совсем никого не было. Чистый весенний воздух холодел, в пустынном, еще черном саду казалось, что стоит ясный октябрьский вечер. Только звезды по-весеннему, ласково теплились над вершинами деревьев и соловьи в чащах пробовали свои голоса. Резко пахло пробивавшейся из земли травой и самой землею — холодной и влажной... Дома же я до поздней ночи играл у раскрытого окна на скрипке, и скрипка звонко и жалобно пела в лад с моим сердцем.

Потом было одно время, когда Зина резко изменилась ко мне. В средине мая подготовительные управские работы к экстренному собранию не позволяли мне ходить к Соймоновым. И вот как-то в воскресенье я сидел в своей комнате и спешил окончить кое-какие статистические выкладки. С самого утра перепадал теплый, золотой дождик, и обмытая им майская зелень и самый воздух, казалось, молодели от него. Гром рокотал то в той, то в другой стороне, но поминутно, между клубами дымчатых и белых облаков, вздымавшихся по небу, сияла яркая лазурь и выглядывало жаркое солнце. Я засмотрелся в окно, на голубые лужи под деревьями, как вдруг мимо окна быстро прошла Зина. С минуту я сидел неподвижно, изумленный ее появлением, потом схватил

шляпу и кинулся на улицу... Ах, какой это был славный день!

— Мне было грустно без вас,— говорила Зина, смущенно улыбаясь,— я сама, наконец, решилась идти к вам.

И я в упоении целовал ее душистые руки с колючими перстнями и не знал, что сказать ей, от счастья...

А потом я не знал, что сказать, от сомнений. Я по целым ночам обдумывал на тысячи ладов, что может выйти из моего брака с Зиной. «Мы разные люди,— думал я,— она даже малоинтеллигентна. Наконец, у нее ничего нет, и куда я возьму ее? В эту комнату?»

И потянулись томительные вечера, которые я неизменно проводил у Соймоновых... Да и любил ли я ее?

Помню, в один холодный и дождливый вечер мне было особенно скучно. Зина что-то шила, я перелистывал журнал, нашел чье-то стихотворение:

> Укор ли нам неся, прощальный ли привет,
> Как дальних волн прибой, осенний ветер стонет...

— Не правда ли, хорошо? — спросил я, прочитав эти две строки.

— Да, красиво,— ответила Зина.

— А по-моему,— сказал Александр Данилыч,— все это собачья старость, и больше ничего.

Зина звонко расхохоталась...

А тут у Соймоновых почти каждый день начал бывать помощник присяжного поверенного Богаут, молодой человек, здоровый и жизнерадостный, как немец, всегда и со всеми любезный и ласковый. Я же стал проводить вечера в обществе Елены, милой и простой девушки из духовного звания. Мы ели с ней колбасу, пили чай, слушали у окна музыку военного оркестра, доносившуюся из сада, и говорили о марксистах и народниках... О чем ином мы могли говорить с ней? Что-то очень милое было в ее простом, русском лице, что-то трогательное было в ее открытом взгляде и в том, как она, доставая из кармана юбки роговую гребеночку, причесывала свои стриженые волосы на косой ряд. Но я уже замечал, что она мою товарищескую нежность и нашу выдумку говорить на «ты» начинает принимать за любовь. Я смеялся и над марксистами, и над народниками, говорил, что я мог бы стать общественным человеком только при исключительных условиях,— например, если бы настали дни настоящего общественного подъема,— или если

бы я сам хоть немного был счастлив лично... Она смотрела на меня в такие минуты пристально, жадно и, увлекаясь страстностью моих слов о личном счастье, о тоске существования среди поголовного мещанства, говорила задумчиво и убежденно:

— Ты не понимаешь самого себя...

IV

В надежде, что она придет как раз в мое отсутствие, я отправляюсь в кухмистерскую обедать.

В самом деле, какой скучный день! Прохожих мало, белые каменные дома в пыли. Ветер несет по мостовой эту белесую пыль и шуршит на бульварах тощими и почерневшими акациями... Вот присутственные места на площади, вот главная улица. Тут больше прохожих и проезжих; возле магазинов экипажи... Мне же все кажется, что в городе — праздник, потому что Зина вчера повенчалась и сегодня делает с мужем визиты... Шибко прокатил на паре серых, бойких и злых лошадей полицеймейстер. Пристяжная круто отвернула от коренника голову, полицеймейстер весело оглядывается, по-офицерски заложив руки в карманы. Это он к Соймоновым, должно быть... И я бессознательно прибавляю шагу; сердце забилось сильнее, и тянет еще раз взглянуть на их дом...

Но зачем?

И, преодолев себя, я сворачиваю на тихую Старо-Замковую улицу, где уже второй год обедаю в польской «кондитерской».

Я быстро подошел к дверям — и внезапно струсил. А если тут Елена? Ведь часто случалось, что мы обедали вместе. Может случиться и сегодня...

В нерешимости я прошел мимо окон, заглянул в столовую. В столовой пусто, значит, можно идти смело...

Но невеселые мысли и тут преследовали меня.

Знаете вы этих забитых трудом и бедностью старушек, которые встречаются иногда на улицах, в кухмистерских и присутственных местах в дни выдачи пенсий? Почему-то все они маленького роста, ходят в стареньких бурнусах и убогих шляпках, смотрят на все робкими, недоумевающими глазами и возбуждают мучительную жалость своим покорным видом... Как нарочно, и сегодня одна из них тут.

Я старался глядеть только в тарелку, но не мог за-

быть о своей соседке. «Верно,— думалось мне,— она дает уроки языков или музыки, живет одна в чистой комнатке, где горит лампадка в часы ее недолгого отдыха, когда темнеет субботний вечер и тихо реет над городом звон ко всенощной... Чувствует ли она, как горько на старости лет, без семьи, без близких, отдыхать только в субботний вечер? Знает ли она, как тяжело глядеть на нее, когда плетется она в своем старом бурнусе с урока в кухмистерскую или вечером в лавочку за осьмушкой чаю?»

Дома я усердно принимаюсь за уборку вещей в дорогу. Но какие же у меня вещи?

Я открыл корзинку, в которой в беспорядке навалено белье, выдвинул из-под кровати чемодан с письмами, бумагами и нотами — и опустил руки.

Тут все мои воспоминания. Этот чемодан — мой старый товарищ. В первый раз он отправился со мной в путешествие еще тогда, когда я только что «вступал в жизнь», ехал на юг в университетский город.

Удивительно живо помню я эти дни в пути! Помню даже, как смотрелся в зеркало на вокзале в Курске и думал, что похож на Шопена; помню, как по вагону ходили полосы света и тени — от яркого мартовского солнца и клубов дыма, плывущих мимо окон. Снежные поля блестели золотой слюдой, сияющая даль манила к югу, к чему-то молодому и веселому... А потом — большой, шумный город, весна, во всем что-то нежное, легкое, южное... Северный уездный городок, где осталась моя семья, разорившаяся помещичья семья, был от меня далеко, и я не понимал тогда, что потерял последнюю связь с родиной. Разве есть у меня теперь родина? Если нет работы для родины, нет и связи с нею. А у меня нет даже и этой связи с родиной — своего угла, своего пристанища... И я быстро постарел, выветрился нравственно и физически, стал бродягой в поисках работы для куска хлеба, а свободное время посвятил меланхолическим размышлениям о жизни и смерти, жадно мечтая о каком-то неопределенном счастье... Так сложился мой характер и так просто прошла моя молодость.

Собственно говоря, и вспоминать-то нечего. А все-таки при взгляде на этот истрепанный чемодан я опускаю руки, подавленный воспоминаниями. Каждый раз, как мне приходится укладывать в него мой скарб, я говорю себе: вот еще невозвратно прошло столько-то лет; еще часть моей жизни оторвана... И мне больно говорить это

себе. Вспоминаются один за другим дни, проведенные в этой комнате,— дни, полные неопределенных, часто сладких надежд и мечтаний. Вспоминаются и далекие дни, те, что уже в тумане. О них говорят связки писем. Вот письма родных, которые где-то там, на севере, все еще ждут меня к праздникам и грустят обо мне с нежною любовью, как о мальчике... Вот письма первой любви, первых товарищей... И при взгляде на каждое из них у меня сжимается сердце.

Резкий звонок заставил меня быстро вскочить с кресла и кинуться к шляпе. Елена! И я заметался по комнате, готовый даже выпрыгнуть в окошко. А между тем уже слышен ее голос:

— Дома Ветвицкий?

Я распахнул дверь, пробежал через кухню, а оттуда — по двору к калитке...

V

До позднего вечера я бродил за городом.

Кругом было поле, безжизненное, унылое. Наплывали угрюмые тучи, ветер усиливался, и сухой бурьян летел по пашням в неприветную, темную даль. И на душе у меня становилось тоже все темнее и темнее.

В смутном, волнующемся сумраке городского сада я сидел под старыми деревьями на забытой скамейке. Вот где, думалось мне, уныние теперь — на кладбище! Разве в смерти есть что-нибудь ужасное, сильное? Смерть — ничто, пустота. И только одним этим и пугает нас смерть. И на кладбище так же: сумерки, ни души кругом; могилы и могилы, заросшие травою; трава теперь высохла, пожелтела и тихо шелестит от ветра...

«А где Елена?» — приходило мне иногда в голову.

Я вдруг вспоминаю чью-то легенду о ветре и душах повесившихся людей и в испуге поднимаюсь со скамьи. Зачем я так скверно спрятался от нее? Зачем не поговорил с ней? Но что же я мог сказать ей? Это все равно, что мне отправиться сейчас к Зине...

Я опять сажусь и пристально гляжу в одну точку, стараясь охватить то, что творится в моей душе.

Звезды в мутном небе светят бледно и сумрачно. Ветер поднимает пыль на дорожках почти темного сада, и с деревьев сыплются листья. Точно напряженный ше-

пот, не смолкает надо мною порывисто усиливающийся шум и шелест деревьев. А когда ветер, как дух, как живой, убегает, кружась, в дальние аллеи, старые тополи гудят там так угрюмо, жутко...

Когда я наконец решил вернуться домой, была уже ночь. Подавленный тоской, подгоняемый ветром, я бессильно брел по улицам. Вот и наш домишко ярко светит окнами в черном мраке под деревьями. Кругом шум ветра и листьев, а там тихо, и сухие ветки плюща сонно качаются над окном моей комнаты. В ней, за стеклами, спокойным, ровным светом горит лампа... Зачем я еду? Кто гонит меня в эту даль, где полутемный поезд, одинокая ночь и долгий замирающий стон паровоза?

В страхе я остановился.

— Елена! — хотелось крикнуть мне.

И, точно угадав мое желание, она неслышно вышла из темноты под деревьями.

— Можно к тебе? — спросила она деревянным голосом.

Я растерялся, смущенно пробормотал:

— Конечно... Конечно, можно...

В темноте я долго не мог попасть ключом в замочную скважину, наконец отворил дверь и неестественно-шутливо проговорил:

— Прошу!

— Я только на минутку,— ответила она сухо, входя в комнату и не глядя на меня.

Я подвинул ей кресло, сел против нее и взял ее за руку.

— Снимай,— сказал я ласково, указывая глазами на перчатку,— посиди у меня.

Она взглянула на меня, улыбнулась, но вдруг губы ее дрогнули и на глазах показались слезы.

— Елена! — сказал я укоризненно.

Она не ответила. Я повторил свои слова, но уже без нежности и пожал плечами.

— Елена! — снова начал я с раздражением.— Надо же взять себя в руки,— прибавил я, чувствуя, что говорю глупости.

Она упорно молчала. Зубы ее были стиснуты, в голубых глазах, пристально устремленных на огонь, стояли слезы.

Я с шумом отодвинул кресло, быстро застегнул на все пуговицы пиджак и, заложив руки в карманы, заходил по комнате. Но, повернув раза два или три, снова бросился

в кресло и, прикрыв глаза, спросил с холодной насмешливостью:

— Что же тебе угодно от меня?

Она быстро и удивленно взглянула на меня, хотела что-то сказать, но вдруг закрыла лицо руками и разразилась громкими рыданиями. И, рыдая, комкая к глазам платок, заговорила отрывистым, резким голосом:

— Ты не смеешь так говорить!.. Как ты... смеешь... когда я... так... относилась к тебе? Ты обманывал меня...

— Зачем ты врешь? — перебил я ее.— Ты отлично знаешь, что я относился к тебе по-дружески. Но я не хочу вашей мещанской любви... Оставьте меня в покое!

— А я не хочу твоей декадентской дружбы! — крикнула Елена и отняла платок от глаз.— Зачем ты ломался? — заговорила она твердо, сдерживая рыдания и глядя на меня в упор с ненавистью.— Почему ты вообразил, что мной можно было играть?

Я опять резко перебил ее:

— Ты с ума сошла! Когда я играл тобою? Мы оба одиноки, оба искали поддержки друг в друге,— и, конечно, не нашли,— и больше между нами ничего не было.

— А, ничего! — снова крикнула Елена злобно и радостно.— Какой же такой любви вам угодно? Почему ты даже мысли не допускаешь равнять меня с собою? Я одна, меня ждет ужасная жизнь где-нибудь в сельском училище, я мелкая общественная единица, но я лучше тебя. А ты? Ты даже вообразить себе не можешь, как я вас ненавижу всех — неврастеников, эгоистов! Все для себя! Все ждете, что ваша ничтожная жизнь обратится в нечто необыкновенное!

— Да! — сказал я со злобою, подымаясь.— Я люблю жизнь, безнадежно люблю! Мне дана только одна жизнь, и та на какие-нибудь пятьдесят лет, из которых пятнадцать ушло на детство и четверть уйдет на сон. И при этом я никогда не знал счастья! Смешно, не правда ли?

Но Елена опять прижала платок к глазам и зарыдала с новой силой.

— И поэтому ты...— заговорила она гадливо.— И потому ты сегодня так низко и спрятался от меня? Ты опять лжешь, чтобы закрыться пышными фразами...

Я с неимоверной быстротой схватил пресс-папье и со всего размаху ударил им по столу.

— Уйди! — крикнул я бешено.

И мгновенно похолодел от ужаса за сделанное. Я уви-

дал, как Елена вскочила, сразу оборвав рыдания, и лицо ее перекосилось от детского страха.

— Уйди! — закричал я опять, но уже другим, жалким голосом.

Она распахнула дверь, и ветер, как шалый, со стуком рванул к себе раму, с шелестом и шумом деревьев ворвался в комнату и мгновенно вырвал свет из лампы. Я упал на постель, уткнулся лицом в подушку и заскрежетал зубами, упиваясь своей скорбью и своим отчаяньем. Тополи гудели и бушевали во мраке.

1897

АНТОНОВСКИЕ ЯБЛОКИ

I

...Вспоминается мне ранняя погожая осень. Август был с теплыми дождиками, как будто нарочно выпадавшими для сева,— с дождиками в самую пору, в средине месяца, около праздника св. Лаврентия. А «осень и зима хороши живут, коли на Лаврентия вода тиха и дождик». Потом бабьим летом паутины много село на поля. Это тоже добрый знак: «Много тенетника на бабье лето — осень ядреная»... Помню раннее, свежее, тихое утро... Помню большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад, помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и — запах антоновских яблок, запах меда и осенней свежести. Воздух так чист, точно его совсем нет, по всему саду раздаются голоса и скрип телег. Это тарханe, мещане-садовники, наняли мужиков и насыпают яблоки, чтобы в ночь отправлять их в город,— непременно в ночь, когда так славно лежать на возу, смотреть в звездное небо, чувствовать запах дегтя в свежем воздухе и слушать, как осторожно поскрипывает в темноте длинный обоз по большой дороге. Мужик, насыпающий яблоки, ест их с сочным треском одно за одним, но уж таково заведение — никогда мещанин не оборвет его, а еще скажет:

— Вали, ешь досыта,— делать нечего! На сливанье все мед пьют.

И прохладную тишину утра нарушает только сытое квохтанье дроздов на коралловых рябинах в чаще сада, голоса да гулкий стук ссыпаемых в меры и кадушки яблок. В поредевшем саду далеко видна дорога к большому шалашу, усыпанная соломой, и самый шалаш, около которого мещане обзавелись за лето целым хозяйством. Всюду сильно пахнет яблоками, тут — особенно. В шалаше устроены постели, стоит одноствольное ружье,

позеленевший самовар, в уголке — посуда. Около шалаша валяются рогожи, ящики, всякие истрепанные пожитки, вырыта земляная печка. В полдень на ней варится великолепный кулеш с салом, вечером греется самовар, и по саду, между деревьями, расстилается длинной полосой голубоватый дым. В праздничные же дни около шалаша — целая ярмарка, и за деревьями поминутно мелькают красные уборы. Толпятся бойкие девки-однодворки в сарафанах, сильно пахнущих краской, приходят «барские» в своих красивых и грубых, дикарских костюмах, молодая старостиха, беременная, с широким сонным лицом и важная, как холмогорская корова. На голове ее «рога»,— косы положены по бокам макушки и покрыты несколькими платками, так что голова кажется огромной; ноги, в полусапожках с подковками, стоят тупо и крепко; безрукавка — плисовая, занавеска длинная, а понева — черно-лиловая с полосами кирпичного цвета и обложенная на подоле широким золотым «прозументом»...

— Хозяйственная бабочка! — говорит о ней мещанин, покачивая головою.— Переводятся теперь такие...

А мальчишки в белых замашных рубашках и коротеньких порточках, с белыми раскрытыми головами, все подходят. Идут по двое, по трое, мелко перебирая босыми ножками, и косятся на лохматую овчарку, привязанную к яблоне. Покупает, конечно, один, ибо и покупки-то всего на копейку или на яйцо, но покупателей много, торговля идет бойко, и чахоточный мещанин в длинном сюртуке и рыжих сапогах — весел. Вместе с братом, картавым, шустрым полуидиотом, который живет у него «из милости», он торгует с шуточками, прибаутками и даже иногда «тронет» на тульской гармонике. И до вечера в саду толпится народ, слышится около шалаша смех и говор, а иногда и топот пляски...

К ночи в погоду становится очень холодно и росисто. Надышавшись на гумне ржаным ароматом новой соломы и мякины, бодро идешь домой к ужину мимо садового вала. Голоса на деревне или скрип ворот раздаются по студеной заре необыкновенно ясно. Темнеет. И вот еще запах: в саду — костер, и крепко тянет душистым дымом вишневых сучьев. В темноте, в глубине сада — сказочная картина: точно в уголке ада, пылает около шалаша багровое пламя, окруженное мраком, и чьи-то черные, точно

вырезанные из черного дерева силуэты двигаются вокруг костра, меж тем как гигантские тени от них ходят по яблоням. То по всему дереву ляжет черная рука в несколько аршин, то четко нарисуются две ноги — два черных столба. И вдруг все это скользнет с яблони — и тень упадет по всей аллее, от шалаша до самой калитки...

Поздней ночью, когда на деревне погаснут огни, когда в небе уже высоко блещет бриллиантовое семизвездие Стожар, еще раз пробежишь в сад. Шурша по сухой листве, как слепой, доберешься до шалаша. Там на полянке немного светлее, а над головой белеет Млечный Путь.

— Это вы, барчук? — тихо окликает кто-то из темноты.

— Я. А вы не спите еще, Николай?

— Нам нельзя-с спать. А, должно, уж поздно? Вон, кажись, пассажирский поезд идет...

Долго прислушиваемся и различаем дрожь в земле. Дрожь переходит в шум, растет, и вот, как будто уже за самым садом, ускоренно выбивают шумный такт колеса: громыхая и стуча, несется поезд... ближе, ближе, все громче и сердитее... И вдруг начинает стихать, глохнуть, точно уходя в землю...

— А где у вас ружье, Николай?

— А вот возле ящика-с.

Вскинешь кверху тяжелую, как лом, одностволку и с маху выстрелишь. Багровое пламя с оглушительным треском блеснет к небу, ослепит на миг и погасит звезды, а бодрое эхо кольцом грянет и раскатится по горизонту, далеко-далеко замирая в чистом и чутком воздухе.

— Ух, здорово! — скажет мещанин.— Потращайте, потращайте, барчук, а то просто беда! Опять всю дулю на валу отрясли...

А черное небо чертят огнистыми полосками падающие звезды. Долго глядишь в его темно-синюю глубину, переполненную созвездиями, пока не поплывет земля под ногами. Тогда встрепенешься и, пряча руки в рукава, быстро побежишь по аллее к дому... Как холодно, росисто и как хорошо жить на свете!

II

«Ядреная антоновка — к веселому году». Деревенские дела хороши, если антоновка уродилась: значит, и хлеб уродился... Вспоминается мне урожайный год.

На ранней заре, когда еще кричат петухи и по-черному дымятся избы, распахнешь, бывало, окно в прохладный сад, наполненный лиловатым туманом, сквозь который ярко блестит кое-где утреннее солнце, и не утерпишь — велишь поскорее заседлывать лошадь, а сам побежишь умываться на пруд. Мелкая листва почти вся облетела с прибрежных лозин, и сучья сквозят на бирюзовом небе. Вода под лозинами стала прозрачная, ледяная и как будто тяжелая. Она мгновенно прогоняет ночную лень, и, умывшись и позавтракав в людской с работниками горячими картошками и черным хлебом с крупной сырой солью, с наслаждением чувствуешь под собой скользкую кожу седла, проезжая по Выселкам на охоту. Осень — пора престольных праздников, и народ в это время прибран, доволен, вид деревни совсем не тот, что в другую пору. Если же год урожайный и на гумнах возвышается целый золотой город, а на реке звонко и резко гогочут по утрам гуси, так в деревне и совсем не плохо. К тому же наши Выселки спокон веку, еще со времен дедушки, славились «богатством». Старики и старухи жили в Выселках очень подолгу,— первый признак богатой деревни,— и были все высокие, большие и белые как лунь. Только и слышишь, бывало: «Да,— вот Агафья восемьдесят три годочка отмахала!» — или разговоры в таком роде:

— И когда это ты умрешь, Панкрат? Небось тебе лет сто будет?

— Как изволите говорить, батюшка?

— Сколько тебе годов, спрашиваю!

— А не знаю-с, батюшка.

— Да Платона Аполлоныча-то помнишь?

— Как же-с, батюшка,— явственно помню.

— Ну, вот видишь. Тебе, значит, никак не меньше ста.

Старик, который стоит перед барином вытянувшись, кротко и виновато улыбается. Что ж, мол, делать,— виноват, зажился. И он, вероятно, еще более зажился бы, если бы не объелся в Петровки луку.

Помню я и старуху его. Все, бывало, сидит на скамеечке, на крыльце, согнувшись, тряся головой, задыхаясь и держась за скамейку руками,— все о чем-то думает. «О

добре своем небось»,— говорили бабыпотому что «добра» у нее в сундуках было, правда, много. А она будто и не слышит; подслеповато смотрит куда-то вдаль из-под грустно приподнятых бровей, трясет головой и точно силится вспомнить что-то. Большая была старуха, вся какая-то темная. Понева — чуть не прошлого столетия, чуньки — покойницкие, шея — желтая и высохшая, рубаха с канифасовыми косяками всегда белая-белая,— «совсем хоть в гроб клади». А около крыльца большой камень лежал: сама купила себе на могилку, так же как и саван,— отличный саван, с ангелами, с крестами и с молитвой, напечатанной по краям.

Под стать старикам были и дворы в Выселках: кирпичные, строенные еще дедами. А у богатых мужиков — у Савелия, у Игната, у Дрона — избы были в две-три связи, потому что делиться в Выселках еще не было моды. В таких семьях водили пчел, гордились жеребцом-битюгом сиво-железного цвета и держали усадьбы в порядке. На гумнах темнели густые и тучные конопляники, стояли овины и риги, крытые вприческу; в пуньках и амбарчиках были железные двери, за которыми хранились холсты, прялки, новые полушубки, наборная сбруя, меры, окованные медными обручами. На воротах и на санках были выжжены кресты. И помню, мне порою казалось на редкость заманчивым быть мужиком. Когда, бывало, едешь солнечным утром по деревне, все думаешь о том, как хорошо косить, молотить, спать на гумне в ометах, а в праздник встать вместе с солнцем, под густой и музыкальный благовест из села, умыться около бочки и надеть чистую замашную рубаху, такие же портки и несокрушимые сапоги с подковками. Если же, думалось, к этому прибавить здоровую и красивую жену в праздничном уборе да поездку к обедне, а потом обед у бородатого тестя, обед с горячей бараниной на деревянных тарелках и с ситниками, с сотовым медом и брагой,— так больше и желать невозможно!

Склад средней дворянской жизни еще и на моей памяти,— очень недавно,— имел много общего со складом богатой мужицкой жизни по своей домовитости и сельскому старосветскому благополучию. Такова, например, была усадьба тетки Анны Герасимовны, жившей от Выселок верстах в двенадцати. Пока, бывало, доедешь до этой усадьбы, уже совсем ободняется. С собаками на сворах ехать приходится шагом, да и спешить не хочется,— так

весело в открытом поле в солнечный и прохладный день! Местность ровная, видно далеко. Небо легкое и такое просторное и глубокое. Солнце сверкает сбоку, и дорога, укатанная после дождей телегами, замаслилась и блестит, как рельсы. Вокруг раскидываются широкими косяками свежие, пышно-зеленые озими. Взовьется откуда-нибудь ястребок в прозрачном воздухе и замрет на одном месте, трепеща острыми крылышками. А в ясную даль убегают четко видные телеграфные столбы, и проволоки их, как серебряные струны, скользят по склону ясного неба. На них сидят кобчики,— совсем черные значки на нотной бумаге.

Крепостного права я не знал и не видел, но, помню, у тетки Анны Герасимовны чувствовал его. Въедешь во двор и сразу ощутишь, что тут оно еще вполне живо. Усадьба — небольшая, но вся старая, прочная, окруженная столетними березами и лозинами. Надворных построек — невысоких, но домовитых — множество, и все они точно слиты из темных дубовых бревен под соломенными крышами. Выделяется величиной или, лучше сказать, длиной только почерневшая людская, из которой выглядывают последние могикане дворового сословия — какие-то ветхие старики и старухи, дряхлый повар в отставке, похожий на Дон-Кихота. Все они, когда въезжаешь во двор, подтягиваются и низко-низко кланяются. Седой кучер, направляющийся от каретного сарая взять лошадь, еще у сарая снимает шапку и по всему двору идет с обнаженной головой. Он у тетки ездил форейтором, а теперь возит ее к обедне,— зимой в возке, а летом в крепкой, окованной железом тележке, вроде тех, на которых ездят попы. Сад у тетки славился своею запущенностью, соловьями, горлинками и яблоками, а дом — крышей. Стоял он во главе двора, у самого сада,— ветки лип обнимали его,— был невелик и приземист, но казалось, что ему и веку не будет,— так основательно глядел он из-под своей необыкновенно высокой и толстой соломенной крыши, почерневшей и затвердевшей от времени. Мне его передний фасад представлялся всегда живым: точно старое лицо глядит из-под огромной шапки впадинами глаз,— окнами с перламутровыми от дождя и солнца стеклами. А по бокам этих глаз были крыльца,— два старых больших крыльца с колоннами. На фронтоне их всегда сидели сытые голуби, между тем как тысячи воробьев дождем пересыпались

с крыши на крышу... И уютно чувствовал себя гость в этом гнезде под бирюзовым осенним небом!

Войдешь в дом и прежде всего услышишь запах яблок, а потом уже другие: старой мебели красного дерева, сушеного липового цвета, который с июня лежит на окнах... Во всех комнатах — в лакейской, в зале, в гостиной — прохладно и сумрачно: это оттого, что дом окружен садом, а верхние стекла окон цветные: синие и лиловые. Всюду тишина и чистота, хотя, кажется, кресла, столы с инкрустациями и зеркала в узеньких и витых золотых рамах никогда не трогались с места. И вот слышится покашливанье: выходит тетка. Она небольшая, но тоже, как и все кругом, прочная. На плечах у нее накинута большая персидская шаль. Выйдет она важно, но приветливо, и сейчас же, под бесконечные разговоры про старину, про наследство, начинают появляться угощения: сперва «дули», яблоки,— антоновские, «бель-барыня», боровинка, «плодовитка»,— а потом удивительный обед: вся насквозь розовая вареная ветчина с горошком, фаршированная курица, индюшка, маринады и красный квас,— крепкий и сладкий-пресладкий... Окна в сад подняты, и оттуда веет бодрой осенней прохладой...

III

За последние годы одно поддерживало угасающий дух помещиков — охота.

Прежде такие усадьбы, как усадьба Анны Герасимовны, были на редкость. Были и разрушающиеся, но все еще жившие на широкую ногу усадьбы с огромным поместьем, с садом в двадцать десятин. Правда, сохранились некоторые из таких усадеб еще и до сего времени, но в них уже нет жизни... Нет троек, нет верховых «киргизов», нет гончих и борзых собак, нет дворни и нет самого обладателя всего этого — помещика-охотника, вроде моего покойного шурина Арсения Семеныча.

С конца сентября наши сады и гумна пустели, погода, по обыкновению, круто менялась. Ветер по целым дням рвал и трепал деревья, дожди поливали их с утра до ночи. Иногда к вечеру между хмурыми низкими тучами пробивался на западе трепещущий золотистый свет низкого солнца; воздух делался чист и ясен, а солнечный свет ослепительно сверкал между листвою, между ветвями, которые живою сеткою двигались и волновались от вет-

ра. Холодно и ярко сияло на севере над тяжелыми свинцовыми тучами жидкое голубое небо, а из-за этих туч медленно выплывали хребты снеговых гор-облаков. Стоишь у окна и думаешь: «Авось, Бог даст, распогодится». Но ветер не унимался. Он волновал сад, рвал непрерывно бегущую из трубы людской струю дыма и снова нагонял зловещие космы пепельных облаков. Они бежали низко и быстро — и скоро, точно дым, затуманивали солнце. Погасал его блеск, закрывалось окошечко в голубое небо, а в саду становилось пустынно и скучно, и снова начинал сеять дождь... сперва тихо, осторожно, потом все гуще и, наконец, превращался в ливень с бурей и темнотою. Наступала долгая, тревожная ночь...

Из такой трепки сад выходил почти совсем обнаженным, засыпанным мокрыми листьями и каким-то притихшим, смирившимся. Но зато как красив он был, когда снова наступала ясная погода, прозрачные и холодные дни начала октября, прощальный праздник осени! Сохранившаяся листва теперь будет висеть на деревьях уже до первых зазимков. Черный сад будет сквозить на холодном бирюзовом небе и покорно ждать зимы, пригреваясь в солнечном блеске. А поля уже резко чернеют пашнями и ярко зеленеют закустившимися озимями... Пора на охоту!

И вот я вижу себя в усадьбе Арсения Семеныча, в большом доме, в зале, полной солнца и дыма от трубок и папирос. Народу много — все люди загорелые, с обветренными лицами, в поддевках и длинных сапогах. Только что очень сытно пообедали, раскраснелись и возбуждены шумными разговорами о предстоящей охоте, но не забывают допивать водку и после обеда. А на дворе трубит рог и завывают на разные голоса собаки. Черный борзой, любимец Арсения Семеныча, взлезает на стол и начинает пожирать с блюда остатки зайца под соусом. Но вдруг он испускает страшный визг и, опрокидывая тарелки и рюмки, срывается со стола: Арсений Семеныч, вышедший из кабинета с арапником и револьвером, внезапно оглушает залу выстрелом. Зала еще более наполняется дымом, а Арсений Семеныч стоит и смеется.

— Жалко, что промахнулся! — говорит он, играя глазами.

Он высок ростом, худощав, но широкоплеч и строен, а лицом — красавец цыган. Глаза у него блестят дико, он очень ловок, в шелковой малиновой рубахе, бархатных

шароварах и длинных сапогах. Напугав и собаку и гостей выстрелом, он шутливо-важно декламирует баритоном:

Пора, пора седлать проворного донца
И звонкий рог за плечи перекинуть! —

и громко говорит:

— Ну, однако, нечего терять золотое время!

Я сейчас еще чувствую, как жадно и емко дышала молодая грудь холодом ясного и сырого дня под вечер, когда, бывало, едешь с шумной ватагой Арсения Семеныча, возбужденный музыкальным гамом собак, брошенных в чернолесье, в какой-нибудь Красный Бугор или Гремячий Остров, уже одним своим названием волнующий охотника. Едешь на злом, сильном и приземистом «киргизе», крепко сдерживая его поводьями, и чувствуешь себя слитым с ним почти воедино. Он фыркает, просится на рысь, шумно шуршит копытами по глубоким и легким коврам черной осыпавшейся листвы, и каждый звук гулко раздается в пустом, сыром и свежем лесу. Тявкнула где-то вдалеке собака, ей страстно и жалобно ответила другая, третья — и вдруг весь лес загремел, точно он весь стеклянный, от бурного лая и крика. Крепко грянул среди этого гама выстрел — и все «заварилось» и покатилось куда-то вдаль.

— Береги-и! — завопил кто-то отчаянным голосом на весь лес.

«А, береги!» — мелькнет в голове опьяняющая мысль. Гикнешь на лошадь и, как сорвавшийся с цепи, помчишься по лесу, уже ничего не разбирая по пути. Только деревья мелькают перед глазами да лепит в лицо грязью из-под копыт лошади. Выскочишь из лесу, увидишь на зеленях пеструю, растянувшуюся по земле стаю собак и еще сильнее наддашь «киргиза» наперерез зверю,— по зеленям, взметам и жнивьям, пока, наконец, не перевалишься в другой остров и не скроется из глаз стая вместе со своим бешеным лаем и стоном. Тогда, весь мокрый и дрожащий от напряжения, осадишь вспененную, хрипящую лошадь и жадно глотаешь ледяную сырость лесной долины. Вдали замирают крики охотников и лай собак, а вокруг тебя — мертвая тишина. Полураскрытый строевой лес стоит неподвижно, и кажется, что ты попал в какие-то заповедные чертоги. Крепко пахнет от оврагов грибной сыростью, перегнившими листьями и мокрой древесной корою. И сырость из оврагов становится все

ощутительнее, в лесу холоднеет и темнеет... Пора на ночевку. Но собрать собак после охоты трудно. Долго и безнадежно-тоскливо звенят рога в лесу, долго слышатся крик, брань и визг собак... Наконец, уже совсем в темноте, вваливается ватага охотников в усадьбу какого-нибудь почти незнакомого холостяка-помещика и наполняет шумом весь двор усадьбы, которая озаряется фонарями, свечами и лампами, вынесенными навстречу гостям из дому...

Случалось, что у такого гостеприимного соседа охота жила по нескольку дней. На ранней утренней заре, по ледяному ветру и первому мокрому зазимку, уезжали в леса и в поле, а к сумеркам опять возвращались, все в грязи, с раскрасневшимися лицами, пропахнув лошадиным потом, шерстью затравленного зверя,— и начиналась попойка. В светлом и людном доме очень тепло после целого дня на холоде в поле. Все ходят из комнаты в комнату в расстегнутых поддевках, беспорядочно пьют и едят, шумно передавая друг другу свои впечатления над убитым матерым волком, который, оскалив зубы, закатив глаза, лежит с откинутым на сторону пушистым хвостом среди залы и окрашивает своей бледной и уже холодной кровью пол. После водки и еды чувствуешь такую сладкую усталость, такую негу молодого сна, что как через воду слышишь говор. Обветренное лицо горит, а закроешь глаза — вся земля так и поплывет под ногами. А когда ляжешь в постель, в мягкую перину, где-нибудь в угловой старинной комнате с образничкой и лампадой, замелькают перед глазами призраки огнисто-пестрых собак, во всем теле заноет ощущение скачки, и не заметишь, как потонешь вместе со всеми этими образами и ощущениями в сладком и здоровом сне, забыв даже, что эта комната была когда-то молельной старика, имя которого окружено мрачными крепостными легендами, и что он умер в этой молельной, вероятно, на этой же кровати.

Когда случалось проспать охоту, отдых был особенно приятен. Проснешься и долго лежишь в постели. Во всем доме — тишина. Слышно, как осторожно ходит по комнатам садовник, растапливая печи, и как дрова трещат и стреляют. Впереди — целый день покоя в безмолвной уже по-зимнему усадьбе. Не спеша оденешься, побродишь по саду, найдешь в мокрой листве случайно забытое холодное и мокрое яблоко, и почему-то оно

покажется необыкновенно вкусным, совсем не таким, как другие. Потом примешься за книги,— дедовские книги в толстых кожаных переплетах, с золотыми звездочками на сафьянных корешках. Славно пахнут эти, похожие на церковные требники книги своей пожелтевшей, толстой шершавой бумагой! Какой-то приятной кисловатой плесенью, старинными духами... Хороши и заметки на их полях, крупно и с круглыми мягкими росчерками сделанные гусиным пером. Развернешь книгу и читаешь: «Мысль, достойная древних и новых философов, цвет разума и чувства сердечного»... И невольно увлечешься и самой книгой. Это — «Дворянин-философ», аллегория, изданная лет сто тому назад иждивенем какого-то «кавалера многих орденов» и напечатанная в типографии приказа общественного призрения,— рассказ о том, как «дворянин-философ, имея время и способность рассуждать, к чему разум человека возноситься может, получил некогда желание сочинить план света на пространном месте своего селения»... Потом наткнешься на «сатирические и философские сочинения господина Вольтера» и долго упиваешься милым и манерным слогом перевода: «Государи мои! Эразм сочинил в шестомнадесять столетии похвалу дурачеству (манерная пауза,— точка с запятою); вы же приказываете мне превознесть пред вами разум...» Потом от екатерининской старины перейдешь к романтическим временам, к альманахам, к сантиментально-напыщенным и длинным романам... Кукушка выскакивает из часов и насмешливо-грустно кукует над тобою в пустом доме. И понемногу в сердце начинает закрадываться сладкая и странная тоска...

Вот «Тайны Алексиса», вот «Виктор, или Дитя в лесу»: «Бьет полночь! Священная тишина заступает место дневного шума и веселых песен поселян. Сон простирает мрачные крылья свои над поверхностью нашего полушария; он сотрясает с них мрак и мечты... Мечты... Как часто продолжают оне токмо страдания злощастнаго!..» И замелькают перед глазами любимые старинные слова: скалы и дубравы, бледная луна и одиночество, привидения и призраки, «ероты», розы и лилии, «проказы и резвости младых шалунов», лилейная рука, Людмилы и Алины... А вот журналы с именами Жуковского, Батюшкова, лицеиста Пушкина. И с грустью вспомнишь бабушку, ее полонезы на клавикордах, ее томное чтение стихов из «Евгения Онегина». И старинная мечтательная

жизнь встанет перед тобою... Хорошие девушки и женщины жили когда-то в дворянских усадьбах! Их портреты глядят на меня со стены, аристократически-красивые головки в старинных прическах кротко и женственно опускают свои длинные ресницы на печальные и нежные глаза...

IV

Запах антоновских яблок исчезает из помещичьих усадеб. Эти дни были так недавно, а меж тем мне кажется, что с тех пор прошло чуть не целое столетие. Перемерли старики в Выселках, умерла Анна Герасимовна, застрелился Арсений Семеныч... Наступает царство мелкопоместных, обедневших до нищенства. Но хороша и эта нищенская мелкопоместная жизнь!

Вот я вижу себя снова в деревне, глубокой осенью. Дни стоят синеватые, пасмурные. Утром я сажусь в седло и с одной собакой, с ружьем и с рогом уезжаю в поле. Ветер звонит и гудит в дуло ружья, ветер крепко дует навстречу, иногда с сухим снегом. Целый день я скитаюсь по пустым равнинам... Голодный и прозябший, возвращаюсь я к сумеркам в усадьбу, и на душе становится так тепло и отрадно, когда замелькают огоньки Выселок и потянет из усадьбы запахом дыма, жилья. Помню, у нас в доме любили в эту пору «сумерничать», не зажигать огня и вести в полутемноте беседы. Войдя в дом, я нахожу зимние рамы уже вставленными, и это еще более настраивает меня на мирный зимний лад. В лакейской работник топит печку, и я, как в детстве, сажусь на корточки около вороха соломы, резко пахнущей уже зимней свежестью, и гляжу то в пылающую печку, то на окна, за которыми, синея, грустно умирают сумерки. Потом иду в людскую. Там светло и людно: девки рубят капусту, мелькают сечки, я слушаю их дробный, дружный стук и дружные, печально-веселые деревенские песни... Иногда заедет какой-нибудь мелкопоместный сосед и надолго увезет меня к себе... Хороша и мелкопоместная жизнь!

Мелкопоместный встает рано. Крепко потянувшись, поднимается он с постели и крутит толстую папиросу из дешевого, черного табаку или просто из махорки. Бледный свет раннего ноябрьского утра озаряет простой, с голыми стенами кабинет, желтые и заскорузлые шкурки

лисиц над кроватью и коренастую фигуру в шароварах и распоясанной косоворотке, а в зеркале отражается заспанное лицо татарского склада. В полутемном, теплом доме мертвая тишина. За дверью в коридоре похрапывает старая кухарка, жившая в господском доме еще девчонкою. Это, однако, не мешает барину хрипло крикнуть на весь дом:

— Лукерья! Самовар!

Потом, надев сапоги, накинув на плечи поддевку и не застегивая ворота рубахи, он выходит на крыльцо. В запертых сенях пахнет псиной; лениво потягиваясь, с визгом зевая и улыбаясь, окружают его гончие.

— Отрыж! — медленно, снисходительным басом говорит он и через сад идет на гумно. Грудь его широко дышит резким воздухом зари и запахом озябшего за ночь, обнаженного сада. Свернувшиеся и почерневшие от мороза листья шуршат под сапогами в березовой аллее, вырубленной уже наполовину. Вырисовываясь на низком сумрачном небе, спят нахохленные галки на гребне риги... Славный будет день для охоты! И, остановившись среди аллеи, барин долго глядит в осеннее поле, на пустынные зеленые озими, по которым бродят телята. Две гончие суки повизгивают около его ног, а Заливай уже за садом: перепрыгивая по колким жнивьям, он как будто зовет и просится в поле. Но что сделаешь теперь с гончими? Зверь теперь в поле, на взметах, на чернотропе, а в лесу он боится, потому что в лесу ветер шуршит листвою... Эх, кабы борзые!

В риге начинается молотьба. Медленно расходясь, гудит барабан молотилки. Лениво натягивая постромки, упираясь ногами по навозному кругу и качаясь, идут лошади в приводе. Посреди привода, вращаясь на скамеечке, сидит погонщик и однотонно покрикивает на них, всегда хлестая кнутом только одного бурого мерина, который ленивее всех и совсем спит на ходу, благо глаза у него завязаны.

— Ну, ну, девки, девки! — строго кричит степенный подавальщик, облачаясь в широкую холщовую рубаху.

Девки торопливо разметают ток, бегают с носилками, метлами.

— С Богом! — говорит подавальщик, и первый пук старновки, пущенный на пробу, с жужжаньем и визгом пролетает в барабан и растрепанным веером возносится из-под него кверху. А барабан гудит все настойчивее,

работа закипает, и скоро все звуки сливаются в общий приятный шум молотьбы. Барин стоит у ворот риги и смотрит, как в ее темноте мелькают красные и желтые платки, руки, грабли, солома, и все это мерно двигается и суетится под гул барабана и однообразный крик и свист погонщика. Хоботье облаками летит к воротам. Барин стоит, весь посеревший от него. Часто он поглядывает в поле... Скоро-скоро забелеют поля, скоро покроет их зазимок...

Зазимок, первый снег! Борзых нет, охотиться в ноябре не с чем; но наступает зима, начинается «работа» с гончими. И вот опять, как в прежние времена, съезжаются мелкопоместные друг к другу, пьют на последние деньги, по целым дням пропадают в снежных полях. А вечером на каком-нибудь глухом хуторе далеко светятся в темноте зимней ночи окна флигеля. Там, в этом маленьком флигеле, плавают клубы дыма, тускло горят сальные свечи, настраивается гитара...

На сумерки буен ветер загулял,
Широки мои ворота растворял,—

начинает кто-нибудь грудным тенором. И прочие нескладно, прикидываясь, что они шутят, подхватывают с грустной, безнадежной удалью:

Широки мои ворота растворял,
Белым снегом путь-дорогу заметал...

1900



ПОЗДНЕЙ НОЧЬЮ

Был ли это сон или час ночной таинственной жизни, которая так похожа на сновидение? Казалось мне, что осенний грустный месяц уже давно-давно плывет над землей, что наступил час отдыха от всей лжи и суеты дня. Казалось, что уже весь, до последнего нищенского угла, заснул Париж. Долго спал я, и наконец медленно отошел от меня сон, как заботливый и неторопливый врач, сделавший свое дело и оставивший больного уже тогда, когда он вздохнул полной грудью и, открыв глаза, улыбнулся застенчивой и радостной улыбкой возвращения к жизни. Очнувшись, открыв глаза, я увидал себя в тихом и светлом царстве ночи.

Я неслышно ходил по ковру в своей комнате на пятом этаже и подошел к одному из окон. Я смотрел то в комнату, большую и полную легкого сумрака, то в верхнее стекло окна на месяц. Месяц тогда обливал меня светом, и, подняв глаза кверху, я долго смотрел в его лицо. Месячный свет, проходя сквозь белесые кружева гардин, смягчал сумрак в глубине комнаты. Отсюда месяца не было видно. Но все четыре окна были озарены ярко, как и то, что было возле них. Месячный свет падал из окон бледно-голубыми, бледно-серебристыми арками, и в каждой из них был дымчатый теневой крест, мягко ломавшийся по озаренным креслам и стульям. И в кресле у крайнего окна сидела та, которую я любил,— вся в белом, похожая на девочку, бледная и прекрасная, усталая ото всего, что мы пережили и что так часто делало нас злыми и беспощадными врагами.

Отчего она тоже не спала в эту ночь?

Избегая глядеть на нее, я сел на окно, рядом с ней... Да, поздно — вся пятиэтажная стена противоположных домов темна. Окна там чернеют, как слепые глаза. Я за-

глянул вниз,— узкий и глубокий коридор улицы тоже темен и пуст. И так во всем городе. Только бледный сияющий месяц, слегка наклоненный, катится и в то же время остается недвижимым среди дымчатых бегущих облаков, одиноко бодрствуя над городом. Он глядел мне прямо в глаза, светлый, но немного на ущербе и оттого — печальный. Облака дымом плыли мимо него. Около месяца они были светлы и таяли, дальше сгущались, а за гребнем крыш проходили уже совсем угрюмой и тяжелой грядой...

Давно не видал я месячной ночи! И вот мысли мои опять возвратились к далеким, почти забытым осенним ночам, которые видел я когда-то в детстве, среди холмистой и скудной степи средней России. Там месяц глядел под мою родную кровлю, и там впервые узнал и полюбил я его кроткое и бледное лицо. Я мысленно покинул Париж, и на мгновение померещилась мне вся Россия, точно с возвышенности я взглянул на огромную низменность. Вот золотисто-блестящая пустынная ширь Балтийского моря. Вот — хмурые страны сосен, уходящие в сумрак к востоку, вот — редкие леса, болота и перелески, ниже которых, к югу, начинаются бесконечные поля и равнины. На сотни верст скользят по лесам рельсы железных дорог, тускло поблескивая при месяце. Сонные разноцветные огоньки мерцают вдоль путей и один за другим убегают на мою родину. Передо мной слегка холмистые поля, а среди них — старый, серый помещичий дом, ветхий и кроткий при месячном свете... Неужели это тот же месяц, который глядел когда-то в мою детскую комнату, который видел меня потом юношей и который грустит теперь вместе со мной о моей неудавшейся молодости? Это он успокоил меня в светлом царстве ночи...

— Отчего ты не спишь? — услыхал я робкий голос.

И то, что она первая обратилась ко мне после долгого и упорного молчания, больно и сладко кольнуло мне в сердце. Я тихо ответил:

— Не знаю... А ты?

Опять мы долго молчали. Месяц заметно опустился к крышам и уже глубоко заглядывал в нашу комнату.

— Прости! — сказал я, подходя к ней.

Она не ответила и закрыла глаза руками.

Я взял ее руки и отвел их от глаз. По щекам ее катились слезы, а брови были подняты и дрожали, как

у ребенка. И я опустился у ее ног на колени, прижался к ней лицом, не сдерживая ни своих, ни ее слез.

— Но разве ты виноват? — шептала она смущенно.— Разве не я во всем виновата?

И улыбалась сквозь слезы радостной и горькой улыбкой.

А я говорил ей, что мы оба виноваты, потому что оба нарушали заповедь радости, для которой мы должны жить на земле. Мы опять любили друг друга, как могут любить только те, которые вместе страдали, вместе заблуждались, но зато вместе встречали и редкие мгновения правды. И только бледный, грустный месяц видел наше счастье...

1899

ЭПИТАФИЯ

За крайней избой нашей степной деревушки пропадала во ржи наша прежняя дорога к городу. И у дороги, в хлебах при начале уходившего к горизонту моря колосьев, стояла белоствольная и развесистая плакучая береза. Глубокие колеи дороги зарастали травой с желтыми и белыми цветами, береза была искривлена степным ветром, а под ее легкой сквозной сенью уже давным-давно возвышался ветхий, серый голубец,— крест с треугольной тесовой кровелькой, под которой хранилась от непогод суздальская икона Божией Матери.

Шелковисто-зеленое, белоствольное дерево в золотых хлебах! Когда-то тот, кто первый пришел на это место, поставил на своей десятине крест с кровелькой, призвал попа и освятил «Покров Пресвятыя Богородицы». И с тех пор старая икона дни и ночи охраняла старую степную дорогу, незримо простирая свое благословение на трудовое крестьянское счастье. В детстве мы чувствовали страх к серому кресту, никогда не решались заглянуть под его кровельку,— одни ласточки смели залетать туда и даже вить там гнезда. Но и благоговение чувствовали мы к нему, потому что слышали, как наши матери шептали в темные осенние ночи:

— Пресвятая Богородица, защити нас Покровом Твоим!

Осень приходила к нам светлая и тихая, так мирно и спокойно, что, казалось, конца не будет ясным дням. Она делала дали нежно-голубыми и глубокими, небо чистым и кротким. Тогда можно было различить самый отдаленный курган в степи, на открытой и просторной равнине желтого жнивья. Осень убирала и березу в золотой убор. А береза радовалась и не замечала, как недолговечен этот убор, как листок за листком осыпается он,

пока, наконец, не оставалась вся раздетая на его золотистом ковре. Очарованная осенью, она была счастлива и покорна и вся сияла, озаренная из-под низу отсветом сухих листьев. А радужные паутинки тихо летали возле нее в блеске солнца, тихо садились на сухое, колкое жнивье... И народ называл их красиво и нежно — «пряжей Богородицы».

Зато жутки были дни и ночи, когда осень сбрасывала с себя кроткую личину. Беспощадно трепал тогда ветер обнаженные ветви березы! Избы стояли нахохлившись, как куры в непогоду, туман в сумерки низко бежал по голым равнинам, волчьи глаза светились ночью на задворках. Нечистая сила часто скидывается ими, и было бы страшно в такие ночи, если бы за околицей деревни не было старого голубца. А с начала ноября и до апреля бури неустанно заносили снегами и поля, и деревню, и березу по самый голубец. Бывало, выглянешь из сеней в поле, а жесткая вьюга свистит под голубцом, дымится по острым сугробам и со стоном проносится по равнине, заметая на бегу следы по ухабистой дороге. Заблудившийся путник с надеждой крестился в такую пору, завидев в дыму метели торчащий из сугробов крест, зная, что здесь бодрствует над дикой снежной пустыней сама Царица Небесная, что охраняет она свою деревню, свое мертвое до поры до времени поле.

Поле долго было мертвым, но степные люди были прежде выносливы. И вот наконец крест начинал вырастать из оседающих серых снегов. Обтаивала и горбатая унавоженная дорога, наступали теплые и густые мартовские туманы. От туманов и дождей чернели и дымились в сумрачные дни крыши изб... Потом туманы сразу сменялись солнечными днями. И все снежное поле насыщалось водою, растоплялось и, растопленное, блистало под солнцем, дрожа бесчисленными ручьями. В один-два дня степь принимала новый вид: по-весеннему темнели равнины, окаймленные бледно-синеватой далью. Выпускали шершавый скот из хлевов; обессилевшие за зиму лошади и коровы бродили и лежали на выгоне, а галки садились на их худые спины и дергали клювом шерсть для своих гнезд. Но дружная весна к хорошим кормам,— скот отгуляется по теплым росам! Уже пели жаворонки в ясные полдни, уже мальчишки-пастухи загорали от ветров и солнца, которые просушивали землю. Когда же обмывал ее весенний дождь и пробуждал первый гром, Гос-

подь благословлял в тихие звездные ночи расти хлебам и травам, и, успокоенная за свои нивы, кротко глядела из голубца старая икона. Тонко пахло в чистом ночном воздухе зеленями, мирно было в степи, тихо в темной деревне, где уже не вздували огня с Благовещенья, и замирали по вечерней заре песни девушек, прощавшихся со своими обрученными подругами.

А потом все менялось не по дням, а по часам. Зеленел выгон, зеленели ветлы перед избами, зеленела береза... Шли дожди, протекали жаркие июньские дни, зацветали цветы, наступали веселые сенокосы... Помню, как мягко и беззаботно шумел летний ветер в шелковистой листве березы, путая эту листву и склоняя до самых колосьев тонкие, гибкие ветви; помню солнечное утро на Троицу, когда даже бородатые мужики, как истые потомки русичей, улыбались из-под огромных березовых венков; помню грубые, но могучие песни на Духов день, когда мы с закатом уходили в ближний дубовый лесок и там варили кашу, расставляли ее в черепках по холмикам и «молили кукушку» быть милостивой вещуньей; помню «игры солнца» под Петров день, помню величальные песни и шумные свадьбы, помню трогательные молебны перед кроткой Заступницей всех скорбящих,— в поле, под открытым небом...

Жизнь не стоит на месте,— старое уходит, и мы провожаем его часто с великой грустью. Да, но не тем ли и хороша жизнь, что она пребывает в неустанном обновлении? Детство миновало. Потянуло нас заглянуть дальше того, что мы видели за околицей деревни, тем сильнее потянуло, что и деревня становилась все скучнее, и береза уже не так густо зеленела весной, и крест у дороги ветшал, и люди истощили поле, которое охранял он. И так как беда не ходит одна, то само небо, казалось, стало гневаться на людей. Знойные и сухие ветры разгоняли тучи, подымая вихри по дороге, солнце нещадно палило хлеба и травы. Подсыхали до срока тощие ржи и овсы. Было больно смотреть на них, потому что нет ничего печальнее и смиреннее тощей ржи. Как беспомощно склоняется она от горячего ветра легкими пустыми колосьями, как сиротливо шелестит! Сухая пашня сквозит между ее стеблями, видны среди них сухие васильки... И дикая серебристая лебеда, предвестница запустения и голода, заступает место тучных хлебов у старой проселочной дороги. Нищие и слепые все чаще стали

с жалобными припевами обходить деревню. А деревня безмолвно стояла на припеке — равнодушная, печальная.

Тогда, точно в горести, потемнел от пыльных ветров кроткий лик Богоматери. Проходили годы,— она казалась безучастной к судьбе своего поля. И люди малопомалу стали уходить по дороге к городу, уходить в далекую Сибирь. Они продавали свой скудный скарб, забивали досками окна изб, запрягали лошадей и навсегда уходили из деревни на поиски нового счастья. И деревня опустела.

— Ни души! — сказал ветер, облетев всю деревню и закрутив в бесцельном удальстве пыль на дороге.

Но береза не ответила ему, как отвечала прежде. Она слабо зашевелила ветвями и опять задремала. Она уже знала, что выгон в деревне зарос высокой сорной травой, что глухая крапива поднялась у порогов, что полынь серебрится на полураскрытых крышах. Степь вокруг была мертва, а десяток уцелевших изб можно было издалека принять за кибитки кочевников, покинутые в поле после битвы или чумы. И голубец уже покосился под березой, на верхушке которой торчали сухие белые сучья. Теперь, в сумерки, когда за темными полями слабо алел закат, ночевали на ней только грачи да вороны, которые немало видели перемен на этом свете...

Вот новые люди стали появляться на степи. Все чаще приходят они по дороге из города и располагаются станом у деревни. Ночью они жгут костры, разгоняя темноту, и тени далеко убегают от них по дорогам. С рассветом они выходят в поле и длинными буравами сверлят землю. Вся окрестность чернеет кучами, точно могильными холмами. Люди без сожаления топчут редкую рожь, еще вырастающую кое-где без сева, без сожаления закидывают ее землею, потому что ищут они источников нового счастья,— ищут их уже в недрах земли, где таятся талисманы будущего...

Руда! Может быть, скоро задымят здесь трубы заводов, лягут крепкие железные пути на месте старой дороги и поднимется город на месте дикой деревушки. И то, что освящало здесь старую жизнь — серый, упавший на землю крест будет забыт всеми... Чем-то освятят новые люди свою новую жизнь? Чье благословение призовут они на свой бодрый и шумный труд?

1900

НАД ГОРОДОМ

Глядя на колокольню снизу, с церковного двора, мы сами чувствовали, до чего мы еще малы, и было жутко немного, потому что облака в ясном весеннем небе медленно уходили от нас, а высокая белая колокольня, суживаясь кверху и блестя золотым крестом под облаками, медленно, плавно валилась на церковный двор — и крест был похож на человечка с распростертыми руками... Потом мы вперегонки кидались к узкой двери в колокольню.

Длинная, почти отвесная лестница тотчас же за дверью терялась в темноте. В темноте, стиснутые холодными кирпичными стенами, храбро лезли мы друг за другом вперед. Свет, как мы знали, должен был открыться внезапно — и правда, скоро впереди мелькал проблеск. Еще несколько шагов, поворот — и мы в низком помещении, бледно озаренном решетчатым окном. Над головой — тяжелый накат из бревен, перекрещивающиеся в пыли и паутине балки, на полу — целые вороха известкового птичьего помета, изогнутая медная купель среди кирпичей и мусора, суздальские облупившиеся иконы, кадило с оборванными цепями... Черничка-галка, с пухом в клюве, сидит на подоконнике и выжидательно косит одним глазом. Таинственно в этой старой кладовке! Но осматриваться некогда. Голоса и топот ног опередивших нас раздаются уже над нами,— звонко и весело, как всегда весной в колокольне. И, кинув несколько быстрых взглядов на мусор и балки, мы спешили по темным изломам лестниц дальше...

Вот наконец и первый пролет: сразу стало светло, просторно, в арки широко видно небо. Внизу — церковный двор, мощенный камнем, красная крыша сторожки в углу ограды и береза у железных ворот... Хорошо

глядеть на все это сверху — видеть у себя под ногами верхушку березы! С высоты все кажется красивее, меньше; двор после весенних дождей стал бел, опрятен, между его высохшими плитами пробивается первая травка, а верхушка березы закудрявилась легкими, прозрачными кружевами зелени, необыкновенно нежной и свежей. И как тепло! Выйдет солнце из-за облака — чувствуешь на лице горячую ласку света. Воробьи на березе задорно зачиликают в этом блеске, извозчик, проезжающий мимо, хлестнет лошадь,— и совсем по-летнему затрещат по мостовой колеса...

— Идите сюда! — раздается чей-то крик сверху. И, переглянувшись, мы устремляемся к гнилой и крутой лестнице во второй ярус, более узкий и как будто более зыбкий, чем первый, и снова попадаем в полутемные недра колокольни, разделенные бревенчатыми потолками. Опять грубый и беспорядочный вид балок и лестниц, мешающихся в сумраке; опять холодок и запах кирпичных стен... Всюду запустение старой башни, все велико, покрыто пылью и птичьим пометом... Лестницы, под которыми валялись кирпичи и бревна, были шатки, колени у нас дрожали, сердце учащенно билось; но в узкие окошечки возле лестницы мы видели лазурь, высоту, к которой стремились. На подоконниках, на лестницах и балках сидели сытые голуби, сизые и «жаркие», и так как мы уже чувствовали себя в одном мире с ними, то нам было очень жаль, что они так поспешно, пугая и себя и нас, рассыпались куда попало при нашем приближении, торопливо хлопая свистящими крыльями. Это, впрочем, не мешало им тотчас же опускаться на другие лестницы и снова начинать гулкое, сердито-ласковое воркованье, топчась на одном месте с раздувающимися зобами. А в одном углу сидела на яйцах белая голубка — и с каким любопытством мы смотрели на нее сверху! Тут было совсем почти темно, только в длинное и узкое окошечко голубой лентой сияло небо...

— Васька идет! — радостно говорил кто-нибудь из нас, заглянув в это окошечко и увидав под колокольней звонаря Ваську. И тогда мы еще более ускоряли шаги, чтобы поспеть к звону. Ощущение высоты было уже очень сильно, когда мы выскакивали во второй пролет. Но нужно было сделать еще шагов тридцать, к колоколам, в третий ярус. Мельком мы заглядывали вниз — и не узнавали березы у ограды: так мала и низка стала

она! Теперь даже огромный купол церкви был наравне с нами, а под ним разноцветные крыши города, сбегающего к реке, улицы и переулки меж ними, грязные дворы, сады и пустоши... Вон во дворе чиновника баба развешивает белье по веревке; вон мещанин, в жилетке и ситцевой рубахе, выходит из тесового, похожего на собачий, домика возле сарая; рядом, на почтовом дворе, лениво бродят с хомутами в руках ямщики, запрягая двух одров в тележку; а вон скучные каменные дома купца-богача близ базарной площади, на скате которой, над мелкой рекой, стоит старый, приземистый собор с синим куполом в белых звездах... Улицы пусты,— все эти мещане, купцы, старухи и молодые кружевницы сидят по своим домишкам и, должно быть, не знают, какой простор зеленых полей развертывается вокруг города; а мы вот знаем и побежим еще выше, где уже совсем жутко, особенно когда подумаешь, что приближаешься к самому шпицу колокольни, сияющей над городом своим золотым крестом...

Теперь детство кажется мне далеким сном, но до сих пор мне приятно думать, что хоть иногда поднимались мы над мещанским захолустьем, которое угнетало нас длинными днями и вечерами, хождением в училище, где гибло наше детство, полное мечтами о путешествиях, о героизме, о самоотверженной дружбе, о птицах, растениях и животных, о заветных книгах! Птицы любят высоту,— и мы стремились к ней. Матери говорили, что мы растем, когда видим во сне, что летаем,— и на колокольне мы росли, чувствовали за своими плечами крылья... Когда мы, запыхавшись, одолевали наконец последний ярус колокольни, мы видели вокруг себя только лазурь да волнистую степь. Город, как пестрый план, лежал далеко под нами, маленький и скученный, а в сердцах у нас было то, что должны испытывать на полете ласточки. В ожидании Васьки затевали мы драки, бегали друг за другом, стуча сапогами под медными шлемами колоколов, и громко кричали в них, возбуждая в меди эхо. Пробираясь по лесенке среди веревок, привязанных за колокольные языки, к главному колоколу, украшенному барельефами херувимов и надписью, какой купец отливал его, мы по очереди ударяли в края колокола: ударишь и слушаешь — и кажется, что где-то далеко идет певучий благовест к ранней обедне! И однажды, поднявшись на верхнюю ступеньку, вдруг увидал я на колоколе баре-

льефный лик строгого и прекрасного Ангела Великого Света и прочитал сильное и краткое веление: «Благовествуй земле радость велию...»

Как поразила меня даже в то время эта надпись! Благовествовать взбирался на колокольню дурачок Васька; но даже эта жалкая фигура не мешает мне вспоминать предвечернее время весеннего дня, ясное небо в арках колокольни и ту могучую дрожь, которой гудела вершина колокольни вместе со всеми нами, когда, после долгих раскачиваний била, Васька оглушал нас первым ударом, спугивал голубей со всех карнизов и уже весь отдавался любимому делу, утопая в звонком и непрерывном гудении меди. От этого гудения у нас верезжало в ушах, во всем теле; казалось, что вся колокольня с вершины до основания полна голосов, гула и пения. Не спуская глаз с мотающихся рук Васьки, стояли мы, охваченные восторгом перед гигантской силой звуков, замирая от захватывающей дух гордости, точно сами мы были участниками в возвышенном назначении колокола благовествовать радость. Затерявшиеся в звуках, мы как будто сами носились по воздуху вместе с их разливающимися волнами и ждали только одного — чтобы поскорее ответил своим низким басом соборный колокол и чтобы Васька, в волнении соревнования, поднялся с лестницы во весь рост и уже изо всех сил ударил звонилом. Боже, какой трезвон начинался тогда над нашим убогим местечком и как мечтал я хоть когда-нибудь побыть на месте Васьки!

Странное желание это и теперь иногда посещает меня. Отдыхая порой в городишке, где протекло мое отрочество, я вспоминаю эту чуть ли не единственную его радость — нашу колокольню. Сидя в летние вечера под окном, я слушаю зачинающийся в разных концах города, перепутывающийся и мерно дрожащий гул колоколов, и этот гул погружает меня в думы о том, как протекают тысячи тысяч наших жизней. Товарищи моих детских дней, те, что беспечно играли когда-то в лодыжки под заборами, те, которым детство сулило так много,— где они? А матери и отцы их, уже сгорбленные и пригнутые к земле страданиями и близостью смерти, плетутся с желтыми восковыми свечами в руках пред алтарь Бога, который всегда казался им жестоким и карающим, требующим вечных покаянных слез и вздохов... И мне вспоминается далекое время, когда Васька так звучно и тяжко

ударял в большой колокол. Я мысленно взбираюсь на колокольню и уже в свои руки беру веревку, привязанную к колокольному билу. Трудно раскачивать его, но нужно раскачивать сильнее, чтобы с первого же удара дрогнул воздух. А когда ответят другие колокола, нужно позабыться, затеряться в бурных звуках и хоть на мгновение поверить и напомнить людям, что «Бог не есть Бог мертвых, но живых»!

1900



МЕЛИТОН

Были светлые майские сумерки, я ехал верхом по нашему Заказу. Лошадь шла узкой дорогой среди свежей поросли осин и орешника. Кругом все было молодо, зелено, соловьи нежно и отчетливо выщелкивали по сторонам, перекликались друг с другом. Уже давно село солнце, но лес не успел еще стихнуть: горлинки журчали где-то вблизи, кукушка куковала в отдаленьи... В майские ночи сон слаб и недолог, до рассвета брезжит, заря зарю встречает.

Я выехал к поляне, где стояла караулка. В лощине за поляной лежал большой, полноводный пруд. Над прудом, над столетними березами и дубами, окружавшими его, слабо означался бледный и прозрачный круг месяца. А возле пруда, на пне, сидел Мелитон и кидал сухие прутья в жаркий и проворный костерчик, разведенный в земляной печурке под котелком, висевшим в ней. Как всегда, очень чисты были его заплатанные портки и рубаха, ладно подвязаны онучи. Он сидел, поставив на колени локти, положив лицо в ладони, смотрел на огонь, а сам напевал что-то тихим и тонким, совсем женским голосом.

— Ай карасиков наловил, Мелитон? — спросил я, соскакивая с лошади.

Он поднялся, вытянулся во весь рост, с той особой выправкой, что присуща была когда-то только николаевским служакам, и тотчас принял бесстрастное выражение, как бы стараясь скрыть постоянную печаль своих бледно-бирюзовых глаз. Росту он был высокого, телом худ и костляв. Серые густые брови и такие же усы, на щеках сходившиеся со щетинистыми баками, придавали ему вид суровый, но лысина, эти бирюзовые глаза и чистая крестьянская рубаха, свидетельствующая о готовно-

сти лечь «под святые» когда угодно, говорили о кроткой, отшельнической жизни.

Когда картошки в чугунчике стали сипеть и бурлить, он потыкал в них щепочкой и снял чугунчик с огня. Огонь стал потухать,— только красная грудка жара еще светилась в землянке. Возле нее пахло сгоревшей дубовой листвой, а когда старик стал чистить картошки, запахло так вкусно, что я попросил и себе парочку. И мы молча стали ужинать возле неподвижного стемневшего пруда, в тишине и сумраке все еще не гаснущей весенней зари. Закат за деревьями вправо алел нежно и тонко, и казалось, что там уже рассветает.

— Мелитон,— спросил я с юношеской простодушностью,— правда, тебя сквозь строй прогоняли?

— Правда-с,— ответил он просто и кратко.

— А за что?

— А, конечно, за глупость, за провинности...

Он ушел в избу, а я долго сидел один, глядя в тлеющие угли. Появился он из сумрака неслышно и принес с собой еще один ломоть ржаного хлеба, ножик, сделанный из старой косы, и горсть крупной соли. Ласково и нервно виляя хвостом, прибежал за ним Крутик, маленький, веселый, но отчаянно злой, несмотря на свою веселость. Он тоже сел возле печки, с удовольствием зевнул, облизнулся и стал следить глазами за каждым движением Мелитона, круто солившего хлеб. Соловьи по-прежнему пели страстно и звонко, нежно и удало.

— Ведь ты совсем одинокий? — спросил я.

— Совсем-с. Была жена, да уж так давно, что и не вспомнишь.

— А дети?

— Были и дети-с, да их тоже Бог прибрал в свое время...

И он опять замолчал, со старческой неспешностью прожевывая хлеб. Я вглядывался в движение его морщинистых щек, в его опущенные веки, стараясь проникнуть в тайну его печальной молчаливости. Он кротко и беспомощно взглянул на меня,— я отвернулся. Было мне тогда двадцать лет, все умиляло меня: лес, небо, караулка, пучки каких-то трав и веничков в ее сенцах под крышей, меж сухой листвы решетника... На ногах Мелитона лыковые лапти, думал я, на теле замашная рубаха... Как это чудесно — жить такой чистой, простой, бедной жизнью! И эти венички — для кого он собирает, вяжет

их? Венички еще более тронули меня, и я сказал, подымаясь:

— Совсем у тебя скит, Мелитон!

Он ласково и грустно улыбнулся.

— В скиту часовенки бывают-с,— сказал он, бросая корку Крутику, и залил водой из чугунчика угли.

Они зашипели и померкли. И тотчас же стало видно, что в лесу уже светлая, лунная ночь, что поляна освещена сияющим месяцем, что чащи леса почернели и отделились от нее. Крутик, как только поужинал коркой, тотчас же принялся за свое ночное дело. Он с звонким лаем хлопотал то там, то здесь за караулкой, и было похоже, будто весь лес полон злыми и неугомонными собачонками. Мелитон зажег в избе лампу, настилая мне на конике сена,— окошечки под ее старой нахлобученной крышей засияли, как два золотые глаза. Потом он вынес лампу в сенцы. Я вошел туда, и он опять улыбнулся мне.

— А то вот-с на коечку ложитесь,— сказал он, кивая на свою кровать.

В углу возле входа было устроено нечто вроде койки на высоких ножках из березовых поленьев. На ней было тоже настлано сено, прикрытое попоной и возвышавшееся к изголовью.

— Да какой теперь сон,— сказал я,— скоро уж и светать станет.

— Скоро-с,— согласился Мелитон бесстрастно.

И правда, мы только подремали. В темной избе было тихо, приятно, в окошечки виднелись зеленоватые кусочки лунной ночи. Но что-то не давало мне спать: достаточно было тонкого напева комара, чтобы очнуться. Я слушал Крутика, соловьев, думал о чем-то, чего не вспомнишь, как всегда в бессонную ночь... Не спал и Мелитон. Его донимали блохи.

— Ну, уж погоди, погоди, отучу я тебя спать под койкой! — бормотал он изредка, разумея Крутика.

Потом он кашлял, вздыхал, шептал что-то... Наконец я услыхал его шаги под окнами. Я высунулся из окна на прохладу ночного воздуха. Мелитон меня не замечал. Он сидел на пороге, опустив голову, не спеша растирал на ладони листовой табак и опять напевал грустным женским голосом.

— Ах, Господи-Батюшка! — прошептал он с глубоким вздохом, покачивая головой и высекая огонь. И,

закурив трубку, оперся на руку и запел внятней, задушевней.

Слышно было, что рассказывал он в песне про какие-то зеленые сады, с добрым укором напоминал кому-то те места, где «скончалась-распрощалась, ах, да прежняя любовь...». Ночь сияла. Месяц выбрался на самую середину неба, стал над самым прудом. Изредка по воде что-то струисто поблескивало, точно там вился серебристый уж. У противоположного берега воды как будто не было. Там была светлая бездна в другое, подземное небо. Вековые дубы и березы на том берегу казались теперь выше, стройней, чем днем. Но еще лучше был тот лес, который, вверх корнями, темнел под берегом, уходя в эту бездну вершинами. А вдали, за лесом, небо уж стало стеклянно-зеленое, там, в полях, начали свежо и отчетливо бить перепела... Я закрыл глаза. Когда же очнулся, был уже день. Пруд весь дымился, поляна поседела от крупной росы, лес, похолодевший, свежий, как будто еще недвижней стоял вокруг пруда. А потом в окна потянуло влажным ветром, в пруде заквакали лягушки, и петух, сильно и выпукло захлопав крыльями, заорал в сенцах хриплым басом. Мелитон, согнувшись, шел к избе от пруда с полным, тяжелым ведром, из которого плескалась вода, и оставлял за собой длинный ярко-зеленый след по седой траве...

В последний раз навестил я Мелитона как-то прошлой зимой. Помню, день был хмурый, туманный, густой иней нарастал на деревьях. Я ездил на станцию за почтой, потом, выехав со станции, уже в сумерки, перевалив с ее двора через сугроб на выезд в поле, решил свернуть к Заказу. Быстро темнело. Лошадь моя от инея вся посерела и закудрявилась, ресницы и усы у меня вскоре стали такими же. В поле сперва ничего нельзя было разглядеть даже в двух шагах — только серая, дикая мгла. Но вот в этой мгле стало светлеть и светлеть. Пробиваясь сквозь нее малиновым шаром, стал подыматься вдали большой месяц, пополам перерезанный длинной лиловатой тучкой. Подымаясь, он оставил эту тучку ниже себя, а сам становился все ярче, золотистей. Когда же я подъехал к Заказу, въехал в тень, далеко лежавшую от него по полю и испещренную узорами света, все уже блистало в полях и в Заказе как бы в некоем сказочном царстве. А потом дивной красной звездой засветился огонек в караулке и по всему чуткому,

морозному лесу пошел звонкий, разбегающийся по чащам лай Крутика.

У дубка перед караулкой я привязал лошадь. С дубка бенгальским огнем посыпался иней. Я постоял и послушал глубокую тишину леса, потом осторожно подошел к завалинке караулки и заглянул в полузамерзшее окно. И глухая, отшельническая жизнь старика снова поразила меня своей святой суровостью. В глубине слабо освещенной, дочерна закопченной избы он стоял перед дощечкой иконы в углу и, закрыв глаза, кланялся ей то до земли, то в пояс. Видно было, что он только что выкупался,— редкие волосы его были мокры и причесаны, подбородок чисто пробрит, длинная белая рубаха распоясана. Порой он закидывал голову назад и долго, долго стоял так с закатившимися под лоб глазами...

Говорил он в тот вечер опять мало, был особенно тих и ласков. В избе было тепло и сыро, как в бане; я скинул шубу и сидел на лавке. А он тянулся, стоял передо мною, отвечал не спеша и все опускал веки. Наконец, уже собираясь уезжать, я как будто мимоходом спросил:

— Мелитон, отчего ты всегда такой скучный?

Он удивился.

— Я-с? — спросил он растерянно.— Я ничего-с... Известно, старость...

— Или горе у тебя какое? — сказал я, глядя ему в глаза.

— Избави Бог-с! — сказал он поспешно.— Я караулю-с...

— Да нет, я не про то,— сказал я, смутившись.— Я так спросил...

Он понял, успокоился и нежно улыбнулся, прикрывая глаза.

— А я думал, обида какая-с,— сказал он.— А что я невеселый, так какое же мне теперь веселье? Да и грехов много-с.

— Какие же у тебя грехи, Мелитон!

— Грехи-с у всякого есть,— сказал он серьезно.— На то и живем-с, чтобы за грехи каяться.

— Да ты и то как святой живешь. Ты вон постишься целый век.

Он опять удивился и даже слегка нахмурился.

— Ем-с, как все,— сказал он скороговоркой.— Едят и хуже моего, да и то не гневят Бога жалобой.

— Ну, коли так, будь здоров, до свиданья,— сказал я,

надевая шубу, поднимаясь и отворяя дверь на морозный воздух лунной ночи.

Морозило крепко, и Большая Медведица бриллиантами висела по небу над снежной поляной. Мелитон без шапки и в одной рубахе стоял на пороге.

— Прощай, Мелитон,— сказал я, садясь в сани.— Иди в избу, простудишься!

— Никак нет,— ответил он.— Счастливой дороги-с...

Лошадь в светлом поле бежала шибко и бодро, полозья пели и визжали, ветерок обжигал лицо, сковывал усы, ресницы. Я отвертывался от него, прикрываясь пахучим на морозе енотовым воротником.

1900—1930

СОСНЫ

I

Вечер, тишина занесенного снегом дома, шумная лесная вьюга наружи...

Утром у нас в Платоновке умер сотский Митрофан, а в сумерках у меня сидел священник, опоздавший причастить Митрофана, пил чай и долго рассказывал о том, как много народу померзло в нынешнем году...

«Чем не сказочный бор?» — думаю я, прислушиваясь к шуму леса за окнами и к высоким жалобным нотам ветра, налетающего вместе с снежными вихрями на крышу. И мне представляется путник, который кружится в наших дебрях и чувствует, что не найти ему теперь выхода вовеки.

— Есть ли жив человек в этих хижинах? — говорит он, с трудом различая в белой крутящейся мгле Платоновку.

Но морозный ветер захватывает ему дыхание, слепит снегом, и мгновенно пропадает огонек, который, казалось, мелькнул сквозь вьюгу. Да и человечьи ли это хижины? Не в такой ли же черной сторожке жила Баба-Яга? «Избушка, избушка, стань к лесу задом, а ко мне передом! Приюти странника в ночь!..»

Лежа весь вечер, я представляю себе, как пугливо и зыбко мерцают мои освещенные окошечки, такие одинокие среди бушующего леса, с головы до ног поседевшего от вьюги! Дом стоит у широкой просеки, в затишье, но когда ураган гигантским призраком на снежных крыльях проносится над лесом, сосны, которые высоко царят над всем окружающим, отвечают урагану столь угрюмой и грозной октавой, что в просеке делается страшно. Снег при этом бешено и беспорядочно мчится по лесу, неприкрытая дверь в сенцах с необыкновенной силой бьет в стену, а собаки, которые лежат в них, утопая в снегу,

как в пуховых постелях, жалобно взвизгивают сквозь сон, дрожа крупной дрожью... И мне опять вспоминается Митрофан, который ждет могилы в такую мрачную ночь.

В комнате тепло и тихо. Стекла холодно играют разноцветными огоньками, точно мелкими драгоценными камнями. Лежанка натоплена жарко, а к шуму и стуку я так привык, что могу не замечать их. Лампа на столе горит ровным сонным светом. Ровно, чуть внятно звенит в ней выгорающий керосин, монотонно и неясно, точно под землей, баюкает кто-то ребенка за стеною в кухне,— не то сама Федосья, не то ее Анютка, которая с малолетства во всем подражает своим вечно вздыхающим теткам, матери. И, прислушиваясь к этому знакомому с детства напеву, к этим шумам и стукам, весь отдаешься во власть долгого вечера.

Ходит сон по сеням,
А дрема по дверям,—

поет в душе жалобная песня, а вечер реет над головою неслышною тенью, завораживает сонным звоном в лампе, похожим на замирающее нытье комара, и таинственно дрожит и убегает на одном месте темным волнистым кругом, кинутым на потолок лампой.

Но вот в сенцах слышен певучий визг шагов по сухому бархатистому снегу. Хлопают двери в прихожей, и кто-то топает в пол валенками. Слышу, как чья-то рука шарит по двери, ищет скобку, а затем чувствую холод и свежий запах январской метели, сильный, как запах разрезанного арбуза.

— Спите? — спрашивает Федосья осторожным шепотом.

— Нет... А что? Это ты, Федосья?

— Я-с,— отвечает Федосья, меняя голос на громкий и естественный.— Ай я вас разбудила?

— Нет. Ты что?

Вместо ответа Федосья оборачивается к двери,— хорошо ли притворила? — и, улыбнувшись, становится к печке. Ей просто хотелось проведать меня. Это небольшая, но плотно сбитая баба в полушубке; голова у нее закутана шалью и похожа на совиную, на полушубке и на шали тает снег.

— Там пыль! — говорит она с удовольствием и, ежась, прижимается к печке.— Что, давно вечер-то по часам?

— Половина десятого.

Федосья кивает головою и задумывается. За день она переделала сотни мелких дел. Теперь она в тумане отдыха. Глядя на свет совершенно бессмысленными, удивленными глазами, она с наслаждением затягивается долгим и глубоким зевком и, зевая, бормочет:

— Ах, Господи, что ж это зевается, куда это девается! Вот жалко Митрофана-то! Целый день с ума не идет, а тут еще наши: выехали, нет ли? Поедут — замерзнут!

И вдруг быстро прибавляет:

— Постойте,— в каком ухе звенит?

— В правом,— отвечаю я.— Нынче они не поедут...

— Вот и не угадали! А я было про мужика своего загадала. Боюсь, обморозится...

И, увлеченная думами о вьюге, Федосья начинает:

— Так-то на сороки было, на сорок мучеников. Вот, расскажу вам, страсть-то была! Вы-то, известное дело, не помните, вам тогда небось пяти годочков не было, а я-то явственно помню. Сколько тогда народу померзло, сколько обморозилось...

Я не слушаю, я наизусть знаю рассказы о всех метелях, которые помнит Федосья. Я машинально ловлю ее слова, и они странно переплетаются с тем, что я слышу внутри себя. «Не в том царстве, не в том государстве,— певуче и глухо говорит во мне голос старика-пастуха, который часто рассказывает мне сказки,— не в том царстве, не в том государстве, а у самом у том, у каком мы живем, жил, стало быть, молодой вьюноша...»

Лес гудит, точно ветер дует в тысячу эоловых арф, заглушенных стенами и вьюгой. «Ходит сон по сеням, а дрема по дверям», и, намаявшись за день, поевши «соснового» хлебушка с болотной водицей, спят теперь по Платоновкам наши былинные люди, смысл жизни и смерти которых ты, Господи, веси!

Вдруг ветер со всего размаху хлопает сенной дверью в стену и, как огромное стадо птиц, с шумом и свистом проносится по крыше.

— Ох, Господи! — говорит Федосья, вздрагивая и хмурясь.— Хоть бы уж спать скорей в страсть такую! Ужинать-то будете? — прибавляет она, делая над собой усилие, чтобы взяться за скобку.

— Рано еще...

— А мой сгад — нечего третьих петухов ждать! Поужинали бы и спали бы, спали себе!

Дверь медленно отворяется и затворяется, и я опять остаюсь один, все думая о Митрофане.

Это был высокий и худой, но хорошо сложенный мужик, легкий на ходу и стройный, с небольшой, откинутой назад головой и с бирюзово-серыми, живыми глазами. Зиму и лето его длинные ноги были аккуратно обернуты серыми онучами и обуты в лапти, зиму и лето он носил коротенький изорванный полушубок. На голове у него всегда была самодельная заячья шапка шерстью внутрь. И как приветливо глядело из-под этой шапки его обветренное лицо с облупившимся носом и редкой бородкой! Это был Следопыт, настоящий лесной крестьянин-охотник, в котором все производило цельное впечатление: и фигура, и шапка, и заплатанные на коленях портки, и запах курной избы, и одностволка. Появляясь на пороге моей комнаты и вытирая полою полушубка мокрое от метели коричневое лицо, оживленное бирюзовыми глазами, он тотчас же наполнял комнату свежестью лесного воздуха.

— Хорошо у нас! — говорил он мне часто.— Главное дело — лесу много. Правда, хлебушка, случается, не хватает али чего прочего, да ведь на Бога жаловаться некуда: есть лес — в лесу зарабатывай. Мне, может, еще трудней другого, у меня одних детей сколько, а я все-таки иду да иду! Волка ноги кормят. Сколько годов я тут прожил и все не нажился... Я и не помню ничего, что было. Был будто один-два дня летом али, скажем, весной — и больше ничего. Зимних ден больше вспоминается, а все тоже похожи друг на дружку. И ничего не скушно, а хорошо. Идешь по лесу — лес из лесу выходит, синеет, а там прогалина, крест из села виден... Придешь, заснешь — глядь, уж опять утро и опять пошел на работу... была бы шея — хомут найдется! Говорят — живете вы, мол, в лесу, пням молитесь, а спроси его, как надо жить,— не знает. Видно, живи как батрак: исполняй, что приказано,— и шабаш.

И Митрофан действительно прожил всю свою жизнь так, как будто был в батраках у жизни. Нужно было пройти всю ее тяжелую лесную дорогу — Митрофан шел беспрекословно... И разладила его путь только болезнь,

когда пришлось пролежать больше месяца в темноте избы,— перед смертью.

— За траву не удержишься! — говорил он мне, снисходительно улыбаясь, когда я советовал ему съездить в больницу.

И кто знает,— не прав ли был он?

«Умер, погиб, не выдержал,— значит, так надо!» — думаю я и поднимаюсь, чтобы пойти на воздух. Надев шубу и шапку, подхожу к лампе. На мгновение шум метели за окном смущает меня, но затем я решительно дую на свет.

В темных пустых комнатах, через которые я прохожу, мутно сереют окна. От налетающих вихрей они то светлеют, то темнеют,— совсем как в корабельной каюте в качку. В прихожей холодно, как в сенцах, и пахнет сырой, промерзлой корой дров, заготовленных на топку. Громадная старинная икона Божией Матери с мертвым Иисусом на коленях чернеет в углу...

На дворе ветер рвет с меня шапку и с головы до ног осыпает меня морозным снегом. Но, ох, как хорошо поглубже вздохнуть холодным воздухом и почувствовать, как легка и тонка стала шуба, насквозь пронизанная ветром! На мгновение я останавливаюсь и делаю усилие взглянуть... Новый порыв ветра прямо в лицо перехватывает мне дыхание, и я успеваю разглядеть только два-три вихря, промчавшихся по просеке в поле. Гул леса вырывается из шума вьюги, как гул органа. Я крепко нагибаю голову, погружаюсь почти по пояс в сугроб и долго иду, сам не зная куда...

Ни деревни, ни леса не видно. Но я знаю, что деревня направо и что в конце ее, у плоского болотного озерка, теперь занесенного снегом,— изба Митрофана. И я иду,— долго, упорно и мучительно,— и вдруг в двух шагах от меня вспыхивает сквозь дым вьюги огонек. Кто-то бросается мне на грудь и чуть не сбивает меня с ног. Наклоняюсь,— собака, которую я подарил Митрофану. Она отскакивает при моем движении с жалобно-радостным визгом назад и бросается к избе, точно хочет показать, что там делается. А у избы, около окошечка, светлым облаком кружится снежная пыль. Огонек освещает ее снизу, из сугроба. Утопая в снегу, я добираюсь до окна и торопливо заглядываю в него. Там, внизу, в слабо освещенной избе, лежит у окна что-то длинное, белое. Племянник Митрофана стоит, наклонившись над столом,

и читает псалтирь. В глубине избы, на нарах, видны в полумраке фигуры спящих баб и детей...

II

Утро. Выглядываю в кусочек окна, не запушенный морозом, и не узнаю леса. Какое великолепие и спокойствие!

Над глубокими, свежими снегами, завалившими чащи елей, синее, огромное и удивительно нежное небо. Такие яркие, радостные краски бывают у нас только по утрам в афанасьевские морозы. И особенно хороши они сегодня, над свежим снегом и зеленым бором. Солнце еще за лесом, просека в голубой тени. В колеях санного следа, смелым и четким полукругом прорезанного от дороги к дому, тень совершенно синяя. А на вершинах сосен, на их пышных зеленых венцах, уже играет золотистый солнечный свет. И сосны, как хоругви, замерли под глубоким небом.

Приехали братья из города. Они привезли с собой много бодрости морозного утра. Пока в прихожей обметали вениками валенки, обивали от снега тяжелые воротники шуб и вносили покупки в рогожных кульках, пересыпанных сухой снежной пылью, как мукою, в комнатах нахолодилось и металлически запахло морозным воздухом.

— Градусов сорок будет! — с трудом выговаривает кучер, входя с новым кульком. Лицо у него багровое,— по голосу чувствуется, что оно задеревенело от морозу,— усы, борода и углы воротника на тулупе смерзлись в ледяные сосульки...

— Митрофанов брат пришел,— докладывает Федосья, просовывая голову в дверь,— тесу на гроб просит.

Я выхожу к Антону, и он спокойно рассказывает о смерти Митрофана и деловито переводит разговор на тес. Равнодушие это или сила?.. Скрипя сапогами по замерзшему снегу на крыльце, мы выходим из дому и, переговариваясь, идем к сараю. Воздух крепко сжат утренним морозом, голоса наши раздаются как-то странно, пар от дыхания вьется при каждом слове, точно мы курим. Тонкий остистый иней садится на ресницы.

— Ну и денек Господь послал! — говорит Антон, останавливаясь у сарая, где уже пригревает, и, щурясь от солнца, глядит на густую зеленую стену хвои вдоль

просеки и глубокое ясное небо над нею.— Эх, кабы и завтра-то так же! Ладно бы похоронили!

Потом мы отворяем скрипучие ворота насквозь промерзшего сарая. Антон долго гремит досками и наконец взваливает на плечо длинную сосновую тесину. Сильным движением подкинув и поправив ее на плече, он говорит: «Ну, покорнейше благодарим вас!» — и осторожно выходит из сарая. Следы лаптей похожи на медвежьи, а сам Антон идет приседая, приноравливаясь к колебаниям доски, и тяжелая зыбкая доска, перегнувшись через его плечо, мерно покачивается в лад с его движениями. Когда же он, утонув почти по пояс в сугроб, скрывается за воротами, я слышу замирающий скрип его шагов. Вот так тишина! Две галки звонко и радостно сказали что-то друг другу. Одна из них с разлету опустилась на самую верхнюю веточку густо-зеленой стройной ели, закачалась, едва не потеряв равновесия,— и густо посыпалась и стала медленно опускаться радужная снежная пыль. Галка засмеялась от удовольствия, но тотчас же смолкла... Солнце поднимается, и все тише становится в просеке...

После обеда все ходят смотреть Митрофана. Деревня тонет в снегу. Снежные, белые избушки расположились вокруг ровной белой поляны, и на этой ярко сверкающей под солнцем поляне очень уютно и пригревает. Домовито пахнет дымком, печеным хлебом. Мальчишки возят друг друга на ледяшках, собаки сидят на крышах изб... Совсем дикарская деревушка! Вон молодая плечистая баба в замашной рубахе любопытно выглянула из сенец... Вон худой, похожий на старичка-карлика, дурачок Пашка в дедовской шапке идет за водовозкой. В обмерзлой кадушке тяжко плескается дымящаяся, темная и вонючая вода, а полозья визжат, как поросенок... Но вот и изба Митрофана.

Какая она маленькая, низенькая и как все буднично вокруг нее! Лыжи стоят у дверей в сенцы. В сенцах дремлет и жует жвачку корова. Стена избы, выходящая в сенцы, сильно подалась от них, и поэтому дверь надо отворять с большими усилиями. Она отлипает наконец, и в лицо пахну́ло теплым избяным запахом. В полумраке стоят несколько баб у печки и, пристально глядя на покойника, шепотом переговариваются. А покойник под коленкором лежит в этой напряженной тишине и слушает, как плаксиво и жалостно читает псалтирь Тимошка.

— Совсем талый! — с умилением говорит одна из баб и, приглашая посмотреть покойника, осторожно приподнимает коленкор.

О, какой важный и серьезный стал Митрофан! Голова маленькая, гордая и спокойно-печальная, закрытые глаза глубоко ввалились, большой нос обрезался; большая грудь, приподнятая последним вздохом, точно закаменела, а ниже ее, в глубокой впадине живота, лежат большие восковые руки. Чистая рубаха красиво оттеняет худобу и желтизну. Баба тихо взяла одну руку,— видно, как тяжела эта ледяная рука,— подняла и опять положила. Митрофан остался совершенно равнодушен и продолжал спокойно слушать, что читает Тимошка. Может, он знает даже и то, как ясен и торжественен сегодняшний день,— его последний день в родной деревне?

День этот кажется очень долог в мертвой тишине. Солнце медленно проходит свой небесный путь, и вот красноватый, парчовый луч уже скользнул в полутемную избу и косо озарил лоб покойника. Когда же я выхожу из избы на улицу, солнце прячется между стволами сосен за частый ельник, теряя свой блеск.

Опять я бреду вдоль просеки. Снега на поляне и крыши изб, которые точно облиты сахаром, алеют. В просеке, в тени, чувствуется, как резко морозит к ночи. Еще чище и нежней стали краски зеленоватого неба к северу, еще тоньше рисуется мачтовый сосновый лес на его фоне. А с востока уже встала большая бледная луна. Гаснет закат, она подымается все выше... Собака, с которой я хожу вдоль просеки, забегает иногда в ельник и, выскакивая, вся в снегу, из его таинственно-светлых и темных дебрей, замирает вместе с своей резкой черной тенью на ярко озаренной дороге. Месяц уже высоко... В деревушке — ни звука, робко краснеет огонек из тихой избы Митрофана... И большая, остро содрогающаяся изумрудом звезда на северо-востоке кажется звездою у Божьего трона, с высоты которого Господь незримо присутствует над снежной лесной страной...

III

А на следующий день понесли гроб Митрофана по лесной дороге к селу.

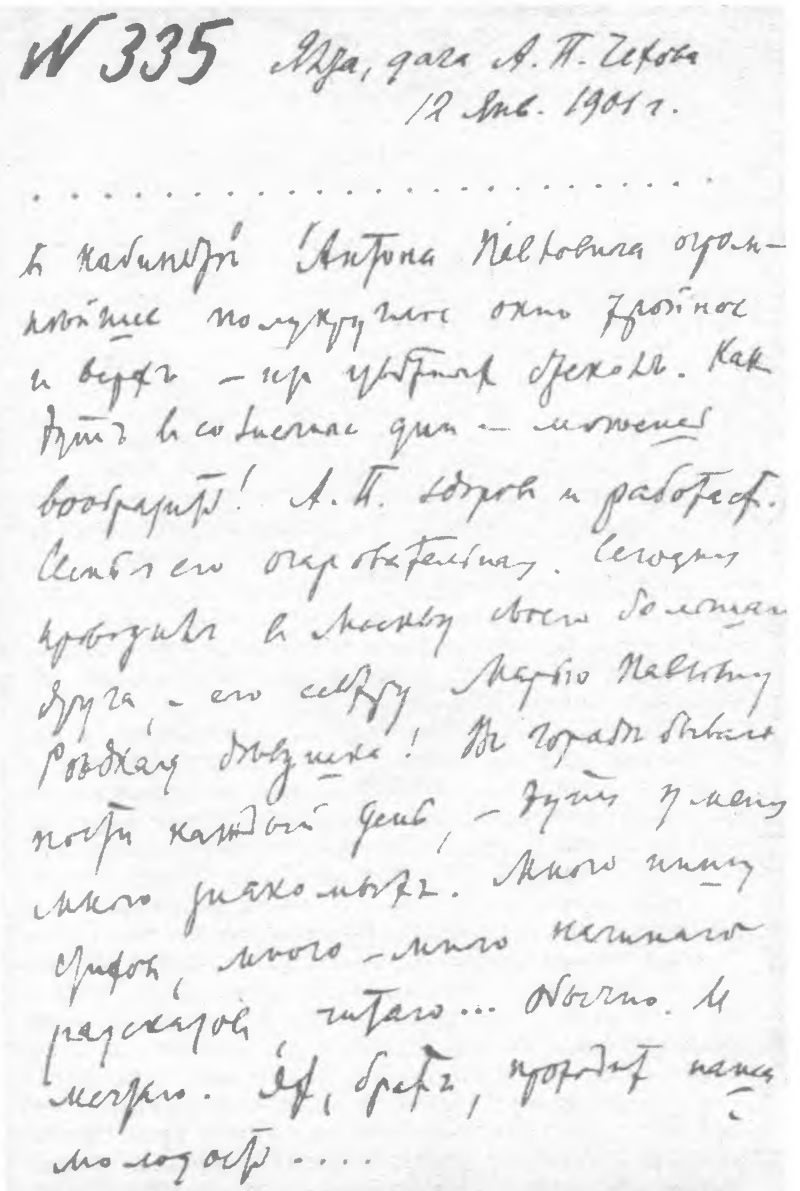
Воздух по-прежнему был резок и морозен, и миллионы мельчайших игл и крестиков тускло поблескивали на

солнце, кружась в воздухе. Бор и воздух слегка затуманивались,— только на горизонте к югу ясно и зелено было ледяное небо. Снег пел и визжал под санями, когда я бежал на лыжах в село. Там я долго мерз на паперти, пока, наконец, увидал среди белой сельской улицы белые зипуны и белый большой гроб из нового тесу. Отворили дверь в церковь, откуда вместе с запахом воска тоже пахнуло холодом: бедная лесная церковка промерзла вся насквозь,— весь иконостас и все иконы побелели от густого матового инея. И когда она наполнилась сдержанным говором, стуком шагов и паром от дыхания, когда с трудом опустили тяжелый разлатый гроб на пол, торопливым, простуженным голосом заговорил и запел священник. Жидкие синеватые струйки дыма вились над гробом, из которого страшно выглядывал острый коричневый нос и лоб в венчике. Кадило в руках священника было почти пусто, дешевый ладан, брошенный в еловые уголья, издавал запах лучины, а сам священник, повязанный по ушам платком, был в больших валенках и в старом мужицком полушубке, поверх которого торчала старая риза. Он, наперебой с дьячком, в полчаса справил службу и только «со святыми упокой» пропел не спеша и стараясь придать своему голосу трогательные оттенки,— печаль о бренности всего земного и радость за брата, отошедшего, после земного подвига, в лоно бесконечной жизни, «иде же праведные упокоеваются». Напутствуемый протяжным пением, гроб с мерзлым покойником вынесли из церкви, пронесли его по улице и за селом, на пригорке, опустили в неглубокую яму, которую и закидали мерзлой глинистой землей и снегом. В снег воткнули елочку и, покряхтывая от мороза, торопливо разошлись и разъехались.

Глубокая тишина царила теперь на лесной полянке, по которой торчало из сугробов несколько низких деревянных крестов. Беззвучно кружились в воздухе бесчисленные морозные остинки, где-то высоко над головой тянул сдержанный, глухой и глубокий гул: так шумит под вечер в отдалении море, когда оно скрыто за горами. Мачтовые сосны, высоко поднявшие на своих глинисто-красноватых голых стволах зеленые кроны, тесной дружиной окружали с трех сторон пригорок. Под ним широко синела еловыми лесами низменность. Длинный земляной бугор могилы, пересыпанный снегом, лежал на скате у моих ног. Он казался то совсем обыкновенной кучей

земли, то значительным — думающим и чувствующим. И, глядя на него, я долго силился поймать то неуловимое, что знает только один Бог,— тайну ненужности и в то же время значительности всего земного. Потом я крепко двинул лыжи под гору. Облако холодной снежной пыли взвилось мне навстречу, и по всему девственно-белому, пушистому косогору правильно и красиво прорезались два параллельных следа. Не удержавшись, я упал под горой в густой и необыкновенно зеленый ельник, набил в рукава снегу. Задевая за ельник, я быстро пошел зигзагами между его кустами. Траурные сороки с резким стрекотанием, игриво качаясь в воздухе, перелетали над ними. Минуты текли за минутами — я все так же равномерно и ловко совал ногами по снегу. И уже ни о чем не хотелось думать. Тонко пахло свежим снегом и хвоей, славно было чувствовать себя близким этому снегу, лесу, зайцам, которые любят объедать молодые побеги елочек... Небо мягко затуманивалось чем-то белым и обещало долгую тихую погоду... Отдаленный, чуть слышный гул сосен сдержанно и немолчно говорил и говорил о какой-то вечной, величавой жизни...

1901


№ 335 Ялта, дача А. П. Чехова
12 янв. 1901 г.

. . . . . .

в кабинете Антона Павловича огромное полукруглое окно дубовое и вверх — три чудных фрамуги. Как будто в счастливые дни — можешь воображать! А. П. здоров и работоспособен. Сейчас его очередь отвечать. Сегодня проводили в Москву своего большого друга, — его самого, Марию Павловну Розалию Львовну! Ее горячо любили почти каждый день, — будет очень много рассказов. Много пишу стихов, много — много читаю по-русски ... Ночью. И мерзко. Эх, брат, пролетит наша молодость ....

Фрагмент письма Бунина — А. М. Федорову 12 января 1901

НОВАЯ ДОРОГА

I

— Напрасно уезжаете! — говорят мне знакомые, поздним вечером прощаясь со мной на вокзале.— Добрые люди только съезжаются в Петербург. Чего вы там не видали? Лесов, сугробов? А потом еще эта новая дорога, на которой дня не проходит без крушений!

— Бог милостив! — отвечаю я.

Провожающие пожимают плечами. Наступают те неприятные минуты разлуки, когда сказать уже нечего, улыбки делаются фальшивыми, а время начинает идти страшно медленно.

Наконец раздается второй звонок. Махая шляпами, провожающие уходят и, оборачиваясь, кланяются уже с искренней приветливостью.

— Готово! — кричит кто-то около паровоза, и паровоз тяжко стукается буферами в вагоны. Слышно, как он сдержанно сипит горячим паром, изредка кидая клубы дыма, и платформа пустеет. Остаются только высокий красивый офицер с продолговатым, нагло-серьезным лицом в полубачках и дама в трауре. Дама кутается в ротонду и тоскливо смотрит на офицера заплаканными черными глазами. Потом с неловкой поспешностью очень сытого человека проходит большой рыжеусый помещик с ружьем в чехле и в оленьей дохе поверх серого охотничьего костюма, а за ним приземистый, но очень широкий в плечах генерал. Потом из конторы быстро выходит начальник станции. Он только что вел с кем-то неприязненный спор и поэтому, резко скомандовав: «третий», так далеко швыряет папиросу, что она долго прыгает по платформе, рассыпая по ветру красные искры. И тотчас же на всю платформу звонит гулкий вокзальный колокол, раздаются гремучие свистки обер-кондуктора, мощные взревывания паровоза — и мы плавно трогаемся.

Офицер идет по платформе, раскланиваясь, ускоряя шаги и все более отставая от вагонов; паровоз отрывистее и резче кидает из-под цилиндров горячим паром... Но вот мелькнул последний фонарь платформы, офицера точно сдернуло — и поезд очутился в темноте. Она сразу развернулась, усеянная тысячами золотых огней в предместьях, а поезд уверенно несется в нее мимо товарных складов и вагонов, грозно предупреждая кого-то дрожащим ревом. Светлые отражения окон все быстрее бегут по рельсам и шпалам, ускользающим в разные стороны, потом по снегу. Скоро в вагоне станет тепло и уютно, и, беспорядочно громоздя вещи по диванам, пассажиры начнут располагаться на ночь. Седой, строгий, но очень вежливый старичок-кондуктор в пенсне на кончике носа не спеша проходит среди этой тесноты и пунктуально переписывает билеты, наклоняясь к фонарику своего помощника.

Воздух в полях, после города, кажется необыкновенным,— и, как всегда, я до поздней ночи стою в сенях вагона, отворив боковую дверь, и напряженно гляжу против ветра в темные снежные поля. Вагон дрожит и дребезжит от быстрого бега, ветер сыплет в лицо снежной пылью, свет фонаря в сенях прыгает, мешаясь с тенями. И, качаясь, я хожу от двери к двери по холодным сеням, уже побелевшим от снега... Прежде в пути всегда хотелось петь, кричать под грохочущий марш поезда. Теперь не то. Плывут, бегут смутные силуэты холмов и кустарников, с мгновенным глухим ропотом проносятся под колесами чугунные мостики, в далеких, чуть белеющих полях мелькают огоньки глухих деревушек. И, щурясь от ветра, я с грустью гляжу в эту темную даль, где забытая жизнь родины мерцает такими бледными тихими огоньками...

Возвратясь в вагон, вижу в полусумраке фигуры лежащих; тесно от шуб и поднятых спинок диванов, пахнет табаком и апельсинами... Согреваясь после холодного ветра, долго смотрю полузакрытыми глазами, как покачивается меховое пальто, повешенное у двери, и думаю о чем-то неясном, что сливается с дрожащим сумраком вагона и незаметно убаюкивает. Славная вещь — этот сон в пути! Сквозь дремоту чувствуешь иногда, что поезд затихает. Тогда слышатся громкие голоса под окнами, шарканье ног по каменной платформе, а в вагоне — ровное дыхание и храп спящих. Что-то беспокоит глаза...

Это тусклый и лучистый, желтоватый блеск замерзшего окна, за которым вокзальный фонарь. Он мутно и неприятно озаряет сумрак вагона.

— Не знаете, какая станция? — спрашивает кто-то странным испуганным голосом...

Потом звонок бьет где-то далеко-далеко, усыпительно, хлопают двери вагонов, и доносится жалобный гул паровоза, напоминающий о бесконечной дали и ночи. Что-то начинает вздрагивать и поталкивать под бок; металлически-лучистый блеск фонарей проходит по стеклам и гаснет; пружины дивана покачиваются все ровнее и ровнее, и наконец непрерывно возрастающий бег поезда снова погружает в дремоту...

Внезапное прикосновение чьей-то руки извещает перед утром о пересадке. Испуганно вскакиваю, торопливо забираю вещи и через большую, но сонную и тускло освещенную станцию иду на какую-то длинную платформу, занесенную свежим глубоким снегом, к маленькому поезду, составленному из самых разнокалиберных вагонов... Новая дорога! Тишина, маленькие вагоны, душистый дым березовых дров, запах хвои... Славно!

В полудремоте попадаю в вагон-микст, тесный, с квадратными окнами, и тотчас же снова крепко засыпаю. И к утру оказываюсь уже далеко от Петербурга. И начинается настоящий русский зимний путь, один из тех, о которых совсем забыли в Петербурге...

II

Будит меня чей-то мучительный кашель. Открываю глаза: вижу станового, старого служаку в рыжей енотовой шубе поверх серой полицейской шинели. От натуги глаза у него вытаращены и полны слез, обветренное лицо красно, седые усы взъерошены. Он необыкновенно жарко раскурил огромнейшую папиросу из дешевого крепкого табаку, а в старом вагончике и без того сумрачно, потому что окна полузанесены снегом. Поезд трясет и гремит, как телега.

— Вот так кашель! — говорит становой, отдуваясь, так просто и добродушно, точно мы росли вместе.— Только и полегчает, когда немножко покуришь!

«Ну, значит, Петербург далеко!» — думаю я и заглядываю в окна. О, какой белый, чистый снег! Белое безжизненное небо и белое бесконечное поле с кустарниками

и перелесками. Проволоки телеграфных столбов лениво плывут за окнами, точно им скучно подыматься, опускаться и вытягиваться вслед за поездом, а столбам надоело бежать за ними. Поезд на подъемах скрипит и качается, а под уклоны бежит, как старик, пустившийся догонять кого-нибудь. Однообразно белеют поля, машет вдали крыльями птица, чернеют кустарники и деревушки — и все это кругами уходит назад. Ветер лениво развевает дым паровоза, и кустарники, по которым расстилается этот дым, будто курятся и плавают по снежному полю...

Пассажиров, кроме меня и станового, который, впрочем, скоро слезет на разъезде, всего-навсего один: бородатый коренастый старик — железнодорожный артельщик с сумкой через плечо, похожий на уездного лавочника. Он усердно занимается насыпкой папирос и чаепитием, все утро слышно, как он с наслаждением схлебывает с блюдечка горячую жидкость.

— Не угодно ли-с? — говорит он, указывая глазами на жестяной чайник.— А то что ж на вокзалах-то платить по гривеннику за стаканчик!

Около двери, где я помещаюсь, по ногам несет холодом; сижу, закутавши колени, и смотрю то на свежие выемки около линии, то на новенькие тесовые станции и разъезды, то на белое поле с перелесками, и кажется, что стволы деревьев трепещут и сливаются, а весь перелесок идет кругом: ближние деревья, трепеща, бегут назад, а дальние постепенно заходят вперед... Потом мы с артельщиком пьем чай, потом я отправляюсь бродить по вагонам и площадкам... Необыкновенно приятно смотреть на мелькающий в воздухе снег: настоящей Русью пахнет!

Станции и разъезды часты, но они теряются среди окружающего их пустынного и огромного пейзажа зимних полей. Еще не завладела новая дорога краем и не вызвала к себе его обитателей. Постоит поезд на пустой станции и опять бежит среди перелесков... Едем все же с опозданием: стояли в поле, и никто не знал почему, и все сидели в томительном ожидании, слушая, как уныло шумит ветер за стенами неподвижных вагонов и как жалобно кричит бочкообразный паровоз, имеющий манеру трогать с места так, что пассажиры падают с диванов. Качаясь на неровном бегу поезда, я хожу из вагона в вагон и везде вижу обычную жизнь русского захолуст-

ного поезда. В первом и втором классе пусто, а в третьем — мешки, полушубки, сундуки, на полу сор и подсолнухи, почти все спят, лежа в самых тяжелых и безобразных позах. Неспящие сидят и до одурения накуриваются; жаркий воздух синеет от едкого и сладковатого дыма махорки. Один лотерейщик, молодой вор с бегающими глазами, не дремлет. Он собирает в кучку мужиков и полупьяных рабочих, и они, пробуя свое счастье, изредка, точно на смех, выигрывают то карандаш в две копейки, то какой-нибудь бокал из дутого стекла. Слышится спор и говор, неистово кричит ребенок, поезд стучит и громыхает, а солдат, в новой ситцевой рубахе и в черном галстуке, сидит над спящими на своем сундучке и, поставив ногу на противоположную лавочку, с бессмысленными глазами и вытянутой верхней губой, рычит на тульской гармонике: «Чудный месяц плывет над рекою»...

— Станция Белый Бор, остановки восемь минут...— кричит кондуктор, рослый мужик в тяжелой длинной шинели, и, проходя по нашему вагону, с такой силой хлопает дверями, точно хочет заколотить их навек.

Это значит, что начинаются леса. После Белого Бора через две станции — уездный город, по имени которого и называются эти леса, смешанное чернолесье и краснолесье. Проходит еще час, полтора — и вдали, из-за леса, показываются главы и кресты монастыря, которым далеко известен этот город. Бор вокруг него вырубают нещадно, новая дорога идет как завоеватель, решивший во что бы то ни стало расчистить лесные чащи, скрывающие жизнь в своей вековой тишине. И долгий свисток, который дает поезд, проходя перед городом по мосту над лесной речкой, как бы извещает обитателей этих мест об этом шествии.

На несколько минут вокруг нас закипает суматоха. За деревянным, кирпичного цвета вокзалом видны тройки, громыхают бубенчики, кричат наперебой извозчики; зимний день сер и тепел, и похоже на масленицу. По платформе гуляют барышни и молодые люди, среди которых дает тон высокий телеграфист, местный красавец, франт в дымчатом пенсне и кавказской папахе. Двери в вагоне поминутно растворяются, со двора несет холодом, пахнет снегом и хвойным лесом. Статный лакей в одном фраке и без шапки носит жареные пирожки, и странно видеть среди леса его крахмальную рубашку и белый

галстук. В наш вагон набирается много барышень, которые кого-то провожают и шепчутся, играя глазами; купец с подушкой ломится к своему месту, давя на пути все встречное, а худой и очень высокий священник, запыхавшись и сдвинув с потного лба на затылок бобровую шапку, вбегает в вагон и убегает, униженно прося носильщика о помощи. Он укладывает бесчисленное количество узлов и кулечков на диваны и под диваны, извиняется пред всеми за беспокойство и притворно-весело бормочет:

— Ну, теперь так! Вот это сюда... А вот это, я думаю, и под лавочку можно... Я не потревожу вас? Ну, и чудесно, покорнейше благодарю!

В толпе ковыляет хромой разносчик с корзиной лимонов, монашенки с убитыми лицами жалобно просят на обитель... Вагон везут назад и опять останавливают. Долго слышится, как кондуктора переругиваются и гремят по окнам сигнальной веревкой, протягивая ее от паровоза по поезду... Наконец поезд трогается.

И опять перед окнами мелькают березы и сосны в снегу, поля и деревушки, а над ними — серое небо...

III

Эти березы и сосны становятся все неприветливей; они хмурятся, собираясь толпами все плотнее и плотнее. Идет молодой легкий снежок, но от сплошных чащей в вагонах темнеет, и кажется, что хмурится и погода. Омрачается и радость возвращения к тихому лесному дню... Новая дорога все дальше уводит в новый, еще неизвестный мне край России, и от этого я еще живее чувствую то, что так полно чувствовалось в юности: всю красоту и всю глубокую печаль русского пейзажа, так нераздельно связанного с русской жизнью. Новую дорогу мрачно обступили леса и как бы говорят ей:

— Иди, иди, мы расступаемся перед тобою. Но неужели ты снова только и сделаешь, что к нищете людей прибавишь нищету природы?

Зимний день в лесах очень короток, и вот уже синеют за окнами сумерки, и мало-помалу заползает в сердце беспричинная, смутная, настоящая русская тоска. Петербург представляется далеким оазисом на окраине огромной снежной пустыни, которая обступила меня со всех сторон на тысячи верст. Вагон опять пустеет. Опять со

мною только артельщик и двое спящих,— кавалерист и помощник начальника станции. Кавалерист, молодой человек в крепко натянутых рейтузах, спит как убитый, богатырски растянувшись на спине; помощник лежит вниз лицом, слабо покачиваясь, точно приноравливаясь к толчкам бегущего поезда. И тяжело смотреть на его старое пальто и старые калоши, свесившиеся с дивана.

Все сгущается сумрак в холодном, дребезжащем, неуклюжем вагоне. Мелькают стволы высоких сосен в сугробах, толпами теснятся на пригорках монахини-елочки в своих черных бархатных одеждах... Порою чаща расступается, и далеко развертывается унылая болотная низменность, угрюмо синеет амфитеатр лесов за нею, и полосою дыма висит молочно-свинцовый туман над лесами. А потом снова около самых окон зачастят сосны и ели в снегу, глухими чащами надвинется чернолесье, потемнеет в вагоне... Стекла в окнах дребезжат и перезванивают, плавно ходит на петлях не притворенная в другое отделение дверь, а колеса, перебивая друг друга, словно под землей, ведут свой торопливый и невнятный разговор.

— Болтайте, болтайте! — важно и задумчиво говорят им угрюмые и высокие чащи сосен.— Мы расступаемся, но что-то несете вы в наш тихий край?

Огоньки робко, но весело светят в маленьких новых домиках лесных станций. Новая жизнь чувствуется в каждом из них. Но в двух шагах от этого казенного домика начинается совсем другой мир. Там чернеют затерянные среди лесов редкие поселки темного и унылого лесного народа. На платформах стоят люди из этих деревушек,— несколько нищих в рваных полушубках, лохматых, с простуженными горлами, но таких смиренных и с такими чистыми, почти детскими глазами. Опустив кнуты, они выглядывают пассажира почти безнадежно, потому что на несколько человек из них редко приходится даже один пассажир. И, тупо глядя на поезд, они тоже как бы говорят ему своими взглядами:

— Делайте как знаете,— нам податься некуда. А что из этого выйдет, мы не знаем.

Гляжу и я на этот молодой, замученный народ... На великую пустыню России медленно сходит долгая и молчаливая ночь...

Ночь эта будет теплая, с мягко падающим, ласковым снежком. На минуту поезд останавливается перед

длинным и низким строением на разъезде. Освещенные окошечки его, как живые глаза, выглядывают из векового соснового леса, занесенного снегами. Паровоз, лязгая колесами по рельсам, плавно прокатывает мимо поезда, приводит к нему десяток товарных вагонов и двумя жалобными криками объявляет, что он готов. Крики гремучими переливами далеко бегут по лесной округе, перекликаясь друг с другом...

— Сейчас нехорошее место будет! — со вздохом говорит стоящий за мной на площадке вагона мещанин.— Тут сейчас подъем версты в три, а потом насыпь. Смотреть жутко! Тут дня не проходит без беды...

Я смотрю, как уходят от нас и скрываются в лесу огоньки станции. «Какой стране принадлежу я, одиноко скитающийся? — думается мне.— Что общего осталось у нас с этой лесной глушью? Она бесконечно велика, и мне ли разобраться в ее печалях, мне ли помочь им? Как прекрасна, как девственно богата эта страна! Какие величавые и мощные чащи стоят вокруг, тихо задремывая в эту теплую январскую ночь, полную нежного и чистого запаха молодого снега и зеленой хвои! И какая жуткая даль!»

Я гляжу вперед, на этот новый путь, который с каждым часом все неприветливее встречают угрюмые леса. Стиснутая черными чащами и освещенная впереди паровозом, дорога похожа на бесконечный туннель. Столетние сосны замыкают ее и, кажется, не хотят пускать вперед поезд. Но поезд борется: равномерно отбивая такт тяжелым, отрывистым дыханием, он, как гигантский дракон, вползает по уклону, и голова его изрыгает вдали красное пламя, которое ярко дрожит под колесами паровоза на рельсах и, дрожа, злобно озаряет угрюмую аллею неподвижных и безмолвных сосен. Аллея замыкается мраком, но поезд упорно подвигается вперед. И дым, как хвост кометы, плывет над ним длинною белесою грядою, полной огненных искр и окрашенной из-под низу кровавым отражением пламени.

1901

ТУМАН

Вторые сутки мы были в море. На рассвете первой ночи мы встретили густой туман, который закрыл горизонты, задымил мачты и медленно возрастал вокруг нас, сливаясь с серым морем и серым небом. Была зима, но все последние дни стояла оттепель. На Кавказских горах таяли снега, а море дышало обильными предвесенними испарениями. И вот ранним сумрачным утром машина внезапно затихла, а пассажиры, разбуженные этой неожиданной остановкой, гремучими свистками и топотом ног по палубе, полусонные, озябшие и встревоженные, один за другим стали появляться у рубки. Шел беспорядочный говор, а серые космы тумана, как живые, медленно ползли по пароходу.

Помню, что вначале это сильно беспокоило. Колокол почти непрерывно звонил на баке, из трубы с тяжким хрипом вырывался угрожающий рев; и все тупо смотрели на растущий туман. Он вытягивался, изгибался, плыл дымом и порою так густо окутывал пароход, что мы казались друг другу призраками, двигающимися во мгле. Похоже было на хмурые осенние сумерки, когда неприятно дрогнешь от сырости и чувствуешь, как зеленеет лицо. Потом туман сделался немного светлей, ровней и, значит, безнадежнее. Пароход снова шел, но так робко, что дрожь от работающей машины была почти беззвучна. Не переставая звонить, он направлялся теперь все дальше от берегов, к югу, где непроницаемая густота тумана наливалась уже настоящими сумерками,— тоскливой аспидной мутью, за которой в двух шагах чудился конец света, жуткая пустыня пространства. С рей, с навесов и снастей капала вода. Мокрая угольная пыль, летевшая из трубы, черным дождем сыпалась возле нее. Хотелось хоть что-нибудь рассмотреть в ненастной дали,

но туман окутывал, как сон, притуплял слух и зрение; пароход был похож на воздушный корабль, перед глазами была серая муть, на ресницах — холодная паутина, и матрос, который курил невдалеке от меня, обсасывая мокрые соленые усы, казался мне порою таким, точно я видел его во сне... В шесть часов мы снова стали.

Вспыхнуло сквозь туман живым глазком электричество в фонаре на мачте, черными клубами величаво повалил дым из жерла тяжелой и приземистой трубы и повис в воздухе. Колокол без смысла и однообразно звонил на носу, где-то мрачным и тоскливым голосом простонала «сирена»... может быть, и не существующая, а созданная напряженным слухом, которому всегда чудится что-нибудь в таинственной безбрежности тумана... Туман темнел все угрюмее. Вверху он сливался с сумраком неба, внизу бродил вокруг парохода, едва касаясь воды, которая слабо плескалась в пароходные бока. Наступала долгая зимняя ночь.

Тогда, чтобы вознаградить себя за тоскливый день, истомивший всех ожиданиями беды, пассажиры сбились вместе с моряками в кают-компании. Вокруг парохода была уже непроглядная тьма, а внутри его, в нашем маленьком мирке, было светло, шумно и людно. Играли в карты, пили чай, вина, лакеи бегали из буфета в буфет, хлопая пробками. Я лежал внизу, в своем помещении, слушал топот ног, раздававшийся над головою. Кто-то заиграл манерно-печальный модный вальс на пианино, и мне захотелось на люди. Я оделся и вышел.

Должно быть, всем было весело в тот вечер. По крайней мере, казалось так, и было приятно, что вечер прошел незаметно. Все забыли про туман и опасности, танцевали, пели, ходили с сияющими глазами. Потом устали и захотели спать... И большая, душная и жаркая кают-компания, в которой уже болезненно-ярко блестели огни, наконец опустела. А когда я заглянул туда через полчаса, то там был уже полный мрак, как почти и всюду на пароходе. Сверху доносился иногда звон колокола и был очень странен в наступившей тишине. Потом и он стал слышен все реже и реже... И все точно вымерло.

Я прошелся внизу, по коридорам, посидел в рубке, прислоняясь к холодной мраморной стене... Вдруг и в ней погасло электричество, а я сразу точно ослеп. Внутренне напевая то, что пели и играли в этот вечер, я ощупью добрался до трапа, поднялся на несколько ступеней

к верхней палубе — и остановился, пораженный красотою и печалью лунной ночи.

О, какая странная была эта ночь! Был уже очень поздний, может быть, предрассветный час. Пока мы пели, пили, говорили друг другу вздор и смеялись, здесь, в этом чуждом нам мире неба, тумана и моря, взошла кроткая, одинокая и всегда печальная луна, и воцарилась глубокая полночь... совершенно такая же, как пять, десять тысяч лет тому назад... Туман тесно стоял вокруг, и было жутко глядеть на него. Среди тумана, озаряя круглую прогалину для парохода, вставало нечто подобное светлому мистическому видению: желтый месяц поздней ночи, опускаясь на юг, замер на бледной завесе мглы и, как живой, глядел из огромного, широко раскинутого кольца. И что-то апокалиптическое было в этом круге... что-то неземное, полное молчаливой тайны, стояло в гробовой тишине,— во всей этой ночи, в пароходе и в месяце, который удивительно близок был на этот раз к земле и прямо смотрел мне в лицо с грустным и бесстрастным выражением.

Медленно поднялся я на последние ступеньки трапа и прислонился к его перилам. Подо мной был весь пароход. По выпуклым деревянным мосткам и палубам тускло блестели кое-где продольные полоски воды,— следы тумана. От перил, канатов и скамеек, как паутина, падали легкие дымчатые тени. В средине парохода, в трубе и машине, чувствовалась колоссальная и надежная тяжесть, в мачтах — высота и зыбкость. Но весь пароход все-таки представлялся легко и стройно выросшим кораблем-привидением, оцепеневшим на этой бледно освещенной прогалине среди тумана. Вода низко и плоско лежала перед правым бортом. Таинственно и совершенно беззвучно колеблясь, она уходила в легкую дымку под месяц и поблескивала в ней, словно там появлялись и исчезали золотые змейки. Блеск этот терялся в двадцати шагах от меня,— дальше он мерцал уже чуть видно, как мертвый глаз. А когда я смотрел кверху, мне опять чудилось, что этот месяц — бледный образ какого-то мистического видения, что эта тишина — тайна, часть того, что за пределами познаваемого...

Внезапно зазвонили на баке в колокол. Звуки уныло побежали один за другим, нарушая молчание ночи, и тотчас же послышался где-то впереди смутный шум и ропот. Мгновенно предчувствие опасности заставило меня

впиться глазами в сумрачный туман, и вдруг кровавый сигнальный огонь, похожий на крупный рубин, вырос из тумана и стал быстро приближаться к нам. Под ним мутно-золотыми пятнами расплывались и шли длинной цепью освещенные окна, а в шуме колес, который был похож сперва на приближающийся шум каскада, уже выделялись звуки быстро вертящихся лопастей, и можно было различить, как шипит и сыплется вода. Вахтенный на нашем пароходе с поспешностью очнувшегося от сна человека машинально и нескладно забил в колокол, а затем тяжко захрипела труба, и из нее с трудом пробился широкий и мрачный гул, потрясающий весь остов парохода. Из тумана раздался тогда ответный голос, похожий на гулкий крик паровоза, но он быстро затерялся в тумане, а за ним медленно стал таять и шум колес, и красный сигнальный огонь. В этом крике и шуме чувствовалось что-то задорное и суетное,— верно, и капитан встречного парохода был молод и дерзок,— но что значила эта суетная смелость перед лицом такой ночи!

«Где мы?» — пришло мне в голову. Вахтенные, вероятно, уже снова дремлют, пассажиры спят непробудным сном,— туман сбил меня с толку... Я не представляю себе, где мы, потому что в этих местах на Черном море я никогда не бывал... Я не понимаю молчаливых тайн этой ночи, как и вообще ничего не понимаю в жизни. Я совершенно одинок, я не знаю, зачем я существую. И зачем эта странная ночь, и зачем стоит этот сонный корабль в сонном море? А главное — зачем все это не просто, а полно какого-то глубокого и таинственного значения?

Околдованный тишиной ночи, тишиной, подобной которой никогда не бывает на земле, я отдавался в ее полную власть. На мгновение мне почудилось, что в невыразимой дали где-то прокричал петух... Я усмехнулся. «Этого не может быть»,— подумал я с какой-то странной радостью; и все, чем я жил когда-то, показалось мне таким маленьким и жалким! Если бы в этот час выплыла на месяц наяда,— я не удивился бы... Не удивился бы, если бы утопленница вышла из воды и, бледная от месяца, села в лодку, спущенную около окон пассажирских кают... Теперь месяц смотрит прямо в эти круглые окошечки и озаряет угасающим светом спящих, а они лежат как мертвые... Не разбудить ли кого-нибудь? Но нет,—

зачем? Мне никто не нужен теперь, и я никому не нужен, и все мы чужды друг другу...

И невыразимое спокойствие великой и безнадежной печали овладело мною. Думал я о том, что всегда влекло меня к себе,— о всех живших на этой земле, о людях древности, которых всех видел этот месяц и которые, верно, казались ему всегда настолько маленькими и похожими друг на друга, что он даже не замечал их исчезновения с земли. Но теперь и они были чужды мне: я не испытывал моего постоянного и страстного стремления пережить все их жизни,— слиться со всеми, которые когда-то жили, любили, страдали, радовались и прошли и бесследно скрылись во тьме времен и веков. Одно я знал без всяких колебаний и сомнений,— это то, что есть что-то высшее даже по сравнению с глубочайшею земною древностью... может быть, та тайна, которая молчаливо хранилась в этой ночи... И впервые мне пришло в голову, что, может быть, именно то великое, что обыкновенно называют с м е р т ь ю, заглянуло мне в эту ночь в лицо и что я впервые встретил ее спокойно и понял так, как должно человеку...

Утром, когда я открыл глаза и почувствовал, что пароход идет полным ходом и что в открытый люк тянет теплый, легкий ветерок с прибрежий, я вскочил с койки, снова полный бессознательной радости жизни. Я быстро умылся и оделся и, так как по коридорам парохода громко звонили, сзывая к завтраку, распахнул дверь каюты и, весело стуча ярко вычищенными сапогами по трапу, побежал наверх. Улыбаясь, я сидел потом на верхней палубе и чувствовал к кому-то детскую благодарность за все, что должны переживать мы. И ночь и туман, казалось мне, были только затем, чтобы я еще более любил и ценил утро. А утро было ласковое и солнечное,— ясное бирюзовое небо весны сияло над пароходом, и вода легко бежала и плескалась вдоль его бортов.

1901



ТИШИНА

Мы приехали в Женеву под дождем, ночью, но к рассвету от дождя осталась только свежесть в воздухе. Отворив дверь на балкон, мы почувствовали упоительную прохладу раннего осеннего утра. В улицах таял молочный туман с озера, солнце тускло, но уже бодро блистало в тумане, а влажный ветер тихо покачивал кроваво-красные листья дикого винограда на столбах балкона. Мы умылись и оделись быстро и вышли из отеля, освеженные крепким сном, готовые на какие угодно скитания и с молодым предчувствием чего-то хорошего, что сулит нам день.

— Славное утро опять послал нам Бог! — сказал мне товарищ.— Ты заметил, что первый день после нашего приезда куда-нибудь — непременно погожий? Не курить, есть только молоко, зелень, жить на воздухе и просыпаться вместе с солнцем — как это облагораживает дух! Скоро об этом будут говорить не доктора, а поэты... Не кури, не кури — это дает ощущение, давно не испытанное, ощущение чистоты и юношеской свежести.

Но где озеро? И на минуту мы остановились в недоумении. Вдалеке все было в легком светлом тумане, а мостовая в конце улицы блестела под солнцем, как золотая. И мы быстро пошли к тому, что казалось мокрой и блестящей мостовой.

Солнце на пустой набережной уже сильно пригревало сквозь туман, и все сияло перед глазами. Но долины, озеро и дальние Савойские горы еще дышали холодом. Выйдя на набережную, мы невольно остановились в том радостном изумлении, которое испытываешь всегда, внезапно увидав простор моря, озера или долин с высоты. Савойские горы таяли в светлом утреннем пару, и под солнцем едва можно было различить их: приглядишь-

ся — и уже только тогда увидишь тонкую золотистую линию хребта, вырезывающуюся в небе, а потом почувствуешь и самую массивность горных громад. Вблизи, в огромном пространстве долины, в прохладной и влажной свежести тумана, лежало голубое, прозрачное и глубокое озеро. Оно еще дремало, как дремали и косые паруса лодок, столпившихся у города. Точно серые поднятые крылья возвышались они в воздухе, но были еще беспомощны в тишине утра. Две-три чайки низко и плавно скользнули над водою, и одна из них вдруг блеснула мимо нас и метнулась в улицу. Мы разом обернулись за ней и видели, как она, испуганная непривычным зрелищем, сделала резкий и быстрый поворот назад... Счастливы люди, в города которых залетают чайки в солнечное утро!

И нас потянуло в горы, на озеро, куда-то вдаль... Пока испарился туман, мы сходили в город, купили в кабачке вина и сыру, полюбовались чистотой и приветливостью улиц, живописными тополями и платанами в тихих золотых садах. Бирюзовое небо стало уже ярко и чисто над ними.

— Знаешь,— говорил мне товарищ,— мне часто не верится, что я действительно в тех местах, о которых, бывало, только мечтал, глядя на карту, и все хочется напомнить себе об этом. Чувствуешь ты, что вот за этими горами, так близко от нас — Италия? Чувствуешь ты юг в этой удивительной осени? А вон Савойя — родина тех самых мальчиков-савояров с обезьянками, о которых читал в детстве такие трогательные истории!

У мостков пристани дремали на солнце и лодки и лодочники. В голубой прозрачной воде видны были песчаное дно, сваи и кили лодок. Было совсем летнее утро, и только по тому спокойствию, которое царило в прозрачном воздухе, чувствовалось, что это спокойствие последних дней осени. От тумана не осталось и следа, озеро было необыкновенно далеко видно по долине. И, сняв пиджаки, мы засучили рукава и взялись за весла. Пристань отошла, стала отдаляться. Уходил и сиявший под солнцем город, набережная, парки... Впереди вода блестела ослепительно, около лодки становилось все глубже, тяжелей и прозрачней. Весело было погружать в нее весла, чувствовать ее упругость и смотреть, как взлетают из-под весел брызги. А когда я оглядывался, я видел раскрасневшееся лицо моего спутника и голубую ширь,

вольно и спокойно лежавшую среди покатых гор, покрытых желтеющими лесами, виноградниками и виллами в парках. На минуту мы опустили весла — и наступила глубокая тишина. Прикрыв глаза, мы долго слышали только однообразное журчание воды, бегущей вдоль бортов лодки. И даже по звуку можно было угадать, как чиста и прозрачна она.

— Едем? — спросил я.

— Погоди — слушай!

Я совсем поднял весла, и журчание стало медленно замирать. С весел упала капля, другая... Солнце все жарче пригревало нам лица... И вот издалека-издалека долетел до нас мерный и звонкий голос колокола, одиноко звонившего где-то в горах. Так далеко был он, что порою мы едва улавливали его.

— Помнишь колокол Кёльнского собора? — вполголоса спросил меня товарищ.— Я проснулся раньше тебя, еще утренняя заря чуть брезжила,— стал у раскрытого окна и долго слушал, как он одиноко и звонко кричал над своим старым городом. Помнишь орган в соборе и всю средневековую красоту его? Рейн, старые города, старые картины, Париж... Но это не то, это лучше...

Звон колокола, чистый и нежный, доносился до нас, сладко было слушать его, сидеть с закрытыми глазами и чувствовать ласку солнца на лице и мягкую прохладу от воды. С отдаленным, глухим и сердитым ропотом колес прошел верстах в двух от нас весь белый и сверкающий пароходик. Плавные, стекловидные перекаты воды долго и широко бежали к нам и, наконец, ласково заколыхали лодку.

— Вот мы и в горах,— сказал мне товарищ, когда пароход стал, сокращаясь, удаляться.— Жизнь осталась где-то там, за этими горами, а мы вступаем в благословенную страну той тишины, которой нет имени на нашем языке.

Медленно работая веслами, он говорил и слушал, а озеро все шире обнимало нас. Звон колокола казался то ближе, то дальше.

«Где-то в горах,— думал я,— приютилась маленькая колокольня и одна славит своим звонким голосом мир и тишину воскресного утра, призывая идти к ней по горным тропинкам, над голубым озером...»

Далеко по горам пестрели нежными осенними красками леса и рощи, одиноко проводили ясный осенний

день живописные виллы в садах... Чтобы вымыть стакан, я зачерпнул в него воды и бросил ее в воздух. Она взвилась и блеснула в воздухе.

— Помнишь ты «Манфреда»? — сказал товарищ.— Манфред в Бернских Альпах, у водопада. Полдень. Он произносит заклинания, берет в пригоршни воды и бросает ее в воздух. В радуге водопада появляется Дева Гор... Как это прекрасно! Вот сейчас я подумал, что влаге можно поклоняться, как поклонялись огню... До чего это понятно — обожествление природы! Какое это великое счастье — жить, существовать в мире, дышать, видеть небо, воду, солнце! И все же мы несчастны! В чем дело? В кратковременности нашей, в одиночестве, в неправильности нашей жизни? Вот на этом озере были когда-то Шелли, Байрон... потом Мопассан, одинокий и носивший в своем сердце жажду счастья целого мира. И все мечтатели, все любившие и молодые когда-то, все, которые приходили сюда за счастьем, все уже прошли и скрылись навсегда. Так пройдем и мы с тобой... Хочешь вина?

Я подставил стакан, он налил и прибавил с грустной улыбкой:

— Мне кажется, что когда-нибудь я сольюсь с этой предвечной тишиной, у преддверия которой мы стоим, и что счастье только в ней. Помнишь Ибсена: «Ты слышишь, Майя, тишину?» Слышишь ли ты ее, эту т и ш и н у г о р?

Мы долго глядели на горы и на чистое нежное небо над ними, в котором была безнадежная грусть осени. Мы представили самих себя далеко в сердцевине гор, где не бывала еще нога человека... Солнце стоит над глубокими и со всех сторон замкнутыми долинами, орел парит в огромном пространстве между ними и небом... И только нас двое, и мы идем все дальше в глубину гор, как те, что гибнут в поисках эдельвейса...

Не спеша работая веслами и прислушиваясь к замирающему звону, мы говорили о путешествии в Савойю, о том, сколько времени мы можем пробыть там-то и там-то, но мысли наши снова невольно возвращались к мечтам о счастье. Красота новой для нас природы, красота искусства и религии всюду волновала нас юношеской жаждой возвысить до нее нашу жизнь, наполнить ее истинными радостями и разделить эти радости с людьми. Женщины, за которыми мы всюду следили в пути, дразнили нас жаждой любви,

возвышенной, романтической, утонченно-чувственной, почти обожествляющей тот идеально-женственный образ, который мелькал перед нами... Но не сказочное ли это счастье, которое уходит за темные леса и горы все дальше по мере того, как идешь за ним?

Товарищу, с которым я пережил так много в пути, одному из немногих, которых я люблю, посвящаю эти немногие строки. Посылаю мой привет всем друзьям нашим по скитаниям, мечтам и чувствам.

1901



КОСТЕР

У поворота с большой дороги, у столба, указывающего путь на проселок, горел в темноте костер. Я ехал в тарантасе тройкой, слушал звон поддужного колокольчика, дышал свежестью степной осенней ночи. Костер горел ярко, и чем ближе я подъезжал к нему, тем все резче отделялось пламя от нависшего над ним мрака. А вскоре стало можно различить и самый столб, озаренный из-под низу, и черные фигуры людей, сидевших на земле. Казалось, что они сидят в каком-то хмуром подземелье и что темные своды этого подземелья дрожат от переплетающихся языков пламени.

Когда его отблеск коснулся голов тройки, люди, сидевшие у костра, повернулись. Позы у них были внимательные, лица красные. Собака вдруг вырезалась на огне и залаяла. Потом поднялся с земли один из сидевших. В низком пространстве, озаренном костром, он был огромен.

— Гирла-а! — гортанно и глухо крикнул он на собаку.

Остановив лошадей, я попросил спичек:

— Добрый вечер! Нельзя ли закурить у вас?

За лаем собаки человек, который выжидательно встал передо мною, крепкий, широкогрудый старик в бараньей шапке и накинутом на плечи кожухе, не расслышал, злобно топнул ногой.

— Ат, ка́торжна! — крикнул он на овчарку и, не спуская с меня подозрительного взгляда, громко прибавил гортанным цыганским говором: — Добрый вечер, пану! А що милости его завгодно будэ?

Ноздри у него были вырезаны резко, борода доходила до самых глаз. И в этих черных глазах, в черных жестких волосах, густо вьющихся из-под шапки, в жесткой, кудрявой бороде — во всем чувствовалась дикость и внимательность степного человека.

— Да вот, закурить нечем,— повторил я.— Дайте, пожалуйста, пару спичек.

— А хиба ж есть спички у цыган? — спросил старик.— Може, пан от костра запалит?

Он отошел к костру, наклонился и спокойно кинул на ладонь руки раскаленный уголь. Я поспешил приставить к нему папиросу и кинул два-три быстрых взгляда на маленький табор. Один из сидевших был рыжий оборванный мужик, видно, бродяга-рабочий с низов, другой — молодой цыган. Он сидел, горделиво откинув голову назад, и, охватив руками поднятые колени, искоса смотрел на меня. Синевато-смуглое лицо его было тонко и очень красиво. Белки глаз выделялись на этом лице — и глаза казались изумленными. Одет он был щеголем: тонкие сапоги, новый картуз, городской пиджак, шелковая лиловая рубаха.

— Може, пан блукае? — спросил старик, кидая уголь.

— Нет,— сказал я и еще раз глянул за костер, который слепил меня своим ярким мерцанием. И тогда из темноты выделились серые полы большого разлатого шатра, брошенная дуга и оглобли телеги, а возле них — самовар, горшки и большая перина, на которой лежала толстая цыганка в лохмотьях, кормившая грудью полуголого ребенка. Надо всем же этим стояла девочка лет пятнадцати и задумчиво смотрела на меня печально-призывными глазами необыкновенной красоты.

— Може, проводить пана? — повторил старик.

— Нет, спасибо,— поспешил я ответить и откинулся в задок тарантаса.

— Пошел!

Лошади тронули, копыта дружно застучали, а колокольчик так и залился жалобным стоном, перебивая лай бросившейся за нами собаки...

Не было больше тепла и запаха горящего бурьяна, в лицо веяло свежестью ночи, и опять, темнея в сумраке, бежали навстречу мне поля. Черная дуга высоко вырезывалась в небе и, качаясь, задевала звезды. Но еще ярче, чем у костра, видел я теперь черные волосы, нежно-страстные глаза, старое серебряное монисто на шее... И в запахе росистых трав и в одиноком звоне колокольчика, в звездах и в небе было уже новое чувство — томящее, непонятное, говорящее о какой-то невознаградимой потере...

1902—1932

В АВГУСТЕ

Уехала девушка, которую я любил, которой я ничего не сказал о своей любви, и так как мне шел тогда двадцать второй год, то казалось, что я остался один во всем свете. Был конец августа; в малорусском городе, где я жил, стояло знойное затишье. И когда однажды в субботу я вышел после работы от бондаря, на улицах было так пусто, что, не заходя домой, я побрел куда глаза глядят за город. Шел я по тротуарам мимо закрытых еврейских магазинов и старых торговых рядов; в соборе звонили к вечерне, от домов ложились длинные тени, но было еще так жарко, как бывает в южных городах в конце августа, когда даже в садах, жарившихся на солнце целое лето, все покрыто пылью. Мне было тоскливо, несказанно тоскливо, а вокруг меня все замирало от полноты счастия,— в садах, в степи, на баштанах и даже в самом воздухе и густом солнечном блеске.

На пыльной площади у водопровода стояла красивая большая хохлушка в расшитой белой сорочке и черной плахте, плотно обтягивавшей ей бедра, в башмаках с подковками на босую ногу. Было в ней что-то общее с Венерой Милосской, если только можно вообразить себе Венеру загорелой, с карими веселыми глазами и с такой ясностью чела, которая бывает, кажется, только у хохлушек и полек. Наполнив ведра, она положила коромысло на плечо и пошла прямо навстречу мне,— стройная, несмотря на тяжесть плескавшейся воды, слегка покачивая станом и постукивая башмаками по деревянному тротуару... И помню, как почтительно я посторонился, давая ей дорогу, и как долго смотрел за нею! А в улицу, которая шла с площади под гору, на Подол, видна была огромная, мягко синеющая долина реки, луга, леса, смуглые золотистые пески за ними и даль, нежная южная даль...

Кажется, никогда не любил я так Малороссию, как в ту пору, никогда не хотел так жить, как в ту осень, а между тем толковал я тогда только о борьбе с жизнью, учился только бондарному ремеслу. И теперь, постояв на площади, я решил отправиться в гости к толстовцам за город. Спускаясь под гору на Подол, я встретил много парных извозчиков, которые шибко везли пассажиров с пятичасового поезда из Крыма. Огромные ломовые лошади медленно тащили в гору гремящие телеги с ящиками и тюками, и запах москательных товаров, ванили и рогожи, извозчики, пыль и люди, которые ехали откуда-то, где должно быть хорошо,— все опять заставило мое сердце сжаться от каких-то мучительно-тоскливых и сладких стремлений. Я свернул в тесный переулочек между садами и долго шел по предместью. «Панычи́» этого предместья, мастеровые и мещане, дико и чудесно «гука́ли» в летние ночи по долине да пели хорами на церковный лад красивые и печальные казацкие песни. Теперь «панычи» молотили. На окраине, там, где голубые и белые мазанки стояли уже на леваде, при начале долины, мелькали на токах цепы. Но в затишье долины было жарко так же, как в городе, и я поспешил взобраться на гору, в открытую, ровную степь.

Тихо, покойно и просторно было там. Вся степь, насколько хватал глаз, была золотая от густого и высокого жнивья. На широком, бесконечном шляхе лежала глубокая пыль: казалось, что идешь в бархатных башмаках. И все вокруг — и жнивья, и дорога, и воздух — сияло от низкого вечернего солнца. Прошел черный от загара пожилой хохол в тяжелых сапогах, в бараньей шапке и толстой свитке цвета ржаного хлеба, и палка, которой он попирался, блестела на солнце, как стеклянная. Крылья грачей, перелетавших над жнивьями, тоже блестели и лоснились, и нужно было закрываться полями жаркой шляпы от этого блеска и зноя. Далеко, почти на горизонте, можно было различить телегу и пару волов, которые медленно влекли ее, да шалаш сторожа на бахчах... Ах, славно было среди этой тишины и простора! Но всю душу мою тянуло к югу, за долину, в ту сторону, куда уехала она...

В полуверсте от дороги, над долиной, краснела черепичная кровля маленького хутора,— поместье толстовцев, братьев Павла и Виктора Тимченков. И я пошел туда по сухому, колкому жнивью. Вокруг хаты было

пусто. Я заглянул в окошечко — там гудели одни мухи, гудели целыми роями: на стеклах, под потолком, в горшках, стоявших на лавках. К хате был пристроен скотник; и там не оказалось никого. Ворота были открыты, и солнце сушило двор, заваленный навозом...

— Вы куда? — внезапно окликнул меня женский голос.

Я обернулся: на обрыве над долиной, на меже бахчи, сидела жена старшего Тимченки, Ольга Семеновна. Не вставая, она подала мне руку, и я сел с ней рядом.

— Скучно? — спросил я, помолчав и глядя ей прямо в лицо.

Она опустила глаза на свои босые ноги. Маленькая, загорелая, в грязной рубахе и старенькой плахте, она была похожа на девочку, которую послали стеречь баштаны и которая грустно проводила долгий солнечный день. И лицом она была похожа на девочку-подростка из русского села. Однако я никак не мог привыкнуть к ее одежде, к тому, что она босыми ногами ходит по навозу и колкому жнивью, даже стыдился смотреть на эти ноги. Да она и сама все поджимала их и часто искоса поглядывала на свои испорченные ногти. А ноги были маленькие и красивые.

— Муж ушел на леваду молотить,— сказала она,— а Виктор Николаич уехал... Павловского опять арестовали за отказ от солдатчины. Вы помните Павловского?

— Помню,— сказал я машинально.

И мы смолкли и долго смотрели на синеву долины, на леса, пески и меланхолично зовущую даль. Солнце еще грело нас; круглые, тяжелые арбузы лежали среди длинных пожелтевших плетей, перепутанных, как змеи, и тоже грелись.

— Отчего вы не откровенны со мной? — начал я.— Зачем вы насилуете себя? Вы любите меня.

Она съежилась, подобрала ноги и прикрыла глаза; потом сдунула волос, упавший на щеку, и с решительной улыбкой сказала:

— Дайте мне папироску.

Я дал. Она затянулась раза два, закашлялась, далеко бросила папиросу и задумалась.

— Я с самого утра так сижу,— сказала она.— Куры приходят с самой левады расклевывать арбузы... И не знаю, почему вам кажется здесь скучно. Мне очень нравится здесь, очень...

Над долиной, верстах в двух от хутора, куда я пришел на закате, я сел, снял шляпу... Сквозь слезы я смотрел вдаль, и где-то далеко мне грезились южные знойные города, синий степной вечер и образ какой-то женщины, который сливался с девушкой, которую я любил, но дополнял ее своею таинственностью и той детской печалью, которая была в глазах маленькой женщины на баштанах...

1901



ОСЕНЬЮ

I

В гостиной наступило на минуту молчание, и, воспользовавшись этим, она встала с места и как бы мельком взглянула на меня.

— Ну, мне пора,— сказала она с легким вздохом, и у меня дрогнуло сердце от предчувствия какой-то большой радости и тайны между нами.

Я не отходил от нее весь вечер и весь вечер ловил в ее глазах затаенный блеск, рассеянность и едва заметную, но какую-то новую ласковость. Теперь в тоне, каким она как бы с сожалением сказала, что ей пора уходить, мне почудился скрытый смысл,— то, что она знала, что я выйду с нею.

— Вы тоже? — полуутвердительно спросила она.— Значит, вы проводите меня,— прибавила она вскользь и, слегка не выдержав роли, улыбнулась, оглядываясь.

Стройная и гибкая, она легким и привычным движением руки захватила юбку черного платья. И в этой улыбке, в молодом изящном лице, в черных глазах и волосах, даже, казалось, в тонкой нитке жемчуга на шее и блеске брильянтов в серьгах — во всем была застенчивость девушки, которая любит впервые. И пока ее просили передать поклоны ее мужу, а потом помогали ей в прихожей одеваться, я считал секунды, боясь, что кто-нибудь выйдет с нами.

Но вот дверь, из которой на мгновение упала в темный двор полоса света, мягко захлопнулась. Подавляя нервную дрожь и чувствуя во всем теле необычную легкость, я взял ее руку и заботливо стал сводить с крыльца.

— Вы хорошо видите? — спросила она, глядя под ноги.

И в голосе ее опять послышалась поощряющая приветливость.

Я, наступая на лужи и листья, наугад повел ее по двору, мимо обнаженных акаций и уксусных деревьев, которые гулко и упруго, как корабельные снасти, гудели под влажным и сильным ветром южной ноябрьской ночи.

За решетчатыми воротами светился фонарь экипажа. Я взглянул ей в лицо. Не отвечая, она взяла своей маленькой, узкой от перчатки рукой железный прут ворот и без моей помощи откинула половину их в сторону. Поспешно прошла она к экипажу и села в него, так же быстро сел и я рядом с нею...

II

Мы долго не могли сказать ни слова. То, что тайно волновало нас последний месяц, было теперь сказано без слов, и мы молчали только потому, что сказали это слишком ясно и неожиданно. Я прижал ее руку к своим губам и, взволнованный, отвернулся и стал пристально глядеть в сумрачную даль бегущей навстречу нам улицы. Я еще боялся ее, и когда на мой вопрос,— не холодно ли ей,— она только со слабой улыбкой шевельнула губами, не в силах ответить, я понял, что и она боится меня. Но на пожатие руки она ответила благодарно и крепко.

Южный ветер шумел в деревьях на бульварах, колебал пламя редких газовых фонарей на перекрестках и скрипел вывесками над дверями запертых лавок. Иногда какая-нибудь сгорбленная фигура вырастала вместе с своею шаткою тенью под большим качающимся фонарем таверны, но исчезал фонарь за нами — и опять на улице было пусто, и только сырой ветер мягко и непрерывно бил по лицам. Из-под колес брызгами сыпалась в разные стороны грязь, и она, казалось, с интересом следила за ними. Я взглядывал иногда на ее опущенные ресницы и склоненный под шляпой профиль, чувствовал всю ее так близко от себя, слышал тонкий запах ее волос, и меня волновал даже гладкий и нежный мех соболя на ее шее...

Потом мы свернули на широкую, пустую и длинную улицу, казавшуюся бесконечной, миновали старые еврейские ряды и базар, и мостовая сразу оборвалась под нами. От толчка на новом повороте она покачнулась, и я невольно обнял ее. Она взглянула вперед, потом

обернулась ко мне. Мы встретились лицом к лицу, в ее глазах не было больше ни страха, ни колебания,— легкая застенчивость сквозила только в напряженной улыбке,— и тогда я, не сознавая, что делаю, на мгновение крепко прильнул к ее губам...

III

В темноте мелькали высокие силуэты телеграфных столбов вдоль дороги,— наконец пропали и они, свернули куда-то в сторону и скрылись. Небо, которое над городом было черно и все-таки отделялось от его слабо освещенных улиц, совершенно слилось здесь с землею, и нас окружил ветреный мрак. Я оглянулся назад. Огни города тоже исчезали,— они были рассыпаны точно где-то в темном море,— а впереди мерцал только один огонек, такой одинокий и отдаленный, точно он был на краю света. То была старая молдаванская корчма на большой дороге, и оттуда несло сильным ветром, который путался и торопливо шуршал в иссохших стеблях кукурузы.

— Куда мы едем? — спросила она, сдерживая дрожь в голосе.

Но глаза ее блестели,— наклонившись к ней, я различал их в темноте,— и в них было странное и вместе с тем счастливое выражение.

Ветер торопливо шуршал и бежал, путаясь в кукурузе, лошади быстро неслись ему навстречу. Снова куда-то мы свернули, и ветер сразу изменился, стал влажнее и прохладнее и еще беспокойней заметался вокруг нас.

Я полной грудью вдыхал его. Мне хотелось, чтобы все темное, слепое и непонятное, что было в этой ночи, было еще непонятнее и смелее. Ночь, которая казалась в городе обычной ненастной ночью, была здесь, в поле, совсем иная. В ее темноте и ветре было теперь что-то большое и властное,— и вот наконец послышался сквозь шорох бурьянов какой-то ровный, однообразный, величавый шум.

— Море? — спросила она.

— Море,— сказал я.— Это уже последние дачи.

А в побледневшей темноте, к которой мы пригляделись, вырастали влево от нас огромные и угрюмые силуэты тополей в дачных садах, спускавшихся к морю. Шорох колес и топот копыт по грязи, отдаваясь от садовых

оград, на минуту стал явственнее, но скоро их заглушил приближающийся гул деревьев, в которых метался ветер, и шум моря. Промелькнуло несколько наглухо забитых домов, смутно белевших в темноте и казавшихся мертвыми... Потом тополи расступились, и внезапно в пролет между ними пахнуло влажностью,— тем ветром, который прилетает к земле с огромных водяных пространств и кажется их свежим дыханием.

Лошади остановились.

И тотчас же ровный и величавый ропот, в котором чувствовалась огромная тяжесть воды, и беспорядочный гул деревьев в беспокойно дремавших садах стали слышнее, и мы быстро пошли по листьям и лужам, по какой-то высокой аллее, к обрывам.

IV

Море гудело под ними грозно, выделяясь из всех шумов этой тревожной и сонной ночи. Огромное, теряющееся в пространстве, оно лежало глубоко внизу, далеко белея сквозь сумрак бегущими к земле гривами пены. Страшен был и беспорядочный гул старых тополей за оградой сада, мрачным островом выраставшего на скалистом прибрежье. Чувствовалось, что в этом безлюдном месте властно царит теперь ночь поздней осени, и старый большой сад, забитый на зиму дом и раскрытые беседки по углам ограды были жутки своей заброшенностью. Одно море гудело ровно, победно и, казалось, все величавее в сознании своей силы. Влажный ветер валил с ног на обрыве, и мы долго не в состоянии были насытиться его мягкой, до глубины души проникающей свежестью. Потом, скользя по мокрым глинистым тропинкам и остаткам деревянных лестниц, мы стали спускаться вниз, к сверкающему пеной прибою. Ступив на гравий, мы тотчас же отскочили в сторону от волны, разбившейся о камни. Высились и гудели черные тополи, а под ними, как бы в ответ им, жадным и бешеным прибоем играло море. Высокие, долетающие до нас волны с грохотом пушечных выстрелов рушились на берег, крутились и сверкали целыми водопадами снежной пены, рыли песок и камни и, убегая назад, увлекали спутанные водоросли, ил и гравий, который гремел и скрежетал в их влажном шуме. И весь воздух был полон тонкой, прохладной пылью, все вокруг дышало вольной свежестью

моря. Темнота бледнела, и море уже ясно видно было на далёкое пространство!

— И мы одни! — сказала она, закрывая глаза.

V

Мы были одни. Я целовал ее губы, упиваясь их нежностью и влажностью, целовал глаза, которые она подставляла мне, прикрывая их с улыбкой, целовал похолодевшее от морского ветра лицо, а когда она села на камень, стал перед нею на колени, обессиленный радостью.

— А завтра? — говорила она над моей головою.

И я поднимал голову и смотрел ей в лицо. За мною жадно бушевало море, над нами высились и гудели тополи...

— Что завтра? — повторил я ее вопрос и почувствовал, как у меня дрогнул голос от слез непобедимого счастья.— Что завтра?

Она долго не отвечала мне, потом протянула мне руку, и я стал снимать перчатку, целуя и руку и перчатку и наслаждаясь их тонким, женственным запахом.

— Да! — сказала она медленно, и я близко видел в звездном свете ее бледное и счастливое лицо.— Когда я была девушкой, я без конца мечтала о счастье, но все оказалось так скучно и обыденно, что теперь эта, может быть, единственная счастливая ночь в моей жизни кажется мне непохожей на действительность и преступной. Завтра я с ужасом вспомню эту ночь, но теперь мне все равно... Я люблю тебя,— говорила она нежно, тихо и вдумчиво, как бы говоря только для самой себя.

Редкие, голубоватые звезды мелькали между тучами над нами, и небо понемногу расчищалось, и тополя на обрывах чернели резче, и море все более отделялось от далеких горизонтов. Была ли она лучше других, которых я любил, я не знаю, но в эту ночь она была несравненной. И когда я целовал платье на ее коленях, а она тихо смеялась сквозь слезы и обнимала мою голову, я смотрел на нее с восторгом безумия, и в тонком звездном свете ее бледное, счастливое и усталое лицо казалось мне лицом бессмертной.

1901

НОВЫЙ ГОД

— Послушай,— сказала жена,— мне жутко.

Была лунная зимняя полночь, мы ночевали на хуторе в Тамбовской губернии, по пути в Петербург с юга, и спали в детской, единственной теплой комнате во всем доме. Открыв глаза, я увидал легкий сумрак, наполненный голубоватым светом, пол, покрытый попонами, и белую лежанку. Над квадратным окном, в которое виднелся светлый снежный двор, торчала щетина соломенной крыши, серебрившаяся инеем. Было так тихо, как может быть только в поле в зимние ночи.

— Ты спишь,— сказала жена недовольно,— а я задремала давеча в возке и теперь не могу...

Она полулежала на большой старинной кровати у противоположной стены. Когда я подошел к ней, она заговорила веселым шепотом:

— Слушай, ты не сердишься, что я разбудила тебя? Мне, правда, стало жутко немного и как-то очень хорошо. Я почувствовала, что мы с тобой совсем, совсем одни тут, и на меня напал чисто детский страх...

Она подняла голову и прислушалась.

— Слышишь, как тихо? — спросила она чуть слышно.

Мысленно я далеко оглянул снежные поля вокруг нас,— всюду было мертвое молчание русской зимней ночи, среди которой таинственно приближался Новый год... Так давно не ночевал я в деревне и так давно не говорили мы с женой мирно! Я несколько раз поцеловал ее в глаза и волосы с той спокойной любовью, которая бывает только в редкие минуты, и она внезапно ответила мне порывистыми поцелуями влюбленной девушки. Потом долго прижимала мою руку к своей загоревшейся щеке.

— Как хорошо! — проговорила она со вздохом и убежденно. И, помолчав, прибавила: — Да, все-таки ты единственный близкий мне человек! Ты чувствуешь, что я люблю тебя?

Я пожал ее руку.

— Как это случилось? — спросила она, открывая глаза.— Выходила я не любя, живем мы с тобой дурно, ты говоришь, что из-за меня ты ведешь пошлое и тяжелое существование... И однако, все чаще мы чувствуем, что мы нужны друг другу. Откуда это приходит и почему только в некоторые минуты? С Новым годом, Костя! — сказала она, стараясь улыбнуться, и несколько теплых слез упало на мою руку.

Положив голову на подушку, она заплакала, и, верно, слезы были приятны ей, потому что изредка она поднимала лицо, улыбалась сквозь слезы и целовала мою руку, стараясь продлить их нежностью. Я гладил ее волосы, давая понять, что я ценю и понимаю эти слезы. Я вспомнил прошлый Новый год, который мы, по обыкновению, встречали в Петербурге в кружке моих сослуживцев, хотел вспомнить позапрошлый — и не мог, и опять подумал то, что часто приходит мне в голову: годы сливаются в один, беспорядочный и однообразный, полный серых служебных дней, умственные и душевные способности слабеют, и все более неосуществимыми кажутся надежды иметь свой угол, поселиться где-нибудь в деревне или на юге, копаться с женой и детьми в виноградниках, ловить в море летом рыбу... Я вспомнил, как ровно год тому назад жена с притворной любезностью заботилась и хлопотала о каждом, кто, считаясь нашим другом, встречал с нами новогоднюю ночь, как она улыбалась некоторым из молодых гостей и предлагала загадочно-меланхолические тосты и как чужда и неприятна была мне она в тесной петербургской квартирке...

— Ну, полно, Оля! — сказал я.

— Дай мне платок,— тихо ответила она и по-детски, прерывисто вздохнула.— Я уже не плачу больше.

Лунный свет воздушно-серебристой полосою падал на лежанку и озарял ее странною, яркою бледностью. Все остальное было в сумраке, и в нем медленно плавал дым моей папиросы. И от попон на полу, от теплой, озаренной лежанки — ото всего веяло глухой деревенской жизнью, уютностью родного дома...

— Ты рада, что мы заехали сюда? — спросил я.

— Ужасно, Костя, рада, ужасно! — ответила жена с порывистой искренностью.— Я думала об этом, когда ты уснул. По-моему,— сказала она уже с улыбкой,— венчаться надо бы два раза. Серьезно, какое это счастье — стать под венец сознательно, поживши, пострадавши с человеком! И непременно жить дома, в своем углу, где-нибудь подальше ото всех... «Родиться, жить и умереть в родном доме» — как говорит Мопассан!

Она задумалась и опять положила голову на подушку.

— Это сказал Сент-Бёв,— поправил я.

— Все равно, Костя. Я, может быть, и глупая, как ты постоянно говоришь, но все-таки одна люблю тебя... Хочешь, пойдем гулять?

— Гулять? Куда?

— По двору. Я надену валенки, твой полушубочек... Разве ты уснешь сейчас?

Через полчаса мы оделись и, улыбаясь, остановились у двери.

— Ты не сердишься? — спросила жена, взяв мою руку.

Она ласково заглядывала мне в глаза, и лицо ее было необыкновенно мило в эту минуту, и вся она казалась такой женственной в серой шали, которой она по-деревенски закутала голову, и в мягких валенках, делавших ее ниже ростом.

Из детской мы вышли в коридор, где было темно и холодно, как в погребе, и в темноте добрались до прихожей. Потом заглянули в залу и гостиную... Скрип двери, ведущей в залу, раздался по всему дому, а из сумрака большой, пустой комнаты, как два огромные глаза, глянули на нас два высоких окна в сад. Третье было прикрыто полуразломанными ставнями.

— Ау! — крикнула жена на пороге.

— Не надо,— сказал я,— лучше посмотри, как там хорошо.

Она притихла, и мы несмело вошли в комнату. Очень редкий и низенький сад, вернее, кустарник, раскиданный по широкой снежной поляне, был виден из окон, и одна половина его была в тени, далеко лежавшей от дома, а другая, освещенная, четко и нежно белела под звездным небом тихой зимней ночи. Кошка, неизвестно как попавшая сюда, вдруг спрыгнула с мягким стуком с подоконника и мелькнула у нас под ногами, блеснув золотисто-

оранжевыми глазами. Я вздрогнул, и жена тревожным шепотом спросила меня:

— Ты боялся бы здесь один?

Прижимаясь друг к другу, мы прошли по зале в гостиную, к двойным стеклянным дверям на балкон. Тут еще до сих пор стояла огромная кушетка, на которой я спал, приезжая в деревню студентом. Казалось, что еще вчера были эти летние дни, когда мы всей семьей обедали на балконе... Теперь в гостиной пахло плесенью и зимней сыростью, тяжелые, промерзлые обои кусками висели со стен... Было больно и не хотелось думать о прошлом, особенно перед лицом этой прекрасной зимней ночи. Из гостиной виден был весь сад и белоснежная равнина под звездным небом,— каждый сугроб чистого, девственного снега, каждая елочка среди его белизны.

— Там утонешь без лыж,— сказал я в ответ на просьбу жены пройти через сад на гумно.— А бывало, я по целым ночам сидел зимой на гумнах, в овсяных ометах... Теперь зайцы небось приходят к самому балкону.

Оторвав большой, неуклюжий кусок обоев, висевший у двери, я бросил его в угол, и мы вернулись в прихожую и через большие бревенчатые сени вышли на морозный воздух. Там я сел на ступени крыльца, закуривая папиросу, а жена, хрустя валенками по снегу, сбежала на сугробы и подняла лицо к бледному месяцу, уже низко стоявшему над черной длинной избой, в которой спали сторож усадьбы и наш ямщик со станции.

— Месяц, месяц, тебе золотые рога, а мне золотая казна! — заговорила она, кружась, как девочка, по широкому белому двору.

Голос ее звонко раздался в воздухе и был так странен в тишине этой мертвой усадьбы. Кружась, она прошла до ямщицкой кибитки, черневшей в тени перед избой, и было слышно, как она бормотала на ходу:

Татьяна на широкий двор
В открытом платьице выходит,
На месяц зеркало наводит,
Но в темном зеркале одна
Дрожит печальная луна...

— Никогда я уж не буду гадать о суженом! — сказала она, возвращаясь к крыльцу, запыхавшись и весело дыша морозной свежестью, и села на ступени возле меня.— Ты не уснул, Костя? Можно с тобой сесть рядом, миленький, золотой мой?

Большая рыжая собака медленно подошла к нам из-за крыльца, с ласковой снисходительностью виляя пушистым хвостом, и она обняла ее за широкую шею в густом меху, а собака глядела через ее голову умными вопросительными глазами и все так же равнодушно-ласково, вероятно сама того не замечая, махала хвостом. Я тоже гладил этот густой, холодный и глянцевитый мех, глядел на бледное человеческое лицо месяца, на длинную черную избу, на сияющий снегом двор, и думал, подбадривая себя:

«В самом деле, неужели уже все потеряно? Кто знает, что принесет мне этот Новый год?»

— А что теперь в Петербурге? — сказала жена, поднимая голову и слегка отпихивая собаку.— О чем ты думаешь, Костя? — спросила она, приближая ко мне помолодевшее на морозе лицо.— Я думаю о том, что вот мужики никогда не встречают Нового года, и во всей России теперь все давным-давно спят...

Но говорить не хотелось. Было уже холодно, в одежду пробирался мороз. Вправо от нас видно было в ворота блестящее, как золотая слюда, поле, и голая лозинка с тонкими обледеневшими ветвями, стоявшая далеко в поле, казалась сказочным стеклянным деревом. Днем я видел там остов дохлой коровы, и теперь собака вдруг насторожилась и остро приподняла уши: далеко по блестящей слюде побежало от лозинки что-то маленькое и темное,— может быть, лисица,— и в чуткой тишине долго замирало чуть уловимое, таинственное потрескивание наста.

Прислушиваясь, жена спросила:

— А если бы мы остались здесь?

Я подумал и ответил:

— А ты бы не соскучилась?

И как только я сказал, мы оба почувствовали, что не могли бы выжить здесь и года. Уйти от людей, никогда не видать ничего, кроме этого снежного поля! Положим, можно заняться хозяйством... Но какое хозяйство можно завести в этих жалких остатках усадьбы, на сотне десятин земли? И теперь всюду такие усадьбы,— на сто верст в окружности нет ни одного дома, где бы чувствовалось что-нибудь живое! А в деревнях — голод...

Заснули мы крепко, а утром, прямо с постели, нужно было собираться в дорогу. Когда за стеною заскрипели полозья и около самого окна прошли по высоким суг-

робам лошади, запряженные гусем, жена, полусонная, грустно улыбнулась, и чувствовалось, что ей жаль покидать теплую деревенскую комнату...

«Вот и Новый год! — думал я, поглядывая из скрипучей, опушенной инеем кибитки в серое поле.— Как-то мы проживем эти новые триста шестьдесят пять дней?»

Но мелкий лепет бубенчиков спутывал мысли, думать о будущем было неприятно. Выглядывая из кибитки, я уже едва различал мутный серо-сизый пейзаж усадьбы, все более уменьшающийся в ровной снежной степи и постепенно сливающийся с туманной далью морозного туманного дня. Покрикивая на заиндевевших лошадей, ямщик стоял и, видимо, был совершенно равнодушен и к Новому году, и к пустому полю, и к своей и к нашей участи. С трудом добравшись под тяжелым армяком и полушубком до кармана, он вытащил трубку, и скоро в зимнем воздухе запахло серой и душистой махоркой. Запах был родной, приятный, и меня трогали и воспоминание о хуторе, и наше временное примирение с женою, которая дремала, прижавшись в угол возка и закрыв большие, серые от инея ресницы. Но, повинуясь внутреннему желанию поскорее забыться в мелкой суете и привычной обстановке, я деланно-весело покрикивал:

— Погоняй, Степан, потрогивай! Опоздаем!

А далеко впереди уже бежали туманные силуэты телеграфных столбов, и мелкий лепет бубенчиков так шел к моим думам о бессвязной и бессмысленной жизни, которая ждала меня впереди...

1901



ЗАРЯ ВСЮ НОЧЬ

I

На закате шел дождь, полно и однообразно шумя по саду вокруг дома, и в незакрытое окно в зале тянуло сладкой свежестью мокрой майской зелени. Гром грохотал над крышей, гулко возрастая и разражаясь треском, когда мелькала красноватая молния, от нависших туч темнело. Потом приехали с поля в мокрых чекменях работники и стали распрягать у сарая грязные сохи, потом пригнали стадо, наполнившее всю усадьбу ревом и блеянием. Бабы бегали по двору за овцами, подоткнув подолы и блестя белыми босыми ногами по траве; пастушонок в огромной шапке и растрепанных лаптях гонялся по саду за коровой и с головой пропадал в облитых дождем лопухах, когда корова с шумом кидалась в чащу... Наступала ночь, дождь перестал, но отец, ушедший в поле еще утром, все не возвращался.

Я была одна дома, но я тогда никогда не скучала; я еще не успела насладиться ни своей ролью хозяйки, ни свободой после гимназии. Брат Паша учился в корпусе, Анюта, вышедшая замуж еще при жизни мамы, жила в Курске; мы с отцом провели мою первую деревенскую зиму в уединении. Но я была здорова и красива, нравилась сама себе, нравилась даже за то, что мне легко ходить и бегать, работать что-нибудь по дому или отдавать какое-нибудь приказание. За работой я напевала какие-то собственные мотивы, которые меня трогали. Увидав себя в зеркале, я невольно улыбалась. И, кажется, все было мне к лицу, хотя одевалась я очень просто.

Как только дождь прошел, я накинула на плечи шаль и, подхватив юбки, побежала к варку, где бабы доили коров. Несколько капель упало с неба на мою открытую голову, но легкие неопределенные облака, высоко стоя-

вшие над двором, уже расходились, и на дворе реял странный, бледный полусвет, как всегда бывает у нас в майские ночи. Свежесть мокрых трав доносилась с поля, мешаясь с запахом дыма из топившейся людской. На минуту я заглянула и туда,— работники, молодые мужики в белых замашных рубахах, сидели вокруг стола за чашкой похлебки и при моем появлении встали, а я подошла к столу и, улыбаясь над тем, что я бежала и запыхалась, сказала:

— А папа где? Он был в поле?

— Они были ненадолго и уехали,— ответило мне несколько голосов сразу.

— На чем? — спросила я.

— На дрожках, с барчуком Сиверсом.

— Разве он приехал? — чуть не сказала я, пораженная этим неожиданным приездом, но, вовремя спохватившись, только кивнула головой и поскорее вышла.

Сиверс, кончив Петровскую академию, отбывал тогда воинскую повинность. Меня еще в детстве называли его невестой, и он тогда очень не нравился мне за это. Но потом мне уже нередко думалось о нем как о женихе; а когда он, уезжая в августе в полк, приходил к нам в солдатской блузе с погонами и, как все вольноопределяющиеся, с удовольствием рассказывал о «словесности» фельдфебеля-малоросса, я начала свыкаться с мыслью, что буду его женой. Веселый, загорелый — резко белела у него только верхняя половина лба,— он был очень мил мне.

«Значит, он взял отпуск»,— взволнованно думала я, и мне было и приятно, что он приехал, очевидно, для меня, и жутко. Я торопилась в дом приготовить отцу ужин, но, когда я вошла в лакейскую, отец уже ходил по залу, стуча сапогами. И почему-то я необыкновенно обрадовалась ему. Шляпа у него была сдвинута на затылок, борода растрепана, длинные сапоги и чесучовый пиджак закиданы грязью, но он показался мне в эту минуту олицетворением мужской красоты и силы.

— Что ж ты в темноте? — спросила я.

— Да я, Тата,— ответил он, называя меня, как в детстве,— сейчас лягу и ужинать не буду. Устал ужасно, и притом, знаешь, который час? Ведь теперь всю ночь заря,— заря зарю встречает, как говорят мужики. Разве молока,— прибавил он рассеянно.

Я потянулась к лампе, но он замахал головой и,

разглядывая стакан на свет, нет ли мухи, стал пить молоко. Соловьи уже пели в саду, и в те три окна, что были на северо-запад, виднелось далекое светло-зеленое небо над лиловыми весенними тучками нежных и красивых очертаний. Все было неопределенно и на земле и в небе, все смягчено легким сумраком ночи, и все можно было разглядеть в полусвете непогасшей зари. Я спокойно отвечала отцу на вопросы по хозяйству, но, когда он внезапно сказал, что завтра к нам придет Сиверс, я почувствовала, что краснею.

— Зачем? — пробормотала я.

— Свататься за тебя,— ответил отец с принужденной улыбкой.— Что ж, малый красивый, умный, будет хороший хозяин... Мы уж пропили тебя.

— Не говори так, папочка,— сказала я, и на глазах у меня навернулись слезы.

Отец долго глядел на меня, потом, поцеловав в лоб, пошел к дверям кабинета.

— Утро вечера мудренее,— прибавил он с усмешкой.

II

Сонные мухи, потревоженные нашим разговором, тихо гудели на потолке, мало-помалу задремывая, часы зашипели и звонко и печально прокуковали одиннадцать...

«Утро вечера мудренее»,— пришли мне в голову успокоительные слова отца, и опять мне стало легко и както счастливо-грустно.

Отец уже спал, в кабинете было давно тихо, и все в усадьбе тоже спало. И что-то блаженное было в тишине ночи после дождя и старательном выщелкивании соловьев, что-то неуловимо прекрасное реяло в далеком полусвете зари. Стараясь не шуметь, я стала осторожно убирать со стола, переходя на цыпочках из комнаты в комнату, поставила в холодную печку в прихожей молоко, мед и масло, прикрыла чайный сервиз салфеткой и прошла в свою спальню. Это не разлучало меня с соловьями и зарей. Ставни в моей комнате были закрыты, но комната моя была рядом с гостиной, и в отворенную дверь, через гостиную, я видела полусвет в зале, а соловьи были слышны во всем доме. Распустив волосы, я долго сидела на постели, все собираясь что-то решить, потом закрыла глаза, облокотясь на подушку, и внезапно за-

снула. Кто-то явственно сказал надо мной: «Сиверс!» — я, вздрогнув, очнулась, и вдруг мысль о замужестве сладким ужасом, холодом пробежала по всему моему телу...

Я лежала долго, без мыслей, точно в забытье. Потом мне стало представляться, что я одна во всей усадьбе, уже замужняя, и что вот в такую же ночь муж вернется когда-нибудь из города, войдет в дом и неслышно снимет в прихожей пальто, а я предупрежу его — и тоже неслышно появлюсь на пороге спальни... Как радостно поднимет он меня на руки! И мне уже стало казаться, что я люблю. Сиверса я знала мало; мужчина, с которым я мысленно проводила эту самую нежную ночь моей первой любви, был не похож на него, и все-таки мне казалось, что я думаю о Сиверсе. Я почти год не видала его, а ночь делала его образ еще более красивым и желанным. Было тихо, темно; я лежала и все более теряла чувство действительности. «Что ж, красивый, умный...» И, улыбаясь, я глядела в темноту закрытых глаз, где плавали какие-то светлые пятна и лица...

А меж тем чувствовалось, что наступил самый глубокий час ночи. «Если бы Маша была дома,— подумала я про свою горничную,— я пошла бы сейчас к ней, и мы проговорили бы до рассвета... Но нет,— опять подумала я,— одной лучше... Я возьму ее к себе, когда выйду замуж...»

Что-то робко треснуло в зале. Я насторожилась, открыла глаза. В зале стало темнее, все вокруг меня и во мне самой уже изменилось и жило иной жизнью, особой ночной жизнью, которая непонятна утром. Соловьи умолкли,— медленно щелкал только один, живший в эту весну у балкона, маятник в зале тикал осторожно и размеренно-точно, а тишина в доме стала как бы напряженной. И, прислушиваясь к каждому шороху, я приподнялась на постели и почувствовала себя в полной власти этого таинственного часа, созданного для поцелуев, для воровских объятий, и самые невероятные предположения и ожидания стали казаться мне вполне естественными. Я вдруг вспомнила шутливое обещание Сиверса прийти как-нибудь ночью в наш сад на свидание со мной... А что, если он не шутил? Что, если он медленно и неслышно подойдет к балкону?

Облокотившись на подушку, я пристально смотрела в зыбкий сумрак и переживала в воображении все, что

я сказала бы ему едва слышным шепотом, отворяя дверь балкона, сладостно теряя волю и позволяя увести себя по сырому песку аллеи в глубину мокрого сада...

III

Я обулась, накинула шаль на плечи и, осторожно выйдя в гостиную, с бьющимся сердцем остановилась у двери на балкон. Потом, убедившись, что в доме не слышно ни звука, кроме мерного тиканья часов и соловьиного эха, бесшумно повернула ключ в замке. И тотчас же соловьиное щелканье, отдававшееся по саду, стало слышнее, напряженная тишина исчезла, и грудь свободно вздохнула душистой сыростью ночи.

По длинной аллее молодых березок, по мокрому песку дорожки я шла в полусвете зари, затемненной тучками на севере, в конец сада, где была сиреневая беседка среди тополей и осин. Было так тихо, что слышно было редкое падение капель с нависших ветвей. Все дремало, наслаждаясь своей дремотой, только соловей томился своей сладкой песней. В каждой тени мне чудилась человеческая фигура, сердце у меня поминутно замирало, и, когда я наконец вошла в темноту беседки и на меня пахнуло ее теплотой, я была почти уверена, что кто-то тотчас же неслышно и крепко обнимет меня.

Никого, однако, не было, и я стояла, дрожа от волнения и вслушиваясь в мелкий, сонный лепет осин. Потом села на сырую скамью... Я еще чего-то ждала, порою быстро взглядывала в сумрак рассвета... И еще долго близкое и неуловимое веяние счастья чувствовалось вокруг меня — то страшное и большое, что в тот или иной момент встречает всех нас на пороге жизни. Оно вдруг коснулось меня — и, может быть, сделало именно то, что нужно было сделать: коснуться и уйти. Помню, что все те нежные слова, которые были в моей душе, вызвали наконец на мои глаза слезы. Прислонясь к стволу сырого тополя, я ловила, как чье-то утешение, слабо возникающий и замирающий лепет листьев и была счастлива своими беззвучными слезами...

Я проследила весь сокровенный переход ночи в рассвет. Я видела, как сумрак стал бледнеть, как заалело белесое облачко на севере, сквозившее сквозь вишенник в отдалении. Свежело, я куталась в шаль, а в светлеющем просторе неба, который на глаз делался все больше и глу-

бже, дрожала чистой яркой каплей Венера. Я кого-то любила, и любовь моя была во всем: в холоде и в аромате утра, в свежести зеленого сада, в этой утренней звезде... Но вот послышался резкий визг водовозки — мимо сада, на речку... Потом на дворе кто-то крикнул сиплым, утренним голосом... Я выскользнула из беседки, быстро дошла до балкона, легко и бесшумно отворила дверь и пробежала на цыпочках в теплую темноту своей спальни...

Сиверс утром стрелял в нашем саду галок, а мне казалось, что в дом вошел пастух и хлопает большим кнутом. Но это не мешало мне крепко спать. Когда же я очнулась, в зале раздавались голоса и гремели тарелками. Потом Сиверс подошел к моим дверям и крикнул мне:

— Наталья Алексеевна! Стыдно! Заспались!

А мне и правда было стыдно, стыдно выйти к нему, стыдно, что я откажу ему,— теперь я знала это уже твердо,— и, торопясь одеться и поглядывая в зеркало на свое побледневшее лицо, я что-то шутливо и приветливо крикнула в ответ, но так слабо, что он, верно, не расслышал.

1902—1926



«НАДЕЖДА»

Есть несравненная прелесть в этих осенних днях, серых и прохладных, когда, возвращаясь из города на дачу, встречаешь только одних ломовых, нагруженных мебелью прочих запоздавших дачников. Уже прошли сентябрьские ливни, переулки между садами стали грязны, сады желтеют и редеют, до весны остаются наедине с морем. Вдоль дороги, среди садовых оград и решеток, только и видишь теперь что закрытые фруктовые лавки, будки, где продавали летом воды... По всему пути, от дорогих вилл и до выбеленных известкой домишек на отдаленном каменистом побережье, видишь раскрытые балконы, увитые длинными сухими ветвями дикого винограда, закрытые ставни, наглухо забитые двери, завернутые в рогожу нежные южные растения. И чем дальше от города, тем все тише, безлюдней. Паровик ходит уже редко, и требовательные свистки его на остановках далеко отдаются в чистый воздух. Шагаешь вдоль пути между садами и слушаешь... Вот паровик где-то остановился и два раза жалобно и гулко крикнул, но где, близко или далеко, не скажешь. Свисток похож на эхо, эхо на свисток, а замерло то и другое, растаял удаляющийся шум за садами — и опять полная, ничем не нарушаемая тишина. Не спеша шагаешь по шпалам, сердце бьется ровно, идти и дышать осенней прохладой легко и сладко... Остаться бы тут до весны, слушать по ночам шум бушующего в темноте моря, бродить по целым дням на обрывах! Образ одинокой женщины на террасе зимней виллы рисуется воображению, каждая аллея тополей, с синевой в пролете, зовет в свои ворота...

Мы шли и заглядывали в такие аллеи, любуясь старыми мраморными статуями среди цветников и деревьев, желтыми листьями, которые покрывали садовые дорож-

ки и ступени балконов. День был серый и спокойный, прохладный, в свежем воздухе сыро и крепко пахло морем. Море выглядывало то там, то здесь из-за кустов и деревьев, оно наполняло своим присутствием всю окрестность, его свобода и дыхание чувствовались все время и всюду. Помнишь мраморную нимфу в чьем-то большом запущенном парке, что так задумчиво сидела на глыбе камня среди фонтана? Летом, когда парк был тенист и зноен, когда солнечные пятна осыпали нимфу, из камня со всех сторон бежало множество холодных и чистых ключей, и, склонив голову, нимфа слушала их непрестанное журчанье. Теперь оно смолкло, в садах было свежо, тихо, и сквозь низкорослые акации, сквозь ветви обнаженных тополей и кустарники цвета земли свободно чувствовался пустынный простор морского побережья...

Мы шли, а воздушно-голубое море все шире открывалось то там, то здесь за деревьями и красными черепичными крышами дач на обрывах. И как раз в то время, когда мы дошли до того обрыва, где сады вдруг расступаются, где всегда внезапно останавливаешься, пораженный простором далей, почти на черте горизонта увидали мы паруса «Надежды».

Уже вечерело, и среди спокойных серых облаков, длинными грядами закрывавших небо, появились оранжевые оттенки — признак того, что холодеет. К горизонту было светлее, а прохлада после дождей и без того очистила воздух и необыкновенно расширила дали. В море был штиль, и оно развертывалось безграничной равниной нежно-зеленой, отчасти сиреневой стали, которая смелым и вольным полукругом касалась вдали неба. Внизу, по извилистой линии заливов, зеленая вода была так прозрачна, что даже с обрыва видны были темно-лиловые спины камней под нею; дальше ее поверхность кое-где морщилась, как поверхность шелковой ткани, под набегавшим легким ветром, доносившим до нас свежий морской запах, а еще дальше спокойный простор моря убегал к горизонту длинными и тонко начертанными полосами течений и оттенков. У горизонта они терялись,— казалось, что за горизонтом снова начинаются спокойные водные поля; но, должно быть, там, где была «Надежда», был ровный попутный бриз. И, ярусами подняв свои паруса, сузившись в отдалении, «Надежда», как сказочная плавучая колокольня, четко серела на той зыбкой грани, где море касалось неба.

Она была одна и необыкновенно подчеркивала эту ровную ширь, во всей полноте воскрешая своими парусами поэзию старого моря. И даже с прибрежья, несмотря на огромное для глаза расстояние, видно было, какое это славное, сильное судно, изящное и гордое, точно королевский бриг. Летом оно вернулось из Австралии, и мы встретили его, как друга, смотрели на него, как на живое. Сколько стран и морей видело оно, сколько океанских волн омывало его острую, высокую грудь! Гавань была переполнена судами, но все это были тяжелые и неуклюжие пароходы, дымившие черными приземистыми трубами, нагруженные черепицей, железом, хлебом, бочками, по целым дням грохотавшие лебедками. Они знали только свои грузы, а на «Надежде» странствовали, учились молодые моряки, и как выделялась в этом плавучем городе судов легкая и вольная «Надежда», входившая в гавань под шестью рядами своих парусов! Теперь она снова покидала нас... И все, о чем мы так юношески мечтали в те дни, глядя в море, вечно что-то обещающее за своими зыбкими горизонтами, все, чем оно волновало нас и в этот осенний день в тишине опустевших дачных садов,— все с необыкновенной силой охватило нас при виде далекой «Надежды»...

Коснувшись горизонта, она вырезалась и как бы застыла на нем. Куда она держала путь? К югу, к Босфору, Средиземному морю... Завтра перед ней откроются более нежные дали, тонко засияют новые берега... Стройная, одинокая на последней грани моря, она удалялась незаметно, но неуклонно. И уже новые горизонты открывались перед теми, которые были на ней...

Ночью, когда набегающий ветер беспокойно и осторожно, точно ища чего-то, шелестел сухими ветвями дикого винограда на нашем балконе и доносил полусонный шум волн, я все еще провожал «Надежду» на ее пути в темном море...

1902—1932

СНЫ

В поле было холодно, туманно и ветрено, смерклось рано. Еле светили подкрученные фитили ламп и резко воняло керосином в пустом вокзале нашей захолустной станции, на буфетной стойке в третьем классе спал под тулупом станционный сторож. Я прошел в комнату для господ — там медленно постукивали в полусумраке стенные часы, на столе желтела прошлогодняя вода в графине... Я лег на вытертый плюшевый диван и тотчас уснул, утомленный тяжелой дорогой под дождем и снегом. Спал я, как мне казалось, долго, но, открыв глаза, с тоской увидал, что на часах всего половина седьмого.

«И прошел тот день к вечеру темных осенних ночей»,— вспомнилась мне печальная строка из какой-то старой русской книги.

По-прежнему было холодно и тихо, по-прежнему чернела за окнами тьма...

Когда часы нерешительно, точно раздумывая, пробили восемь, где-то завизжала и гулко хлопнула дверь, а на платформе жалобно заныл звонок. Выйдя в третий класс, я увидал мещанина в картузе и чуйке, который, поставив локти на колени и положив в ладони голову, неподвижно сидел на скамье.

— Это поезд вышел? — спросил я.

Мещанин встрепенулся и взглянул на меня испуганно.

Потом что-то пробормотал и, нахмурившись, быстро пошел к дверям на платформу.

— У него жена в родах помирает,— сказал проснувшийся сторож, сидя на буфетной стойке и вертя цигарку из газетной бумаги.— У всякого, значит, свое горе,— прибавил он рассеянно и вдруг сладко зевнул, оживленно с непонятным злорадством заговорил:

— Вот тебе и женился на богатой! Второй де

мучается, царские врата в церкви отворили — ничего не помогает. Теперь в город за доктором скачет, а к чему, спрашивается?

— Думаешь, не поспеет?

— Никак! — ответил сторож.— Воротится он завтра вблизу вечера, а она к тому времени помрет. Беспременно помрет,— прибавил он убежденно.— Три раза, говорит, на оракул кидал,— кто, мол, раньше помрет, я али жена, и три раза выходило одно и то же. Перва, как это? «Нечего тебе простирать в даль свои намерения», а потом и того хуже: «Молись Богу, не пей вина и пива и готовься в монастырь». А вчерась, говорит, во сне видел: будто обрили его догола и все зубы вынули...

Он, верно, говорил бы еще долго, но тут тяжело зашумел подходящий товарный поезд. Снова завизжала и заныла входная дверь, показался кондуктор в тяжелой мокрой шинели с оторванным на спине хлястиком, за ним смазчик с тусклым фонарем в руке... Я вышел на платформу.

Там я долго ходил в темноте ветреной, сырой ночи. Наконец, сотрясая зазвеневшие рельсы, загорелся в тумане огромными красными глазами пассажирский паровоз. Я поднялся в полутемный, теплый и вонючий вагон, переполненный спящим народом, и уже на ходу поезда нашел свободную скамейку в углу около двери в другое отделение. В зыбком сумраке вокруг меня беспорядочно темнели лежащие на лавках и на поднятых спинках лавок, под полом гудели колеса, и, закрывая глаза, я все терял представление, в какую сторону идет поезд. Но прошел истопник с кочергой, похожий на негра, и не затворил возле меня двери. Послышался говор, потянуло махоркой... Мещанин, ехавший в город за доктором, сидел и курил с угрюмым, сосредоточенным выражением лица, на краю четвертой от двери лавки у чьих-то ног, а за растворенной дверью возле меня, в дымном сумраке под фонарем, тесной кучкой курили мужики и слушали кого-то, сидевшего против них.

— Да-а, братцы мои,— слышался сквозь гул бегущего вагона чей-то голос.— Да-а. И попадись в это самое разнесчастное село старичок-священник из Епифани. Перевели его, значит, из города в самый что ни на есть бедный приход, а за что перевели — пил дюже... значит, и перевели вроде как бы в наказание. А старичок-то пить-то пил, да оказался такой, что лучше и не надо.

«Сколько, мол, отец Петр, за кстины аль за похороны берете?» — «Не я, свет, беру, а нуждишка! Сколько силы твоей есть...» И вот так-то всегда. Перевели его, значит, весной, пробыл он честь честью лето, а осенью и захворай. Года, что ли, такие, или простудился он,— лето-то сами знаете какое было,— только, видимое дело, слабеть стал. И вот, братцы мои, почуявши такую историю, вышел он на Покров после обедни к народу — и простился со всеми: «Должно, говорит, скоро я преставлюсь к Господу Богу, миряне,— простите, ежели согрешил что...» И, сказавши таким манером, поклонился народу и ушел в алтарь. А пришедши домой, сел было обедать, есть не наел, только ложкой помутил, встал и говорит сторожу, что при ём заместо служки был: «Чтой-то, говорит, мне холодно, свет, и так-то скушно,— просто мóчи нет. Все дочка-покойница вспоминается, все будто ждет она меня к себе... Убирай, мол, со стола — не идет мне еда на ум».— «Напрасно вы такие речи говорите, папаша,— это сторож-то ему,— напрасно, мол, так случилось. Какие такие ваши года?» — «Нет, говорит, помру! Только дюже, говорит, везде горя много, и ужли никакой тому перемены не буде?» А на дворе не хуже теперешнего, льет, невзгода, и уж вечер заходит. Поглядел этак старичок в окошечко, махнул ручкой и ушел к себе в горницу. А в горнице оправил лампадку да и прилег на часок. То ли он спал, то ли так, в забытьи лежал, только уж ночь на дворе, а он все лежит да лежит...

— Вон она, дело-то какая! — сказал кто-то с глубоким вздохом.— На Покров, говоришь, вышло-то все это?

— Да ведь сказали, на Покров! — сумрачно перебил сиплым голосом большой рыжий мужик с злыми глазами, в рваном полушубке, сидевший на краю лавки против рассказчика.

— На Покров, на Покров,— подтвердил рассказчик.— Вечером. Ушел, говорю, к себе в горницу и лег... Да-а... Ушел и лежит и так будто угрелся на лежаночке, супротив лампадки, что никак не может подняться, помолиться да лечь как следает. Лежу, говорит, гляжу на лампадку и вдруг вижу: отворяется тихенько-тихенько этак дверь и входит ко мне дочь-покойница. «Что такое, думаю, что за притча такая, Господи?» А она проходит прямо ко мне и кладет мне руку на руку. Сама вся в черном, а лицо белая, белая да красивая! И этак вполголоса: «Встань, говорит, батюшка, иди поскорее

в церковь». Я р-раз с постели, а ей уж нету! Посидел я, посидел, и, что больше сижу, все чудней и страшней мне становится. Вскочил наконец, того, на ноги, захватил ключи от церкви, накинул шубенку, выбрался в сенцы... Темь, жуть, сенцы так и гудут от бури,— нет, думаю, надо итить! Спешу на гору, дохожу до церкви,— глядь, а там огонек теплится, ровно бы покойник на ночь поставлен. Оробел я опять, одначе перекрестился — и на паперть. Насилу ключом в замок попал. Отворяю дверь — нет тебе никакого покойника, а только горит свечечка над Царскими вратами. Кто ж это, думаю, ее зажег, что такое буде? Стою ни жив, ни мертв, вдруг — р-раз! — отдернулась занавесь на Царских вратах, растворяются этак широко и тихо двери, и выходит из темени, из самого, значит, алтаря, агромадный красный кочет. Вышел, остановился, затрепыхал крыльями и как закричит на всю церкву: ку-ка-ре-ку! Пропел до трех раз и пропал. И только, значит, пропал, выходит из алтаря другой, белый, как кипень, и запел еще громче прежнего. И опять до трех раз... У меня, рассказывал священник поутру, руки, ноги отнялись, а я все стою и жду, что будет дальше, а дальше выходит и третий: черный, как головешка, только гребешок светится, и запел он, братцы мои, таково жутко и строго, что опустился я на коленки и говорю этак внятно и раздельно на всю церкву: «Да воскреснет Бог и расточатся враги Его!» И только, это, сказал я,— нет тебе никаких кочетов, а стоит передо мною седенький-седенький монашек и говорит мне тихим голосом: «Не пужайся, служитель Божий, а объяви всему народу, что, мол, означает твоя видение. А означает она ба-альшие дела!»

— Вот за это-то за самое и называют вашего брата храпоидолами, чертями,— громко сказал мещанин, открывая глаза и угрожающе нахмуриваясь.— Ночь, скука, а он ишь какие суеверия сидит разводит! Ты к чему все это гнешь-то, а?

— Да ведь я ничего плохого,— несмело пробормотал рассказчик.

— Позволь,— ты откуда взял-то все это?

— Как откуда? Сам священник, говорят, рассказывал.

— Священник энтот помер,— перебил мещанин.

— Это верно, верно... помер... вскорости и помер...

— Ну, значит, и брешут на него, что в голову влезет. Ведь это сновидение. Дубина!

— Да я-то про что ж? Известно, сновидение.

— Ну и молчи,— опять перебил мещанин.— Да и курить-то давно пора бросить, надымили — овин чистый!

— В первый класс иди, коли не ндравится,— сипло и зло сказал рыжий мужик.

— Побреши еще!

— Брешут собаки да твои свояки!

— Буде, буде, ребята! — закричали мужики, заволновавшись.

Бранившиеся смолкли, и в вагоне на время наступила тишина. Потом мещанин вздохнул:

— Ну и стерва, прости Ты меня, Господи,— задумчиво сказал он таким тоном, точно был в вагоне один.

И опять наступила тишина с глухим говором колес, храпом и дыханием спящих.

— А за что ругаться-то? — спросил рассказчик, когда бранившиеся угрюмо успокоились.— Кто первый начал-то? Ведь ты! Мы балакали промеж себе...

— Че-орт! — ответил мещанин поспешно, и голос его страдальчески дрогнул.— Ведь ночь, скука, а у меня, может, жена и дите помирают. Пойми!

— Горя-то и у других не мене твоего,— ответил рыжий мужик.

— Не мене! — передразнил мещанин.— Я, может быть, тысячи не пожалел бы теперь на доктора, а он за сто верст, а дорога — ни проходу, ни проезду! Вчерась измаялся, ткнулся в чем был на постель и вижу — будто обрили меня догола и все зубы вынули! Пойми — сладко?

— Ага! — сказал рыжий мужик.— Покаялся! А то — сновиде-ение!

— До Туровки кто имеет билеты? — прокричал кондуктор, проходя по вагону.

И, осветив фонарем чьи-то ноги, крепко хлопнул возле меня дверью в соседнее отделение.

Поднявшись с места, я снова отворил ее и стал на пороге. Мещанин сидел, спал, согнувшись, а рыжий мужик говорил со сдвинутыми бровями тому, который рассказывал:

— Ну, ну, доказывай дальше.

Несколько полушубков стеснилось вокруг рассказчика, несколько серьезных глаз блестело в дымном сумраке глухо гудящего и бегущего вагона. Рассказчик вздохнул

и уже хотел было начать говорить, но тут рыжий поднял на меня глаза и сипло сказал:

— А тебе, господин, что надо?

— Послушать хотел,— ответил я.

— Не господское это дело мужицкие побаски слушать.

— Да-а, братцы мои,— снова заговорил рассказчик прежним тоном, как только я отошел,— и стоит, значит, перед ним седенький, седенький монашек и говорит ему тихим голосом: «Не пужайся, мол, служитель Божий, а слушай и объяви народу, что, мол, означает твоя видение. А означает она ба-альшие дела»...

Но, начав громко, рассказчик мало-помалу стал понижать голос. Тщетно я вслушивался — все тонуло в ропоте колес и в тяжком храпе спящих. Заслышав сквозь этот ропот и храп далекий заунывный свисток паровоза, возвещавший о станции, с лавки возле меня поспешно вскочил юнкер в очках, оглянулся вокруг себя странными глазами и, опять быстро опустившись на скамью и облокотившись на свой сундучок, тотчас же опять заснул. Какая-то пожилая женщина в темном ситцевом платье поднялась, болезненно морщась, и поплелась в сени. Лежащие, мешки, сундуки и полушубки составляли грубую и печальную картину, которая раскачивалась передо мною. Мужик, рассказывавший про петухов, сидел, подавшись вперед к рыжему, и что-то негромко, но горячо говорил, но, когда я настораживался, чтобы расслышать, что он говорит, из дымного сумрака против меня ничего не было слышно, только блестели серьезные и злые глаза.

1903

ЗОЛОТОЕ ДНО

I

Тишина — и запустение. Не оскудение, а запустение...

Не спеша бегут лошади среди зеленых холмистых полей; ласково веет навстречу ветер, и убаюкивающе звенят трели жаворонков, сливаясь с однообразным топотом копыт. Вот с одного из косогоров еще раз показалась далеко на горизонте низким синеющим силуэтом станция. Но, обернувшись через минуту, я уже не вижу ее. Теперь вокруг тарантаса — только пары, хлеба и лощинки с дубовым кустарником...

— Ну, что новенького, Корней? — спрашиваю я кучера, молодого загорелого мужика с умными, слегка прищуренными глазами.

— Новенького? — сдержанно отвечает Корней, не оборачиваясь.— Нового у нас ничего нету.

— Значит, живете по-старому?

— Это правильно. Плохо живем...

Немного нового узнаю я и в имении сестры, где я всегда делаю остановку на пути к Родникам. Кажется, что еще год тому назад усадьба не была так ветха. Полы и потолки в зале еще немного покосились и потемнели, ветви запущенного палисадника лезут в окна, тесовые крыши служб серебрятся и дают кое-где трещины... А по двору, держа в поводу худого стригуна, запряженного в водовозку, еле бредет полуслепой и глухой Антипушка, и рассохшиеся колеса водовозки порою так неистово взвизгивают, что больно слушать...

— Так плохи, говоришь, дела? — спрашиваю я сестру, которая задумчиво смотрит куда-то вдаль, на косогоры за лугами и речкой.

— Совсем, совсем плохи! — поспешно, как будто даже с удовольствием подтверждает сестра.— Будь

капитал, еще, может быть, можно было бы поправиться. Ведь земля-то сущее золотое дно. Но банк, банк!

— Зато тишина-то какая! — говорю я.

— Уж этого хоть отбавляй! — с угрюмой иронией соглашается племянник-студент.— Действительно, тишина, и прескверная, черт ее дери, тишина! Вроде высыхающего пруда. Издали — хоть картину пиши. А подойди — затхлостью понесет, ибо воды-то в нем на вершок, а тины — на две сажени, и караси все подохли... Дно-то, действительно, золотое, только до него сам черт не докопается!

II

Дорога вьется сперва по перелескам. Потом пропадает в большом кологривовском заказе. В прежнее время она далеко обходила его; теперь ездит прямо, по двору усадьбы, раскинувшейся по бокам лесного оврага своим одичавшим садом и кирпичными службами. Как только в лес врывается громыхание бубенчиков, из усадьбы отвечает ему угрюмый лай овчарок, ведущих свой род от тех свирепых псов, что сторожили когда-то не менее свирепую и угрюмую жизнь старика Кологривова. Пока тарантас, сопровождаемый лаем, с грохотом катится по мостикам через овраги, смотрю на груды кирпичей, оставшихся от сгоревшего дома и потонувших в бурьяне, и думаю о том, что сделал бы старик Кологривов, если бы увидел нахалов, скачущих по двору его усадьбы! В детстве я слыхал про него поистине ужасы. Одна из любовниц пыталась опоить его какими-то колдовскими травами,— он заточил ее своим судом в монастырь. Когда объявили волю, он «тронулся», как говорили, «в отделку» и с тех пор почти никогда не показывался из дому. Медленно разоряясь, он по ночам, дрожа от страха, что его убьют, сидел в шапочке с мощей угодника и громко читал заговоры, псалмы и покаянные молитвы собственного сочинения. Осенью однажды его нашли в молельной мертвым...

— Не знаешь, не продали еще? — спрашиваю я Корнея.

— Продали,— отвечает он.— И продали-то, говорят, за трынку! Живет тут приказчик от наследников, а ему

что ж? Не свое доброе. Без хозяина, известно, и товар — сирота. А земля тут — прямо золотое дно!

— Хороша?

— Аршин чернозему. А лес-то!

Правда, славный лес. Горько и свежо пахнет березами, весело отдается под развесистыми ветвями громыхание бубенчиков, птицы сладко звенят в зеленых чащах... На полянах, густо заросших высокой травой и цветами, просторно стоят столетние березы по две, по три на одном корню. Предвечерний золотистый свет наполняет их тенистые вершины. Внизу, между белыми стволами, он блестит яркими длинными лучами, а по опушке бежит навстречу тарантасу стальными просветами. Просветы эти трепещут, сливаются, становятся все шире... И вот опять мы в поле, опять веет сладким ароматом зацветающей ржи, и пристяжные на бегу хватают пучки сочных стеблей...

— А вон и Батурино,— насмешливо говорит Корней.

И я уже понимаю его.

— Что, и тут плохо?

— Да уж молодые-то уехали. А старуха дом продает. Добилась до последнего.

— А как бы заглянуть туда?

— Да скажите, что, мол, дом себе для Родников присматриваю...

III

В Батурине — это большая деревня, но уж известно, что такое «барская» деревня! — в Батурине тихо. Скучно лоснится на солнце мелкий длинный пруд желтой глинистой водой; баба возле навозной плотины лениво бьет вальком по мокрому серому холсту... С плотины дорога поднимается в гору мимо батуринского сада. Сад еще до сих пор густ и живописен и, как на идиллическом пейзаже, стоит за ним серый большой дом под бурой, ржавой крышей. Но усадьба, усадьба! Целая поэма запустения! От варка остались только стены, от людской избы — раскрытый остов без окон, и всюду, к самым порогам, подступили лопухи и глухая крапива. А на «черном» крыльце стоит и в страхе глядит на меня слезящимися глазами какая-то старуха. Поняв из моих неловких объяснений, что я хочу посмотреть дом, она спешит предупредить барыню.

— Я доложу-с, доложу-с,— бормочет она, скрываясь в темных сенях.

Больно, должно быть, Батуриной выходить после таких докладов! И правда,— когда через несколько минут отворяется дверь, я вижу растерянное старческое лицо, виноватую улыбку голубых кротких глаз... Делаем вид, что мы очень рады друг другу, что этот осмотр дома — вещь самая обыденная, и Батурина любезным жестом приглашает войти, а другой дрожащей рукой старается застегнуть ворот своей темной кофточки из дешевенького нового ситцу.

Бормоча что-то притворное, я вхожу в переднюю... О, да это совсем ночлежка! Темно, душно, стены закопчены дымом махорки, которую курит бывший староста Батуриных, Дрон, не покинувший усадьбы и доныне... Направо — дверь в его каморку, прямо — комната старух, скудно освещенная окном с двойными рамами, с радужными от старости стеклами...

— Мы ведь в пристройке-с теперь живем,— виновато поясняет Батурина.— Ведь знаете, какие года-то пошли, да и теплее тут зимою...

— Но, может быть, я беспокою вас?

Старуха трясет головой и смотрит недоумевающе и вопросительно.

— Не беспокою ли я вас? — говорю я громче.

Расслышав, Батурина поспешно улыбается.

— Нет-с, нет-с,— отвечает она с ласковой снисходительностью.— Пожалуйте-с.

И отворяет дверь в коридор...

Еще мрачнее в этих пустых комнатах! Первая, в которую я заглядываю из коридора, была когда-то кабинетом, а теперь превращена в кладовую: там ларь с солью, кадушка с пшеном, какие-то бутыли, позеленевшие подсвечники... В следующей, бывшей спальне, возвышается пустая и огромная, как саркофаг, кровать... И старуха отстает от меня и скрывается в кладовой, якобы чем-то озабоченная. А я медленно прохожу в большой гулкий зал, где в углах свалены книги, пыльные акварельные портреты, ножки столов... Галка вдруг срывается с криво висящего над ломберным столиком зеркала и на лету ныряет в разбитое окно... Вздрогнув от неожиданности, я отступаю к стеклянной двери на рассохшийся балкон, с трудом отворяю ее — и прикрываю глаза от низкого яркого солнца. Какой вечер! Как все цветет и зеленеет,

обновляясь каждую весну, как сладостно журчат в густом вишеннике, перепутанном с сиренью и шиповником, кроткие горлинки, верные друзья погибающих помещичьих гнезд!

IV

Вечер в поле встречает нас целым архипелагом пышных золотисто-лиловых облаков на западе, необыкновенной нежностью и ясностью далей.

— Дядя, дай серничка! — кричит один из мальчишек, стерегущих на парах лошадей, и, вскочив с межи, бегом догоняет тарантас.

Но Корней суров и задумчив. Он с наслаждением вытягивает мальчишку кнутом и сдержанно покрикивает на лошадей.

«О чем он думает?» — думаю я, глядя на его выгоревший на солнце картуз.

И Корней слегка повертывается на облучке и, следя задумчивым взглядом за мелькающими подковами пристяжной, начинает говорить...

— Всем не мед,— говорит он.— Не одним господам... Хрестьянский банк, мол, помогает! Да нет, в долг-то не проживешь! Купят мужики сто — двести десятин,— конечно, компанией, не сообразясь с силой, и запутляются, и норовят слопать друг друга. А пойдут свары — дело и совсем изгадится и хоть на перемет с обрывком лезь!

— Однако,— говорю я,— крупных-то господ осталось три-четыре на уезд,— значит, расходится земля по народу.

— По городским купчишкам да лавошникам,— поправляет Корней.— По ним, а не по народу... И опять же земля без настоящего хозяина остается: им ведь только бы купить, благо дешево, а жить-то они ведь тут не станут! Ну, вот их-то, чертей, и зажать бы в тесном месте!

— Следовало бы?

Но Корней отводит глаза в сторону.

— Попоить пора,— говорит он деловым тоном.

— На Воргле попоим.

— Ну, на Воргле так на Воргле... Эй, не рано!

Свежеет, и блеск вечера меркнет. Меланхолично засинели поля, далеко-далеко на горизонте уходит за черту земли огромным мутно-малиновым шаром солнце. И что-то старорусское есть в этой печальной картине,

в этой синеющей дали с мутно-малиновым щитом. Вот он еще более потускнел, вот от него остался только сегмент, потом — дрожащая огневая полоска... Быстро падает синеватый сумрак летней ночи, точно кто незримо сеет его; в лужках уже холодно, как в погребе, и резко пахнет росистой зеленью,— только изредка повевает откуда-то теплом... В сумраке мелькают придорожные лозинки, и на них, нахохлившись, спят во́роны... А на востоке медленно показывается большая голова бледного месяца.

Как печальны кажутся в это время темные деревушки, мертвую тишину которых будит звук рессор и бубенчиков! Как глуха и пустынна кажется старая большая дорога, давно забытая и неезженая! Слава Богу, хоть месяц всходит! Все веселее...

V

Воргол — нежилой хутор покойной тетки, степная деревушка на месте снесенной дедовской усадьбы и большого села, три четверти которого ушло в Сибирь, на новые места. Дорога долго идет под изволок; когда уже становится совсем светло от месяца, тарантас шибко подкатывает по густой росистой траве к одинокому флигелю на скате котловины среди косогоров. Звон бубенчиков замирает, и нас охватывает гробовое молчание.

— Уж и глухо же тут! — говорит Корней, слезая с козел, и голос его странно звучит возле пустых стен.— Посидите тут на крылечке, а я лошадей попою и овсеца им кину.

И медленно отводит громыхающих бубенчиками лошадей под гору к колодцу. А я поднимаюсь на деревянное крыльцо флигеля и сажусь на ступеньку...

Но жутко здесь, в этой котловине, со всех сторон замкнутой холмами, спускающимися к пересохшему руслу Воргла, и бледно освещенной неверным месячным светом! Пустой широкий двор переходит в мужицкий выгон, а за выгоном чернеет семь приземистых избушек, глубоко затаивших в себя свою ночную жизнь...

— Корней,— говорю я, как только Корней показывается с лошадьми из-под горы,— надо ехать! Поедем шажком, а уж покормим дома.

Корней останавливается.

— Ай соскучились?

— Соскучился. Ну его к черту... Едем.

— Это еще милость,— говорит Корней насмешливо.— Вы бы осенью али зимой заехали!

— И как вы только живете тут!

Корней завертывает цигарку, глядя в землю, и долго молчит. Потом сдержанно отвечает:

— Живем пока...

— То есть как «пока»? А потом-то что ж?

— Потом — что Бог даст. Все что-нибудь да будет...

— Что же?

— Да что-нибудь будет... Не век же тут сидеть, чертям оборки вить! Разойдется народ по другим местам, либо еще как...

— А как?

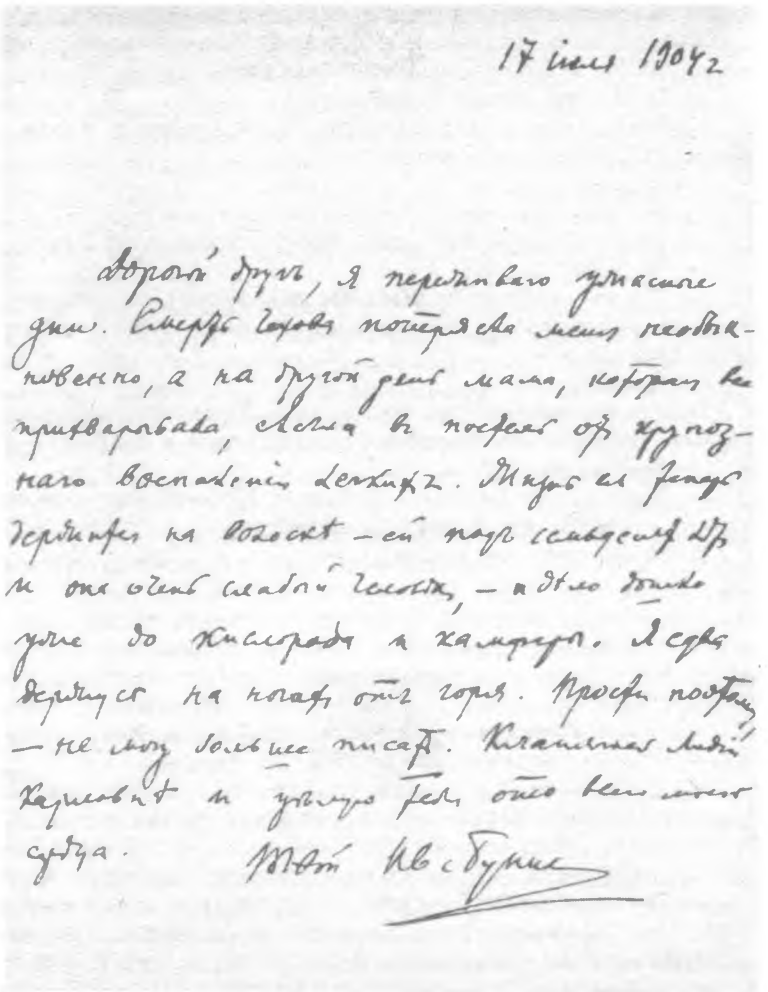
При свете месяца ясно видно лицо Корнея, но, опуская голову, он сдвигает брови и отводит глаза в сторону.

— Как иначе-то?

— Там видно будет,— отвечает Корней уже совсем хмуро.— Поедемте, барин, не рано!

И молча лезет на козлы.

1903



17 июля 1904 г.

Дорогой друг, я перечитываю ужасные дни. Смерть Горького потрясла меня необыкновенно, а на другой день мама, которая не приударяла, слегла в постель от крупозного воспаления легких. Жар 41 градус Цельсия на восемь — ей пора семьдесят два и она очень слабой комплекции, — а дело дошло уже до кислорода и камфары. Я сам держусь на ногах от горя. Прости, пожалуйста — не могу больше писать. Крепись, милый Карпович и увидимся ли еще в этой жизни — судьба.

Твой Ив. Бунин

Письмо Бунина — А. М. Федорову 17 июля 1904



ВОСЕМЬ ЛЕТ

Мне — восемь лет. На мне еще новенький гимназический картуз, шелковая коричневая косоворотка, козловые сапожки с красным сафьяновым ободком на голенищах. Я сижу сзади отца на беговых дрожках, дрожки шибко катятся большой дорогой, а вокруг — поле, летнее жаркое утро...

Старую донскую кобылу подали к крыльцу чуть не на рассвете. Но сколько раз заглядывал я в кабинет отца в тщетной надежде, что разговор со старостой кончен! Уж и росистая трава в тени от амбаров успела высохнуть, и запахло в саду оцепеневшей на солнечном припеке черемухой... Даже кобыла, и та стала задремывать от скуки: осела на заднюю ногу, прижала ухо, прикрыла глаза...

Но вот кончилась эта пытка ожидания. Я держусь за кожаную подушку сиденья, задрав ноги на заднюю ось и касаясь лбом стволов на спине отца, поглядываю, как трепещут сверкающие на солнце спицы, как бежит по пыли возле них белая с подпалинами Джальма, близко вижу загорелую шею и широкий затылок под белым картузом... Солнце стоит высоко и сильно припекает, кожа на дрожках стала горячая,— приятно пахнет этой нагретой кожей и колесной мазью. Душная пыль облаком встает из-под колес, парусиновый пиджак на плечах отца темнеет... Дальше — полевой рубеж, длинным, узким коридором теряющийся меж стенами высокой серозеленой ржи. Отец сдерживает лошадь и закуривает, пуская через плечо клуб душистого дыма...

Ах, эти проселки! Весело ехать по глубоким колеям, заросшим муравой, повиликой, какими-то белыми и желтыми цветами на длинных стеблях. Ничего не видно ни впереди, ни по сторонам — только бесконечный, суживающийся впереди коридор меж стенами колосистой гущи,

да небо, а высоко на небе — жаркое лучистое солнце. Синие васильки, лиловый куколь и желтая сурепка цветут во ржи. Дрожки задевают колосья, растущие кое-где по дороге, и они однообразно клонятся под колеса и выходят из-под них черными, испачканными колесной мазью. Мелкие кузнечики сухим дождем непрерывно сыплются из подорожника... Неожиданно потянуло откуда-то легким ветерком, солнечной теплотою... Отец подбирает вожжи... И опять заиграли спицы, закружились перед глазами пестрые венки навертевшихся на втулки цветов, запрыгали дрожки по выбоинам. Тут надо держаться крепче, но, ухватившись за сиденье обеими руками, все-таки пристально следишь за тем, как навстречу, лоснясь, бегут серо-зеленые волны, как тень от облака то там, то здесь на мгновение затушевывает их, как Джальма носится за перепелами и жаворонками: иногда совсем пропадает во ржи,— только по волнистой линии, струящейся за нею, видно, где она,— иногда высоко выпрыгивает из колосьев, удивленно озираясь по сторонам...

Порою встречалась телега, а в ней — баба с белоголовым мальчиком на коленях, которая неумело держит веревочные вожжи, неумело сворачивает, заезжая в рожь, а бокастая лошаденка с жадностью хватает губами колосья. Встретился однажды мужик: он без шапки сидел на грядке телеги, возле длинного узкого гробика из золотистого теса, и веселое лучистое солнце жарко пекло его лохматую голову... Встречался урядник верхом на худой длинношеей кляче, бородатый, могучий о. Алексей в широкополой шляпе, высоко восседавший на своей тележке, за которой бежал жеребенок мышиного цвета на длинных, тонких ножках... Все это портило дело: ведь так хотелось чувствовать себя в совершенно безлюдном краю! А не то показывался тарантас и в тарантасе — загорелый помещик в крылатке, в дворянском картузе, с изумленно выкаченными белками. Увидав соседа, он изумлялся еще более, разводил руками, а кучер в плисовой безрукавке и круглой шапочке с павлиньими перьями останавливал тройку. Останавливал лошадь и отец, слезал навстречу вылезавшему из тарантаса толстяку — и начинались бесконечные разговоры. Помещик говорит страшно громко и все кого-то бранит... Потом над чем-то долго, с мучительным наслаждением хохочет, сотрясаясь всем телом. Отец тоже кричит и тоже хохочет.

— Ну, до свиданья, до свиданья! — наконец говорит он, нахохотавшись.

— До свидания, батюшка, очень рад был встретиться!
— Мой поклон вашему семейству!
— И вашим также!

Помещик становится на подножку тарантаса, накренивая его, с трудом усаживается. Но не проходит и минуты, как сзади опять раздается крик:

— Сосед! На минуточку!

И опять стоянка, опять разговоры...

Утомленная, но счастливая своими хлопотами Джальма сидит у колес и жарко дышит, изредка, с коротким стуком, ловя зубами мух. В небе блестят и кудрявятся белые облака, всюду столько света и радости, как бывает лишь в июне, и все неподвижнее становится воздух к полудню. Два желтых мотылька, как два цветочных лепестка, однообразно играют над склонившимися в оцепенении колосьями, над цветами и травами, нагретыми зноем. Сладко пахнет васильками. И, щурясь от солнца, я, как в забытье, слежу за облаком, похожим на пуделя, которое, медленно тая, плывет в светозарной сини неба, слушаю, как сипят в траве кузнечики, а над головою на тысячу ладов сонно звенит жалобными дискантами воздушная музыка насекомых, неумолчно воспевающих дали, млеющие в мареве зноя, радость и свет солнца, беспричинную, божественную радость жизни...

Наговорившись, отец гонит лошадь шибко, и дрожки точно сами собою бегут по наклонной дороге, к какому-то широкому и неглубокому логу среди степных косогоров. За этим логом следует длинный подъем на покатую гору, залитую зелеными овсами, а с горы открывается вид на новый, еще более широкий и разлатый лог. Тут были заливные болотистые лужки, и мелкая степная речка, извивающаяся по ним, делала много широких затонов, густо заросших зелеными щетками куги. Оттого, что горизонт был со всех сторон замкнут этими похожими на ржаные хлебы косогорами, глухо тут было на редкость, и какая милая, таинственная жизнь — жизнь куличков, бекасов и диких чирков — чувствовалась в тишине и глуши этих мелких затонов!

— Держись! — кричит отец сквозь дребезжание бегущих под гору дрожек.

И вдруг дребезжание сразу обрывается: мы в мягких лугах.

Тут ветерок падает. Солнце печет, колеса шуршат в густой, насыщенной водой траве. Пресно пахнет теплым илом, разогретой кугою; белая, как снег, рыбалка

неожиданно вырывается из кочкарников и сверкает в воздухе острыми крыльями... Дальше — болото — серебристо-зеркальные затоны с островками тонколистой осоки.

Не спуская с них глаз, отец передает мне вожжи, осторожно слезает с дрожек и, скинув ружье, торопливо, но бесшумно направляется к ним.

— Джальма! — строго, отрывисто и негромко говорит он каким-то особым условным тоном Джальме, которая перепрыгивает с кочки на кочку с высунутым языком. Длинные сапоги его тонут в мягких кочкарниках, серебристые пузыри остаются в его следах, отпечатывающихся в бархатистой и влажной траве... От солнца и блеска воды светло так, что больно смотреть.

— Джальма!

И Джальма, быстро оглянувшись, вдруг бултых в воду и, наслаждаясь прохладой, медленно плывет по затону к камышам. Из воды видна только ее вытянутая прилизанная голова с опущенными ушами и длинный хвост, который плывет за ней, как чужой, как палка. Потом и голова и хвост заворачивают в камыши, отец входит по колена в воду и тоже скрывается в камышах. Проходит десять, двадцать минут напряженного молчания... Где-то далеко раздается тяжкий, глухой выстрел... Весь встрепенувшись, пристально гляжу вперед, но за камышами ничего не видно. В камышах что-то осторожно попискивает и булькает; по широкой луже недалеко от дрожек, грациозно извиваясь, плывет уж; перламутрово-голубые стрекозы с треском распускают длинные стеклянные крылышки, вылетая из горячей травы, в небе медленно вытягивается большое белоснежное облако... Вот оно приняло образ сказочного исполина, а из глубины затона, в которой ярко светит его отражение, что-то глухо, угрюмо и жалобно ухнуло... Ухнуло и выжидательно замолчало...

— Бычки! — вспоминаю я загадочное слово, оброненное отцом, и весь замираю от сладкого ужаса.

Воображение мгновенно создает образ какого-то фантастического существа, одного из тех страшных подводных жителей, что глубоко скрываются в болотах и только изредка высовывают свои лобастые, рогатые головы с выпученными глазами на свет Божий. Что, если выглянет такой бычок именно теперь, в этот безмолвный час знойного полдня? И, косясь на затон, я не замечаю, что картуз мой съехал на затылок, что комары облепили мне потную шею и руки, что ослепительно-жаркое солнце бьет прямо в лицо...

Вдруг из камышей выныривает отец. Он идет, по пояс мокрый, хлюпает тяжелыми сапогами, налитыми болотной водой.

— Тут... бычки,— говорю я нерешительно.

— Ну, и что же?

— Они очень большие?

— Кто? Бычки-то? Да ведь это жучки. Водяные жучки!

— Как жучки? — говорю я, пораженный и разочарованный.

Отец раскраснелся, расстегнул ворот рубахи, лицо у него доброе и оживленное. Подойдя к дрожкам, он бросает мне убитого чирка, и, мгновенно забыв о бычках, я с жадностью ловлю его на лету. Чирок еще теплый! Головка с закатившимися глазами, подернутыми белесой пленкой, бессильно падает на радужный зобик, брюшко в запекшейся крови... И как пахнет он — болотом, тиной и порохом! Джальма вылезает из осоки тоже веселая и удовлетворенная. Глаза безумные, с длинного красного языка льет слюна, белая атласная шерсть вся прилизана, уши висят, ноги в иле, точно в черных чулках...

Мокрые, блестящие шины колес снова шуршат по бархатной сочной траве, изредка врезываясь в воду и разбрасывая во все стороны светлые длинные брызги. Лужи, в которых золотыми полосами то там, то здесь вспыхивает жаркий солнечный блеск, мелькают перед глазами. Из куги то и дело с жалобными стонами вырываются кулички... Потом мягкий кочкарник сразу обрывается,— дрожки снова трещат по дороге, убегающей в гору...

Ах, когда я вырасту, я буду самым счастливым человеком в мире! Я поселюсь на хуторе, буду жить только охотой, буду каждый день чистить кирпичом и промывать свое ружье, буду варить себе кулеш, спать возле порога избы, на войлоке, а просыпаться еще в ту пору, когда едва-едва светает... зелено-серебристый рассвет...

Но и теперь чудесно. Я дышу полевым ветром, слушаю хохлатых жаворонков, распевающих над полями, в облаках, в бесконечном просторе. Степь вокруг, куда ни кинь взгляд,— зеленая, ровная, вольная. И ни души в степи, ни кустика, ни деревца,— только далеко впереди машет, как утопающий руками, какая-то мельница...

〈1903—1937〉

ЦИФРЫ

I

Мой дорогой, когда ты вырастешь, вспомнишь ли ты, как однажды зимним вечером ты вышел из детской в столовую, остановился на пороге,— это было после одной из наших ссор с тобой,— и, опустив глаза, сделал такое грустное личико?

Должен сказать тебе: ты большой шалун. Когда что-нибудь увлечет тебя, ты не знаешь удержу. Ты часто с раннего утра до поздней ночи не даешь покоя всему дому своим криком и беготней. Зато я и не знаю ничего трогательней тебя, когда ты, насладившись своим буйством, притихнешь, побродишь по комнатам и, наконец, подойдешь и сиротливо прижмешься к моему плечу! Если же дело происходит после ссоры и если я в эту минуту скажу тебе хоть одно ласковое слово, то нельзя выразить, что ты тогда делаешь с моим сердцем! Как порывисто кидаешься ты целовать меня, как крепко обвиваешь руками мою шею, в избытке той беззаветной преданности, той страстной нежности, на которую способно только детство!

Но это была слишком крупная ссора.

Помнишь ли, что в этот вечер ты даже не решился близко подойти ко мне?

— Покойной ночи, дядечка,— тихо сказал ты мне и, поклонившись, шаркнул ножкой.

Конечно, ты хотел, после всех своих преступлений, показаться особенно деликатным, особенно приличным и кротким мальчиком. Нянька, передавая тебе единственный известный ей признак благовоспитанности, когда-то учила тебя: «Шаркни ножкой!» И вот ты, чтобы задобрить меня, вспомнил, что у тебя есть в запасе хорошие манеры. И я понял это — и поспешил ответить так, как будто между нами ничего не произошло, но все-таки очень сдержанно:

— Покойной ночи.

Но мог ли ты удовлетвориться таким миром? Да и лукавить ты не горазд еще. Перестрадав свое горе, твое сердце с новой страстью вернулось к той заветной мечте, которая так пленяла тебя весь этот день. И вечером, как только эта мечта опять овладела тобою, ты забыл и свою обиду, и свое самолюбие, и свое твердое решение всю жизнь ненавидеть меня. Ты помолчал, собрал силы и вдруг, торопясь и волнуясь, сказал мне:

— Дядечка, прости меня... Я больше не буду... И пожалуйста, все-таки покажи мне цифры! Пожалуйста!

Можно ли было после этого медлить ответом? А я все-таки помедлил. Я, видишь ли, очень, очень умный дядя...

II

Ты в этот день проснулся с новой мыслью, с новой мечтой, которая захватила всю твою душу.

Только что открылись для тебя еще не изведанные радости: иметь свои собственные книжки с картинками, пенал, цветные карандаши — непременно цветные! — и выучиться читать, рисовать и писать цифры. И все это сразу, в один день, как можно скорее. Открыв утром глаза, ты тотчас же позвал меня в детскую и засыпал горячими просьбами: как можно скорее выписать тебе детский журнал, купить книг, карандашей, бумаги и немедленно приняться за цифры.

— Но сегодня царский день, все заперто,— соврал я, чтобы оттянуть дело до завтра или хоть до вечера: уж очень не хотелось мне идти в город.

Но ты замотал головою.

— Нет, нет, не царский! — закричал ты тонким голоском, поднимая брови.— Вовсе не царский,— я знаю.

— Да уверяю тебя, царский! — сказал я.

— А я знаю, что не царский! Ну, пожа-алуйста!

— Если ты будешь приставать,— сказал я строго и твердо то, что говорят в таких случаях все дяди,— если ты будешь приставать, так и совсем не куплю ничего.

Ты задумался.

— Ну, что ж делать! — сказал ты со вздохом.— Ну, царский так царский. Ну, а цифры? Ведь можно же,— сказал ты, опять поднимая брови, но уже басом,

рассудительно,— ведь можно же в царский день показывать цифры?

— Нет, нельзя,— поспешно сказала бабушка.— Придет полицейский и арестует... И не приставай к дяде.

— Ну, это-то уж лишнее,— ответил я бабушке.— А просто мне не хочется сейчас. Вот завтра или вечером — покажу.

— Нет, ты сейчас покажи!

— Сейчас не хочу. Сказал,— завтра.

— Ну, во-от,— протянул ты.— Теперь говоришь — завтра, а потом скажешь — еще завтра. Нет, покажи сейчас!

Сердце тихо говорило мне, что я совершаю в эту минуту великий грех — лишаю тебя счастья, радости... Но тут пришло в голову мудрое правило: вредно, не полагается баловать детей.

И я твердо отрезал:

— Завтра. Раз сказано — завтра, значит, так и надо сделать.

— Ну, хорошо же, дядька! — пригрозил ты дерзко и весело.— Помни ты это себе!

И стал поспешно одеваться.

И как только оделся, как только пробормотал вслед за бабушкой: «Отче наш, иже еси на небеси...» — и проглотил чашку молока,— вихрем понесся в зал. А через минуту оттуда уже слышались грохот опрокидываемых стульев и удалые крики...

И весь день нельзя было унять тебя. И обедал ты наспех, рассеянно, болтая ногами, и все смотрел на меня блестящими странными глазами.

— Покажешь? — спрашивал ты иногда.— Непременно покажешь?

— Завтра непременно покажу,— отвечал я.

— Ах, как хорошо! — вскрикивал ты.— Дай, Бог, поскорее, поскорее завтра!

Но радость, смешанная с нетерпением, волновала тебя все больше и больше. И вот, когда мы — бабушка, мама и я — сидели перед вечером за чаем, ты нашел еще один исход своему волнению.

III

Ты придумал отличную игру: подпрыгивать, бить изо всей силы ногами в пол и при этом так звонко

вскрикивать, что у нас чуть не лопались барабанные перепонки.

— Перестань, Женя,— сказала мама.

В ответ на это ты — трах ногами в пол!

— Перестань же, деточка, когда мама просит,— сказала бабушка.

Но бабушки-то ты уж и совсем не боишься.

Трах ногами в пол!

— Да перестань,— сказал я, досадливо морщась и пытаясь продолжать разговор.

— Сам перестань! — звонко крикнул ты мне в ответ с дерзким блеском в глазах и, подпрыгнув, еще сильнее ударил в пол и еще пронзительнее крикнул в такт.

Я пожал плечом и сделал вид, что больше не замечаю тебя.

Но вот тут-то и начинается история.

Я, говорю, сделал вид, что не замечаю тебя. Но сказать ли правду? Я не только не забыл о тебе после твоего дерзкого крика, но весь похолодел от внезапной ненависти к тебе. И уже должен был употреблять усилия, чтобы делать вид, что не замечаю тебя, и продолжать разыгрывать роль спокойного и рассудительного.

Но и этим дело не кончилось.

Ты крикнул снова. Крикнул, совершенно позабыв о нас и весь отдавшись тому, что происходило в твоей переполненной жизнью душе,— крикнул таким звонким криком беспричинной божественной радости, что сам Господь Бог улыбнулся бы при этом крике. Я же в бешенстве вскочил со стула.

— Перестань! — рявкнул я вдруг, неожиданно для самого себя во все горло.

Какой черт окатил меня в эту минуту целым ушатом злобы? У меня помутилось сознание. И надо было видеть, как дрогнуло, как исказилось на мгновение твое лицо молнией ужаса!

— А! — звонко и растерянно крикнул ты еще раз.

И уже без всякой радости, а только для того, чтобы показать, что ты не испугался, криво и жалко ударил в пол каблуками.

А я — я кинулся к тебе, дернул тебя за руку, да так, что ты волчком перевернулся передо мною, крепко и с наслаждением шлепнул тебя и, вытолкнув из комнаты, захлопнул дверь.

Вот тебе и цифры!

IV

От боли, от острого и внезапного оскорбления, так грубо ударившего тебя в сердце в один из самых радостных моментов твоего детства, ты, вылетевши за дверь, закатился таким страшным, таким пронзительным альтом, на какой не способен ни один певец в мире. И надолго, надолго замер... Затем набрал в легкие воздуху еще больше и поднял альт уже до невероятной высоты...

Затем паузы между верхней и нижней нотами стали сокращаться,— вопли потекли без умолку. К воплям прибавились рыдания, к рыданиям — крики о помощи. Сознание твое стало проясняться, и ты начал играть, с мучительным наслаждением играть роль умирающего.

— О-ой, больно! Ой, мамочка, умираю!

— Небось не умрешь,— холодно сказал я.— Покричишь, покричишь, да и смолкнешь.

Но ты не смолкал.

Разговор, конечно, оборвался. Мне было уже стыдно, и я зажигал папиросу, не поднимая глаз на бабушку. А у бабушки вдруг задрожали губы, брови, и, отвернувшись к окну, она стала быстро, быстро колотить чайной ложкой по столу.

— Ужасно испорченный ребенок! — сказала, нахмуриваясь и стараясь быть беспристрастной, мама и снова взялась за свое вязание.— Ужасно избалован!

— Ой, бабушка! Ой, милая моя бабушка! — вопил ты диким голосом, взывая теперь к последнему прибежищу — к бабушке.

И бабушка едва сидела на месте.

Ее сердце рвалось в детскую, но, в угоду мне и маме, она крепилась, смотрела из-под дрожащих бровей на темневшую улицу и быстро стучала ложечкой по столу.

Понял тогда и ты, что мы решили не сдаваться, что никто не утолит твоей боли и обиды поцелуями, мольбами о прощении. Да и слез уже не хватало. Ты до изнеможения упился своими рыданиями, своим детским горем, с которым не сравнится, может быть, ни одно человеческое горе, но прекратить вопли сразу было невозможно, хотя бы из-за одного самолюбия.

Ясно было слышно: кричать тебе уже не хочется, голос охрип и срывается, слез нет. Но ты все кричал и кричал!

Было невмоготу и мне. Хотелось встать с места,

распахнуть дверь в детскую и сразу, каким-нибудь одним горячим словом пресечь твои страдания. Но разве это согласуется с правилами разумного воспитания и с достоинством справедливого, хотя и строгого дяди?

Наконец ты затих...

V

— И мы тотчас помирились? — спрашиваешь ты.

Нет, я таки выдержал характер. Я, по крайней мере, через полчаса после того, как ты затих, заглянул в детскую. И то как? Подошел к дверям, сделал серьезное лицо и растворил их с таким видом, точно у меня было какое-то дело. А ты в это время уже возвращался мало-помалу к обыденной жизни.

Ты сидел на полу, изредка подергивался от глубоких прерывистых вздохов, обычных у детей после долгого плача, и с потемневшим от размазанных слез личиком забавлялся своими незатейливыми игрушками — пустыми коробочками от спичек,— расставляя их по полу, между раздвинутых ног, в каком-то, только тебе одному известном, порядке.

Как сжалось мое сердце при виде этих коробочек!

Но, делая вид, что отношения наши прерваны, что я оскорблен тобою, я едва взглянул на тебя. Я внимательно и строго осмотрел подоконники, столы... Где это мой портсигар?.. И уже хотел выйти, как вдруг ты поднял голову и, глядя на меня злыми, полными презрения глазами, хрипло сказал:

— Теперь я никогда больше не буду любить тебя.

Потом подумал, хотел сказать еще что-то очень обидное, но запнулся, не нашелся и сказал первое, что пришло в голову:

— И никогда ничего не куплю тебе.

— Пожалуйста! — небрежно ответил я, пожимая плечом.— Пожалуйста! Я от такого дурного мальчика и не взял бы ничего.

— Даже и японскую копеечку, какую тогда подарил, назад возьму! — крикнул ты тонким, дрогнувшим голосом, делая последнюю попытку уязвить меня.

— А вот это уж и совсем нехорошо! — ответил я.— Дарить и потом отнимать! Впрочем, это твое дело.

Потом заходили к тебе мама и бабушка. И так же, как я, делали сначала вид, что вошли случайно...

по делу... Затем качали головами и, стараясь не придавать своим словам значения, заводили речь о том, как это нехорошо, когда дети растут непослушными, дерзкими и добиваются того, что их никто не любит. А кончали тем, что советовали тебе пойти ко мне и попросить у меня прощения.

— А то дядя рассердится и уедет в Москву,— говорила бабушка грустным тоном.— И никогда больше не приедет к нам.

— И пускай не приедет! — отвечал ты едва слышно, все ниже опуская голову.

— Ну, я умру,— говорила бабушка еще печальнее, совсем не думая о том, к какому жестокому средству прибегает она, чтобы заставить тебя переломить свою гордость.

— И умирай,— отвечал ты сумрачным шепотом.

— Хорош! — сказал я, снова чувствуя приступ раздражения.— Хорош! — повторил я, дымя папиросой и поглядывая в окно на темную пустую улицу.

И, переждав, пока пожилая худая горничная, всегда молчаливая и печальная от сознания, что она — вдова машиниста, зажгла в столовой лампу, прибавил:

— Вот так мальчик!

— Да не обращай на него внимания,— сказала мама, заглядывая под матовый колпак лампы, не коптит ли.— Охота тебе разговаривать с такой злючкой!

И мы сделали вид, что совсем забыли о тебе.

VI

В детской огня еще не зажигали, и стекла ее окон казались теперь синими-синими. Зимний вечер стоял за ними, и в детской было сумрачно и грустно. Ты сидел на полу и передвигал коробочки. И эти коробочки мучили меня. Я встал и решил побродить по городу.

Но тут послышался шепот бабушки.

— Бесстыдник, бесстыдник! — зашептала она укоризненно.— Дядя тебя любит, возит тебе игрушки, гостинцы...

Я громко прервал:

— Бабушка, этого говорить не следует. Это лишнее. Тут дело не в гостинцах.

Но бабушка знала, что делает.

— Как же не в гостинцах? — ответила она.— Не дорог гостинец, а дорога память.

И, помолчав, ударила по самой чувствительной струне твоего сердца:

— А кто же купит ему теперь пенал, бумаги, книжку с картинками? Да что пенал! Пенал — туда-сюда. А цифры? Ведь уж этого не купишь ни за какие деньги. Впрочем,— прибавила она,— делай как знаешь. Сиди тут один в темноте.

И вышла из детской.

Кончено,— самолюбие твое было сломлено! Ты был побежден.

Чем неосуществимее мечта, тем пленительнее, чем пленительнее, тем неосуществимее. Я уже знаю это.

С самых ранних дней моих я у нее во власти. Но я знаю и то, что чем дороже мне моя мечта, тем менее надежд на достижение ее. И я уже давно в борьбе с нею. Я лукавлю: делаю вид, что я равнодушен. Но что мог сделать ты?

Счастье, счастье!

Ты открыл утром глаза, переполненный жаждою счастья. И с детской доверчивостью, с открытым сердцем кинулся к жизни: скорее, скорее!

Но жизнь ответила:

— Потерпи.

— Ну пожалуйста! — воскликнул ты страстно.

— Замолчи, иначе ничего не получишь!

— Ну погоди же! — крикнул ты злобно.

И на время смолк.

Но сердце твое буйствовало. Ты бесновался, с грохотом валял стулья, бил ногами в пол, звонко вскрикивал от переполнявшей твое сердце радостной жажды... Тогда жизнь со всего размаха ударила тебя в сердце тупым ножом обиды. И ты закатился бешеным криком боли, призывом на помощь.

Но и тут не дрогнул ни один мускул на лице жизни... Смирись, смирись!

И ты смирился.

VII

Помнишь ли, как робко вышел ты из детской и что ты сказал мне?

— Дядечка! — сказал ты мне, обессиленный борьбой

за счастье и все еще алкая его.— Дядечка, прости меня. И дай мне хоть каплю того счастья, жажда которого так сладко мучит меня.

Но жизнь обидчива.

Она сделала притворно печальное лицо.

— Цифры! Я понимаю, что это счастье... Но ты не любишь дядю, огорчаешь его...

— Да нет, неправда,— люблю, очень люблю! — горячо воскликнул ты.

И жизнь наконец смилостивилась.

— Ну уж Бог с тобою! Неси сюда к столу стул, давай карандаши, бумагу...

И какой радостью засияли твои глаза!

Как хлопотал ты! Как боялся рассердить меня, каким покорным, деликатным, осторожным в каждом своем движении старался ты быть! И как жадно ловил ты каждое мое слово!

Глубоко дыша от волнения, поминутно слюнявя огрызок карандаша, с каким старанием налегал ты на стол грудью и крутил головой, выводя таинственные, полные какого-то божественного значения черточки!

Теперь уже и я наслаждался твоей радостью, с нежностью обоняя запах твоих волос: детские волосы хорошо пахнут,— совсем как маленькие птички.

— Один... Два... Пять...— говорил ты, с трудом водя по бумаге.

— Да нет, не так. Один, два, три, четыре.

— Сейчас, сейчас,— говорил ты поспешно.— Я сначала: один, два...

И смущенно глядел на меня.

— Ну, три...

— Да, да, три! — подхватывал ты радостно.— Я знаю.

И выводил три, как большую прописную букву Е.

1906

ЗЕРКАЛО

Из давних набросков «Жизни Арсеньева»

I

В тумане моего прошлого есть один далекий день, который я вспоминаю особенно часто.

Я вижу большую угловую комнату в старом деревенском доме.

Одно окно этой комнаты — на юг, на солнце, два других — на запад, в сад.

В простенке стоит старинный туалет красного дерева, а на полу возле него сидит ребенок.

Он один в комнате и чувствует себя необыкновенно счастливым.

На дворе сухо,— погожий конец августа, и солнечный свет косо падает из окна, выходящего на юг, до того места, где сидит он на полу.

Он открыл дверцу в тумбе туалета, пахнущей старинными духами, и тщательно укладывает на ее полированную полочку синие гербовые бумаги. Радостно то, что эти бумаги с орлами, что они покрыты строками крупных непонятных завитушек; радостно, что обладаешь ими, что их много и что можно раскладывать их в тумбе, которая отныне будет тоже твоею.

Так было и сказано:

— Вот эта тумбочка с нынешнего дня — твоя.

А для того, чтобы было что укладывать, подарили кипу синих бумаг с красивыми двуглавыми птицами. Накопится много и других вещей, вроде коробочек и граненых пузырьков, стоящих на туалете. И все это будет спрятано сюда же.

Но на свете, как известно, все кончается: бумаги уже несколько раз укладывались на полочке и так и этак, порядок, в котором они должны быть, строго обдуман,— остается затворить тумбу, поглядеть на нее с приятным чувством собственности и заняться чем-нибудь другим.

Чем же?

Ребенок стоит возле туалета и осматривается.

Но в этой простой деревенской комнате совсем почти пусто: только туалет, кресла, да большая кровать, да августовское солнце, косо озаряющее некрашеный пол.

Приятно подойти к окну, почувствовать тепло солнечного света и прижаться лицом к холодящему стеклу. Очень заманчива и паутина — легкая восьмигранная сетка в верхнем углу окна. Но до нее не дотянешься; кроме того, из щели в углу может выбежать на высоких тонких ножках большой серый паук.

И ребенок, подняв глаза, чувствует сладкий страх при мысли о таинственном хозяине этой паутины, имя которого он произносит с запинкой, по-крестьянски — *пуак*,— и который так сердито выскакивает из своей щели, когда в его сеть попадает муха.

Сладко следить тогда за ее гибелью!

Жалобно и долго-долго ноет она в тишине пустой комнаты, точно зовет на помощь... И вдруг он, этот темно-серый страшный паук, выскакивает из щели и быстро бежит по паутине... схватывает муху в лапы, замирает с нею на месте и наконец, уже слабую, затихающую, тянет ее в свое жилище...

Что это за жилище? Что делает в нем его хозяин, чем занят он?

Но тут взгляд ребенка нечаянно падает на зеркало...

II

Я хорошо помню, как поразило оно меня.

С него начинаются смутные, не связанные друг с другом воспоминания моего младенчества. Ранее нет ничего: пустота, несуществование.

Ни мое сердце, ни мой разум никогда не могли и до сих пор не могут примириться с этой пустотой. Но, покоряясь неизбежности, я принимаю за начало моего бытия этот августовский день, эти синие гербовые бумаги с орлами, тихую радость, которую они дали мне,— и зеркало.

Меж колонок туалета в тяжелой прихотливой раме, висело что-то светлое, блестящее, красивое и непонятное. Я видал его и ранее. Видел и отражения в нем. Но изумило оно меня только теперь, когда мои восприятия вдруг озарились ярким проблеском сознания.

Я заглянул в то светлое, блестящее, что слегка наклонно висело меж колонок туалета, увидал там другую комнату, совершенно такую же, как та, в которой я был, но только почему-то гораздо более заманчивую, увидал самого себя — и в первый раз в жизни был изумлен и очарован.

Я восторженно оглянулся... Да, несомненно, в зеркале было все, что было и здесь, вокруг меня — и стены, и стулья, и пол, и солнечный свет, и ребенок, стоявший среди комнаты... Нас было двое, удивленно смотревших друг на друга! И вот один из нас вдруг закрыл глаза — и все исчезло: остались только светлые пятна, закружившиеся в темноте. Потом снова открыл их — и снова увидал все то, что уже видел. Увидал, кроме того, еще и то, что комната в зеркале падает, валится на меня. Почему валится? Я робко приблизился к зеркалу и, дотянувшись рукой до нижней части рамы, толкнул ее. Зеркало блеснуло, стукнуло в стену, а покатый пол, отраженный в нем, стал еще более покатым. Теперь вся комната падала на меня, падал и мальчик, стоявший против меня, и кровать, и стулья... Очарованный, восхищенный, долго глядел я на то чудесное и новое, что так внезапно открылось мне,— и потянул раму к себе. Зеркало опять блеснуло и совсем завалилось назад...

III

Много раз после того я пускался перед ним на всякие лукавства и ухищрения.

Я любил угловую комнату, когда она была пуста. И вот, когда она была пуста, я входил в нее, затворял за собой двери — и тотчас же вступал в какую-то особенную, чародейственную жизнь.

Так тихо, так тихо, что слышна каждая нота в тонком и печальном плаче дрожащей и замирающей в паутине мухи!

И я затаивал дыхание, и мне казалось, что и комната ждет чего-то вместе со мною.

Мальчик, стоявший предо мной в отраженной комнате, был теперь выше ростом, решительней, смелее, чем тот, что стоял в ней когда-то, в светлый августовский день. Но отраженная комната была все так же притягательна, заманчива, гораздо заманчивей той, в которой был я. И сладко было снова и снова тешить себя несбыточной

мечтою побывать, пожить в этой отраженной комнате!

Существует ли она и тогда, когда не смотришь на нее? Чтобы узнать это, нужно было обмануть кого-то.

И вот я делал равнодушное лицо, отходил от зеркала, заглядывал с притворной беспечностью в окна — и вдруг быстро оборачивался к туалету... Увы, все было по-прежнему!

Но тогда не сесть ли в кресло против зеркала? Закрыть глаза и притвориться спящим... А затем сразу открыть их...

Однако хитрость моя снова рассыпается прахом!

Оставалось еще одно: приоткрыть ресницы — так мало, так мало, чтобы никто и не подумал, что они приоткрыты...

Но как это трудно!

Ресницы дрожат, глазам больно, и выходит все одно и то же: или совсем ничего не видно, или, хоть слабо,— видно все.

И много раз, делая отчаянные усилия, сдвигал я с места тяжелые колонки, среди которых висело зеркало, и заглядывал между ним и стеной. Но и там, именно там, где должна была заключаться разгадка тайны, не оказывалось ничего, кроме стены с одной стороны, и шершавых дощечек, которыми было забито зеркало, с другой.

— Значит, кроется что-нибудь за ними, за этими дощечками?

Говорили, что за этими дощечками «только стекло, намазанное ртутью». Да, но что такое ртуть? Ртуть ведь тоже нечто чудесное. Положил будто бы кто-то этой ртути в пекущиеся хлебы — и вдруг хлебы запрыгали по печке! А главное: почему поспешили закрыть это что-то, намазанное ртутью и называемое зеркалом, как только умерла Надя?

В ту страшную ночь, когда в доме свершилось что-то невыразимое, наполнившее весь дом сперва таинственной суматохой, испуганными голосами, а потом страстными криками матери, зеркало завесили черным коленкором.

Я, спавший в угловой комнате, в диком ужасе вскочил на колени, когда тишину ночи прорезали эти крики. А затем в комнату быстро вошла заплаканная нянька и кинула на зеркало кусок черной материи...

IV

Надолго застыл после того в тишине и грусти наш старый степной дом.

Уже весеннее солнце по целым дням наполняло его радостным блеском, но померкли все мои радости!

Что это случилось с милой, веселой девочкой, которая так звонко выкрикивала когда-то свое имя, а теперь лежит в селе на погосте, в какой-то «могиле»?

Откуда пришла она? Зачем росла, прыгала, радовалась — вплоть до того рокового вечера, в который точно какой-то злой дух дохнул на нее своим пламенным дыханием?

С разгоревшимся личиком, с сияющими глазками, она была особенно весела в тот вечер — и вдруг поникла на плечо матери:

— Мама, бай!

И тотчас же ее унесли в детскую, и это был последний час, в который я видел ее: живой из детской она уже не вернулась.

Вот идут дни за днями, а ее все нет — и никогда не будет.

Вот вынимают зимние рамы, и дом наполняется душистой свежестью и теплом яркого солнца... А ее нет — и никогда не будет.

Говорят, что она где-то там на погосте. Но нет, не вся. То живое, прекрасное, что было в ней когда-то, не там, а в каком-то раю, в небе.

В тихие апрельские сумерки, когда я сидел у раскрытого окна, выходящего в темный и свежий сад, я подолгу смотрел на меркнущий нежно-алый закат, по которому горами громоздились синие тучи. И когда над ними, в зеленоватом небе, вспыхивало серебристое зерно первой звезды, нянька говорила:

— Вот душенька нашей Надечки...

А я вспоминал ту страшную ночь, когда она накинула черный коленкор на зеркало, и опять думал:

— А что же такое это зеркало? Ужели и впрямь только простое стекло, намазанное какой-то «ртутью»?

V

И велико было мое недоумение, когда я наконец убедился в этом!

Не раз, говорю, отодвигал я зеркало от стены, и не раз не находил за ним ничего, кроме паутины и шершавых дощечек.

Однако нужно было заглянуть и под эти дощечки.

И однажды, когда в доме все спали, я отодвинул, замирая от страха быть пойманным, зеркало от стены — и кухонным ножом приподнял одну из дощечек...

Да, меня не обманывали!

Под дощечкой не было ничего, кроме стекла, намазанного красно-коричневой краской.

Но, может быть, есть что-нибудь между этой краской и стеклом?

Нет, и там ничего нет: я слегка поцарапал концом ножа в уголке зеркала — и увидал простое стекло!

Но не стала ли таинственная ртуть еще более таинственной после того?

Несомненно. Ибо разве не чудесно было и то, что сделал я? Я соскоблил ножом немножко краски,— и увидал, что чудесное стекло стало самым обыкновенным: прильнувши к тому месту, где я скоблил, я увидал сквозь стекло самую простую, обыкновенную комнату.

Где я был до той поры, в которой блеснул первый луч моего сознания, пробужденного светлым стеклом, висевшим в тяжелой раме меж колонок туалета? Где я был до той поры, в которой туманилось мое тихое младенчество?

— Нигде,— отвечаю я себе.

Но в таком случае я, значит, не существовал до этой поры?

— Нет, не существовал.

Однако так ли это? Моя память так бессильна, что я почти ничего не помню не только о своем младенчестве, но даже о детстве, отрочестве. А ведь существовал же я! И не только существовал,— думал, чувствовал, и так полно, так жадно, как никогда потом. Где же все это?

Тайна, тайна! И всюду она, эта всепроникающая власть тайны, таинственного, власть чаще всего темная, жуткая.

Чем только не мучила она меня в пору моего младенчества!

Три свечи в комнате — к чьей-нибудь смерти.

Вой собаки ночью — к смерти.

Ворон, пролетевший со свистом крыльев низко над домом,— к смерти.

Разбитое нечаянно зеркало — к смерти.

Черный коленкор, накинутый на него,— знак смерти.

А что отражается в зеркалах по ночам перед бедою!

— Вошла я это, матушка-барыня, ночи за две перед тем, как Надечке умереть, глянула на туалет, а в зеркале стоит кто-то длинный и белый — белый как мел!

VI

На этом зеркале и до сих пор видна царапина, сделанная моей рукой много, много лет тому назад,— в ту минуту, когда я пытался хоть глазком заглянуть в неведомое и непонятное, всю жизнь сопутствующее мне от самого истока дней моих.

Я видел себя в этом зеркале ребенком,— и вот уже не представляю себе этого ребенка: он исчез навсегда и без возврата.

Я видел себя в зеркале отроком, но теперь не помню и его.

Видел юношей,— и только по портретам знаю, кого отражало когда-то зеркало.

Но разве мое — это юное, слегка надменное лицо? В зеркале отражается теперь печальное и, увы, уже спокойное лицо.

Настанет день — и навсегда исчезнет из мира и оно.

И от всех попыток моих разгадать зеркало останется один след: царапина на стекле, намазанном дивною «ртутью».

⟨1906—1929⟩

БЕЛАЯ ЛОШАДЬ

Пошевеливая вожжами, землемер рассеянно слушал ладный топот копыт по гладкой августовской дороге.

Еще светло было, и дорога, убегавшая на восток, казалась фиолетовой.

Землемер смотрел вдаль, где поля замыкались линией чугунки, курил и приятно пьянел от несвязных певучих мыслей.

Уже по-осеннему пусто и сиротливо было в полях. Сиротливо дремали на кочках кроткие хохлатые жаворонки. Вяло и терпко пахло картофельной ботвой, горько тянуло откуда-то дымком... И землемер с певучей грустью смотрел на сероватые поля, над которыми уже реял чуть серебристый и, как всегда в засуху, рассеянный лунный свет.

«Любопытно, однако, знать,— подумал он,— что это со мною сегодня? Чего это я так разболтался и болезненно развеселился у Стоцкого? Положим, не был дома уже две недели, устал как собака, дел переделал кучу... Может быть, от водки? Но много ли было выпито? Сущий вздор, две-три рюмки... Что же в таком случае?»

Лошади стали: шлагбаум на переезде через линию был опущен,— нужно было слезать и стучать в будку.

Спокойный, бесцветный свет запада еще отражался в окне будки, и будка показалась землемеру необитаемой, почти страшной с этим тусклым блеском стекол и тишиной вокруг.

«Переезжать ли?» — подумал он.

Можно было переехать тут и держать путь на Егорьево, на Каменку... Можно и возле следующей будки: тогда дорога пойдет по опушке Дубровки, а потом по глухим лугам на Ястребиный Колодец...

И землемер остановился в нерешительности.

Но послышался ровный, медленный скрип телеги. И, взглянув направо, землемер увидал в легком лунном сиянии большую белую лошадь — старую, седловатую, в гречке, с отвислыми губами. Череп ее был огромен; пук соломы, засунутый под узду, дико торчал возле правого полуприкрытого глаза.

— Куды прешь! — крикнул землемер, замахиваясь кнутовищем.

Но лошадь и ухом не повела. Звонко хрипя от запала, она прошла возле самого его плеча, а за нею показалась скрипучая телега, пахнущая дегтем и рогожей. Лохматый рыжий мужик, в распоясанной красной рубахе, лежал в телеге вниз лицом.

— Эй, дядя! — шутливо крикнул землемер дрогнувшим голосом.— Ай помер?

Но мужик не поднял головы, не отозвался на крик.

И землемер, уже не раздумывая, ударил правой вожжой. Тележка чуть не перевернулась от крутого поворота и шибко покатила возле линии, за которой неясно серебрилось над полями лунное сияние.

По-прежнему на душе было и хорошо, и грустно, и тревожно... Все благополучно, все слава Богу, но чего-то недостает... людей, может быть, жилья, приятеля... Хотелось петь, рассказывать свою жизнь... Спросить кого-нибудь: что же, наконец, будет на том свете что-нибудь или нет? Райские яблочки и черти в неугасимом пламени, конечно, вздор. Но ведь вздор и полное исчезновение. Зачем родился? Зачем рос, любил, страдал, восхищался? Зачем так жадно думал о Боге, о смерти, о жизни?

— Зачем, позвольте вас спросить? — сказал землемер вслух.

Существовать на том свете и в теперешнем виде он, конечно, не будет. Ибо если он будет существовать, значит, и эти лошади будут существовать... и мириады мириад всех прочих лошадей, зверей, птиц, жучков, несметных мошек... Но и бесследно исчезнуть он не может. Он этому никогда не верил. Истомлен заботами, работой, частыми припадками удушья, а жить, сохранить себя хочет жадно. И поминутно трепещет за свою жизнь, во всем чует тайну, враждебность... Лунный свет в пустынных полях, тишина, темный камень вдали, коренник, который вдруг насторожит уши,— все страшно. Днем, когда вспоминаешь, просто, незначительно, а ночью — страшно...

«Это как васильки,— подумал землемер.— Днем синие, а погляди вечером, при лампе,— лиловые».

— Пи-пи-пи! — тонко и хищно зазвучало вдруг где-то вверху, в рассеянном лунном свете.

Землемер оглянулся, увидал поле, телеграфные столбы, тусклый блеск, бегущий навстречу ему по рельсам,— и на душе стало еще тревожнее. Этот писк, писк кобчика или совки, затерявшийся в лунном свете, напомнил ему, что безмолвный, мертвый вечер кончился, что в полях начинается таинственная ночная жизнь. Кроткие хохлатые жаворонки, проводящие свои последние дни в осиротевшей степи, теперь спят. Но зато проснулись и на всю ночь будут с жалким писком голода гоняться друг за другом все эти мелкие и крупные хищники, дремавшие днем на телеграфных проводах, таившиеся во рвах и на лесных опушках. Позевывая, выползла из своей норы в каменистом овраге лисица, вышла на лунный свет и осторожно потянула по скату, поводя пушистым хвостом... Зеленым фосфором вспыхнули волчьи глаза в дубовом кустарнике... И, представив себе страшную красоту этих глаз, землемер почувствовал приступ жуткого восторга.

Да, как жалко тявкает лисица, если она худа, тоща, выгнана из своей норы более сильным зверем, каким-нибудь когтистым барсуком! Как плаксиво и зло скулит соколок голодный! И как томно потягивается и оскаляется лисица сытая, с густой лоснящейся шкурой! Каким звонким и дерзким смехом заливается этот тонкоголосый соколок, выбивши добычу у другого, слабого! И при мысли обо всем этом землемер содрогнулся от сладострастной жути.

Опять лошади стали перед будкой на переезде через рельсы, и опять загородила дорогу перекладина шлагбаума.

Но на дворе уже ночь, бледная, сухая, лунная, и будка не похожа на первую. Эта, живая, приветливая, манит к себе внутрь, где горит огонь и топится печь: видна яркая пасть печи, пляшущая большими языками красно-оранжевого пламени.

— Эй, добрые люди! — слабо крикнул землемер, обрадованный жильем.

И тотчас же ожесточенно, захлебываясь, залилась возле лошадей лохматая шавка, и босая девочка скромненько и деловито подошла к шлагбауму. Загремела цепь,

и огромный журавль, медленно и плавно вырастая, потянулся головой к небу.

— Ты будочникова, девочка? — спросил землемер ласково.

— Будочникова,— ответила девочка и, наклонив головку и мелко перебирая босыми ножками, пошла поднимать вторую перекладину шлагбаума, за которой лунный свет и пустынное жнивье сливались во что-то легкое, светлое и серебристое, как далекое море.

— А что это у вас печь топится?

— Мать воду греет.

— Ай хлебы ставит?

— Нет, у нас малый помер.

Землемер широко раскрыл глаза.

— Как помер? — сказал он тревожно.— Когда?

— Сейчас только.

— А велик малый-то был?

— Седьмой месяц пошел.

Землемер облегченно вздохнул.

— Ну, ничего! — сказал он.— Мать еще родит.

— Да нам его не жалко,— просто ответила девочка.— У нас их пятеро. Да еще одного недавно зарезало.

— Машиной?

— Машиной. Мать валяла пироги, а он выполз из будки и заснул... Нас судили за него, из могилы его откапывали, думали, что мы его нарочно положили.

Землемер засмеялся:

— Ах ты, злодейка этакая! Ну, прощай, спасибо за хлопоты!

— Час добрый,— сдержанно ответила девочка.

И лошади с грохотом понесли тележку по деревянной настилке к тому светлому и легкому, что было впереди, взяли немного вправо, и опять колеса, сорвавшись с настилки, с мягким шорохом покатились по сухой ровной дороге.

И опять мысли надолго затерялись в однообразно-ладном стуке копыт, который бесстрастно слушало только бледное и все выше поднимавшееся лицо луны...

«Просто все это у меня к перемене погоды»,— подумал землемер, подбадривая себя и продолжая думать о причинах своего беспокойства.

Но теперь, когда осталось сзади последнее жилье, бодрые слова уже и совсем не помогали. Глаза жадно всматривались в даль... Что это на том дальнем косого-

ре, за лощиной, в светлой дымке? Что-то длинное, темное, зубчатое... Стена, остатки жилья? Нет, просто забытая в поле копна... За ней опять косогор и опять лужок, выходящий на голую долину, серебристо-туманную под луной... Но что это там темнеет, двигается? Волк?

Землемер вставил два пальца в рот, резко свистнул и натянул вожжи. Постромки пристяжной обвисли, коренник насторожил уши и пошел тише... Едко и приятно запахло лошадиным потом... Что-то темное, двигавшееся на косогоре, блестящем от озими, подняло голову. Стало страшно...

Но прошло несколько минут — и по чему-то тупому, что было в приближающейся фигуре, землемер узнал, что это теленок... Верно, пегий, с белыми ресницами, глупый...

Есть что-то глухое, дикое в этих осенних беспризорных скитаниях телят. По целым неделям бродят они в полях, дичают, приобщаются к таинственной жизни зверей и хищных птиц.

«А свиньи! — подумал землемер.— Черные упрямые борова, с туго завернутыми винтами хвостиков! Те совсем отбиваются осенью от дому, Бог знает куда уходят по лугам и косогорам... Роют под кустами по пригоркам, что-то выкапывают, чавкают и прут дальше, повиливая крепкой тушей...»

Мелькала серебристая полынь вдоль дороги, проходили темные равнины пашен, полосы радужно-зеленых озимей, тускло поблескивали подковы пристяжной, женственно отвернувшей голову от коренника... Гордо нес голову сильный коренник, шедший дробной рысью... Землемеру хотелось курить, надоело сидеть... Волнуясь все более при мысли о том сильном, беспощадном, таинственном, что окружало его со всех сторон и точно вызывало на состязание, он все беспокойнее ждал чего-то, а внутренний голос все настойчивее говорил, что ожидания не напрасны. И, как бы подтверждая это, коренник вдруг фыркнул. Землемер вздрогнул и увидал, что он идет с чутко и строго поднятыми ушами, с какою-то преувеличенной бодростью, почти с наглостью.

Озноб прошел по всему телу землемера. Чтобы поскорее увидать то, что должно увидать, он откинулся влево и пристально взглянул вперед. Впереди то же, что и было: пустое поле и лунное сияние. Но поле это идет слегка под изволок, дальше опять повышается — и замыкается тем-

ной, высокой и такой дивной в лунном свете стеной Дубровки.

Вот она приближается, темнеет, и уже хорошо видна огромная тень, падающая от ее стены на поле... Доносится легкая лесная свежесть вместе с сухим и душистым теплом дуба... А вот роща и совсем близко — и тень стала резче, лунный свет ярче, роща под луною чернее, выше, величавее... Еще минута — и тележка уже в тени, катится по гладкой дороге вдоль опушки... И далеко видны светлые поляны среди живописных старых дубов в сказочно-прекрасной глубине рощи.

«Ах, хорошо!» — с жутким восхищением хотел сказать землемер — и вдруг замер с широко открытыми глазами.

Из глубины рощи легко и быстро, прямо на него, неслась большая белая лошадь.

«Неужели та самая, что с звонким хрипом прошла давеча возле будки?»

Сладострастный трепет ужаса еще раз колючим холодом прошел от корней волос по всему телу,— и землемер крепко напряг зрение, чтобы получше разглядеть шибко летевшую к нему лошадь.

Но уже ясно было, что не та.

Медленно тащила скрипучую телегу белая кобыла, встретившаяся возле будки. Годы, тяжкая работа, неволя сделали ее страшной, костлявой, тупой, тяжелой. Эта же шла бодро, чисто, едва касаясь земли. И так гордо и грациозно несла свою голову, что сразу было видно, что она молода, сильна, ни одного дня не знала упряжи...

Но в этом-то и был ужас. И ошеломленный землемер с размаху рванул вожжи.

Коренник высоко задрал морду и заплясал, пристяжная со всего разбега осела на задние ноги. Но тут белая лошадь, как перышко, перенеслась через канаву возле опушки и вся выскочила на ее высокий вал. И, увидав ее, коренник дико всхрапнул, пристяжная так шарахнулась к оглобле, что она треснула,— и тележка вихрем, вприпрыжку понеслась по пашне. Землемер, не помня себя, вскочил на ноги, в два взмаха замотал на руки вожжи и, откинувшись назад, изо всей силы рванул к себе левую вожжу. И коренник, мотая головою от удил, раздиравших ему челюсти, понес обратно на дорогу.

Белая лошадь, выскочившая на вал, казалась литой из серебра. Как только колеса тележки стукнулись об

дорогу, она тотчас же спрыгнула с вала, дала тележке мелькнуть мимо себя,— землемер близко видел ее прекрасные блестящие человечьи глаза,— и весело понеслась за ней.

— Грабят! — крикнул землемер альтом и бросил вожжи.

Точно сорвало последние дубки рощи — и опять в глаза грянуло широкое пустое поле и неясный лунный свет над ним. Землемер обернулся и увидел, что и лошадь уже в поле — несется за тележкой по серой дороге. Только побледнела немного, как побледнел в поле и самый лунный свет.

— С нами крестная сила! — пробормотал землемер, с трудом переводя свистящее дыхание, опять натягивая вожжи, и опять оглянулся.

Увы, и белая лошадь пошла тише!

«Ну, притворюсь, что мне все равно»,— решил землемер отчаянно и погнал пару под изволок, в бесконечный Ястребиный Луг.

Мелкая безымянная речка поблескивала и бежала по лугу — настолько мелкая и прозрачная, что можно было считать под водой белые камни днища. Как чешуя рыбы, поблескивала она под луною, и на диво печален и прекрасен был под луной каменистый и пустынный луг. Но любоваться было не время. Нужно было зорко править, чтобы не вылететь на выбоинах спуска, нужно было ловко повернуть на полной рыси вправо, а потом перескочить вброд. Но лошади и сами понимали дело — цепко пронеслась пристяжная по узкой тропке косогора, как раз вовремя вильнул коренник и уверенно кинулся в речку... Колеса с шумом заклубились в серебре и алмазах, глухо застучали по размытым белым камням...

«Глянуть ай нет? — подумал землемер.— Нет, не надо!»

И тотчас же оглянулся — и чуть не вскрикнул: белая лошадь опять была в двух шагах от него, над речкой, на самом краю оставшегося сзади берега.

«Пропал я!» — с радостным отчаянием подумал землемер и, закрыв глаза, опять ударил по кореннику вожжами.

И через минуту грохот колес по речным камням сразу оборвался — и, блестя мокрыми шинами, ровно покатились они по мелкому щебню прибрежья в смутную, слег-

ка сизую даль бесконечного луга. Не выдержав, землемер опять взглянул назад — и, к великому удивлению своему, белой лошади уже не увидал. Глянул влево, глянул вправо, на прозрачную воду, бегущую по белым камням, потом опять назад... Только широкий луг, весь, как светлым дымом, напоенный лунным сиянием! Но зато сзади, на дрогах тележки, скрестив длинные, тонкие ноги в разбитых лаптях и повернув к землемеру беззубое лицо, наполовину освещенное луною, сидит и смотрит круглыми глазами нищенка. И землемер, увидав ее, ляскнул зубами и сипло засмеялся бессмысленным смехом.

— Хороша! — сказал он.— Красива! Ты смерть, что ли?

Нищенка молчала.

— Молчишь? — сказал землемер.— Значит, правда?

Нищенка молчала и смотрела ему в лицо неподвижными глазами.

— Нашла с кем шутки шутить! — сказал землемер горько.— Или мало тебе, что ты и так всю жизнь издевалась надо мной?

И вдруг почувствовал такую острую боль горя и обиды, что, не помня себя, взмахнул кнутовищем. Сладкие слезы злобы сдавили ему горло, но, как только он взмахнул кнутовищем, старуха точно растаяла в воздухе: только опять зазвенел где-то в небе тонкий, радостно-хищный смех какой-то ночной птицы:

— Пи-пи-пи-пи!

И, замирая, затерялся вдали.

Землемер пришел в себя и медленно перекрестился.

...В Долгое землемер приехал перед рассветом.

Страшное и прекрасное привидение белой лошади исчезло возле подъема на хохлацкие Выселки. И тотчас же после этого он бессильно опустил вожжи. Рубашка на нем была мокрая, сердце билось. Крестясь, он снял картуз, вытер рукавом потный лоб и, почувствовав озноб, накинул на плечи чуйку.

— Что за чушь! — сказал он изумленно и посмотрел в луг.

Но в лугу было пусто.

Он посмотрел с горы в поля за лугом, к юго-востоку — и что-то грозное глянуло ему в глаза. А, это поднимается зимнее небо! Уже встают яркие полунощные

созвездия: треугольник из алмазов Тельца с рубином Альдебарана посредине, страшное Всевидящее Око...

Он закурил с жадностью, с упоением. Потом почувствовал такую жажду сна, какая бывает только в детстве, после долгого летнего дня.

— Спать, спать! — сказал он, закрывая глаза и опуская голову.

Лошади шли шагом, темные, едко пахнущие потными хомутами и разгоряченным телом. Землемер смотрел на сбитую набок шлею коренника, хотел поправить кнутовищем — и не мог.

— Спать, спать! — сумрачно говорил он, закрывая глаза.— Я, кажется, с ума схожу...

И тотчас же начинало казаться, что тележка бежит под гору, и от этого замирало сердце, путались мысли...

Вот, чувствуется, случилось что-то. Он слабо открывает глаза и видит, что тележка стоит — и коренник с шумом делает то, для чего остановился...

Луна поднялась высоко-высоко, светлая, бледная ночь стала еще бледнее, и далеко вокруг расстилается равнина, покрытая бледной полынью... Степь, поздно, тишина, свежесть...

И опять коренник трогает с места, и опять все путается. Кажется, что по земле, по полыни светлой мглой бежит туман, а в тумане — белая легкая лошадь... Землемер открывает глаза — и видит, что коренник опять стоит: большой дымчатый вол лежит посреди глинистой улицы, половина которой покрыта косой зубчатой тенью, а кругом — хаты, хохлацкие Выселки. Место ровное, голое, улица широкая, а направо и налево — бледно-голубые мазанки с глиняными трубами, такие молчаливые и грустные в этот поздний час долгой лунной ночи. Ни души и ни звука. Только осторожно и прерывисто трюкают сверчки в бледно-голубых стенах с темными окошечками, слюдой поблескивающими против луны...

— Ах дурак, дурак! — с ласковой укоризной говорит землемер кореннику и легонько ударяет его вожжой, объезжая важно дремлющего дымчатого вола с огромными рогами.

А в третий раз он открывает глаза уже в Долгом, упершись оглоблями в ворота своего поместья. Похоже на Выселки,— только улица еще шире и длиннее, а хаты тонут в палисадниках. Набежал туман на луну, стало совсем прохладно, за воротами хрипло и бодро кричит

басом его любимый красно-золотой петух. Землемер слезает с тележки, расправляет ноги с родственным чувством к своему поместью, с легкой тревогой,— благополучно ли в доме? — и чуть слышно стучит кнутовищем в кухню, в крайнее окно длинного кирпичного дома под железной крышей, почти невидного за высокими мальвами.

И через минуту щелкает задвижка, и на крыльце, ежась и зевая, появляется солдатка Василиса, босая, в короткой юбке, вся теплая и томная со сна.

— Здоровы? — спрашивает землемер, отводя глаза от ее голых полных плеч.

— Слава Богу, живы, здоровы,— улыбаясь и почесывая под мышками, говорит Василиса.

— Ну, возьми лошадей, вели Кузьке распречь...

Дома все было благополучно, жизнь текла обычно, и, как всегда по воскресным дням, утром из зала запахло ладаном. Землемер, спавший не раздеваясь, плеснул на лицо водою из умывальника и вышел в зал. В зале было солнечно. На столе, в простенке между окнами, выходящими в палисадник, кипел золотой самовар. Кусочек ладана, брошенный Марьей Яковлевной в его трубу — для праздника,— распространял сладкий церковный запах. Марья Яковлевна, небольшая женщина лет сорока, похожая лицом на Фонвизина, мыла чашки. Землемер поздоровался с ней, поговорил о делах...

Новостей было мало: только ссора с Иваном Павловым, который опять приписал в книжке.

— Такой свинья! — воскликнула Марья Яковлевна.— Да покарал Господь! Помнишь его бланжевого быка? Картошкой подавился!

— Издох? — спросил землемер.

— И часу не прожил! — сказала Марья Яковлевна, раздувая ноздри.

Потом взглянула в открытое окно и взволновалась еще больше.

— Ну вот! Полюбуйтесь! — сказала она.— Боже, какие мои дети пошлые! Опять босиком!

Дети были в палисаднике. Толстый Котик, одетый как девочка, важно ходил среди мальв, переваливаясь на кривых ножках. Десятилетний Павлик, худенький, хорошенький, с черными и всегда гневными глазками, закатив до самого паха штанишки, целился из лука в воробьев.

Таня и Оля, белобрысые и некрасивые, с замиранием сердца следили за ним.

Землемер посмотрел в окно, слабо крикнул:

— Здравствуйте, наследники! — и, улыбаясь, сказал: — При чем же тут пошлость?

— Ну конечно! — воскликнула Марья Яковлевна.— У тебя все ни при чем! Ты уж привык потакать им!

И, видя, что землемер слушает рассеянно, с изумлением прибавила:

— Да что это ты как блаженный какой?

— Уморился,— сказал землемер и отвел глаза в сторону.

За обедом не хотелось есть и, как среди мух в жаркий день, было томительно сидеть среди густого терпкого запаха картофельного супа с бараниной, среди баловавшихся детей и крика Марьи Яковлевны. «Тоже зал называется!» — думал землемер, с кислой улыбкой оглядывая знакомую комнатку, вдруг показавшуюся нестерпимо тесной, и противные украшения на ее стенах: Тамару в гробу, крещение Руси и выцветшие фотографические снимки, на одном из которых был он сам — в солдатской позе, в сюртуке, в белом галстуке, в старомодных штанах с раструбами,— и Марья Яковлевна — в фате, с бессмысленно выпученными глазами. Жадно хотелось пива, и, когда принесли из лавочки холодную бутылку темного толстого стекла, землемер выпил ее почти залпом. Потом вышел за калитку палисадника, на скамейку.

Вечер был ясный, улица, мирная и красивая от белых мазанок и разноцветных мальв, вся розовела против заходящего солнца, блестела стеклами. Стрижи сверлили воздух, кружась над площадью, над куполом деревянной церкви. И, как всегда в хороший вечер, с площади, из окон сидельца винной лавки, неслись резкие, ухабистые басы и альты аристона — звуки краковяка.

Землемер слушал, весь наполняясь этими вызывающими и бьющими по нервам звуками, с болезненным наслаждением вспоминая под краковяк, что белая лошадь была сильна, прекрасна,— и напряженно думал: — почему дети так любят игру в войну, в охоту и в какие-то далекие поездки? Потом встал и пошел к хате о. Нифонта, жившего через улицу, напротив.

Загорелый подпасок в старом дворянском картузе гнал по улице кучку темно-лиловых баранов, теснившихся друг на друга, мелко перебиравших ножками и подни-

мавших золотисто-розовую пыль. По тропинкам возле палисадников, среди засохшей глинистой грязи, шли бабы с подоткнутыми подолами и с коромыслами на плечах и низко кланялись поповой хате, не глядя на нее и виляя кострецами. А поп, тучный, лысый, сидел на лавочке возле палисадника, одной рукой разбирал свою большую енотовую бороду, а другой гладил ходившего по его плечу тощего котенка мышиного цвета.

— Здравствуйте, здравствуйте, Юрий Милославский! — благодушно сказал он.— Давненько не были. Небось весь земной шар смерили?

Землемер подсел на лавочку и, принужденно улыбаясь, небрежным тоном рассказал о своем видении — о том, какая «глупейшая» история приключилась с ним в дороге.

Но на о. Нифонта белая лошадь не произвела никакого впечатления.

— Бывает! — сказал он.— То ли еще бывает! Вон мои работники недавно жаловались: как только они в сарай, на боковую, так сейчас же козел за стеной: бя-я! А я и козла-то от роду не водил... Слышали, как бычок подковал Ивана Павлова?

Землемер вспомнил однообразие зимних и летних дней в Долгом, вспомнил сон после обеда, Марью Яковлевну, выходящую после сна к чаю с желтым, смятым лицом, засиженным мухами... И, раздражаясь, сказал:

— А быка жалко, батюшка! Великолепный был бык! Бывало, бежит — земля дрожит... глаза огненной кровью налиты... Не нам чета...

— То есть как не нам чета? — удивленно спросил о. Нифонт, опуская руку, гладившую головастого котенка.

— А так,— резко сказал землемер и почувствовал, что у него похолодели руки.— Сила! Я вот поехал как-то прошлой осенью в город, а в городе зверинец, а в зверинце — лев. Сижу вечером в номере, а стекла так и заливаются! У меня, понимаете, свечка едва коптит, номеришко вонючий, зеркальце на стене от духоты и самоварного пара побелело, а он — как хватит, хватит! Открыл я окно — темь, дождь, все забились в свои жалкие хибарки, а он так и панует над городом! Ах, отец Нифонт,— страстно прибавил землемер, начиная дрожать от волнения,— все-таки нет ничего на свете хуже бессилия!

— Ну, это дело другое,— сказал о. Нифонт.— А то я не понял сперва, какую мысль вы хотите провести.

Понятно, страшная сила! Пишут, будто лев может хвостом быка убить...

Землемер вдруг ляскнул зубами. Раскрасневшееся солнце только что село за площадью, и все сразу потускнело, поблекло. Неприятный ветер, пыля по площади, добежал до поповой хаты, зашумел в мальвах, и землемер вдруг дернулся и стукнул зубами от холода. Торопливо простившись с о. Нифонтом, он торопливо перешел улицу, торопливо вошел в дом и, не зажигая огня, бросился на постель в своем кабинете — узкой комнате возле зала. В голове, певшей краковяк, вертелась назойливо-мучительная мысль о детской любви к войне, а нывшее тело жадно просило одеял, шуб, полушубков. Перепуганная Марья Яковлевна бегала по темным комнатам, одевала его чем попало, а он видел, что со всех сторон сыплются на него белые лошадиные черепа, заваливают столы, стулья,— и задыхался от духоты, жары под этими черепами... А стекла дрожали от далекого львиного рева... Он вспомнил, однако, что это не рев, а гром, и, открыв глаза, услышал шум ветра за окном, увидал золотой сполох, озаривший комнату...

— Марья Яковлевна! — крикнул он слабо.

— Лампу заправляю,— откликнулась Марья Яковлевна из зала.

И землемер опять потерял сознание.

Приехавший на другой день к вечеру земский врач, человек с изумленными глазами, в очках, с густой огненной бородой и в парусинном балахоне, сказал, что у больного воспаление легких.

Через несколько дней, в первый раз придя в сознание, он узнал Марью Яковлевну, понял, что он дома, что на столике возле кровати горит свечка. Но бока были так крепко скованы острыми, нестерпимо режущими при каждом вздохе железными обручами, глазные яблоки так ломило, а дрожащее пламя свечи было окружено таким печальным и большим мутно-радужным шаром, что он поспешил повернуть голову к стене, к ковру, на котором был изображен очень прямо сидящий турок в тюрбане, в огромных шароварах и с мундштуком кальяна в руке.

— Ну как ты себя чувствуешь? — сдерживая слезы и стараясь говорить ровным голосом, спросила Марья Яковлевна.

Но больной не ответил.

Все было так чуждо ему, так скучно, что ответить не

хватило силы. А свет дрожал, краснел, турок в тюрбане рос, расплывался, принимал сказочные очертания...

Второй раз сознание держалось дольше. В комнате было темно, Марья Яковлевна похрапывала в кресле, за окном синела лунная ночь. И землемер вспомнил, как, много лет тому назад, когда у него было первое воспаление, он вот так же пришел в себя поздней ночью в темной комнате... И всю душу его охватила невыразимая тоска. Как молод он был тогда, как восхитительна была даже болезнь! Он целый год жил тогда дома, выгнанный за курение из реального училища, готовился в землемерное, пропадал в поле с ружьем и собакой... В жаркий апрельский день он напился из ледяного хрустального ключа в голом и веселом весеннем лесу — и слег. Болезнь была тяжелая, по ночам жар доходил до сорока, но что за ночи стояли тогда! Голова пылает, по телу идет острый колючий холод, а лунный свет так дерзко и ярко сквозит в щели ставни, и соловьи наполняют весь сад таким ярким ликованием, что весь мир кажется сновидением... И во всем существе была непоколебимая вера в выздоровление.

Уверенность эта была, впрочем, и теперь. И так оно и случилось. На седьмой день больной уже ел бульон, пил чай и просто, спокойно разговаривал.

Был он желт, слаб, голова и борода у него сильно поседели,— не сдались только одни густые строгие брови,— но это очень шло к нему. Лицо его стало чище, красивее. Марья Яковлевна с радостью рассказывала, как он бредил, какую чепуху он говорил иногда, про какую-то белую лошадь, и землемер улыбался с ласковой снисходительностью к самому себе.

И с такой же улыбкой, с грустным и приятным сознанием своей слабости, вышел он в первый раз после болезни в зал. Казалось, что уже много лет не видал он знакомых комнат.

Глаза у него стали темнее, больше и смотрели на все удивленно, внимательно. На ногах были мягкие туфли, под пиджаком и рубашкой ласково грел тело лифчик из лисьей шкурки. Никуда не нужно спешить, ни о чем не нужно заботиться,— давно не бывало у него таких отрадных дней! Но он уже твердо знал: это его последняя осень.

В кабинете он снял с полки Библию и развернул книгу Иова. На столе лежали какие-то гвозди, старые планы, рассыпанные патроны папирос... Он приладился с краю и зачитался.

Потом положил локти на книгу и загляделся на кривую лесовку, росшую на пустыре за окном.

Да, вот был человек непорочный, справедливый, богобоязненный. Был он богат, здоров, счастлив. Но истребил сатана, с изволения Господня, все его имущество, истребил всех чад его и поразил его проказою от подошвы по самое темя. И взял человек черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел вне селения. И открыл уста свои и страстно проклял день свой. «Погибни,— сказал он,— день, в который я родился, и ночь, в которую сказано: зачался человек! Дыхание мое ослабело; дни мои прошли; думы мои — достояние сердца моего — разбиты; ночью ноют во мне кости мои: ибо летам моим приходит конец, и отхожу я в путь невозвратный.— Скажу Богу: за что Ты со мною борешься? За что гонишься за мною, как лев, и нападаешь на меня, и чудным являешься во сне? Но не ответит мне Бог!»

Было в простоте этих слов, в образе безумно-вдохновенного прокаженного, сидящего в пустыне за селением, скребущего черепком гнойные раны свои и проклинающего жизнь от колыбели до гроба, что-то столь древнее и в то же время столь близкое во все времена каждому человеческому сердцу, что прежде землемер был не в силах читать этих слов. Но теперь он прочел их спокойно и медленно, чувствуя себя почти равным Иову в безнадежности. Потом остановился на словах Сафара:

«Можешь ли ты постигнуть Вседержителя? Он превыше небес: что можешь сделать? Глубже преисподней: что можешь узнать? Но пустой человек мудрствует, хотя человек рождается подобно дикому осленку...»

«Вот и ответ дикому осленку!» — подумал землемер, глядя в сумерки.— Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей! — вслух сказал он, и брови у него страдальчески сморщились и задрожали.

Он представил себе свое детство, младенчество,— и почувствовал невыразимую жалость к этому бедному маленькому «осленку», неизвестно зачем пришедшему в мир и осмелившемуся мудрствовать. Что ответит ему Бог «в шуме бури»? Он только напомнит безумцу его ничтожество, напомнит, что пути Творца неисповедимы, грозны, радостны, и разверзнет бездну величия Своего, скажет только одно: «Я — Сила и Беспощадность». И ужаснет великой красотой проявления этой силы на земле, где от века идет кровавое состязание за каждый

глоток воздуха и где беспомощней и несчастней всех — человек.

«Кто сей, омрачающий Провидение словами без смысла? Препояшь ныне чресла свои, как муж: Я буду спрашивать, а ты отвечай Мне...»

— О, какая красота! — сказал землемер, и горячие слезы потекли из-под его ресниц.

«Знаешь ли ты время, когда рождают дикие козы на скалах? Они изгибаются, рождая детей своих, а дети их приходят в силу, растут в поле и не возвращаются к ним. Знаешь ли ты, кто разрешил узы онагру, которому степь я назначил домом, а солончаки жилищем? Захочет ли единорог служить тебе и переночует ли у яслей твоих? Ты ли дал перья и пух страусу? Он оставляет яйца свои на песке и забывает, что полевой зверь может растоптать их. Он жесток к детям своим, как бы не своим...»

— Все сила, сила! — воскликнул землемер, мысленно видя перед собой белую лошадь, с ее дико-веселым, вызывающим и беспощадным взглядом.

«Храпение ноздрей ее — ужас,— с безумным восторгом вспомнил он стихи о лошади в книге Иова.— Роет ногою землю и восхищается силою. В порыве ярости глотает землю и не может устоять при звуке трубы. При звуке трубы издает голос: гу! гу! издалека чует битву, громкие голоса вождей и крик...»

— А верх путей Его! — дерзко и громко, точно в бреду, сказал землемер.— Верх путей Его — бык Ивана Павлова... бегемот... левиафан...

«Сила в чреслах бегемота и крепость в мускулах его: Поворачивает хвостом своим, как кедром. Жилы же на бедрах его переплетены. Ноги у него, как медные трубы. Кости у него как железные прутья. Это — верх путей Божиих...»

Но тут из прихожей послышались голоса вернувшихся из школы детей, потом чьи-то тяжелые шаги, и в комнату быстро вошла взволнованная, вся пахнущая осенней свежестью Марья Яковлевна.

— Полюбуйтесь! — воскликнула она.— Иван Павлов капусту прислал! Ну, пря-ямо смотреть не на что! Кочерыжки одни!

Землемер сморгнул слезы, нежно и жалко улыбнулся ей и отвернулся к окну...

1907—⟨1929⟩

МАЛЕНЬКИЙ РОМАН

I

В этот вечер мы встретились на станции.

Она кого-то ждала и была рассеянна.

Поезд пришел и затопил платформу народом. Пахло лесом после дождя, каменным углем. Знакомых было так много, что мы едва успевали раскланиваться. Но того, кого она тревожно искала глазами, не было.

Поезд тронулся, и она остановилась, глядя широко раскрытыми синими глазами на мелькающие вдоль платформы вагоны. В окнах, на площадках — всюду были лица, лица. Но того лица, что было нужно, не было.

Наконец стена вагонов оборвалась, мелькнул задний буфер, поезд стал уменьшаться, сокращаться в пролете между зелеными лесами. На опустевшей платформе тонко блестели длинные полоски дождевой воды, голубой от неба.

Платформа была в тени,— солнце скрылось за ее навесом, сзади нас, но дачи в лесу, напротив, были еще озарены и весело горели стеклами. Где-то страстно и отчаянно, в нос, заливался граммофон; где-то щелкали шары крокета и раздавались мальчишеские крики... Даже не взглянув на меня, она коротко сказала: «Пройдемтесь немного»,— и я пошел.

За станцией в глаза ударило яркое вечернее солнце, но дальше стоял тенистый лес. И мы долго шли его прохладной просекой, по корням и утоптанным, упругим тропинкам, возле грязной дороги, среди зеленых лимов, осин и густого орешника, задевавшего нас бархатистой листвой. Она шла впереди, и я глядел на ее юбку, подолом которой она обвила себе ноги, на клетчатую кофточку, на тяжелый узел ее кос. Она ловко выбирала места посуше, наклоняясь от веток.

— О чем вы думаете? — спросила она раз, не оборачиваясь.

— О ваших ботинках,— сказал я.— О том, что они не на французских каблуках. Не верю женщинам на французских каблуках.

— А мне верите?

— Верю...

Но вот просека кончилась, мы очутились на солнце, на открытом зеленом бугре, и она остановилась и обернулась.

— Какой вы милый! — сказала она.— Идет себе и молчит... У меня неожиданный прилив нежности к вам.

Я ответил сдержанно:

— Спасибо. Это в горе бывает.

Она широко раскрыла глаза:

— В горе? В каком горе?

— Но ведь я знаю, что вы кого-то напрасно ждали. Знаю и то, что сейчас вы предложите мне догонять вас.

— Угадали. Хотите?

Я подошел к ней и, взяв за руки, слегка притянул к себе. Она отклонилась.

— Нет,— пробормотала она.— Нет... Ради Бога...

И, помолчав, ловким движением выдернула руки, подхватила юбки и побежала с бугра в разлужье.

Направо и налево были овраги, заросшие лесом, впереди — широкая лощина, покрытая рядами скошенного сена, почти вся в тени. Сбежав в разлужье, она остановилась на границе этой тени, в блеске низкого солнца. Но, подпустив меня на шаг, прыгнула через канаву и пустилась по лощине. Я прыгнул за ней — и вдруг с неба посыпался легкий, быстрый, сухой шорох, а на взгорье налево пала легкая, чуть дымящаяся радуга.

— Дождь! — звонко крикнула она и еще быстрее побежала по сверкавшему под ливнем лугу.

Половина его, еще озаренная солнцем, дрожала и сияла в стеклянной, переливающейся золотом сети,— редкий крупный дождь сыпался торопливо и шумно. Видно было, как длинными иглами неслись с веселого голубого неба, из высокой дымчатой тучки, капли... Потом они замелькали реже, радуга на взгорье стала меркнуть — и шорох сразу замер. Добежав до стога, она упала в него и засмеялась. Грудь ее дышала порывисто, в волосах мерцали капельки.

— Попробуйте, как бьется сердце,— сказала она, взяв мою руку.

Я обнял ее, наклонился к ее полуоткрытым губам. Она не сопротивлялась.

Потом тихо отстранила меня и отвернула от меня зардевшееся лицо. Она перекусывала сухой стебелек и блестящими глазами рассеянно смотрела вдаль.

— Это первый и последний раз,— сказала она.— Хорошо?

— Хорошо,— ответил я.

Она пристально посмотрела на меня:

— А вы хоть немножко любите меня? Мне так хорошо с вами, я так счастлива! И не ревнуете меня ни к кому... То, что я ждала кого-то, право, не имеет ни малейшего отношения к нам... Ну да, он уже и официально мой жених, и скоро я стану графиней Эль-Маммуна... Почему? Не знаю... Просто потому, что я его боюсь...

Она протянула мне руки с намерением подняться. Я поцеловал сперва одну, потом другую.

— А теперь пойдем,— сказала она.

— Куда?

— Еще немного по лугу...

Я поднял ее — и она мельком, застенчиво улыбнулась. Потом милыми женскими движениями поправила волосы, глубоко вздохнула свежестью луга... В лесу, то там, то здесь, глухо куковала кукушка, оттеняя глубину и звучность его после дождя, высоко в небе плыли и таяли теплые дымчатые облака с золотисто-алыми краями...

А на обратном пути мы заблудились. Однако она быстро сообразила, что где. И уверенно повела меня.

Тут, уступая моей просьбе, кратко, намеками, волнуясь, она рассказала мне свою историю. Кончив, она долго шла молча.

В лесу стояли северные сумерки. А лес, молчаливый, темный, тянулся на много верст вокруг. И весь этот лесной край был погружен теперь в грустное и спокойное ожидание ночи. Зыбкий полусвет таял, задремывал. Мелкое болотистое озеро, по берегу которого мы пробирались, еще белело меж деревьев. Но и оно было тускло и печально, как в лесу. Надвинулись тучи, сливаясь с темнотою леса. И все цепенел теплый сонный воздух, напоенный пряным ароматом болотных трав и хвои. Светляки золотистыми изумрудами тлели под кустами, задремыва-

ющими под таинственный шепот кузнечиков... Чтобы сократить путь, мы повернули от озера в длинный и широкий коридор вековых сосен. И, уже с трудом различая дорогу, пошли по глубокому песку к поляне, как вдруг что-то зашуршало в сухой перепутанной хвое, и оттуда ко́лом вынырнула большая головастая сова. Она метнулась на нас — я даже успел разглядеть ее серые штаники — и взвилась на своих широких круглых крыльях. Она отшатнулась и стала. А сова, беззвучно описав дугу, снова пала вниз и плавно потонула в чаще ветвей, во мраке.

— Не к добру,— сказала она, покачав головой.

Я улыбнулся.

— Уверяю вас, не к добру,— повторила она просто и настойчиво.

— Что же будет?

— Ах, я не знаю! Впрочем, мне все равно. Эти дни с вами и особенно этот вечер я никогда не забуду. Дайте я на прощанье...

Не договорив, она обняла меня, грустно и нежно посмотрела в лицо, подумала и поцеловала один глаз, другой... И мы пошли через поляну на зеленый огонек семафора, мерцавший за деревьями. Совсем стемнело; тихо зашептался с лесом дождь. А когда мы вбежали на балкон дачи, под парусиновый навес, к чайному столу, освещенному свечами в колпачках, дождь уже лил как из ведра.

Мы отряхивались и притворно рассказывали, как мы заблудились, как искали дорогу. И вдруг смолкли: из темного угла балкона, с качалки, поднялся непомерно высокий, худой и широкоплечий человек лет тридцати, с голым черепом, чудесной черной бородой и блестящими глазами. Старики смутились, она побледнела. Я пожал его большую руку и шутливо сказал:

— Боже, какой вы высокий! Из вас вышел бы отличный средневековый латник.

— Да? — живо спросил он.— Что ж, могло быть. Меня зовут граф Маммуна...

Мне отыскали старый огромный зонт, надавали советов, где лучше пройти, и я спустился с мокрых ступеней балкона в непроглядную тьму.

Она стояла на пороге, в светлом треугольнике парусинного шатра. Когда я добрался до калитки, она, не повышая голоса, сказала:

— Прощайте.

И это было последнее слово, слышанное мною от нее.

II

«Дорогой мой,— писала она мне через четыре месяца после этого,— не вините меня, что я исчезла, даже не предупредив вас. Он был в тысячу раз сильнее меня. Я потеряла волю, упустила страшный момент, когда еще можно было все порвать. Теперь у меня нет уже почти никаких надежд на встречу с вами. Да и как бы мы встретились? Мне кажется, я нисколько, нисколько не обманываю себя насчет вашего чувства. Для вас это был неожиданный и *маленький роман,* только и всего. Но все равно: клянусь вам,— если я кого-нибудь любила за всю свою жизнь, то это вас...

Что такое эта мириады раз воспетая людьми любовь? Может быть, дело-то и не в самой любви. В письмах одного умершего писателя я недавно прочла: «Любовь — это когда хочется того, чего нет и не бывает». Да, да, никогда не бывает. Но все равно. Я вас любила и люблю...

Вспоминаю вас чаще всего в сумерки. В сумерки мы простились, в сумерки и пишу я вам это первое и, верно, последнее письмо. А пишу Бог знает откуда: из Альп, из ледяного, пустого отеля за облаками, в октябрьский вечер. У него начинается чахотка, и я бессовестно издеваюсь над его жизнью. Я не только держу его в Альпах в самую нелепую пору — я еще таскаю его в самые скверные туманные дни по озерам, в горы. Теперь *он* покорен мне.

Он молчит по целым дням, блестит глазами, но покорен. Молча шел и нынче. Когда мы вошли сюда, прислуга отеля, доживающая здесь последние дни простой крестьянской жизнью в кухне, ахнула от изумления: вот так гости! Но, может быть, и потому, что он был бледен и огромен, как смерть.

А пошла я сюда ради вас. Чтобы думать, вспоминать в тишине, в безнадежности...

Так хорошо, так задумчиво синеют поздней осенью эти долины, уходя друг за другом в горы. Небо равнодушно и низко висит над озерами, и неподвижно лежат темно-свинцовые озера, налитые туманно-сизыми кряжами. Когда я гляжу в это облачное небо, меня всегда тянет

уйти в его туманы, провести ночь в каком-нибудь пустом горном отеле... Я бы полжизни отдала, чтобы вы были здесь со мной...

Мы уехали из города на пароходе утром, а после полудня уже шли в гору. Как печальна была эта дорога! Низкорослый лес на обрывах и скатах был редок, дремал и скупо ронял мелкие желтые листья. Иногда из-за деревьев глядели тупые, изумленные морды больших красных коров. Иногда слышался птичий свист мальчишек-пастухов, собиравших по кустарникам хворост. В глубочайшей тишине мы шагали все выше и выше, а с гор, с круч, сумрачно синевших сосновыми лесами, серым дымом спускалась зима. Останавливаясь, чтобы передохнуть, я подолгу смотрела в долины, слабо лиловевшие в деревьях далеко внизу. Тогда слышно было падение каждого листика. Мокрые кустарники плакали — тихо, тихо...

Близ какого-то тоннеля, черневшего своим жерлом в тумане, встретили какой-то поселок, пять-шесть сонных хижин на скате. Только не спеша можно было одолевать трудный подъем по грязным, скользким шпалам. Но очень скоро от поселка осталось одно пятно внизу, а с гор уже повеяло сыростью осеннего снега.

Тут он остановился и предложил вернуться.

Я, назло ему, отказалась.

— Не остроумно,— сказал он и, подумав, опять пошел.

Туман все густел и темнел, а мы шли ему навстречу, миновали черную, закопченную и гулкую дыру тоннеля, прошли почти отвесный мост над дымным бездонным ущельем... Если мой невольный спутник отставал, он мгновенно расплывался в тумане. И когда мы перекликались, голоса наши были глухи и странны.

Раз он окликнул меня,— он все сзади шел,— и, когда я остановилась, подошел и протянул мне руку.

— Будь ласкова,— несмело сказал он,— заберись мне в рукав и вытяни фуфайку.

И мне стало жаль его. Он понял это, опустил глаза и прибавил:

— И потом, поедем куда-нибудь, где тепло, и займемся оба каким-нибудь делом. А так очень тяжело. Это ад, а не свадебное путешествие.

— Разойтись нам надо,— ответила я.

Он помолчал. И пробормотал, сдвигая брови:

— Трудно это...

— Тогда я возьму на себя этот труд,— сказала я.— Ты не смеешь делать меня жертвой своей нелепой любви.

— Я все смею,— сказал он, в упор глядя на меня.— Мне терять нечего.

Я отвернулась и пошла.

Мокрые рельсы, покрытые тающим снегом, сбегали сверху, сосны и ели шли оттуда по обрывам. В сумерках, в тумане можно было скорее чувствовать, чем различать их лиловые пятна. И надо всеми этими хмурыми горами стояла такая тяжкая тишина заоблачного царства, которая исключала малейший признак жизни. И вдруг в старой ели, стоявшей возле дороги, послышался шорох. Помните сову? Я именно здесь вспомнила ее и после этого решила непременно написать вам. Это была, конечно, не сова, это был королек,— кажется, самая маленькая из всех существующих птиц. Серенький, вспорхнул он с мокрого, дымящегося рукава ели, сел было на дорогу — и тихо перелетел к обрывам налево, в туман...

Представляете себе этот вечер? Мглистые стены бора, мокрый, бледный снег вдоль дороги, дымные пропасти, где висит густая аспидная мгла... А королек спокоен. Его не пугает зимняя горная ночь. Он проведет ее где придется — предоставив себя чьей-то высшей защите. А вот у меня нет веры в эту защиту.

Сейчас лягу спать в этом пустом ледяном номере, пахнущем сосною, и, когда потушу огонь, буду думать о том, что я за облаками, в настоящем царстве смерти. Он лежит в соседнем номере и глухо кашляет. Это не человек, а какие-то погребальные дроги. Я ненавижу его всей душой!

Если встретимся и я буду свободна, поцелую ваши руки от радости — делайте тогда со мной, что хотите. Нет — так тому и быть...»

III

Но и это письмо дошло до меня Бог знает когда. Из Москвы переслали его в деревню. Там оно провалялось чуть не три месяца, потом колесило по югу. И получил я его уже в начале марта, перед отъездом из Крыма.

Тронуло оно меня, взволновало — ужасно.

Но что написать в ответ, что сделать? Я долго думал над этим и придумал только одно, прости меня, Боже:

«Поеду-ка и я через горы на лошадях».

На крымских горах тоже висел туман. Но была весна, мне было двадцать восемь лет...

На Ляй-Лю, в грязной корчме на перевале, я пил кислое красное вино, пока перепрягали тройку. Все тонуло во мгле, проносившейся по ветру мимо окошечка корчмы... Я вынул письмо, перечитал его — и у меня забилось сердце.

«Ах, милая, чудесная! Но что сделать? Что сделать?»

В корчме не сиделось. Я вышел на воздух...

Туман розовел, таял. В мглистой вышине светлело, теплело. В небесах, в дыму облаков обозначалось что-то радостное, нежное... Оно росло, ширилось — и внезапно засияло лазурью...

Надо написать,— непременно!

Но что? Куда?

Над горной пустыней, окружавшей меня, сиял легкий лазурный купол. Но еще долго курились зубчатые утесы над стремнинами, пока не блеснуло наконец солнце. И тогда от тумана не осталось и следа. Небо раскрылось над горами во всей своей необъятности, далеко зазеленело в чистом воздухе волнистое плоскогорье. Ветер тянул с севера, но он был ласков, мягок. И, опьяненный этим ветром, я пошел к обрыву, чтобы еще раз взглянуть на море.

Исполинская дымчатая тень в радужном ореоле пала от меня в густой зыбкий пар под обрывом. Бесконечная, изрытая равнина сгустившихся облаков — целая страна белых рыхлых холмов — развернулась перед моими глазами. Вместо бездонных стремнин и скал, вместо прибрежий и заливов, до самого горизонта простиралась подо мною эта равнина, необозримым слоем повисшая над морем. И вся сила моей души, вся печаль и радость — печаль о той, другой, которую я любил тогда, и безотчетная радость весны, молодости — все ушло туда, где, на самом горизонте, за южным краем облачного слоя, длинной яркой лентой синело море...

Колокольчик однообразным дорожным напевом говорил о долгом пути, о том, что прошлое отжито, что впереди — новая жизнь. Старая дорожная коляска, старая почтовая тройка, ушастый ямщик-татарин на высоких козлах рядом с увязанными чемоданами, дружный топот копыт под несмолкающий плач колокольчиков, бесконечная лента шоссе... Долго я оборачивался

и глядел на сизые зубцы скал, вырезывающихся на сини пустого неба... А тройка, под заливающийся звон и топот, катилась и катилась все ниже и ниже, все глубже и глубже, в лесистые живописные пропасти, все дальше и дальше от перевала, вырастающего и уплывающего в небо.

Здесь, в этих молчаливых горных долинах, стояла прозрачная тишина первых весенних дней, красота бледно-ясной лазури, черных голых деревьев, прошлогодних коричневых листьев, слежавшихся в кустах, первых фиалок, диких тюльпанов.

Здесь еще только начинали зеленеть горные скаты, отдыхая от стужи и снега. Здесь хрустально чист и свеж был воздух, как бывает он чист и свеж только ранней весной...

И казалось мне тогда, что ничего не нужно в жизни, кроме этой весны и дум о счастье.

А в конце марта, будучи уже в деревне, на севере, я неожиданно получил — почтой, через Москву — телеграмму из Женевы:

«Исполняя волю покойной, сообщаю вам, что она скончалась 17 сего марта. Эль-Маммуна».

1909—1926



ПТИЦЫ НЕБЕСНЫЕ

С горы, по наглаженной, ухабистой дороге, спускался к реке студент Воронов. Возле моста, положив руки на костыль и глядя на реку, стоял какой-то маленький человечек.

Изумрудные льдины лежали вокруг темно-лиловой проруби. Голоса баб, полоскавших белье, звонко раздавались в морозном воздухе. Солнце скрывалось сзади, за горою, снежная долина вся была в тени, но оконца изб и кресты церкви на противоположной вороновской стороне еще горели лучистым золотом.

Глубокие январские снега, огромные снежные шапки на избах алели. Красновато чернел и сквозил возле церкви сад вороновского поместья, густо и свежо темнели сосны палисадника перед его домом. Дым из труб дома поднимался в чистое зеленое небо ровными фиолетовыми столбами.

Казалось, что стоявший возле моста любуется.

Мимо него, со скрипом, раскатывались, неслись розвальни: шибко возвращался обоз порожняком. И он благоразумно отошел к сторонке.

— Держись, срежу! — крикнул один из обозчиков, сани которого раскатились особенно лихо.

Стоявший обернулся, что-то крикнул в ответ... И, махнув рукой, закашлялся.

Студент сбежал к мосту,— он все кашлял. По вытянутой шее и склоненной голове, по тому, как он отставил костыль, опершись на него обеими руками, видно было, что кашель затяжной, мучительный. Но, должно быть, притворный: верно, это был дурачок, бродяга по святым местам, и, верно, он заметил барина.

Студент поравнялся с ним, заглянул ему в лицо, под самодельную шапку с наушниками и назатыльником,

мехом внутрь. Тогда он смолк, низко поклонился и, отдуваясь, медленно побрел по мосту, с визгом вонзая в морозный снег железный наконечник костыля. Худые ноги в больших лаптях еле волочились...

Нет, не дурачок. Просто нищий и больной.

Необычная была только аккуратность, с которой лежали мешки за его спиной. Необычен и зипунишка, старый, но тщательно заплатанный. И уже совсем необычно было лицо — лицо подростка лет под сорок: бледное и изможденное, простое и печальное. Черные глазки глядели со странным спокойствием. Пепельные губы среди реденьких усов и бороды полуоткрывались. Прядь длинных волос, по-женски ложившаяся на маленькое восковое ухо под наушником, была суха и мертва. Тело — щуплое, тощее, с болезненно приподнятыми плечами.

— Застыл, старик? — крикнул студент с деланной бодростью.

Нищий приостановился и тяжело перевел дыхание, раскрывая рот, поднимая грудь и плечи.

— Нет,— ответил он неожиданно просто и даже как будто весело.— Застыть не застыл...

И опять собрался с духом и прибавил еще бодрее, таким тоном, точно все обстояло вполне благополучно, кроме того, с чем уж ничего не поделаешь:

— Застыть не застыл. А вот здоровье...

Он приподнял грудь:

— А вот здоровье все хужеет!

И легонько двинулся вперед.

Студент осмотрел его лапти, онучи: ноги тонки и слабы, онучи тонки и стары, лапти разбиты, велики... И как это он ухитряется ходить по такому морозу?

— Уж очень у тебя, дядя, обужа-одежа плоха! — сказал студент.

— Обужа, это верно, плоха,— согласился нищий.— А вот одежа... Нет, одежа ничего. У меня под ней кофта ватная.

— Все-таки студишься небось без валенок-то?

— Студишься... Бока колет... Закашляешься — прямо смерть.

Говорить на ходу было трудно. И студент остановился. Остановился и нищий и поспешил положить дрожавшие руки на костыль.

— Дальний?

— Дальний... Из-под Ливен.

— Давно удушье-то?

— Удушье-то? Давно...

— Селитру не жег? Очень помогает.

— Нет. Перец... пил.

Студент покачал головою.

— Глупо,— сказал он.— Я вот на доктора учусь, доктором, значит, буду... Понимаешь?

— Дело хорошее... Как не понимать...

— Ну, так и послушайся меня: перец не пей, а купи селитры. И стоит-то всего две копейки. Разведи, намочи бумагу, высуши и жги. Подышишь — полегчает.

И опять согласился нищий, не придав, видимо, ни малейшего значения селитре:

— Это можно. Деньги не велики.

— А ночевать-то где ноне будешь?

— Ночевать-то? Ночевать везде можно... В Знаменском ночую...

— Как в Знаменском? — сказал студент.— Но ведь ты туда к свету со своей ходьбой придешь!

— Мне спешить некуда,— ответил нищий и так просто, что студент слегка смешался. Помолчал и спросил:

— Побор в мешках-то?

— Ну, побор! Добришко... Рубахи, портки. Порток у меня много... Трое...

За мостом дорога раздваивалась: одна шла круто в гору, к вороновскому поместью, другая, отлогая, наискось к церкви.

— Слушай,— сказал студент,— пойдем к нам. Я бы тебе деньжонок дал...

Солнце закатывалось. Нищий посмотрел на гору, на черную, густую зелень елок в вороновском палисаднике, на мертвеющие сизые крыши усадьбы, на малахитовые снега выгона... И не спеша ответил:

— Беден только бес, на нем креста нет. А мне они почесть без надобности. А коли хочется, дай.

— Ну вот, и пойдем.

— А пойтить... не пойду. Ночую в Знаменском, ежели... дойду...

И, склонив голову, отдуваясь, полегоньку, нищий упорно побрел по дороге к церкви.

Студент забежал домой, захватил кошелек и догнал его на выезде в поле. Оттуда, с севера, дуло острым ветром, клейко схватывавшим усы и ресницы. Темнела и вся двигалась мутно-фиолетовая снежная равнина,

отлого поднимавшаяся к высокому ветряку на горизонте. Свет заката еще брезжил на ее крестом простертых крыльях. А темнеющее поле все курилось и курчавилось, бежало быстрой дымящейся зыбью поземки.

— На-ка вот тебе полтинничек,— слегка задохнувшись, сказал студент, когда на скрип его шагов нищий обернулся и остановился.— Да скажи, как поминать тебя,— прибавил он шутливо.

Нищий усмехнулся.

— А мне теперь ничего, полегчало,— ответил он бодро, хотя лицо его посинело и сморщилось, а на глазах от ветра выступили слезы.

Сняв большую варежку, он неловко взял ледяными пальцами монету и задумчиво посмотрел на нее. Студент ждал великой радости, но поблагодарил нищий довольно спокойно:

— Вот за это спасибо... А поминать меня, Бог даст, не придется... Дойду.

— Серьезно, как звать-то тебя и что ты за чудак такой? — спросил студент.

— Звать-то? Звали Лукой... А уж чем чудён я — не знаю.

— Да ведь замерзнешь!

— И замерзнешь, не откажешься. Смерть, брат, она как солнце, глазами на нее не глянешь. А найдет — везде. Да и помирать-то не десять раз, а всего один.

— В рай, значит, спешишь попасть? — сказал студент, трогая ухо и поворачиваясь от ветра.

— Зачем в рай? Это еще дело темное — не то есть он, рай-то, не то нет. А мне и тут не плохо.

Ветер все сильнее дул в спину, в голову, леденил затылок, знобил, делал легкими ноги. Студент с удивлением взглянул в лицо нищего:

— Это тебе-то не плохо?

Нищий тоже взглянул ему в глаза.

— А что ж мне? — спросил он.— Беден только бес, на нем креста нет. А я живу себе.

— Живешь, как птицы небесные?

— А что ж птицы небесные? Птицы-звери всякие, они, брат, об раях не думают, замерзнуть не боятся.

— Да ты что? Философ? Атеист?

— Не понимаю я этих слов.

— Знаю, что не понимаешь. Я хотел спросить: в Бога-то ты веришь?

Нищий подумал.

— В Бога нет того создания, чтоб не верило,— твердо сказал он.

Студент взглянул на него с еще большим удивлением. Но стоять было так холодно, что он поколебался, поколебался и решительно выговорил:

— Ну с Богом!

— Стало быть, прощайте,— отозвался нищий и тряхнул своей круглой шапкой.— Спаси Христос...

И, подумав, надел варежки и повернулся. Маленький, сгорбленный, с высоким костылем, он скоро стал еще меньше, по пояс утонул в сумерках и волнистой снежной зыби, густо бежавшей на него от мельницы...

Вечером студент долго ходил из угла в угол по залу. Прислуга спала. На столе горела лампа, в углу, перед иконой — лампадка: когда барыни не было дома, нянька всегда зажигала ее,— чтобы Бог дал благополучную дорогу. И теперь студент с тревогой посматривал на часы,— был уже девятый, а матери все не было.

— Дикарь! — говорил он иногда вслух, вспоминая нищего.

Ночью он спал мало. С вечера читал Юнга и часов в десять, в валенках и башлыке, вышел взглянуть на восход Близнецов. И на пороге сеней оторопел: показалось, что свету Божьего не видно,— так гулко шумел сад от морозной бури, так бешено несла поземка. Но сад четко чернел над ее непрерывно несущимися вихрями, и звезды огнем горели на черном чистом небе. Утопая в снегу, нагибая голову от жгучей, захватывающей дух пыли, студент одолел гудящую аллею и глянул в поле: темь, смутно волнующееся белесое море — и над ним, как два страшных, то исчезающих, то появляющихся алмазно-голубых глаза, две ярких, широко расставленных звезды...

Второй раз студент добрался до садового вала в двенадцатом часу. Стало еще морознее и страшнее. Все спит мертвым сном, нигде ни огонька, сад ревет властно и дико. Небо еще чище, чернее, звезды еще пламеннее. А над белым морем метели — два других, еще шире раскинутых, кровавых глаза — Арктур и Марс. Остро блещут зерна Волопаса, веером рассыпанные на горизонте за мельницей. Близнецы, сдвинувшись, горят почти над головой...

«Замерзнет, черт!» — с сердцем подумал студент про нищего.

И всю ночь тревожно и однообразно стучали в темный дом, заносимый снегом, плохо прикрытые ставни. До костей промерзнув на ветру, студент заснул крепко, но потом стал сквозь сон томиться этим стуком. Он очнулся, зажег свечу, оделся... Ставни уже не стучали. И, выйдя на крыльцо, он услыхал отдаленную сонно-певучую перекличку петухов и замер от восхищения. Свежо и остро пахло тем особенным воздухом, что бывает после вьюги с севера. Тихая, звонкая ночь, вся золотистая от полумесяца, низко стоявшего над горой, за долиной, мешалась с тонким светом зари, чуть алевшей на востоке. Треугольником дрожащего расплавленного золота висела там Венера. Марс и Арктур искрились высоко на западе. И все звезды, мелкие и крупные, так отделялись от бездонного неба, так были ярки и чисты, что золотые и хрустальные нити текли от них чуть не до самых снегов, отражавших их блеск. Горели огни по избам на селе, петухи как бы убаюкивали нежно-усталый, склоняющийся полумесяц. И с звонким скрипом, с визгом въезжала в ворота знакомая тройка — вся серо-курчавая от инея, с белыми пушистыми ресницами...

Когда студент подбежал к саням, мать и кучер в один голос крикнули ему, что на знаменской дороге лежит в снегу мертвое тело.

1909

ПОДТОРЖЬЕ

Конец мая, и в поле еще прохладно, дует ветер, то и дело прячется в облака солнце, идут тени и свет.

Ехали, тряслись на тележке часа четыре. Устали, и все надоело. Но вот наконец открылась в широкой дали картина города, забелела полоса шоссе, бегущего к нему; и веселее шевельнули вожжами, покатили вдоль него рысью, отгоняя прочих едущих на ярмарку. Повеселела и погода, ветер стих, и все приближающийся город, его монастырь, острог, кресты церквей и стекла домов уже видны ясно, блестят против вечернего солнца.

И воздух стал меняться. Он еще прохладный, миндальный, полевой, но уже мешается со множеством прочих запахов. За телегами идут привязанные к ним лошади и коровы. На рогах коров тоже блестит низкое солнце, коровы идут медленно, с женственной неловкостью. Молодые кобылки и жеребчики, когда их объезжаешь рысью, красиво и гневно горячатся, шарахаются. И пахнет конским навозом, и коровами, и дегтем, и сеном, которым набиты тележные задки, больше же всего — городом и ярмарочным станом, уже раскинувшимся на громадном выгоне перед монастырем. Там, на этом выгоне, белеют балаганы, дымят собранные на скорую руку походные печки, набралось порядочное количество скотины и телег с поднятыми оглоблями, расставленных, однако, еще довольно просторно...

Через несколько минут тележка, с непривычной для деревенского уха грубостью, вдруг загремела по мостовой. Город!

Остановились, как всегда, на Острожной улице, на той, что прямиком вводит в город между острогом и монастырем.

На большой двор подворья едва въехали — так тесно. Все заняли цыгане, которые навели целый табун лошадей: и донских, и киргизов, и кровных, породистых, крытых попонами. Посреди двора — огромный фургон с кожаным верхом, весь изукрашенный медными драконами. Рядом разбита полосатая палатка. Под ее поднятыми полами постлана прямо на земле необъятная постель,— навалено несколько перин, кое-как прикрытых лохмотьями ситцевых одеял, и множество сальных красных подушек. На подушках высоко лежит навзничь, как мертвый, спит мальчик лет пятнадцати, босой, в коротких порточках, необыкновенной красоты. У ног его густо и пахуче дымит самовар и сидит, пристально смотрит молодая цыганка. На шее сургучные нити кораллов, навешены старые серебряные кресты. Смотрит, курит трубку и сплевывает.

Зато в горницах ни души. «Да и ночуете одни, все при лошадях, на дворе»,— сказала большая гнутая старуха, мать хозяина. «А это и того лучше,— ответили ей.— Распорядитесь-ка, матушка, насчет самоварчика да позвольте руки немножко помыть».

К чаю купили калачей, колбасы. Потом сидели, курили на крылечке, разговаривали с подходящими барышниками и цыганами о том, как идет подторжье, каковы намечаются цены. Барышники твердят:

— Что Господь даст! Что Господь даст! Он цены строит...

Вечером из-за крыш города — золотой свет большой низкой луны. Свет и тени лежат во дворе, который кажется красивым, а от фургона, от палатки даже несколько сказочным. Как тепло, что значит город! И оттого, что по этой прямой и широкой Острожной улице все едут и едут, скрипя телегами, а по выбитому тротуару идут и переговариваются, ночь весела, празднична.

Утром говорливая толпа идет, валит в другую сторону,— вон из города, по направлению к монастырю. Туда же несутся, ныряя по пыльным ухабам, извозчики.

Ветрено, но солнечно. И все время праздничный кавардак колоколов, не смолкающий ни на минуту, не дающий говорить и слушать.

Какое многолюдство и как все растет оно!

Густая толпа теснится возле ворот монастыря,— бородатые, волосатые и загорелые мужики, все чужие, новые для глаза, из дальних, задонских деревень, и великая

пестрота нарядных баб и девок, тоже чужих, кажущихся красивее, чем свои. Ворота монастыря, по бокам которых во весь рост написаны два длиннобородых старца в зеленых рясах и черных епитрахилях, с развернутыми хартиями в руках, широко раскрыты, и из них выезжают купеческие коляски.

Против монастыря — большой желтый острог, и из всех решетчатых окон его смотрят, прильнув к решеткам, широкие бледные лица под серыми бескозырками. У ворот острога тоже толпа,— сердобольные души принесли острожникам праздничного калачика.

В канаве возле шоссе спит молодой босяк с маленькой стриженой головой. Какое-то своеобразное изящество, какое-то щегольство есть во всей его легкой, не деревенской фигуре, в его короткой ситцевой рубахе и рваных дырявых брючках. Проходящие смеются, острят:

— Кто праздничку рад, тот до свету пьян!

А на шоссе одиноко стоит распряженная телега, а на телеге, на возу, сидит пожилая девица в драповом дипломате. На крыльях носа пыль. Дует жаркий ветерок, несет шум и гомон ярмарки, и лицо у девицы отупело от сидения, от обиды, что ее посадили и ушли, что все идут и смотрят на нее.

А вот уже и пыльная, истоптанная трава выгона. Тут, на отлете, на самом ходу, пристроился со своим столиком квасник. Толпа валит и валит мимо, многие на ходу пьют у него. И он потен, красен, с расстегнутым воротом, с картузом на затылок, радостно замучен своим призывным криком и бойкой торговлей. Не прекращая кричать, он то и дело с треском раскупоривает бутылки, озабоченно отсчитывает сдачу медяками, а сам бьет сапогом двух красных петухов, сцепившихся под его столиком.

И с каждым шагом вперед все растет теснота — от народа, от телег, от скотины: поминутно спотыкаешься на связанных овец, лежащих на земле среди пыли и навоза, опасливо пробираешься между рогатой скотиной, жмешься возле лошадиных задов.

Вот даже и совсем надо остановиться,— ходу дальше нет: в расступившемся кругу тесной толпы идет бешеный торг. Торгуют всего-навсего мужицкую лошаденку с легким дрожащим хвостом. Но какая горячка, сколько крику! Как яростно носится, держа эту лошаденку за повод и поминутно с диким и вызывающим видом

оборачиваясь на зрителей, цыган со смольной бородкой, с черно-золотыми глазами!

Он в расстегнутой жилетке поверх лиловой рубахи, в плисовых шароварах, одна штанина выпала из-за голенища.

— По душам сказал — бери! — кричит он.

На него смотрят: пузатый седой барышник с серебряными брелоками на часах, затягивающийся из серебряного мундштука, и мелкопоместный барин в белом картузе, в черной поддевке и серых штанах навыпуск.

— По душам сказал, душевно говорю! — сипло кричит цыган, круто заворачивая и осаживая сразу на все ноги лошаденку.— По душам сказал — бери! Ну, сто монет — и пойдем жижку пить! Зимой приеду, угощать станешь, хлеб-соль дашь!

— Вот что,— кричит барышник,— по-Божьему, по-хорошему, по-любовному, с веселым сердцем: шесть красных — и кончайте! Лошадь работница! Не сопата, не горбата, животом не надорвата!

— Я лошадь не корю,— кричит барин.— Я лошадь принимаю!

— Лошадь дурить нельзя! — подхватывают в толпе.

— Дай, Бог, дите такое! — кричит цыган.

— Ну, и молитесь! Его святая воля!

— Ну, была б жива-здорова!

— Господи, благослови! Кончайте!

Крестятся, яростно бьют по рукам, но барин кричит:

— Пять красных и магарыч мой!

И цыган бешено плюет:

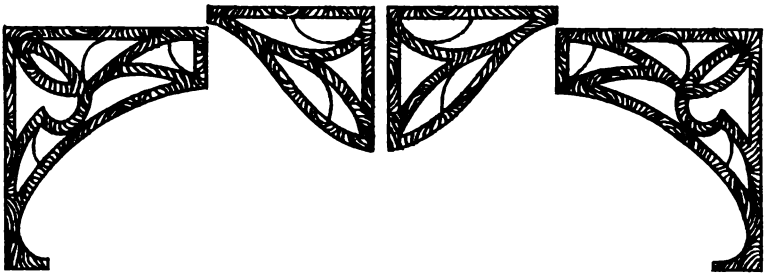
— Тьфу! Сахаром тебе в уста, огнем из заду, этот магарыч твой! Что с тобой говорить, только кровь гадить!

Спешно подходит с высокой палкой в руке старый цыган, лицо которого точно со старой медной медали.

— Стой! Что за шум, а драки нету? — кричит он.— Стой, я вас помирю!

И торг начинается опять сначала, закипает с новым ожесточением.

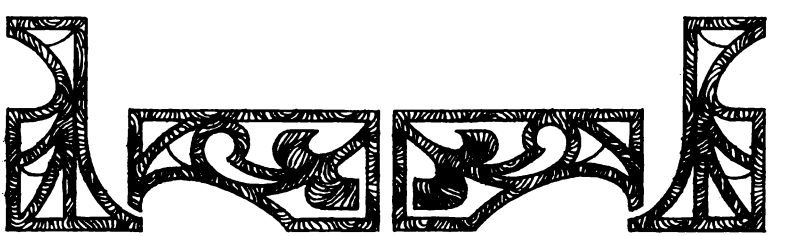
Васильевское. 1909



ГЕНРИ ЛОНГФЕЛЛО

«ПЕСНЬ О ГАЙАВАТЕ»

ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО





Надпись на парижском издании «Гайаваты» 1921 года: «Для новых изданий брать только этот текст. Ив. Бунин. 11 окт. 1931 г.»

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

«Песнь о Гайавате», впервые обнародованная в 1855 году, считается самым замечательным трудом Лонгфелло. Впечатление, произведенное ею, было необыкновенно: в полгода она выдержала тридцать изданий, породила множество подражаний и была переведена чуть ли не на все европейские языки.

«Мой знаменитый друг,— говорит известный немецкий поэт Ф. Фрейлиграт в предисловии к своему переводу «Песни о Гайавате»,— открыл американцам Америку в поэзии. Он первый создал чисто американскую поэму, и она должна занять выдающееся место в Пантеоне всемирной литературы».

«Песнь о Гайавате»,— говорит Лонгфелло,— это индейская Эдда, если я могу так назвать ее. Я написал ее на основании легенд, господствующих среди североамериканских индейцев. В них говорится о человеке чудесного происхождения, который был послан к ним расчистить их реки, леса и рыболовные места и научить народы мирным искусствам. У разных племен он был известен под разными именами: Michabou, Chiabo, Manabozo, Tarenaywagon, Hiawatha, что значит — пророк, учитель. В это старое предание я вплел и другие интересные индейские легенды... Действие поэмы происходит в стране оджибуэев, на южном берегу Верхнего Озера, между Живописными Скалами и Великими Песками».

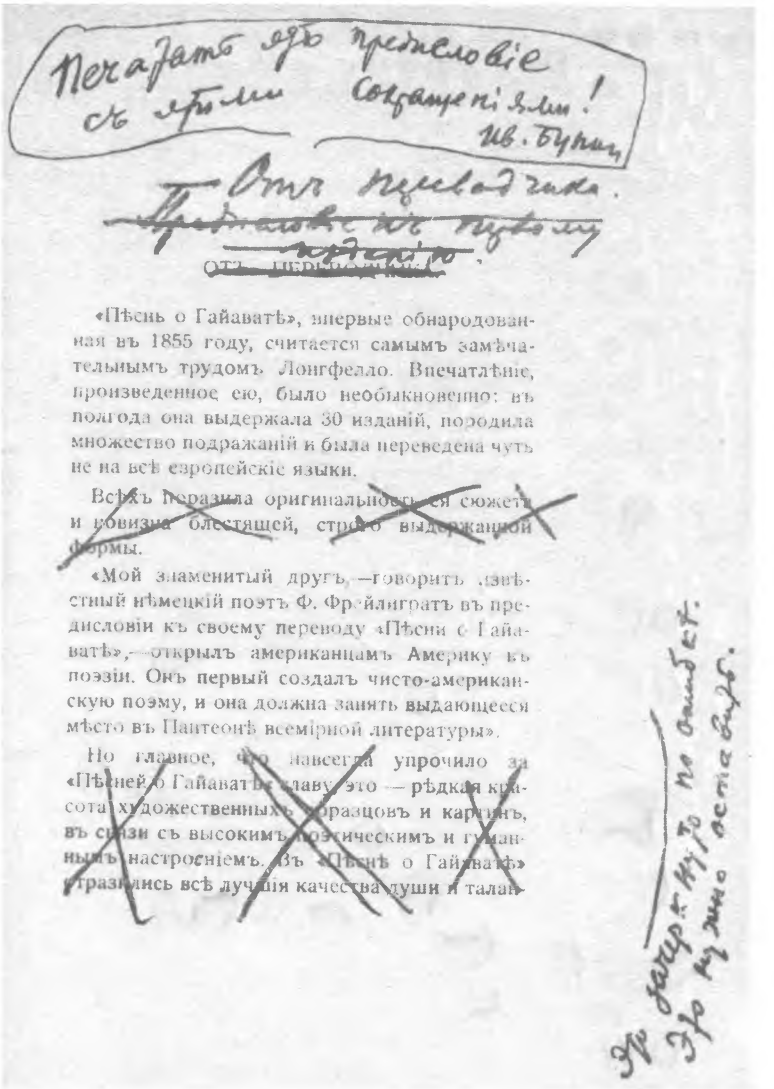
В России «Песнь о Гайавате» еще мало известна. Д. Л. Михаловский сухо и с пропусками перевел только несколько глав ее, значительно изменив форму и тон подлинника. Полный перевод ее появляется в п е р в ы е. Я всюду старался держаться возможно ближе к подлиннику, сохранить простоту и музыкальность речи, сравнения и эпитеты, характерные повторения слов и даже, по

возможности, число и расположение стихов. Это было не легко: краткость английских слов вошла в пословицу; иногда приходилось сознательно жертвовать легкостью стиха, чтобы из одной строки Лонгфелло не делать нескольких.

Я проверил значение индейских слов по немецкому переводу Фрейлиграта, который просмотрен самим Лонгфелло. Список этих слов помещен в конце книги. В большинстве случаев индейские слова пояснены прямо в тексте, как это сделано в подлиннике,— например: «Вьет гнездо Омими, голубь»...

1908





Печатать это предисловіе съ этими сокращеніями! Ив. Бунинъ

От переводчика.

~~Предисловіе къ пятому~~ изданію

отъ переводчика.

«Пѣснь о Гайаватѣ», впервые обнародованная въ 1855 году, считается самымъ замѣчательнымъ трудомъ Лонгфелло. Впечатлѣніе, произведенное ею, было необыкновенно: въ полгода она выдержала 30 изданій, породила множество подражаній и была переведена чуть не на всѣ европейскіе языки.

Всѣхъ поразила оригинальность ея сюжета и новизна блестящей, строго выдержанной формы.

«Мой знаменитый другъ, —говоритъ извѣстный нѣмецкій поэтъ Ф. Фрейлигратъ въ предисловіи къ своему переводу «Пѣсни о Гайаватѣ», —открылъ американцамъ Америку въ поэзіи. Онъ первый создалъ чисто-американскую поэму, и она должна занять выдающееся мѣсто въ Пантеонѣ всемірной литературы».

Но главное, что навсегда упрочило за «Пѣснью о Гайаватѣ» славу, это — рѣдкая красота художественныхъ образовъ и картинъ, въ связи съ высокимъ поэтическимъ и гуманнымъ настроеніемъ. Въ «Пѣснѣ о Гайаватѣ» отразились всѣ лучшія качества души и талан-

Это зачеркнуто по ошибкѣ. Это нужно оставить.

Первая страница предисловия к «Песни о Гайавате», которое Бунин сильно сократил и надписал: «Печатать это предисловие с этими сокращениями! Ив. Бунин». «От переводчика». «Это зачеркнуто по ошибке. Это нужно оставить»



ВСТУПЛЕНИЕ

Если спросите — откуда
Эти сказки и легенды
С их лесным благоуханьем,
Влажной свежестью долины,
Голубым дымком вигвамов,
Шумом рек и водопадов,
Шумом, диким и стозвучным,
Как в горах раскаты грома? —
Я скажу вам, я отвечу:

«От лесов, равнин пустынных,
От озер Страны Полночной,
Из страны Оджибуэев,
Из страны Дакотов диких,
С гор и тундр, с болотных топей,
Где среди осоки бродит
Цапля сизая, Шух-шух-га.
Повторяю эти сказки,
Эти старые преданья
По напевам сладкозвучным
Музыканта Навадаги».

Если спросите, где слышал,
Где нашел их Навадага,—
Я скажу вам, я отвечу:
«В гнездах певчих птиц, по рощам,
На прудах, в норах бобровых,
На лугах, в следах бизонов,
На скалах, в орлиных гнездах.

Эти песни раздавались
На болотах и на топях,
В тундрах севера печальных,
Читовэйк, зуек, там пел их,
Манг, нырок, гусь дикий, Вава,
Цапля сизая, Шух-шух-га,
И глухарка, Мушкодаза».

Если б дальше вы спросили:
«Кто же этот Навадага?
Расскажи про Навадагу!» —
Я тотчас бы вам ответил
На вопрос такою речью:

«Средь долины Тавазэнта,
В тишине лугов зеленых,
У излучистых потоков,
Жил когда-то Навадага.
Вкруг индейского селенья
Расстилались нивы, долы,
А вдали стояли сосны,
Бор стоял, зеленый — летом,
Белый — в зимние морозы,
Полный вздохов, полный песен.

Те веселые потоки
Были видны на долине
По разливам их — весною,
По ольхам сребристым — летом,
По туману — в день осенний,
По руслу — зимой холодной.
Возле них жил Навадага
Средь долины Тавазэнта,
В тишине лугов зеленых.

Там он пел о Гайавате,
Пел мне Песнь о Гайавате,—
О его рожденье дивном,
О его великой жизни:
Как постился и молился,
Как трудился Гайавата,
Чтоб народ его был счастлив,
Чтоб он шел к добру и правде».

Вы, кто любите природу —
Сумрак леса, шепот листьев,
В блеске солнечном долины,
Бурный ливень, и метели,
И стремительные реки
В неприступных дебрях бора,
И в горах раскаты грома,
Что как хлопанье орлиных
Тяжких крыльев раздаются,—
Вам принес я эти саги,
Эту Песнь о Гайавате!

Вы, кто любите легенды
И народные баллады,
Этот голос дней минувших,
Голос прошлого, манящий
К молчаливому раздумью,
Говорящий так по-детски,
Что едва уловит ухо,
Песня это или сказка,—
Вам из диких стран принес я
Эту Песнь о Гайавате!

Вы, в чьем юном, чистом сердце
Сохранилась вера в Бога,
В искру Божью в человеке;
Вы, кто помните, что вечно
Человеческое сердце
Знало горести, сомненья
И порывы к светлой правде,
Что в глубоком мраке жизни
Нас ведет и укрепляет
Провидение незримо,—
Вам бесхитростно пою я
Эту песнь о Гайавате!

Вы, которые, блуждая
По околицам зеленым,
Где, склонившись на ограду,
Поседевшую от моха,
Барбарис висит, краснея,
Забываетесь порою
На запущенном погосте
И читаете в раздумье

На могильном камне надпись,
Неумелую, простую,
Но исполненную скорби,
И любви, и чистой веры,—
Прочитайте эти руны,
Эту Песнь о Гайавате!

I
ТРУБКА МИРА

На горах Большой Равнины,
На вершине Красных Камней,
Там стоял Владыка Жизни,
Гитчи Манито могучий,
И с вершины Красных Камней
Созывал к себе народы,
Созывал людей отвсюду.

От следов его струилась,
Трепетала в блеске утра
Речка, в пропасти срываясь,
Ишкудой, огнем сверкая.
И перстом Владыка Жизни
Начертал ей по долине
Путь излучистый, сказавши:
«Вот твой путь отныне будет!»

От утеса взявши камень,
Он слепил из камня трубку
И на ней фигуры сделал.
Над рекою, у прибрежья,
На чубук тростинку вырвал,
Всю в зеленых, длинных листьях;
Трубку он набил корою,
Красной ивовой корою,
И дохнул на лес соседний.
От дыханья ветви шумно
Закачались и, столкнувшись,
Ярким пламенем зажглися;
И, на горных высях стоя,
Закурил Владыка Жизни

Трубку Мира, созывая
Все народы к совещанью.

Дым струился тихо, тихо
В блеске солнечного утра:
Прежде — темною полоской,
После — гуще, синим паром,
Забелел в лугах клубами,
Как зимой вершины леса,
Плыл все выше, выше, выше,—
Наконец коснулся неба
И волнами в сводах неба
Раскатился над землею.

Из долины Тавазэнта,
Из долины Вайоминга,
Из лесистой Тоскалузы,
От Скалистых Гор далеких,
От озер Страны Полночной
Все народы увидали
Отдаленный дым Покваны,
Дым призывный Трубки Мира.

И пророки всех народов
Говорили: «То Поквана!
Этим дымом отдаленным,
Что сгибается, как ива,
Как рука, кивает, манит,
Гитчи Манито могучий
Племена людей сзывает,
На совет зовет народы».

Вдоль потоков, по равнинам,
Шли вожди от всех народов,
Шли Чоктосы и Команчи,
Шли Шошоны и Омоги,
Шли Гуроны и Мэндэны,
Делавэры и Могоки,
Черноногие и Поны,
Оджибвеи и Дакоты —
Шли к горам Большой Равнины,
Пред лицо Владыки Жизни.

И в доспехах, в ярких красках,
Словно осенью деревья,
Словно небо на рассвете,—
Собрались они в долине,
Дико глядя друг на друга;
В их очах — смертельный вызов,
В их сердцах — вражда глухая,
Вековая жажда мщенья —
Роковой завет от предков.

Гитчи Манито всесильный,
Сотворивший все народы,
Поглядел на них с участьем,
С отчей жалостью, с любовью,—
Поглядел на гнев их лютый,
Как на злобу малолетних,
Как на ссору в детских играх.

Он простер к ним сень десницы,
Чтоб смягчить их нрав упорный,
Чтоб смирить их пыл безумный
Мановением десницы.
И величественный голос,
Голос, шуму вод подобный,
Шуму дальних водопадов,
Прозвучал ко всем народам,
Говоря: «О дети, дети!
Слову мудрости внемлите,
Слову кроткого совета
От того, кто всех вас создал!

Дал я земли для охоты,
Дал для рыбной ловли воды,
Дал медведя и бизона,
Дал оленя и косулю,
Дал бобра вам и казарку;
Я наполнил реки рыбой,
А болота — дикой птицей.
Что ж ходить вас заставляет
На охоту друг за другом?

Я устал от ваших распрей,
Я устал от ваших споров,

От борьбы кровопролитной,
От молитв о кровной мести.
Ваша сила — лишь в согласье,
А бессилие — в разладе.
Примиритеся, о дети!
Будьте братьями друг другу!

И придет Пророк на землю
И укажет путь к спасенью;
Он наставником вам будет,
Будет жить, трудиться с вами.
Всем его советам мудрым
Вы должны внимать покорно —
И умножатся все роды,
И настанут годы счастья.
Если ж будете вы глухи,
Вы погибнете в раздорах!

Погрузитесь в эту реку,
Смойте краски боевые,
Смойте с пальцев пятна крови;
Закопайте в землю луки,
Трубки сделайте из камня,
Тростников для них нарвите,
Ярко перьями украсьте,
Закурите Трубку Мира
И живите впредь как братья!»

Так сказал Владыка Жизни.
И все воины на землю
Тотчас кинули доспехи,
Сняли все свои одежды,
Смело бросилися в реку,
Смыли краски боевые.
Светлой, чистою волною
Выше их вода лилася —
От следов Владыки Жизни.
Мутно-красною волною
Ниже их вода лилася,
Словно смешанная с кровью.

Смывши краски боевые,
Вышли воины на берег,
В землю палицы зарыли,

Погребли в земле доспехи.
Гитчи Манито могучий,
Дух Великий и Создатель,
Встретил воинов улыбкой.

И в молчанье все народы
Трубки сделали из камня,
Тростников для них нарвали,
Чубуки убрали в перья
И пустились в путь обратный —
В ту минуту, как завеса
Облаков заколебалась
И в дверях отверстых неба
Гитчи Манито сокрылся,
Окружен клубами дыма
От Покваны, Трубки Мира.

II
ЧЕТЫРЕ ВЕТРА

«Слава, слава Мэджекивис!» —
Старцы, воины кричали
В день, когда он возвратился
И принес Священный Вампум
Из далеких стран Вабассо,—
Царства кролика седого,
Царства Северного Ветра.

У Великого Медведя
Он украл Священный Вампум,
С толстой шеи Мише-Моквы,
Пред которым трепетали
Все народы, снял он Вампум
В час, когда на горных высях
Спал медведь, тяжелый, грузный,
Как утес, обросший мохом,
Серым мохом в бурых пятнах.

Тихо он к нему подкрался,
Так подкрался осторожно,
Что его почти касались
Когти красные медведя,

А горячее дыханье
Обдавало жаром руки.
Осторожно снял он Вампум
По ушам, по длинной морде
Исполина Мише-Моквы;
Ничего не услыхали
Уши круглые медведя,
Ничего не разглядели
Глазки сонные — и только
Из ноздрей его дыханье
Обдавало жаром руки.

Кончив, палицей взмахнул он,
Крикнул громко и протяжно
И ударил Мише-Мокву
В середину лба с размаху,
Между глаз ударил прямо!

Словно громом оглушенный,
Приподнялся Мише-Моква,
Но едва вперед подался,
Затряслись его колени,
И со стоном, как старуха,
Сел на землю Мише-Моква.
А могучий Мэджекивис
Перед ним стоял без страха,
Над врагом смеялся громко,
Говорил с пренебреженьем:

«О медведь! Ты — Шогодайя!
Всюду хвастался ты силой,
А как баба, как старуха,
Застонал, завыл от боли.
Трус! Давно уже друг с другом
Племена враждуют наши,
Но теперь ты убедился,
Кто бесстрашней и сильнее.
Уходите прочь с дороги,
Прячьтесь в горы, в лес скрывайтесь!
Если б ты меня осилил,
Я б не крикнул, умирая,
Ты же хнычешь предо мною
И свое позоришь племя,

Как трусливая старуха,
Как презренный Шогодайя».

Кончив, палицей взмахнул он,
Вновь ударил Мише-Мокву
В середину лба с размаху,
И, как лед под рыболовом,
Треснул череп под ударом.
Так убит был Мише-Моква,
Так погиб Медведь Великий,
Страх и ужас всех народов.

«Слава, слава, Мэджекивис! —
Восклицал народ в восторге.—
Слава, слава, Мэджекивис!
Пусть отныне и вовеки
Ветром Запада он будет,
Властелином над ветрами!»
И могучий Мэджекивис
Стал владыкой над ветрами.
Ветер Западный оставил
Он себе, другие отдал
Детям: Вебону — Восточный,
Шавондази — теплый Южный,
А Полночный Ветер дикий
Злому дал Кабибонокке.

Молод и прекрасен Вебон!
Это он приносит утро
И серебряные стрелы
Сыплет, сумрак прогоняя,
По холмам и по долинам;
Это Вебона ланиты
На заре горят багрянцем,
А призывный голос будит
И охотника и зверя.

Одинок на небе Вебон!
Для него все птицы пели,
Для него цветы в долинах
Разливали сладкий запах,
Для него шумели реки,
Рощи темные вздыхали,

Но всегда был грустен Вебон:
Одинок он был на небе.

Утром раз, на землю глядя,
В час, когда спала деревня
И туман, как привиденье,
Над рекой блуждал, белея,
Он увидел, что в долине
Ходит дева — собирает
Камыши и длинный шпажник
Над рекою по долине.

С той поры, на землю глядя,
Только очи голубые
Видел Вебон на рассвете:
Как два озера лазурных,
На него они смотрели,
И задумчивую деву,
Что к нему стремилась сердцем,
Полюбил прекрасный Вебон:
Оба были одиноки,
На земле — она, он — в небе.

Он возлюбленную нежил
И ласкал улыбкой солнца,
Нежил вкрадчивою речью,
Тихим вздохом, тихой песней,
Тихим шепотом деревьев,
Ароматом белых лилий.
К сердцу милую привлек он,
Ярким пурпуром окутал —
И она затрепетала
На груди его звездою.
Так доныне неразлучно
В небесах они проходят:
Вебон, рядом Вебон-Аннонг —
Вебон и Звезда Рассвета.

В ледяных горах, в пустыне,
В царстве кролика Вабассо,
В царстве вечной снежной вьюги,
Обитал Кабибонокка.
Это он осенней ночью

Разрисовывает листья
Краской желтой и багряной,
Это он приносит вьюги,
По лесам шипит и свищет,
Покрывает льдом озера,
Гонит чаек острокрылых,
Гонит цаплю и баклана
В камыши, в морские бухты,
В гнезда их на теплом юге.

Вышел раз Кабибонокка
Из своих чертогов снежных
Меж горами ледяными,
Устремился с воем к югу
По замерзшим, белым тундрам,
И, осыпанные снегом,
Волоса его — рекою,
Черной, зимнею рекою
По земле за ним струились.

В тростниках, среди осоки,
На замерзших, белых тундрах
Жил там Шингебис, морянка.
Одиноко в белых тундрах
Проводил он зиму эту:
Братья Шингебиса были
В теплых странах Шавондази.

И вскричал Кабибонокка
В лютом гневе: «Кто дерзает
Презирать Кабибонокку?
Кто осмелился остаться
В царстве Северного Ветра,
Если Вава и Шух-шух-га,
Если дикий гусь и цапля
Уж давно на юг умчались?
Я пойду к его вигваму,
Я очаг его разрушу!»

И пришел во мраке ночи
Ко врагу Кабибонокка.
Он намел сугробы снега,
Завывал в трубе вигвама,
Потрясал его свирепо,

Рвал дверные занавески.
Шингебис не испугался,
Шингебис его не слушал!
В очаге его играло
Пламя яркое, и рыбу
Ел он с песнями и смехом.

Ворвался тогда в жилище
Дикий, злой Кабибонокка,
Шингебис от стужи вздрогнул
В ледяном его дыханье,
Но по-прежнему смеялся,
Но по-прежнему пел громко;
Он костер поправил только,
Чтоб костер горел светлее,
Чтоб кидало пламя искры.

И с чела Кабибонокки,
С кос его в снегу холодном
Стали падать капли пота,
Как весною каплет с крыши
Иль с ветвей болиголова.
Побежденный этим жаром,
Раздраженный этим пеньем,
Он вскочил и из вигвама
В поле бросился, шагая
По рекам и по озерам:
На борьбу над белой тундрой
Вызывал врага коварно.

Но без страха, без боязни
Вышел Шингебис на битву;
До рассвета он боролся
С Ветром Северным над тундрой,
До утра когтями бился
Шингебис с Кабибоноккой.
И без сил Кабибонокка
Отступил в свои владенья,
Со стыдом бежал по тундрам
В царство кролика, Вабассо,
А за ним все раздавались
Хохот, песни и насмешки.

Шавондази, тучный, сонный,
Обитал на дальнем юге,
Где в дремотном блеске солнца
Круглый год царило лето.
Это он шлет птиц весною,
Шлет к нам ласточку, шлет Шошо,
Шлет Овейсу, трясогузку,
Опечи шлет, реполова,
Гуся, Ваву, шлет на север,
Шлет табак душистый, дыни,
Виноград в багряных гроздьях.

Дым из трубки Шавондази
Небеса туманит паром,
Наполняет негой воздух,
Мягкий блеск дает озерам,
Очертанья гор смягчая,
Веет нежной лаской лета
В теплый Месяц Светлой Ночи,
В Месяц Лыж зимой холодной.

Беззаботный Шавондази!
Лишь одно узнал он горе,
Лишь одну печаль изведал.
Раз, смотря на север с юга,
Далеко в степных равнинах
Он увидел утром деву,
Деву с гибким, стройным станом,
Одинокую в равнинах.
Был на ней наряд зеленый,
И как солнце были косы.

День за днем потом смотрел он,
День за днем вздыхал он страстно,
День за днем все больше сердце
Разгоралось в нем любовью
К деве нежной, златокудрой.
Но ленив и неподвижен
Был беспечный Шавондази,
Да, ленив и слишком тучен:
К милой он пойти все медлил,
Он сидел, вздыхая страстно,
И все только любовался
Златокудрой девой прерий.

Наконец однажды утром
Увидал он, что поблекли
Кудри русые у милой,—
Словно первый снег, белеют.
«О мой брат из Стран Полночных,
Из далеких стран Вабассо,
Царства Северного Ветра!
Ты украл мою невесту,
Завладел моею милой,
Обольстил ее своею
Сказкой Северного Ветра!»

Так несчастный Шавондази
Изливал свои страданья,
И бродил в равнинах знойный
Южный Ветер, полный вздохов,
Страстных вздохов, Шавондази.
И наполнился весь воздух,
Словно снегом, белым пухом:
Погубили вздохи ветра
Деву с русыми кудрями,
И от взоров Шавондази
Навсегда сокрылась дева!

О мечтатель Шавондази!
Не по девушке вздыхал ты,
Не на женщину смотрел ты,—
На цветок, на одуванчик;
О цветке вздыхал ты страстно,
На цветок глядел все лето
День за днем с любовью томной,
И сгубил его навеки,
В поле вздохами развеял.
Бедный, бедный Шавондази!

III
ДЕТСТВО ГАЙАВАТЫ

В летний вечер, в полнолунье,
В незапамятное время,
В незапамятные годы,
Прямо с месяца упала

К нам прекрасная Нокомис,
Дочь ночных светил, Нокомис.

Как дитя, она играла,
На ветвях на виноградных
Меж подруг своих качалась,
И одна из них, сгорая
Злобой ревности и мести,
Эти ветви подрубила,
И на Мускодэ упала,
На цветущую долину,
Замирая от испуга,
Летним вечером Нокомис.
«Вон звезда упала с неба!» —
Говорил народ в селеньях.

Там, на мягких мхах и травах,
Там, среди стыдливых лилий,
В тихой Мускодэ, в долине,
В звездном блеске, в лунном свете,
Стала матерью Нокомис,
Назвала дочь первородной —
Назвала ее Веноной,
И, как лилия в долине,
Расцвела ее Венона:
Стала гибкой, стала стройной,
Точно лунный свет прекрасной,
Точно звездный отблеск нежной.

И Нокомис часто стала
Говорить, твердить Веноне:
«О, страшись, остерегайся
Мэджекивиса, Венона!
Никогда его не слушай,
Не гуляй одна в долине,
Не ложись в траве меж лилий!»

Но не слушалась Венона,
Не внимала мудрой речи,
И пришел к ней Мэджекивис,
Темным вечером подкрался,
С тихим шепотом склоняя
На лугу цветы и травы.
Там прекрасная Венона

Меж цветов одна лежала,
Там нашел ее коварный
Ветер Западный — и начал
Очаровывать Венону
Сладкой речью, нежной лаской,—
И родился сын печали,
Нежной страсти и печали,
Дивной тайны — Гайавата.

Так родился Гайавата;
А коварный Мэджекивис,
Бессердечный Мэджекивис
Уж покинул дочь Нокомис,
И недолго после билось
Сердце нежное Веноны:
Умерла она в печали.

Долго с криками рыдала,
Долго плакала Нокомис:
«О, зачем жестокий Погок
Не меня унес с собою?
Лучше б мне лежать в могиле!
Вагономин, вагономин!»

На прибрежье Гитчи-Гюми,
Светлых вод Большого Моря,
С юных дней жила Нокомис,
Дочь ночных светил, Нокомис.
Позади ее вигвама
Темный лес стоял стеною —
Чащи темных, мрачных сосен,
Чащи елей в красных шишках,
А пред ним прозрачной влагой
На песок плескались волны,
Блеском солнца зыбь сверкала
Светлых вод Большого Моря.

Там, в тиши лесов и моря,
Внука нянчила Нокомис,
В люльке липовой качала,
Устланной кугой и мохом,
Крепко связанной ремнями,
И, качая, говорила:
«Спи! А то отдам медведю!»

Там, баюкая, певала:
«Эва-ия, мой совенок!
Что там светится в вигваме?
Чьи глаза блестят в вигваме?
Эва-ия, мой совенок!»

Много-много рассказала
О звездах ему Нокомис:
Показала хвост кометы,—
Ишкуду в огнистых косах,
Показала Танец Духов,
Их блистающие рати
В небесах Страны Полночной
В Месяц Лыж морозной ночью;
Показала серебристый
Путь всех призраков и духов —
Белый путь на темном небе,
Полном призраков и духов.

Вечерами, теплым летом,
У дверей сидел малютка,
Слушал тихий ропот сосен,
Слушал тихий плеск прибоя,
Звуки дивных слов и песен:
«Минни-вава!» — пели сосны,
«Мэдвэй-ошка!» — пели волны.

Видел мушку, Ва-ва-тэйзи,
Что, сверкая белой искрой,
Светит в сумраке вечернем
Над травою и кустами,
И тихонько пел ей песню,
Что Нокомис научила:
«Ва-ва-тэйзи, Ва-ва-тэйзи!
Крошка, огненная мушка,
Крошка, белый огонечек!
Потанцуй еще немножко,
Посвети мне, попрыгунья,
Белой искоркой своею:
Скоро я в постельку лягу,
Скоро я закрою глазки!»

Видел, как над Гитчи-Гюми,
Отражаясь в Гитчи-Гюми,

Подымался полный месяц,
Видел тень на нем и пятна
И шептал: «Что там, Нокомис?»
А Нокомис отвечала:
«Раз один сердитый воин
Подхватил старуху-бабку
И швырнул ее на небо,
Зашвырнул на месяц прямо.
Так она там и осталась».

Видел радугу на небе,
На востоке, и тихонько
Говорил: «Что там, Нокомис?»
А Нокомис отвечала:
«Это Мускодэ на небе;
Все цветы лесов зеленых,
Все болотные кувшинки,
На земле когда увянут,
Расцветают снова в небе».

Если сов он слышал в полночь,—
Вой и хохот в чаще леса,
Он дрожа кричал: «Кто это?»
Он шептал: «Что там, Нокомис?»
А Нокомис отвечала:
«Это совы собрались
И по-своему болтают,
Это ссорятся совята!»

Так малютка, внук Нокомис,
Изучил весь птичий говор,
Имена их, все их тайны:
Как они вьют гнезда летом,
Где живут они зимою;
Часто с ними вел беседы,
Звал их всех: «мои цыплята».

Всех зверей язык узнал он,
Имена их, все их тайны:
Как бобер жилище строит,
Где орехи белка прячет,
Отчего резва косуля,
Отчего труслив Вабассо;

Часто с ними вел беседы,
Звал их: «братья Гайаваты».

И рассказчик сказок Ягу,
Говорун, хвастун великий,
Много по свету бродивший,
Верный друг Нокомис старой,
Сделал лук для Гайаваты:
Лук из ясеня он сделал,
Стрелы сделал он из дуба,
Наконечники — из яшмы,
Тетиву — из кожи лани.

И сказал он Гайавате:
«Ну, мой сын, иди скорее
В лес, где держатся олени,
Застрели-ка там косулю
С разветвленными рогами».

Гордо взял свой лук и стрелы
Гайавата и отважно
В лес пустился; птицы звонко
Пели, по лесу порхая.
«Не стреляй в нас, Гайавата!» —
Опечи пел красногрудый;
«Не стреляй в нас, Гайавата!» —
Пел Овейса синеперый.

На дубу над Гайаватой
Вниз и вверх скакала белка,
Меж зеленых листьев дуба
С кашлем прыгала, смеялась
И, смеясь, пробормотала:
«Пощади, о Гайавата!»

И вприпрыжку белый кролик
Робко бросился с тропинки,
Стал вдали на задних лапках
И охотнику промолвил
Хоть и в шутку, но трусливо:
«Пощади, о Гайавата!»

Но не слушал Гайавата,—
Точно сонный, брел он лесом,

Думал только об олене,
След его искал глазами,
След, что вел к речному броду,
По тропе к речному броду.

За ольховыми кустами
Сел и выждал он оленя,
Увидал два глаза в чаще,
Увидал над ней два рога,
Ноздри, поднятые к ветру,
Увидал и морду зверя
Под листвою, в пятнах света,
И, как легкий лист березы,
Сердце в нем затрепетало,
Как ольха, весь задрожал он,
Увидав над бродом зверя.

На одно колено ставши,
Он прицелился в оленя.
Только ветка шевельнулась,
Только листик закачался,
Но олень уж встрепенулся,
Отшатнувшись, топнул в землю,
Чутко встал, подняв копыто,
Прыгнул, точно ждал удара.

Ах, он шел навстречу смерти!
Как оса, стрела запела,
Как оса, в него впилася!

Мертвый он лежал у брода,
Меж деревьев, над рекою;
Сердце в нем уже не билось,
Но зато у Гайаваты
Сердце так и трепетало,
Как домой он нес оленя
И ему рукоплескали
Старый Ягу и Нокомис.

Из оленьей пестрой шкуры
Внуку плащ Нокомис сшила,
Созвала соседей в гости,
Пир дала в честь Гайаваты.

Вся деревня собралася,
Все соседи называли
Гайавату храбрым, сильным —
Сон-джи-тэгэ, Ман-го-тэйзи!

IV
ГАЙАВАТА И МЭДЖЕКИВИС

Миновали годы детства,
Возмужал мой Гайавата;
Игры юности беспечной,
Стариков житейский опыт,
Труд, охотничьи сноровки —
Все постиг он, все изведал.

Резвы ноги Гайаваты!
Запустив стрелу из лука,
Он бежал за ней так быстро,
Что стрелу опережал он.
Мощны руки Гайаваты!
Десять раз, не отдыхая,
Мог согнуть он лук упругий
Так легко, что догоняли
На лету друг друга стрелы.

Рукавицы Гайаваты,
Рукавицы, Минджикэвон,
Из оленьей мягкой шкуры
Обладали дивной силой:
Сокрушать он мог в них скалы,
Раздроблять в песчинки камни.
Мокасины Гайаваты
Из оленьей мягкой шкуры
Волшебство в себе таили:
Привязавши их к лодыжкам,
Прикрепив к ногам ремнями,
С каждым шагом Гайавата
Мог по целой миле делать.

Об отце своем нередко
Он расспрашивал Нокомис,
И поведала Нокомис

Внуку тайну роковую:
Рассказала, как прекрасна,
Как нежна была Венона,
Как сгубил ее изменой
Вероломный Мэджекивис,
И, как уголь, разгорелось
Гневом сердце Гайаваты.

Он сказал Нокомис старой:
«Я иду к отцу, Нокомис,
Я хочу его проведать
В царстве Западного Ветра,
У преддверия Заката».

Из вигвама выходил он,
Снарядившись в путь далекий,
В рукавицах, Минджикэвон,
И волшебных мокасинах.
Весь наряд его богатый
Из оленьей мягкой шкуры
Зернью вампума украшен
И щетиной дикобраза.
Голова его — в орлиных
Развевающихся перьях,
За плечом его, в колчане —
Из дубовых веток стрелы,
Оперенные искусно
И оправленные в яшму,
А в руках его — упругий
Лук из ясеня, согнутый
Тетивой из жил оленя.

Осторожная Нокомис
Говорила Гайавате:
«Не ходи, о Гайавата,
В царство Западного Ветра:
Он убьет тебя коварством,
Волшебством своим погубит».

Но отважный Гайавата
Не внимал ее советам.
Уходил он от вигвама,
С каждым шагом делал милю.

Мрачным лес ему казался,
Мрачным — свод небес над лесом,
Воздух — душным и горячим,
Полным дыма, полным гари,
Как в пожар лесов и прерий:
Словно уголь, разгоралось
Гневом сердце Гайаваты.

Так держал он путь далекий
Все на запад и на запад
Легче быстрого оленя,
Легче лани и бизона,
Переплыл он Эсконабо,
Переплыл он Миссисипи,
Миновал Степные Горы,
Миновал степные страны
И Лисиц и Черноногих,
И пришел к Горам Скалистым,
В царство Западного Ветра,
В царство бурь, где на вершинах
Восседал Владыка Ветров,
Престарелый Мэджекивис.

С тайным страхом Гайавата
Пред отцом остановился:
Дико в воздухе клубились,
Облаками развевались
Волоса его седые,
Словно снег, они блестели,
Словно пламенные косы
Ишкуды, они сверкали.

С тайной радостью увидел
Мэджекивис Гайавату:
Это молодости годы
Перед ним воскресли к жизни,
Это встала из могилы
Красота Веноны нежной.

«Будь здоров, о Гайавата! —
Так промолвил Мэджекивис.—
Долго ждал тебя я в гости
В царство Западного Ветра!
Годы старости — печальны,

Годы юности — отрадны.
Ты напомнил мне былое,
Юность пылкую напомнил
И прекрасную Венону!»

Много дней прошло в беседе,
Долго мощный Мэджекивис
Похвалялся Гайавате
Прежней доблестью своею,
Приключеньями былыми,
Непреклонною отвагой;
Говорил, что дивной силой
Он от смерти заколдован.

Молча слушал Гайавата,
Как хвалился Мэджекивис,
Терпеливо и с улыбкой
Он сидел и молча слушал.
Ни угрозой, ни укором,
Ни одним суровым взглядом
Он не выказал досады,
Но, как уголь, разгоралось
Гневом сердце Гайаваты.

И сказал он: «Мэджекивис!
Неужель ничто на свете
Погубить тебя не может?»
И могучий Мэджекивис
Величаво, благосклонно
Отвечал: «Ничто на свете,
Кроме вон того утеса,
Кроме Вавбика, утеса!»
И, взглянув на Гайавату
Взором мудрости спокойной,
По-отечески любуясь
Красотой его и мощью,
Он сказал: «О Гайавата!
Неужель ничто на свете
Погубить тебя не может?»

Помолчал одну минуту
Осторожный Гайавата,
Помолчал, как бы в сомненье,
Помолчал, как бы в раздумье,

И сказал: «Ничто на свете.
Лишь один тростник, Эпоква,
Лишь вон тот камыш высокий!»
И как только Мэджекивис,
Встав, простер к Эпокве руку,
Гайавата в страхе крикнул,
В лицемерном страхе крикнул:
«Каго, каго! — Не касайся!»
«Полно! — молвил Мэджекивис.—
Успокойся,— я не трону».

И опять они беседу
Продолжали; говорили
И о Вебоне прекрасном,
И о тучном Шавондази,
И о злом Кабибонокке;
Говорили о Веноне,
О ее рожденье дивном,
О ее кончине грустной,—
Обо всем, что рассказала
Внуку старая Нокомис.

И воскликнул Гайавата:
«О коварный Мэджекивис!
Это ты убил Венону,
Ты сорвал цветок весенний,
Растоптал его ногами!
Признавайся! Признавайся!»
И могучий Мэджекивис
Тихо голову седую
Опустил в тоске глубокой,
В знак безмолвного согласья.

Быстро встал тогда, сверкая
Грозным взором, Гайавата,
На утес занес он руку
В рукавице, Минджикэвон,
Разломил его вершину,
Раздробил его в осколки,
Стал в отца швырять свирепо:
Словно уголь, разгорелось
Гневом сердце Гайаваты.

Но могучий Мэджекивис
Камни гнал назад дыханьем,
Бурей гневного дыханья
Гнал назад, на Гайавату.
Он схватил рукой Эпокву,
Вырвал с мочками, с корнями,—
Над рекой из вязкой тины
Вырвал бешено Эпокву
Он под хохот Гайаваты.

И начался бой смертельный
Меж Скалистыми Горами!
Сам Орел Войны могучий
На гнезде поднялся с криком,
С резким криком сел на скалы,
Хлопал крыльями над ними.
Словно дерево под бурей,
Рассекал Эпоква воздух,
Словно град, летели камни
С треском с Вавбика, утеса,
И земля окрест дрожала,
И на тяжкий грохот боя
По горам гремело эхо,
Отзывалося: «Бэм-Вава!»

Отступать стал Мэджекивис,
Устремился он на запад,
По горам на дальний запад,
Отступал три дня, сражаясь,
Убегал, гонимый сыном,
До преддверия Заката,
До границ своих владений,
До конца земли, где солнце
В красном блеске утопает
На ночлег в воздушной бездне,
Опускаясь, как фламинго
Опускается зарею
На печальное болото.

«Удержись, о Гайавата! —
Наконец вскричал он громко.—
Ты убить меня не в силах,
Для бессмертного нет смерти.
Испытать тебя хотел я,

Испытать твою отвагу,
И награду заслужил ты!

Возвратись в родную землю,
К своему вернись народу,
С ним живи и с ним работай.
Ты расчистить должен реки,
Сделать землю плодоносной,
Умертвить чудовищ злобных,
Змей, Кинэбик, и гигантов,
Как убил я Мише-Мокву,
Исполина Мише-Мокву.

А когда твой час настанет
И заблещут над тобою
Очи Погока из мрака,—
Разделю с тобой я царство,
И владыкою ты будешь
Над Кивайдином вовеки!»

Вот какая разыгралась
Битва в грозные дни Ша-ша,
В дни далекого былого,
В царстве Западного Ветра.
Но следы той славной битвы
И теперь охотник видит
По холмам и по долинам.
Видит шпажник исполинский
На прудах и вдоль потоков,
Видит Вавбика осколки
По холмам и по долинам.

На восток, в родную землю,
Гайавата путь направил:
Позабыл он горечь гнева,
Позабыл о мщенье думы,
И вокруг него отрадой
И весельем все дышало.

Только раз он путь замедлил,
Только раз остановился,
Чтоб купить в стране Дакотов
Наконечников на стрелы.
Там в долине, где смеялись,

Где блистали, низвергаясь,
Меж зелеными дубами,
Водопады Миннегаги,
Жил старик, дакот суровый.
Делал он головки к стрелам,
Острия из халцедона,
Из кремня и крепкой яшмы,
Отшлифованные гладко,
Заостренные, как иглы.

Там жила с ним дочь-невеста,
Быстроногая, как речка,
Своенравная, как брызги
Водопадов Миннегаги.
В блеске черных глаз играли
У нее и свет и тени,—
Свет улыбки, тени гнева;
Смех ее звучал как песня,
Как поток струились косы,
И Смеющейся Водою
В честь реки ее назвал он.
В честь веселых водопадов
Дал ей имя — Миннегага.

Так ужели Гайавата
Заходил в страну Дакотов,
Чтоб купить головок к стрелам,
Наконечников из яшмы,
Из кремня и халцедона?
Не затем ли, чтоб украдкой
Посмотреть на Миннегагу,
Встретить взор ее пугливый,
Услыхать одежды шорох
За дверною занавеской,
Как глядят на Миннегагу,
Что горит сквозь ветви леса,
Как внимают водопаду
За зеленой чащей леса?

Кто расскажет, что таится
В молодом и пылком сердце?
Как узнать, о чем в дороге
Сладко грезил Гайавата?
Все Нокомис рассказал он,

Возвратясь домой под вечер,
О борьбе и о беседе
С Мэджекивисом могучим,
Но о девушке, о стрелах
Не обмолвился ни словом!

V
ПОСТ ГАЙАВАТЫ

Вы услышите сказанье,
Как в лесной глуши постился
И молился Гайавата:
Не о ловкости в охоте,
Не о славе и победах,
Но о счастии, о благе
Всех племен и всех народов.

Пред постом он приготовил
Для себя в лесу жилище,—
Над блестящим Гитчи-Гюми,
В дни весеннего расцвета,
В светлый, теплый Месяц Листьев
Он вигвам себе построил
И, в виденьях, в дивных грезах,
Семь ночей и дней постился.

В первый день поста бродил он
По зеленым тихим рощам;
Видел кролика он в норке,
В чаще выпугнул оленя,
Слышал, как фазан кудахтал,
Как в дупле возилась белка,
Видел, как под тенью сосен
Вьет гнездо Омими, голубь,
Как стада гусей летели
С заунывным криком, с шумом
К диким северным болотам.
«Гитчи Манито! — вскричал он,
Полный скорби безнадежной.—
Неужели наше счастье,
Наша жизнь от них зависит?»

На другой день над рекою,
Вдоль по Мускодэ, бродил он,
Видел там он Маномони
И Минагу, голубику,
И Одамин, землянику,
Куст крыжовника, Шабомин,
И Бимагут, виноградник,
Что зеленою гирляндой,
Разливая сладкий запах,
По ольховым сучьям вьется.
«Гитчи Манито! — вскричал он,
Полный скорби безнадежной.—
Неужели наше счастье,
Наша жизнь от них зависит?»

В третий день сидел он долго,
Погруженный в размышленья,
Возле озера, над тихой,
Над прозрачною водою.
Видел он, как прыгал Нама,
Сыпля брызги, словно жемчуг;
Как резвился окунь, Сава,
Словно солнца луч сияя,
Видел щуку, Маскенозу,
Сельдь речную, Окагавис,
Шогаши, морского рака.
«Гитчи Манито! — вскричал он,
Полный скорби безнадежной.—
Неужели наше счастье,
Наша жизнь от них зависит?»

На четвертый день до ночи
Он лежал в изнеможенье
На листве в своем вигваме.
В полусне над ним роились
Грезы, смутные виденья;
Вдалеке вода сверкала
Зыбким золотом, и плавно
Все кружилось и горело
В пышном зареве заката.

И увидел он: подходит
В полусумраке пурпурном,
В пышном зареве заката,

Стройный юноша к вигваму.
Голова его — в блестящих,
Развевающихся перьях,
Кудри — мягки, золотисты,
А наряд — зелено-желтый.

У дверей остановившись,
Долго с жалостью, с участьем
Он смотрел на Гайавату,
На лицо его худое,
И, как вздохи Шавондази
В чаще леса, прозвучала
Речь его: «О Гайавата!
Голос твой услышан в небе,
Потому что ты молился
Не о ловкости в охоте,
Не о славе и победах,
Но о счастии, о благе
Всех племен и всех народов.

Для тебя Владыкой Жизни
Послан друг людей — Мондамин;
Послан он тебе поведать,
Что в борьбе, в труде, в терпенье
Ты получишь все, что просишь.
Встань с ветвей, с зеленых листьев,
Встань с Мондамином бороться!»

Изнурен был Гайавата,
Слаб от голода, но быстро
Встал с ветвей, с зеленых листьев.
Из стемневшего вигвама
Вышел он на свет заката,
Вышел с юношей бороться —
И едва его коснулся,
Вновь почувствовал отвагу,
Ощутил в груди усталой
Бодрость, силу и надежду.

На лугу они кружились
В пышном зареве заката,
И все крепче, все сильнее
Гайавата становился.
Но спустились тени ночи,

И Шух-шух-га на болоте
Издала свой крик тоскливый,
Вопль и голода и скорби.

«Кончим! — вымолвил Мондамин,
Улыбаясь Гайавате,—
Завтра снова приготовься
На закате к испытанью».
И, сказав, исчез Мондамин.
Опустился ли он тучкой
Иль поднялся, как туманы,—
Гайавата не заметил;
Видел только, что исчез он,
Истомив его борьбою,
Что внизу, в ночном тумане,
Смутно озеро белеет,
А вверху мерцают звезды.

Так два вечера — лишь только
Опускалось тихо солнце
С неба в западные воды,
Погружалось в них, краснея,
Словно уголь, раскаленный
В очаге Владыки Жизни,—
Приходил к нему Мондамин.
Молчаливо появлялся,
Как роса на землю сходит,
Принимающая форму
Лишь тогда, когда коснется
До травы или деревьев,
Но невидимая смертным
В час прихода и ухода.

На лугу они кружились
В пышном зареве заката;
Но спустились тени ночи,
Прокричала на болоте
Громко, жалобно Шух-шух-га,
И задумался Мондамин;
Стройный станом и прекрасный,
Он стоял в своем наряде;
В головном его уборе
Перья веяли, качались,

На челе его сверкали
Капли пота, как росинки.

И вскричал он: «Гайавата!
Храбро ты со мной боролся,
Трижды стойко ты боролся,
И пошлет Владыка Жизни
Надо мной тебе победу!»

А потом сказал с улыбкой:
«Завтра кончится твой искус —
И борьба и пост тяжелый;
Завтра ты меня поборешь;
Приготовь тогда мне ложе
Так, чтоб мог весенний дождик
Освежать меня, а солнце —
Согревать до самой ночи.
Мой наряд зелено-желтый,
Головной убор из перьев
Оборви с меня ты смело,
Схорони меня и землю
Разровняй и сделай мягкой.

Стереги мой сон глубокий,
Чтоб никто меня не трогал,
Чтобы плевелы и травы
Надо мной не зарастали,
Чтобы Кагаги, Царь-Ворон,
Не летал к моей могиле.
Стереги мой сон глубокий
До поры, когда проснусь я,
К солнцу светлому воспряну!»
И, сказав, исчез Мондамин.

Мирным сном спал Гайавата;
Слышал он, как пел уныло
Полуночник, Вавонэйса,
Над вигвамом одиноким;
Слышал он, как, убегая,
Сибовиша говорливый
Вел беседы с темным лесом;
Слышал шорох — вздохи веток,
Что склонялись, подымались,
С ветерком ночным качаясь.

Слышал все, но все сливалось
В дальний ропот, сонный шепот:
Мирным сном спал Гайавата.

На заре пришла Нокомис,
На седьмое утро пищи
Принесла для Гайаваты.
Со слезами говорила,
Что его погубит голод,
Если пищи он не примет.

Ничего он не отведал,
Ни к чему не прикоснулся,
Лишь промолвил ей: «Нокомис!
Подожди со мной заката,
Подожди, пока стемнеет
И Шух-шух-га громким криком
Возвестит, что день окончен!»

Плача, шла домой Нокомис,
Все тоскуя, опасаясь,
Что его погубит голод.
Он же стал, томясь тоскою,
Ждать Мондамина. И тени
Потянулись от заката
По лесам и по долинам;
Опустилось тихо солнце
С неба в Западные Воды,
Как спускается зарею
В воду красный лист осенний
И в воде, краснея, тонет.

Глядь — уж тут Мондамин юный
У дверей стоит с приветом!
Голова его — в блестящих,
Развевающихся перьях,
Кудри — мягки, золотисты,
А наряд — зелено-желтый.

Как во сне к нему навстречу
Встал, измученный и бледный,
Гайавата, но бесстрашно
Вышел — и бороться начал.

И слились земля и небо,
Замелькали пред глазами!
Как осетр в сетях трепещет,
Бьется бешено, чтоб сети
Разорвать и прыгнуть в воду,
Так в груди у Гайаваты
Сердце сильное стучало;
Словно огненные кольца,
Горизонт сверкал кровавый
И кружился с Гайаватой,
Сотни солнцев, разгораясь,
На борьбу его глядели.
Вдруг один среди поляны
Очутился Гайавата.

Он стоял, ошеломленный
Этой дикою борьбою,
И дрожал от напряженья;
А пред ним, в измятых перьях
И в изорванных одеждах,
Бездыханный, неподвижный,
На траве лежал Мондамин,
Мертвый, в зареве заката.

Победитель Гайавата
Сделал так, как приказал он:
Снял с Мондамина одежды,
Снял изломанные перья,
Схоронил его и землю
Разровнял и сделал мягкой.
И среди болот печальных
Цапля сизая, Шух-шух-га,
Издала свой крик тоскливый,
Вопль и жалобы и скорби.

В отчий дом, в вигвам Нокомис,
Возвратился Гайавата,
И семь суток испытанья
В этот вечер завершились.
Но запомнил Гайавата
Те места, где он боролся,
Не покинул без призора
Ту могилу, где Мондамин

Почивал, в земле зарытый,
Под дождем и ярким солнцем.

День за днем над той могилой
Сторожил мой Гайавата,
Чтобы холм ее был мягким,
Не зарос травою сорной,
Прогоняя свистом, криком
Кагаги с его народом.

Наконец зеленый стебель
Показался над могилой,
А за ним — другой и третий,
И не кончилося лето,
Как в своем уборе пышном,
В золотистых, мягких косах,
Встал высокий, стройный маис.
И воскликнул Гайавата
В восхищении: «Мондамин!
Это друг людей, Мондамин!»

Тотчас кликнул он Нокомис,
Кликнул Ягу, рассказал им
О своем виденье дивном,
О своей борьбе, победе,
Показал зеленый маис —
Дар небесный всем народам,
Что для них быть должен пищей.

А поздней, когда, под осень,
Пожелтел созревший маис,
Пожелтели, стали тверды
Зерна маиса, как жемчуг,
Он собрал его початки,
Снял с него листву сухую,
Как с Мондамина когда-то
Снял одежды,— и впервые
«Пир Мондамина» устроил,
Показал всему народу
Новый дар Владыки Жизни.

VI
ДРУЗЬЯ ГАЙАВАТЫ

Было два у Гайаваты
Неизменных, верных друга.
Сердце, душу Гайаваты
Знали в радости и в горе
Только двое: Чайбайабос,
Музыкант, и мощный Квазинд.

Меж вигвамов их тропинка
Не могла в траве заглохнуть;
Сплетни, лживые наветы
Не могли посеять злобы
И раздора между ними:
Обо всем они держали
Лишь втроем совет согласный,
Обо всем с открытым сердцем
Говорили меж собою
И стремились только к благу
Всех племен и всех народов.

Лучшим другом Гайаваты
Был прекрасный Чайбайабос,
Музыкант, певец великий,
Несравненный, небывалый.
Был, как воин, он отважен,
Но, как девушка, был нежен,
Словно ветка ивы, гибок,
Как олень рогатый, статен.

Если пел он, вся деревня
Собиралась песни слушать,
Жены, воины сходились,
И то нежностью, то страстью
Волновал их Чайбайабос.

Из тростинки сделав флейту,
Он играл так нежно, сладко,
Что в лесу смолкали птицы,
Затихал ручей игривый,
Замолкала Аджидомо,
А Вабассо осторожный
Приседал, смотрел и слушал.

Да! Примолкнул Сибовиша
И сказал: «О Чайбайабос!
Научи мои ты волны
Мелодичным, нежным звукам!»

Да! Завистливо Овейса
Говорил: «О Чайбайабос!
Научи меня безумным,
Страстным звукам диких песен!»

Да! И Опечи веселый
Говорил: «О Чайбайабос!
Научи меня веселым,
Сладким звукам нежных песен!»

И, рыдая, Вавонэйса
Говорил: «О Чайбайабос!
Научи меня тоскливым,
Скорбным звукам скорбных песен!»

Вся природа сладость звуков
У него перенимала,
Все сердца смягчал и трогал
Страстной песней Чайбайабос,
Ибо пел он о свободе,
Красоте, любви и мире,
Пел о смерти, о загробной
Бесконечной, вечной жизни,
Воспевал Страну Понима
И Селения Блаженных.

Дорог сердцу Гайаваты
Кроткий, милый Чайбайабос,
Музыкант, певец великий,
Несравненный, небывалый!
Он любил его за нежность
И за чары звучных песен.

Дорог сердцу Гайаваты
Был и Квазинд, самый мощный
И незлобивый из смертных;
Он любил его за силу,
Доброту и простодушье.

Квазинд в юности ленив был,
Вял, мечтателен, беспечен;
Не играл ни с кем он в детстве,
Не удил в заливе рыбы,
Не охотился за зверем,—
Не похож он был на прочих.
Но постился Квазинд часто,
Своему молился Духу,
Покровителю молился.

«Квазинд,— мать ему сказала,—
Ты ни в чем мне не поможешь!
Лето ты, как сонный, бродишь
Праздно по полям и рощам,
Зиму греешься, согнувшись
Над костром среди вигвама;
В самый лютый зимний холод
Я хожу на ловлю рыбы,—
Ты и тут мне не поможешь!
У дверей висит мой невод,
Он намок и замерзает,—
Встань, возьми его, ленивец,
Выжми, высуши на солнце!»

Неохотно, но спокойно
Квазинд встал с золы остывшей,
Молча вышел из вигвама,
Скинул смерзшиеся сети,
Что висели у порога,
Стиснул их, как пук соломы,
И сломал, как пук соломы!
Он не мог не изломать их:
Вот насколько был он силен.

«Квазинд! — раз отец промолвил,—
Собирайся на охоту.
Лук и стрелы постоянно
Ты ломаешь, как тростинки,
Так хоть будешь мне добычу
Приносить домой из леса».

Вдоль ущелья, по теченью
Ручейка, они спускались,
По следам бизонов, ланей,

Отпечатанным на иле,
И наткнулись на преграду:
Повалившиеся сосны
Поперек и вдоль дороги
Весь проход загромождали.

«Мы должны,— промолвил старец,—
Ворочаться: тут не влезешь!
Тут и белка не взберется,
Тут сурок пролезть не сможет».
И сейчас же вынул трубку,
Закурил и сел в раздумье.
Но не выкурил он трубки,
Как уж путь был весь расчищен:
Все деревья Квазинд поднял,
Быстро вправо и налево
Раскидал, как стрелы, сосны,
Разметал, как копья, кедры.

«Квазинд! — юноши сказали,
Забавляясь на долине,—
Что же ты стоишь, глазеешь,
На утес облокотившись?
Выходи, давай бороться,
В цель бросать из пращи камни».

Вялый Квазинд не ответил,
Ничего им не ответил,
Только встал и, повернувшись,
Обхватил утес руками,
Из земли его он вырвал,
Раскачал над головою
И забросил прямо в реку,
Прямо в быструю Повэтин.
Так утес там и остался.

Раз по пенистой пучине,
По стремительной Повэтин,
Плыл с товарищами Квазинд
И вождя бобров, Амика,
Увидал среди потока:
С быстриной бобер боролся,
То всплывая, то ныряя.

Не задумавшись нимало,
Квазинд молча прыгнул в реку,
Скрылся в пенистой пучине,
Стал преследовать Амика
По ее водоворотам
И в воде пробыл так долго,
Что товарищи вскричали:
«Горе нам! Погиб наш Квазинд!
Не вернется больше Квазинд!»
Но торжественно он выплыл:
На плече его блестящем
Вождь бобров висел убитый,
И с него вода струилась.

Таковы у Гайаваты
Были верные два друга.
Долго с ними жил он в мире,
Много вел бесед сердечных,
Много думал дум о благе
Всех племен и всех народов.

VII
ПИРОГА ГАЙАВАТЫ

«Дай коры мне, о Береза!
Желтой дай коры, Береза,
Ты, что высишься в долине
Стройным станом над потоком!
Я свяжу себе пирогу,
Легкий челн себе построю,
И в воде он будет плавать,
Словно желтый лист осенний,
Словно желтая кувшинка!

Скинь свой белый плащ, Береза!
Скинь свой плащ из белой кожи:
Скоро лето к нам вернется,
Жарко светит солнце в небе,
Белый плащ тебе не нужен!»

Так над быстрой Таквамино,
В глубине лесов дремучих,

Восклицал мой Гайавата
В час, когда все птицы пели,
Воспевали Месяц Листьев,
И, от сна восставши, солнце
Говорило: «Вот я — Гизис,
Я, великий Гизис, солнце!»

До корней затрепетала
Каждым листиком береза,
Говоря с покорным вздохом:
«Скинь мой плащ, о Гайавата!»

И ножом кору березы
Опоясал Гайавата
Ниже веток, выше корня,
Так, что брызнул сок наружу,
По стволу, с вершины к корню,
Он потом кору разрезал,
Деревянным клином поднял,
Осторожно снял с березы.

«Дай, о Кедр, ветвей зеленых,
Дай мне гибких, крепких сучьев,
Помоги пирогу сделать
И надежней и прочнее!»

По вершине кедра шумно
Ропот ужаса пронесся,
Стон и крик сопротивленья;
Но, склоняясь, прошептал он:
«На́, руби, о Гайавата!»

И, срубивши сучья кедра,
Он связал из сучьев раму,
Как два лука, он согнул их,
Как два лука, он связал их.

«Дай корней своих, о Тэмрак,
Дай корней мне волокнистых:
Я свяжу свою пирогу,
Так свяжу ее корнями,
Чтоб вода не проникала,
Не сочилася в пирогу!»

В свежем воздухе до корня
Задрожал, затрясся Тэмрак,
Но, склоняясь к Гайавате,
Он одним печальным вздохом,
Долгим вздохом отозвался:
«Все возьми, о Гайавата!»

Из земли он вырвал корни,
Вырвал, вытянул волокна,
Плотно сшил кору березы,
Плотно к ней приладил раму.

«Дай мне, Ель, смолы тягучей,
Дай смолы своей и соку:
Засмолю я швы в пироге,
Чтоб вода не проникала,
Не сочилася в пирогу!»

Как шуршит песок прибрежный,
Зашуршали ветви ели,
И, в своем уборе черном,
Отвечала ель со стоном,
Отвечала со слезами:
«Собери, о Гайавата!»

И собрал он слезы ели,
Взял смолы ее тягучей,
Засмолил все швы в пироге,
Защитил от волн пирогу.

«Дай мне, Еж, колючих игол,
Все, о Еж, отдай мне иглы:
Я украшу ожерельем,
Уберу двумя звездами
Грудь красавицы пироги!»

Сонно глянул Еж угрюмый
Из дупла на Гайавату,
Словно блещущие стрелы,
Из дупла метнул он иглы,
Бормоча в усы лениво:
«Подбери их, Гайавата!»

По земле собрал он иглы,
Что блестели, точно стрелы;
Соком ягод их окрасил,
Соком желтым, красным, синим,
И пирогу в них оправил,
Сделал ей блестящий пояс,
Ожерелье дорогое,
Грудь убрал двумя звездами.

Так построил он пирогу
Над рекою, средь долины,
В глубине лесов дремучих,
И вся жизнь лесов была в ней,
Все их тайны, все их чары:
Гибкость лиственницы темной,
Крепость мощных сучьев кедра
И березы стройной легкость;
На воде она качалась,
Словно желтый лист осенний,
Словно желтая кувшинка.

Весел не было на лодке,
В веслах он и не нуждался:
Мысль ему веслом служила,
А рулем служила воля;
Обогнать он мог хоть ветер,
Путь держать — куда хотелось.

Кончив труд, он кликнул друга,
Кликнул Квазинда на помощь,
Говоря: «Очистим реку
От коряг и желтых мелей!»

Быстро прыгнул в реку Квазинд,
Словно выдра, прыгнул в реку,
Как бобер, нырять в ней начал,
Погружаясь то по пояс,
То до самых мышек в воду.
С криком стал нырять он в воду,
Поднимать со дна коряги,
Вверх кидать песок руками,
А ногами — ил и травы.

И поплыл мой Гайавата
Вниз по быстрой Таквамино,
По ее водоворотам,
Через омуты и мели,
Вслед за Квазиндом могучим.

Вверх и вниз они проплыли,
Всюду были, где лежали
Корни, мертвые деревья
И пески широких мелей,
И расчистили дорогу,
Путь прямой и безопасный
От истоков меж горами
И до самых вод Повэтин,
До залива Таквамино.

VIII
ГАЙАВАТА И МИШЕ-НАМА

По заливу Гитчи-Гюми,
Светлых вод Большого Моря,
С длинной удочкой из кедра,
Из коры крученой кедра,
На березовой пироге
Плыл отважный Гайавата.

Сквозь слюду прозрачной влаги
Видел он, как ходят рыбы
Глубоко под дном пироги:
Как резвится окунь, Сава,
Словно солнца луч сияя;
Как лежит на дне песчаном
Шогаши, омар ленивый,
Словно дремлющий тарантул.

На корме сел Гайавата
С длинной удочкой из кедра;
Точно веточки цикуты,
Колебал прохладный ветер
Перья в косах Гайаваты.
На носу его пироги
Села белка, Аджидомо;

Точно травку луговую,
Раздувал прохладный ветер
Мех на шубке Аджидомо.

На песчаном дне на белом
Дремлет мощный Мише-Нама,
Царь всех рыб, осетр тяжелый,
Раскрывает жабры тихо,
Тихо водит плавниками
И хвостом песок взметает.
В боевом вооруженье,—
Под щитами костяными
На плечах, на лбу широком,
В боевых нарядных красках —
Голубых, пурпурных, желтых,—
Он лежит на дне песчаном;
И над ним-то Гайавата
Стал в березовой пироге
С длинной удочкой из кедра.

«Встань, возьми мою приманку! —
Крикнул в воду Гайавата,—
Встань со дна, о Мише-Нама,
Подымись к моей пироге,
Выходи на состязанье!»
В глубину прозрачной влаги
Он лесу свою забросил,
Долго ждал ответа Намы,
Тщетно ждал ответа Намы
И кричал ему все громче:
«Встань, Царь рыб, возьми приманку!»

Не ответил Мише-Нама.
Важно, медленно махая
Плавниками, он спокойно
Вверх смотрел, на Гайавату,
Долго слушал без вниманья
Крик его нетерпеливый,
Наконец сказал Кенозе,
Жадной щуке, Маскенозе:
«Встань, воспользуйся приманкой,
Оборви лесу нахала!»

В сильных пальцах Гайаваты
Сразу удочка согнулась;
Он рванул ее так сильно,
Что пирога дыбом встала,
Поднялася над водою,
Словно белый ствол березы
С резвой белкой на вершине.

Но когда пред Гайаватой
На волнах затрепетала,
Приближаясь, Маскеноза,—
Гневом вспыхнул Гайавата
И воскликнул: «Иза, иза!
Стыд тебе, о Маскеноза!
Ты лишь щука, ты не Нама,
Не тебе я кинул вызов!»

Со стыдом на дно вернулась,
Опустилась Маскеноза;
А могучий Мише-Нама
Обратился к Угудвошу,
Неуклюжему Самглаву:
«Встань, воспользуйся приманкой,
Оборви лесу нахала!»

Словно белый, полный месяц,
Встал, качаясь и сверкая,
Угудвош, Самглав тяжелый,
И, схватив лесу, так сильно
Закружился вместе с нею,
Что вверху, в водовороте,
Завертелася пирога,
Волны, с плеском разбегаясь,
По всему пошли заливу,
А с песчаных белых мелей,
С отдаленного прибрежья,
Закивали, зашумели
Тростники и длинный шпажник.

Но когда пред Гайаватой
Из воды поднялся белый
И тяжелый круг Самглава,
Громко крикнул Гайавата:
«Иза, иза! Стыд Самглаву!

Угудвош ты, а не Нама,
Не тебе я кинул вызов!»

Тихо вниз пошел, качаясь
И блестя, как полный месяц,
Угудвош прозрачно-белый,
И опять могучий Нама
Услыхал нетерпеливый,
Дерзкий вызов, прозвучавший
По всему Большому Морю.

Сам тогда он с дна поднялся,
Весь дрожа от дикой злобы,
Боевой блистая краской
И доспехами бряцая,
Быстро прыгнул он к пироге,
Быстро выскочил всем телом
На сверкающую воду
И своей гигантской пастью
Поглотил в одно мгновенье
Гайавату и пирогу.

Как бревно по водопаду,
По широким черным волнам,
Как в глубокую пещеру,
Соскользнула в пасть пирога.
Но, очнувшись в полном мраке,
Безнадежно оглянувшись,
Вдруг наткнулся Гайавата
На большое сердце Намы:
Тяжело оно стучало
И дрожало в этом мраке.

И во гневе мощной дланью
Стиснул сердце Гайавата,
Стиснул так, что Мише-Нама
Всеми фибрами затрясся,
Зашумел водой, забился,
Ослабел, ошеломленный
Нестерпимой болью в сердце.

Поперек тогда поставил
Легкий челн свой Гайавата,
Чтоб из чрева Мише-Намы,

В суматохе и тревоге,
Не упасть и не погибнуть.
Рядом белка, Аджидомо,
Резво прыгала, болтала,
Помогала Гайавате
И трудилась с ним все время.

И сказал ей Гайавата:
«О мой маленький товарищ!
Храбро ты со мной трудилась,
Так прими же, Аджидомо,
Благодарность Гайаваты
И то имя, что сказал я:
Этим именем все дети
Будут звать тебя отныне!»

И опять забился Нама,
Заметался, задыхаясь,
А потом затих — и волны
Понесли его к прибрежью.
И когда под Гайаватой
Зашуршал прибрежный щебень,
Понял он, что Мише-Нама,
Бездыханный, неподвижный,
Принесен волной к прибрежью.

Тут бессвязный крик и вопли
Услыхал он над собою,
Услыхал шум длинных крыльев,
Переполнивший весь воздух,
Увидал полоску света
Меж широких ребер Намы
И Кайошк, крикливых чаек,
Что блестящими глазами
На него смотрели зорко
И друг другу говорили:
«Это брат наш, Гайавата!»

И в восторге Гайавата
Крикнул им, как из пещеры:
«О Кайошк, морские чайки,
Братья, сестры Гайаваты!
Умертвил я Мише-Наму,—
Помогите же мне выйти

Поскорее на свободу,
Рвите клювами, когтями
Бок широкий Мише-Намы,
И отныне и вовеки
Прославлять вас будут люди,
Называть, как я вас назвал!»

Дикой, шумной стаей чайки
Принялися за работу,
Быстро щели проклевали
Меж широких ребер Намы,
И от смерти в чреве Намы,
От погибели, от плена,
От могилы под водою
Был избавлен Гайавата.

Возле самого вигвама
Стал на берег Гайавата;
Тотчас кликнул он Нокомис,
Вызвал старую Нокомис
Посмотреть на Мише-Наму:
Мертвый он лежал у моря,
И его клевали чайки.

«Умертвил я Мише-Наму,
Победил его! — сказал он.—
Вон над ним уж вьются чайки.
То друзья мои, Нокомис!
Не гони их прочь, не трогай:
Я от смерти в чреве Намы
Был сейчас избавлен ими.
Пусть они свой пир окончат,
Пусть зобы наполнят пищей;
А когда, с заходом солнца,
Улетят они на гнезда,
Принеси котлы и чаши,
Заготовь к зиме нам жиру».

И Нокомис до заката
Просидела на прибрежье.
Вот и месяц, солнце ночи,
Встал над тихою водою,
Вот и чайки с шумным криком,
Кончив пир свой, поднялися,

Полетели к отдаленным
Островам на Гитчи-Гюми,
И сквозь зарево заката
Долго их мелькали крылья.

Мирным сном спал Гайавата;
А Нокомис терпеливо
Принялася за работу
И трудилась в лунном свете
До зари, пока не стало
Небо красным на востоке.
А когда сменило солнце
Бледный месяц, с отдаленных
Островов на Гитчи-Гюми
Воротились стаи чаек,
С криком кинулись на пищу.

Трое суток, чередуясь
С престарелою Нокомис,
Чайки жир срывали с Намы.
Наконец меж голых ребер
Волны начали плескаться,
Чайки скрылись, улетели,
И остались на прибрежье
Только кости Мише-Намы.

IX
ГАЙАВАТА И ЖЕМЧУЖНОЕ ПЕРО

На прибрежье Гитчи-Гюми,
Светлых вод Большого Моря,
Вышла старая Нокомис,
Простирая в гневе руку
Над водой к стране заката,
К тучам огненным заката.

В гневе солнце заходило,
Пролагая путь багряный,
Зажигая тучи в небе,
Как вожди сжигают степи,
Отступая пред врагами;
А луна, ночное солнце,

Вдруг восстала из засады
И направилась в погоню
По следам его кровавым,
В ярком зареве пожара.

И Нокомис, простирая
Руку слабую к закату,
Говорила Гайавате:
«Там живет волшебник злобный
Меджисогвон, Дух Богатства,
Тот, кого Пером Жемчужным
Называют все народы;
Там озера смоляные
Разливаются, чернея,
До багряных туч заката;
Там, среди трясины мрачной,
Вьются огненные змеи,
Змеи страшные, Кинэбик!
То хранители и слуги
Меджисогвона-убийцы.

Это им убит коварно
Мой отец, когда на землю
Он с луны за мной спустился
И меня искал повсюду.
Это злобный Меджисогвон
Посылает к нам недуги,
Посылает лихорадки,
Дышит белой мглою с тундры,
Дышит сыростью болотных,
Смертоносных испарений!

Лук возьми свой, Гайавата,
Острых стрел возьми с собою,
Томагаук, Поггэвогон,
Рукавицы, Минджикэвон,
И березовую лодку.
Желтым жиром Мише-Намы
Смажь бока ее, чтоб легче
Было плыть ей по болотам,
И убей ты чародея,
Отомсти врагу Нокомис,
Отомсти врагу народа!»

Быстро в путь вооружился
Благородный Гайавата;
Легкий челн он сдвинул в воду,
Потрепал его рукою,
Говоря: «Вперед, пирога,
Друг мой верный и любимый,
К змеям огненным, Кинэбик,
К смоляным озерам черным!»

Гордо вдаль неслась пирога,
Грозно песню боевую
Пел отважный Гайавата;
А над ним Киню могучий,
Боевой орел могучий,
Вождь пернатых, с диким криком
В небесах кругами плавал.

Скоро он и змей увидел,
Исполинских змей увидел,
Что лежали средь болота,
Ежась, искрясь средь болота,
На пути сплетаясь в кольца,
Подымаясь, наполняя
Воздух огненным дыханьем,
Чтоб никто не мог проникнуть
К Меджисогвону в жилище.

Но бесстрашный Гайавата,
Громко крикнув, так сказал им:
«Прочь с дороги, о Кинэбик!
Прочь с дороги Гайаваты!»
А они, свирепо ежась,
Отвечали Гайавате
Свистом, огненным дыханьем:
«Отступи, о Шогодайя!
Воротись к Нокомис старой!»

И тогда во гневе поднял
Мощный лук свой Гайавата,
Сбросил с плеч колчан — и начал
Поражать их беспощадно:
Каждый звук тугой и крепкой
Тетивы был криком смерти,

Каждый свист стрелы певучей —
Песнью смерти и победы!

Тяжело в воде кровавой
Змеи мертвые качались,
И победно Гайавата
Плыл меж ними, восклицая:
«О, вперед, моя пирога,
К смоляным озерам черным!»

Желтым жиром Мише-Намы
Он бока и нос пироги
Густо смазал, чтобы легче
Было плыть ей по болотам,
И до света одиноко
Плыл он в этом сонном море,
Плыл в воде, густой и черной,
Вековой корой покрытой
От размытых и гниющих
Камышей и листьев лилий;
И безжизненно и мрачно
Перед ним вода блестела,
Озаренная луною,
Озаренная мерцаньем
Огоньков, что зажигают
Души мертвых на стоянках
В час тоскливой, долгой ночи.

Белым месячным сияньем
Тихий воздух был наполнен;
Тени ночи по болотам
Далеко кругом чернели;
А москиты Гайавате
Пели песню боевую;
Светляки, блестя, кружились,
Чтобы сбить его с дороги,
И в густой воде Дагинда
Тяжело зашевелилась,
Тупо желтыми глазами
Поглядела на пирогу,
Зарыдала — и исчезла;
И мгновенно огласилось
Все кругом стозвучным свистом,
И Шух-шух-га издалека,

С камышового прибрежья,
Возвестила громким криком
О прибытии героя!

Так держал путь Гайавата,
Так держал он путь на запад,
Плыл всю ночь, пока не скрылся
С неба бледный, полный месяц.
А когда пригрело солнце,
Стало плечи жечь лучами,
Увидал он пред собою
На холме Вигвам Жемчужный —
Меджисогвона жилище.

Вновь тогда своей пироге
Он сказал: «Вперед!» — и быстро,
Величаво и победно
Пронеслась она средь лилий,
Чрез густой прибрежный шпажник.
И на берег Гайавата
Вышел, ног не замочивши.

Тотчас взял он лук свой верный,
Утвердил в песке, коленом
Надавил посередине
И могучей тетивою
Запустил стрелу-певунью,
Запустил в Вигвам Жемчужный,
Как гонца с своим посланьем,
С гордым вызовом на битву:
«Выходи, о Меджисогвон:
Гайавата ожидает».

Быстро вышел Меджисогвон
Из Жемчужного Вигвама,
Быстро вышел он, могучий,
Рослый и широкоплечий,
Сумрачный и страшный видом,
С головы до ног покрытый
Украшеньями, оружьем,
В алых, синих, желтых красках,
Словно небо на рассвете,
В развевающихся перьях
Из орлиных длинных крыльев.

«А, да это Гайавата! —
Громко крикнул он с насмешкой,
И как гром тот крик раздался.—
Отступи, о Шогодайя!
Уходи скорее к бабам,
Уходи к Нокомис старой!
Я убью тебя на месте,
Как ее отца убил я».

Но без страха, без смущенья
Отвечал мой Гайавата:
«Хвастовством и грубым словом
Не сразишь, как томагавком;
Дело лучше слов бесплодных
И острей насмешек стрелы.
Лучше действовать, чем хвастать!»

И начался бой великий,
Бой, невиданный под солнцем!
От восхода до заката —
Целый летний день он длился,
Ибо стрелы Гайаваты
Бесполезно ударялись
О жемчужную кольчугу.
Бесполезны были даже
Рукавицы, Минджикэвон,
И тяжелый томагаук:
Раздроблять он мог утесы,
Но не мог разбить он дивной,
Заколдованной кольчуги.

Наконец перед закатом,
Весь израненный, усталый,
С расщепленным томагавком,
С рукавицами, в лохмотьях
И с тремя стрелами только,
Гайавата безнадежно
На упругий лук склонился
Под старинною сосною;
Мох с ветвей ее тянулся,
А на пне грибы желтели,—
Мертвецов печальных обувь.

Вдруг зеленый дятел, Мэма,
Закричал над Гайаватой:
«Целься в темя, Гайавата,
Прямо в темя чародея,
В корни кос ударь стрелою:
Только там и уязвим он!

В легких перьях, в халцедоне,
Понеслась стрела-певунья
В тот момент, как Меджисогвон
Поднимал тяжелый камень,
И вонзилась прямо в темя,
В корни длинных кос вонзилась.
И споткнулся, зашатался
Меджисогвон, словно буйвол,
Да, как буйвол, пораженный
На лугу, покрытом снегом.

Вслед за первою стрелою
Полетела и вторая,
Понеслась быстрее первой,
Поразила глубже первой;
И колени чародея,
Как тростник, затрепетали,
Как тростник, под ним согнулись.

А последняя взвилася
Легче всех — и Меджисогвон
Увидал перед собою
Очи огненные смерти,
Услыхал из мрака голос,
Голос Погока призывный.
Без дыхания, без жизни
Пал могучий Меджисогвон
На песок пред Гайаватой.

Благодарный Гайавата
Взял тогда немного крови
И, позвав с сосны печальной
Дятла, выкрасил той кровью
На головке дятла гребень
За его услугу в битве;
И доныне Мэма носит
Хохолок из красных перьев.

После, в знак своей победы,
В память битвы с чародеем,
Он сорвал с него кольчугу
И оставил без призора
На песке прибрежном тело.
На песке оно лежало,
Погребенное по пояс,
Головой поникнув в воду;
А над ним кружился с криком
Боевой орел могучий,
Плавал медленно кругами,
Тихо, тихо вниз спускаясь.

Из вигвама чародея
Гайавата снес в пирогу
Все сокровища, весь вампум;
Снес меха бобров, бизонов,
Соболей и горностаев,
Нитки жемчуга, колчаны
И серебряные стрелы —
И поплыл домой, ликуя,
С громкой песнею победы.

Там к нему на берег вышли
Престарелая Нокомис,
Чайбайабос, мощный Квазинд;
А народ героя встретил
Пляской, пеньем, восклицая:
«Слава, слава Гайавате!
Побежден им Меджисогвон,
Побежден волшебник злобный!»

Навсегда остался дорог
Гайавате дятел, Мэма.
В честь его и в память битвы
Он свою украсил трубку
Хохолком из красных перьев,
Гребешком багровым Мэмы,
А богатства чародея
Разделил с своим народом,
Разделил по равной части.

X
СВАТОВСТВО ГАЙАВАТЫ

«Муж с женой подобен луку,
Луку с крепкой тетивою;
Хоть она его сгибает,
Но ему сама послушна,
Хоть она его и тянет,
Но сама с ним неразлучна;
Порознь оба бесполезны!»

Так раздумывал нередко
Гайавата и томился
То отчаяньем, то страстью,
То тревожною надеждой,
Предаваясь пылким грезам
О прекрасной Миннегаге
Из страны Дакотов диких.

Осторожная Нокомис
Говорила Гайавате:
«Не женись на чужеземке,
Не ищи жены по свету!
Дочь соседа, хоть простая,
Что очаг в родном вигваме,
Красота же чужеземки —
Это лунный свет холодный,
Это звездный блеск далекий!»

Так Нокомис говорила.
Но разумно Гайавата
Отвечал ей: «О Нокомис!
Мил очаг в родном вигваме,
Но милей мне звезды в небе,
Ясный месяц мне милее!»

Строго старая Нокомис
Говорила: «Нам не нужно
Праздных рук и ног ленивых;
Приведи жену такую,
Чтоб работала с любовью,
Чтоб проворны были руки,
Ноги двигались охотно!»

Улыбаясь, Гайавата
Молвил: «Я в земле Дакотов
Стрелоделателя знаю;
У него есть дочь-невеста,
Что прекрасней всех прекрасных;
Я введу ее в вигвам твой,
И она тебе в работе
Будет дочерью покорной,
Будет лунным, звездным светом,
Огоньком в твоем вигваме,
Солнцем нашего народа!»

Но опять свое твердила
Осторожная Нокомис:
«Не вводи в мое жилище
Чужеземку, дочь Дакота!
Злобны дикие Дакоты,
Часто мы воюем с ними,
Распри наши не забыты,
Раны наши не закрылись!»

Усмехаясь, Гайавата
И на это ей ответил:
«Потому-то и пойду я
За невестой в край Дакотов,
Для того пойду, Нокомис,
Чтоб окончить наши распри,
Залечить навеки раны!»

И пошел в страну красавиц,
В край Дакотов, Гайавата,
В путь далекий по долинам,
В тишине равнин пустынных,
В тишине лесов дремучих.

С каждым шагом делал милю
Он в волшебных мокасинах;
Но быстрей бежали мысли,
И дорога бесконечной
Показалась Гайавате.
Наконец, в безмолвье леса,
Услыхал он гул потоков,
Услыхал призывный грохот
Водопадов Миннегаги.

«О, как весел,— прошептал он,—
Как отраден этот голос,
Призывающий в молчанье!»

Меж деревьев, где играли
Свет и тени, он увидел
Стадо чуткое оленей.
«Не сплошай!» — сказал он луку,
«Будь верней!» — стреле промолвил,
И когда стрела-певунья,
Как оса, впилась в оленя,
Он взвалил его на плечи
И пошел еще быстрее.

У дверей, в своем вигваме,
Вместе с милой Миннегагой,
Стрелоделатель работал.
Он точил на стрелы яшму,
Халцедон точил блестящий,
А она плела в раздумье
Тростниковые циновки;
Все о том, что будет с нею,
Тихо девушка мечтала;
А старик о прошлом думал.

Вспоминал он, как, бывало,
Вот такими же стрелами
Поражал он на долинах
Робких ланей и бизонов,
Поражал в лугах зеленых
На лету гусей крикливых;
Вспоминал и о великих
Боевых отрядах прежних,
Покупавших эти стрелы.
Ах, уж нет теперь подобных
Славных воинов на свете!
Ныне воины, что бабы:
Языком болтают только!

Миннегага же в раздумье
Вспоминала, как весною
Приходил к отцу охотник,
Стройный юноша-красавец
Из земли Оджибуэев,

Как сидел он в их вигваме,
А простившись, обернулся,
На нее взглянул украдкой.
Сам отец потом нередко
В нем хвалил и ум и храбрость.
Только будет ли он снова
К водопадам Миннегаги?
И в раздумье Миннегага
Вдаль рассеянно глядела,
Опускала праздно руки.

Вдруг почудился ей шорох,
Чья-то поступь в чаще леса,
Шум ветвей,— и чрез мгновенье,
Разрумяненный ходьбою,
С мертвой ланью за плечами,
Стал пред нею Гайавата.

Строгий взор старик на гостя
Быстро вскинул от работы,
Но, узнавши Гайавату,
Отложил стрелу, поднялся
И просил войти в жилище.
«Будь здоров, о Гайавата!» —
Гайавате он промолвил.

Пред невестой Гайавата
Сбросил с плеч свою добычу,
Положил пред ней оленя;
А она, подняв ресницы,
Отвечала Гайавате
Кроткой лаской и приветом:
«Будь здоров, о Гайавата!»

Из оленьей крепкой кожи
Сделан был вигвам просторный,
Побелен, богато убран
И дакотскими богами
Разрисован и расписан.
Двери были так высоки,
Что, входя, едва нагнулся
Гайавата на пороге,
Чуть коснулся занавесок
Головой в орлиных перьях.

Встала с места Миннегага,
Отложив свою работу,
Принесла к обеду пищи,
За водой к ручью сходила
И стыдливо подавала
С пищей глиняные миски,
А с водой — ковши из липы.
После села, стала слушать
Разговор отца и гостя,
Но сама во всей беседе
Ни словечка не сказала.

Да, как будто сквозь дремоту
Услыхала Миннегага
О Нокомис престарелой,
Воспитавшей Гайавату,
О друзьях его любимых
И о счастье, о довольстве
На земле Оджибуэев,
В тишине долин веселых.

«После многих лет раздора,
Многих лет борьбы кровавой
Мир настал теперь в селеньях
Оджибуэев и Дакотов! —
Так закончил Гайавата,
А потом прибавил тихо: —
Чтобы этот мир упрочить,
Закрепить союз сердечный,
Закрепить навеки дружбу,
Дочь свою отдай мне в жены,
Отпусти в мой край родимый,
Отпусти к нам Миннегагу!»

Призадумался немного
Старец, прежде чем ответить,
Покурил в молчанье трубку,
Посмотрел на гостя гордо,
Посмотрел на дочь с любовью
И ответил очень важно:
«Это воля Миннегаги.
Как решишь ты, Миннегага?»

И смутилась Миннегага
И еще милей и краше
Стала в девичьем смущенье.
Робко рядом с Гайаватой
Опустилась Миннегага
И, краснея, отвечала:
«Я пойду с тобою, муж мой!»

Так решила Миннегага!
Так сосватал Гайавата,
Взял красавицу невесту
Из страны Дакотов диких!

Из вигвама рядом с нею
Он пошел в родную землю.
По лесам и по долинам
Шли они рука с рукою,
Оставляя одиноким
Старика отца в вигваме,
Покидая водопады,
Водопады Миннегаги,
Что взывали издалека:
«Добрый путь, о Миннегага»!

А старик, простившись с ними,
Сел на солнышко к порогу
И, копаясь за работой,
Бормотал: «Вот так-то дочки!
Любишь их, лелеешь, холишь,
А дождешься их опоры,
Глядь — уж юноша приходит,
Чужеземец, что на флейте
Поиграет да побродит
По деревне, выбирая
Покрасивее невесту,—
И простись навеки с дочкой!»

Весел был их путь далекий
По холмам и по долинам,
По горам и по ущельям,
В тишине лесов дремучих!
Быстро время пролетало,
Хоть и тихо Гайавата

Шел теперь для Миннегаги,
Чтоб она не утомилась.

На руках через стремнины
Нес он девушку с любовью,—
Легким перышком казалась
Эта ноша Гайавате.
В дебрях леса, под ветвями,
Он прокладывал тропинки,
На ночь ей шалаш построил,
Постелил постель из листьев
И развел костер у входа
Из сухих сосновых шишек.

Ветерки, что вечно бродят
По лесам и по долинам,
Путь держали вместе с ними;
Звезды чутко охраняли
Мирный сон их темной ночью;
Белка с дуба зорким взглядом
За влюбленными следила,
А Вабассо, белый кролик,
Убегал от них с тропинки
И, привстав на задних лапках,
Из норы глядел украдкой
С любопытством и со страхом.

Весел был их путь далекий!
Птицы сладко щебетали,
Птицы звонко пели песни
Мирной радости и счастья.
«Ты счастлив, о Гайавата,
С кроткой, любящей женою!» —
Пел Овейса синеперый.
«Ты счастлива, Миннегага,
С благородным, мудрым мужем!» —
Опечи пел красногрудый.

Солнце ласково глядело
Сквозь тенистые деревья,
Говорило им: «О дети!
Злоба — тьма, любовь — свет солнца,
Жизнь играет тьмой и светом,—
Правь любовью, Гайавата!

Месяц с неба в час полночный
Заглянул в шалаш, наполнил
Мрак таинственным сияньем
И шепнул им: «Дети, дети!
Ночь тиха, а день тревожен;
Жены слабы и покорны,
А мужья властолюбивы,—
Правь терпеньем, Миннегага!»

Так они достигли дома,
Так в вигвам Нокомис старой
Возвратился Гайавата
Из страны Дакотов диких,
Из страны красивых женщин,
С Миннегагою прекрасной,
И была она в вигваме
Огоньком его вечерним,
Светом лунным, светом звездным,
Светлым солнцем для народа.

XI
СВАДЕБНЫЙ ПИР ГАЙАВАТЫ

Стану петь, как По-Пок-Кивис,
Как красавец Йенадиззи
Танцевал под звуки флейты,
Как учтивый Чайбайабос,
Сладкогласный Чайбайабос
Песни пел любви-томленья,
И как Ягу, дивный мастер
И рассказывать и хвастать,
Сказки сказывал на свадьбе,
Чтобы пир был веселее,
Чтобы время шло приятней,
Чтоб довольны были гости.

Пышный пир дала Нокомис,
Пышно праздновала свадьбу!
Чаши были все из липы,
Ярко-белые и с глянцем,
Ложки были все из рога,
Ярко-черные и с глянцем.

В знак торжественного пира,
Приглашения на свадьбу,
Всем соседям ветви ивы
В этот день она послала;
И соседи собралися
К пиру в праздничных нарядах,
В дорогих мехах и перьях,
В разноцветных ярких красках,
В пестром вампуме и бусах.

На пиру они сначала
Осетра и щуку ели,
Приготовленных Нокомис;
После — пимикан олений,
Пимикан и мозг бизона,
Горб быка и ляжку лани,
Рис и желтые лепешки
Из толченой кукурузы.

Но радушный Гайавата,
Миннетага и Нокомис
При гостях не сели к пище:
Только потчевали молча,
Только молча им служили.
А когда обед был кончен,
Хлопотливая Нокомис
Из большого меха выдры
Тотчас каменные трубки
Табаком набила южным,
Табаком с травой пахучей
И с корою красной ивы.

После ласково сказала:
«Протанцуй нам, По-Пок-Кивис,
Танец Нищего веселый,
Чтобы пир был веселее,
Чтобы время шло приятней,
Чтоб довольны были гости!»

И красавец По-Пок-Кивис,
Беззаботный Йенадиззи,
Озорник, всегда готовый
Веселиться и буянить,
Тотчас встал среди собранья.

Ловок был он в плясках, в танцах,
В состязаньях и забавах,
Смел и ловок в разных играх,
Даже в самых трудных играх!
На деревне По-Пок-Кивис
Слыл пропащим человеком,
Игроком, лентяем, трусом;
Но насмешки и прозванья
Не смущали Йенадиззи:
Ведь зато он был красавец
И большой любимец женщин.

Он стоял в одежде белой
Из пушистой ланьей шкуры,
Окаймленной горностаем,
Густо вампумом расшитой
И ежовою щетиной;
В головном его уборе
Колыхался пух лебяжий;
На козловых мокасинах
Красовались иглы, бисер
И хвосты лисиц — на пятках;
А в руках держал он трубку
И большое опахало.

Краской желтою и красной,
Краской алою и синей
Все лицо его сияло;
В косы, смазанные маслом
И с пробором, как у женщин,
Вплетены гирлянды были
Из пахучих трав и листьев.
Вот как убран и наряжен
Встал красавец По-Пок-Кивис,
Встал при звуках флейт и песен,
Голосов и барабанов
И свой дивный танец начал.

Танцевал он прежде важно,
Выступая меж деревьев —
То под тенью, то на солнце —
Мягким шагом, как пантера;
После — все быстрей, быстрее,
Закружился, завертелся,

Вкруг вигвама начал прыгать
Через головы сидящих,
Так что ветер, пыль и листья
Понеслись за ним кругами.

А потом вдоль Гитчи-Гюми,
По песчаному прибрежью,
Как безумный он помчался,
Ударяя с дикой силой
Мокасинами о землю,
Так что ветер стал уж бурей,
Засвистал песок, вздымаясь,
Словно вьюга по пустыне,
И покрылося прибрежье
Все холмами Нэго-Воджу.
Так веселый По-Пок-Кивис
Танец Нищего окончил
И, окончив, возвратился
К месту пира, сел с гостями,
Сел, спокойно улыбаясь
И махая опахалом.

После друга Гайаваты,
Чайбайабоса, просили:
«Спой нам песню, Чайбайабос,
Песню страсти, песню неги,
Чтобы пир был веселее,
Чтобы время шло приятней,
Чтоб довольны были гости!»

И прекрасный Чайбайабос
Спел им нежно, сладкозвучно,
Спел в волнении глубоком
Песню страсти, песню неги;
Все смотря на Гайавату,
Все смотря на Миннегагу,
Тихо пел он эту песню:

«Онэвэ! Проснись, родная!
Ты, лесной цветочек дикий,
Ты, лугов зеленых птичка,
Птичка дикая, певунья!

Взор твой кроткий, взор косули,
Так отраден, так отраден,
Как роса для нежных лилий
В час вечерний на долине!

А твое дыханье сладко,
Как цветов благоуханье,
Как дыханье их зарею
В Месяц Падающих Листьев!

Не стремлюсь ли я всем сердцем
К сердцу милой, к сердцу милой,
Как ростки стремятся к солнцу
В тихий Месяц Светлой Ночи?

Онэвэ! Трепещет сердце
И поет тебе в восторге,
Как поют, вздыхают ветви
В ясный Месяц Земляники!

Загрустишь ли ты, родная,—
И мое темнеет сердце,
Как река, когда над нею
Облака бросают тени!

Улыбнешься ли, родная,—
Сердце вновь дрожит и блещет,
Как под солнцем блещут волны,
Что рябит холодный ветер!

Пусть улыбкою сияют
Небеса, земля и воды —
Не могу я улыбаться,
Если милой я не вижу!

Я с тобой, с тобой! Взгляни же,
Кровь трепещущего сердца!
О, проснись! Проснись, родная!
Онэвэ! Проснись, родная!»

Так прекрасный Чайбайабос
Песню пел любви-томленья;
И хвастливый, старый Ягу,
Удивительный рассказчик,

Слушал с завистью, как гости
Восторгались сладким пеньем;
Но потом, по их улыбкам,
По глазам и по движеньям
Увидал, что все собранье
С нетерпеньем ожидает
И его веселых басен,
Непомерно лживых сказок.

Очень был хвастлив мой Ягу!
В самых дивных приключеньях,
В самых смелых предприятьях —
Всюду был героем Ягу:
Он узнал их не по слухам,
Он воочию их видел!

Если б только Ягу слушать,
Если б только Ягу верить,
То нигде никто из лука
Не стреляет лучше Ягу,
Не убил так много ланей,
Не поймал так много рыбы
Иль речных бобров в капканы.

Кто резвее всех в деревне?
Кто всех дальше может плавать?
Кто ныряет всех смелее?
Кто пространствовал по свету
И диковин насмотрелся?
Уж конечно, это Ягу,
Удивительный рассказчик.

Имя Ягу стало шуткой
И пословицей в народе;
И когда хвастун охотник
Чересчур охотой хвастал
Или воин завирался,
Возвратившись с поля битвы,
Все кричали: «Ягу, Ягу!
Новый Ягу появился!»

Это он связал когда-то
Из коры зеленой липы
Люльку жилами оленя

Для малютки Гайаваты.
Это он ему позднее
Показал, как надо делать
Лук из ясени упругой,
А из сучьев дуба — стрелы.
Вот каков был этот Ягу,
Безобразный, старый Ягу,
Удивительный рассказчик!

И промолвила Нокомис:
«Расскажи нам, добрый Ягу,
Почудесней сказку, басню,
Чтобы пир был веселее,
Чтобы время шло приятней,
Чтоб довольны были гости!»

И ответил Ягу тотчас:
«Вы услышите сегодня
Повесть — дивное сказанье
О волшебнике Оссэо,
Что сошел с Звезды Вечерней!»

XII
СЫН ВЕЧЕРНЕЙ ЗВЕЗДЫ

То не солнце ли заходит
Над равниной водяною?
Иль то раненый фламинго
Тихо плавает, летает,
Обагряет волны кровью,
Кровью, падающей с перьев,
Наполняет воздух блеском,
Блеском длинных красных перьев?

Да, то солнце утопает,
Погружаясь в Гитчи-Гюми;
Небеса горят багрянцем,
Воды блещут алой краской!
Нет, то плавает фламинго,
В волны красные ныряя;

К небесам простер он крылья
И окрасил волны кровью!

Огонек Звезды Вечерней
Тает, в пурпуре трепещет,
В полумгле висит над морем.
Нет, то вампум серебрится
На груди Владыки Жизни,
То Великий Дух проходит
Над темнеющим закатом!

На закат смотрел с восторгом
Долго, долго старый Ягу;
Вдруг воскликнул: «Посмотрите!
Посмотрите на священный
Огонек Звезды Вечерней!
Вы услышите сказанье
О волшебнике Оссэо,
Что сошел с Звезды Вечерней!

В незапамятные годы,
В дни, когда еще для смертных
Небеса и сами боги
Были ближе и доступней,
Жил на севере охотник
С молодыми дочерями;
Десять было их, красавиц,
Стройных, гибких, словно ива,
Но прекрасней всех меж ними
Овини была, меньшая.

Вышли девушки все замуж,
Все за воинов отважных,
Овини одна не скоро
Жениха себе сыскала.
Своенравна и сурова,
Молчалива и печальна
Овини была — и долго
Женихов, красавцев юных,
Прогоняла прочь с насмешкой,
А потом взяла да вышла
За убогого Оссэо!
Нищий, старый, безобразный,
Вечно кашлял он, как белка.

Ах, но сердце у Оссэо
Было юным и прекрасным!
Он сошел с Звезды Заката,
Он был сын Звезды Вечерней,
Сын Звезды любви и страсти!
И огонь ее, и чары,
И краса, и блеск лучистый —
Все в груди его таилось,
Все в речах его сверкало!

Женихи, любовь которых
Овини отвергла гордо,—
Йенадиззи в ожерельях,
В пышных перьях, ярких красках
Насмехалися над нею;
Но она им так сказала:
«Что за дело мне до ваших
Ожерелий, красок, перьев
И насмешек непристойных!
Я счастлива за Оссэо!»

Раз в ненастный, темный вечер
Шли веселою толпою
На веселый праздник сестры,—
Шли на званый пир с мужьями;
Тихо следовал за ними
С молодой женой Оссэо.
Все шутили и смеялись —
Эти двое шли в молчанье.

На закат смотрел Оссэо,
Взор подняв как бы с мольбою;
Отставал, смотрел с мольбою
На Звезду любви и страсти,
На трепещущий и нежный
Огонек Звезды Вечерней;
И расслышали все сестры,
Как шептал Оссэо тихо:
«Ах, шовэн нэмэшин, Ноза —
Сжалься, сжалься, о отец мой!»

«Слышишь? — старшая сказала.—
Он отца о чем-то просит!
Право, жаль, что старикашка

Не споткнется на дороге,
Головы себе не сломит!»
И смеялись сестры злобно
Непристойным, громким смехом.

На пути их, в дебрях леса,
Дуб лежал, погибший в бурю,
Дуб-гигант, покрытый мохом,
Полусгнивший под листвою,
Почерневший и дуплистый.
Увидав его, Оссэо
Испустил вдруг крик тоскливый
И в дупло, как в яму, прыгнул.
Старым, дряхлым, безобразным
Он упал в него, а вышел —
Сильным, стройным и высоким,
Статным юношей, красавцем!

Так вернулася к Оссэо
Красота его и юность;
Но — увы,— за ним мгновенно
Овини преобразилась!
Стала древнею старухой,
Дряхлой, жалкою старухой,
Поплелась с клюкой, согнувшись.
И смеялись все над нею
Непристойным, громким смехом.

Но Оссэо не смеялся,
Овини он не покинул,
Нежно взял ее сухую
Руку, темную, в морщинах,
Как дубовый лист зимою,
Называл своею милой,
Милым другом, Нинимуша,
И пришел с ней к месту пира,
Сел за трапезу в вигваме.
Тот вигвам в лесу построен
В честь святой Звезды Заката.

Очарованный мечтами,
На пиру сидел Оссэо;
Все шутили, веселились,
Но печален был Оссэо!

Не притронулся он к пище,
Не сказал ни с кем ни слова,
Не слыхал речей веселых;
Лишь смотрел с тоской во взоре
То на Овини, то кверху,
На сверкающие звезды.

И пронесся тихий шепот,
Тихий голос, зазвучавший
Из воздушного пространства,
От далеких звезд небесных.
Мелодично, смутно, нежно
Говорил он: «О Оссэо!
О возлюбленный, о сын мой!
Тяготели над тобою
Чары злобы, темной силы,
Но разрушены те чары;
Встань, приди ко мне, Оссэо!

Яств отведай этих дивных,
Яств вкуси благословенных,
Что стоят перед тобою;
В них волшебная есть сила:
Их вкусив, ты станешь духом;
Все твои котлы и блюда
Не простой посудой будут:
Серебром котлы заблещут,
Блюда — в вампум превратятся.
Будут все огнем светиться,
Блеском раковин пурпурных.

И спадет проклятье с женщин,
Иго тягостной работы:
В птиц они все превратятся,
Засияют звездным светом,
Ярким отблеском заката
На вечерних нежных тучках».

Так сказал небесный голос;
Но слова его понятны
Были только для Оссэо,
Остальным же он казался

Грустным пеньем Вавонэйсы,
Пеньем птиц во мраке леса,
В отдаленных чащах леса.

Вдруг жилище задрожало,
Зашаталось, задрожало,
И почувствовали гости,
Что возносятся на воздух!
В небеса, к далеким звездам,
В темноте ветвистых сосен,
Плыл вигвам, минуя ветви,
Миновал — и вот все блюда
Засияли алой краской,
Все котлы из сизой глины —
Вмиг серебряными стали,
Все шесты вигвама ярко
Засверкали в звездном свете,
Как серебряные прутья,
А его простая кровля —
Как жуков блестящих крылья.

Поглядел кругом Оссэо
И увидел, что и сестры,
И мужья сестер-красавиц
В разных птиц все превратились:
Были тут скворцы с дроздами,
Были сойки и сороки,
И все прыгали, порхали,
Охорашивались, пели,
Щеголяли блеском перьев,
Распускали хвост, как веер.

Только Овини осталась
Дряхлой, жалкою старухой
И в тоске сидела молча.
Но, взглянувши вверх, Оссэо
Испустил вдруг крик тоскливый,
Вопль отчаянья, как прежде,
Над дуплистым старым дубом,
И мгновенно к ней вернулась
Красота ее и юность;
Все ее лохмотья стали
Белым мехом горностая,

А клюка — пером блестящим,
Да, серебряным, блестящим!

И опять вигвам поднялся,
В облаках поплыл прозрачных,
По воздушному теченью,
И пристал к Звезде Вечерней,—
На звезду спустился тихо,
Как снежинка на снежинку,
Как листок на волны речки,
Как пушок репейный в воду.

Там с приветливой улыбкой
Вышел к ним отец Оссэо,
Старец с кротким, ясным взором,
С серебристыми кудрями,
И сказал: «Повесь, Оссэо,
Клетку с птицами своими,
Клетку с пестрой птичьей стаей,
У дверей в моем вигваме!»

У дверей повесив клетку,
Он вошел в вигвам с женою,
И тогда отец Оссэо,
Властелин Звезды Вечерней,
Им сказал: «О мой Оссэо!
Я мольбы твои услышал,
Возвратил тебе, Оссэо,
Красоту твою и юность,
Превратил сестер с мужьями
В разноперых птиц за шутки,
За насмешки над тобою.
Не сумел никто меж ними
Оценить в убогом старце,
В жалком образе калеки
Сердца пылкого Оссэо,
Сердца вечно молодого.
Только Овини сумела
Оценить тебя, Оссэо!

Там, на звездочке, что светит
От Звезды Вечерней влево,
Чародей живет, Вэбино,
Дух и зависти и злобы;

Превратил тебя он в старца.
Берегись лучей Вэбино:
В них волшебная есть сила,—
Это стрелы чародея!»

Долго, в мире и согласье,
На Звезде Вечерней мирной
Жил с отцом своим Оссэо;
Долго в клетке над вигвамом
Птицы пели и порхали
На серебряных шесточках,
И супруга молодая
Родила Оссэо сына:
В мать он вышел красотою,
А в отца — дородным видом.

Мальчик рос, мужал с летами,
И отец, ему в утеху,
Сделал лук и стрел наделал,
Отворил большую клетку
И пустил всех птиц на волю,
Чтоб, стреляя в теток, в дядей,
Позабавился малютка.

Там и сям они кружились,
Наполняя воздух звонким
Пеньем счастья и свободы,
Блеском перьев разноцветных;
Но напряг свой лук упругий,
Запустил стрелу из лука
Мальчик, маленький охотник,
И упала с ветки птичка,
В ярких перышках, на землю,
Насмерть раненная в сердце.

Но — о, чудо! — уж не птицу
Видит он перед собою,
А красавицу младую
С роковой стрелою в сердце!

Кровь ее едва упала
На священную планету,
Как разрушилися чары,
И стрелок отважный, юный

Вдруг почувствовал, что кто-то,
По воздушному пространству,
В облаках его спускает
На зеленый, злачный остров
Посреди Большого Моря.

Вслед за ним блестящей стаей
Птицы падали, летели,
Как осеннею порою
Листья падают, пестрея;
А за птицами спустился
И вигвам с блестящей кровлей,
На серебряных стропилах,
И принес с собой Оссэо,
Овини принес с собою.

Вновь тут птицы превратились,
Получили образ смертных,
Образ смертных, но не рост их:
Все Пигмеями остались,
Да, Пигмеями — Пок-Вэджис,
И на острове скалистом,
На его прибрежных мелях
И доныне хороводы
Водят летними ночами,
Под Вечернею Звездою.

Это их чертог блестящий
Виден в тихий летний вечер;
Рыбаки с прибрежья часто
Слышат их веселый говор,
Видят танцы в звездном свете».

Кончив свой рассказ чудесный,
Кончив сказку, старый Ягу
Всех гостей обвел глазами
И торжественно промолвил:
«Есть возвышенные души,
Есть непонятые люди!
Я знавал таких немало.
Зубоскалы их нередко
Даже на смех подымают,
Но насмешники должны бы
Чаще думать об Оссэо!»

Очарованные гости
Повесть слушали с восторгом
И рассказчика хвалили,
Но шептались друг с другом:
«Неужель Оссэо — Ягу,
Мы же — тетушки и дяди?»

После снова Чайбайабос
Пел им песнь любви-томленья,
Пел им нежно, сладкозвучно
И с задумчивой печалью
Песню девушки, скорбящей
Об Алгонкине, о милом.

«Горе мне, когда о милом,
Ах, о милом я мечтаю,
Все о нем томлюсь-тоскую,
Об Алгонкине, о милом!

Ах, когда мы расставались,
Он на память дал мне вампум,
Белоснежный дал мне вампум,
Мой возлюбленный, Алгонкин!

«Я пойду с тобой,— шептал он,—
Ах, в твою страну родную;
О, позволь мне»,— прошептал он,
Мой возлюбленный, Алгонкин!

«Далеко,— я отвечала,—
Далеко,— я прошептала,—
Ах, страна моя родная,
Мой возлюбленный, Алгонкин!

Обернувшись, я глядела,
На него с тоской глядела,
И в мои глядел он очи,
Мой возлюбленный, Алгонкин!

Он один стоял под ивой,
Под густой плакучей ивой,
Что роняла слезы в воду,
Мой возлюбленный, Алгонкин!

Горе мне, когда о милом,
Ах, о милом я мечтаю,
Все о нем томлюсь-тоскую,
Об Алгонкине, о милом!»

Вот как праздновали свадьбу!
Вот как пир увеселяли
По-Пок-Кивис — бурной пляской,
Ягу — сказкою волшебной,
Чайбайабос — нежной песней.
С песней кончился и праздник,
Разошлись со свадьбы гости
И оставили счастливых
Гайавату с Миннегагой
Под покровом темной ночи.

XIII
БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПОЛЕЙ

Пой, о песнь о Гайавате,
Пой дни радости и счастья,
Безмятежные дни мира
На земле Оджибуэев!
Пой таинственный Мондамин,
Пой полей благословенье!

Погребен топор кровавый,
Погребен навеки в землю
Тяжкий, грозный томагаук;
Позабыты клики битвы,—
Мир настал среди народов.
Мирно мог теперь охотник
Строить белую пирогу,
На бобров капканы ставить
И ловить сетями рыбу;
Мирно женщины трудились:
Гнали сладкий сок из клена,
Дикий рис в лугах сбирали
И выделывали кожи.

Вкруг счастливого селенья
Зеленели пышно нивы,—
Вырастал Мондамин стройный

В глянцевитых длинных перьях,
В золотистых мягких косах,
Это женщины весною
Обрабатывали нивы,—
Хоронили в землю маис
На равнинах плодородных;
Это женщины под осень
Желтый плащ с него срывали,
Обрывали косы, перья,
Как учил их Гайавата.

Раз, когда посев был кончен,
Рассудительный и мудрый
Гайавата обратился
К Миннегаге и сказал ей:
«Ты должна сегодня ночью
Дать полям благословенье;
Ты должна волшебным кругом
Обвести свои посевы,
Чтоб ничто им не вредило,
Чтоб никто их не коснулся!

В час ночной, когда все тихо,
В час, когда все тьмой покрыто,
В час, когда Дух Сна, Нэпавин,
Затворяет все вигвамы,
И ничье не слышит ухо,
И ничье не видит око,—
С ложа встань ты осторожно,
Все сними с себя одежды,
Обойди свои посевы,
Обойди кругом все нивы,
Только косами прикрыта,
Только тьмой ночной одета.

И обильней будет жатва;
От следов твоих на ниве
Круг останется волшебный,
И тогда ни ржа, ни черви,
Ни стрекозы, Куо-ни-ши,
Ни тарантул, Соббикаши,
Ни кузнечик, Па-пок-кина,
Ни могучий Вэ-мок-квана,
Царь всех гусениц мохнатых,

Никогда не переступят
Круг священный и волшебный!»

Так промолвил Гайавата;
А ворон голодных стая,
Жадный Кагаги, Царь-Ворон,
С шайкой черных мародеров,
Отдыхали в ближней роще
И смеялись так, что сосны
Содрогалися от смеха,
От зловещего их смеха
Над словами Гайаваты.
«Ах, мудрец, ах, заговорщик!» —
Говорили птицы громко.

Вот простерлась ночь немая
Над полями и лесами;
Вот и скорбный Вавонэйса
В темноте запел тоскливо,
Притворил Дух Сна, Нэпавин,
Двери каждого вигвама,
И во мраке Миннегага
Поднялась безмолвно с ложа;
Все сняла она одежды
И, окутанная тьмою,
Без смущенья и без страха
Обошла свои посевы,
Начертала по равнине
Круг волшебный и священный.

Только Полночь созерцала
Красоту ее во мраке;
Только смолкший Вавонэйса
Слышал тихое дыханье,
Трепет сердца Миннегаги;
Плотно мантией священной
Ночи мрак ее окутал,
Чтоб никто не мог хвастливо
Говорить: «Ее я видел!»

На заре, лишь день забрезжил,
Кагаги, Царь-Ворон, скликал
Шайку черных мародеров —
Всех дроздов, ворон и соек,

Что шумели на деревьях,
И бесстрашно устремился
На посевы Гайаваты,
На зеленую могилу,
Где покоился Мондамин.

«Мы Мондамина подымем
Из его могилы тесной! —
Говорили мародеры.—
Нам не страшен след священный,
Нам не страшен круг волшебный,
Обведенный Миннегагой!»

Но разумный Гайавата
Все предвидел, все обдумал:
Слышал он, как издевались
Над его словами птицы.
«Ко, друзья мои,— сказал он,—
Ко, мой Кагаги, Царь-Ворон!
Ты с своею шайкой долго
Будешь помнить Гайавату!»

Он проснулся до рассвета,
Он для черных мародеров
Весь посев покрыл сетями,
Сам же лег в сосновой роще,
Стал в засаде терпеливо
Поджидать ворон и соек,
Поджидать дроздов и галок.

Вскоре птицами все поле
Запестрело и покрылось;
Дикой, шумною ватагой,
С криком, карканьем нестройным,
Принялись они за дело;
Но, при всем своем лукавстве,
Осторожности и знанье
Разных хитростей военных,
Не заметили, что скрыта
Недалеко их погибель,
И нежданно очутились
Все в тенетах Гайаваты.

Грозно встал тогда он с места,
Грозно вышел из засады —
И объял великий ужас
Даже самых храбрых пленных!
Без пощады истреблял он
Их направо и налево,
И десятками их трупы
На шестах высоких вешал
Вкруг посевов освященных,
В знак своей кровавой мести!

Только Кагаги, Царь-Ворон,
Предводитель мародеров,
Пощажен был Гайаватой
И заложником оставлен.
Он понес его к вигваму
И веревкою из вяза,—
Боевой веревкой пленных,
Привязал его на кровле.

«Кагаги, тебя,— сказал он,—
Как зачинщика разбоя,
Предводителя злодеев,
Оскорбивших Гайавату,
Я заложником оставлю:
Ты порукою мне будешь,
Что враги мои смирились!»

И остался черный пленник
Над вигвамом Гайаваты;
Злобно хмурился он, сидя
В блеске утреннего солнца,
Дико каркал он с досады,
Хлопал крыльями большими,—
Тщетно рвался на свободу,
Тщетно звал друзей на помощь.

Лето шло, и Шавондази
Посылал, вздыхая страстно,
Из полдневных стран на север
Негу пламенных лобзаний.
Рос и зрел на солнце маис
И во всем великолепье
Наконец предстал на нивах:

Нарядился в кисти, в перья,
В разноцветные одежды;
А блестящие початки
Налились сладким соком,
Засверкали из подсохших,
Разорвавшихся покровов.

И сказала Миннегаге
Престарелая Нокомис:
«Вот и Месяц Листопада!
Дикий рис в лугах уж собран,
И готов к уборке маис;
Время нам идти на нивы
И с Мондамином бороться —
Снять с него все перья, кисти,
Снять наряд зелено-желтый!»

И сейчас же Миннегага
Вышла весело из дома
С престарелою Нокомис,
И они созвали женщин,
Молодежь к себе созвали,
Чтоб сбирать созревший маис,
Чтоб лущить его початки.

Под душистой тенью сосен,
На траве лесной опушки
Старцы, воины сидели
И, покуривая трубки,
Важно, молча любовались
На веселую работу
Молодых людей и женщин,
Важно слушали в молчанье
Шумный говор, смех и пенье:
Как Опечи на вигваме,
Пели девушки на ниве,
Как сороки, стрекотали
И смеялись, точно сойки.

Если девушке счастливой
Попадался очень спелый,
Весь пурпуровый початок,
«Нэшка! — все кругом кричали.—
Ты счастливица,— ты скоро

За красавца замуж выйдешь!»
«Уг!» — согласно отзывались
Из-под темных сосен старцы.

Если ж кто-нибудь на ниве
Находил кривой початок,
Вялый, ржавчиной покрытый,
Все смеялись, пели хором,
Шли, хромая и согнувшись,
Точно дряхлый старикашка,
Шли и громко пели хором:
«Вагэмин, степной воришка,
Пэмосэд, ночной грабитель!»

И звенело поле смехом;
А на кровле Гайаваты
Каркал Кагаги, Царь-Ворон,
Бился в ярости бессильной.
И на всех соседних елях
Раздавались, не смолкая,
Крики черных мародеров.
«Уг!» — с улыбкой отзывались
Из-под темных сосен старцы.

XIV
ПИСЬМЕНА

«Посмотри, как быстро в жизни
Все забвенье поглощает!
Блекнут славные преданья,
Блекнут подвиги героев;
Гибнут знанья и искусство
Мудрых Мидов и Вэбинов,
Гибнут дивные виденья,
Грезы вещих Джосакидов!

Память о великих людях
Умирает вместе с ними;
Мудрость наших дней исчезнет,
Не достигнет до потомства,
К поколеньям, что сокрыты

В тьме таинственной, великой
Дней безгласных, дней грядущих.

На гробницах наших предков
Нет ни знаков, ни рисунков.
Кто в могилах,— мы не знаем,
Знаем только — наши предки;
Но какой их род иль племя,
Но какой их древний Тотэм —
Бобр, Орел, Медведь — не знаем;
Знаем только: это предки.

При свиданье — с глазу на глаз
Мы ведем свои беседы;
Но, расставшись, мы вверяем
Наши тайны тем, которых
Посылаем мы друг к другу;
А посланники нередко
Искажают наши вести
Иль другим их открывают».

Так сказал себе однажды
Гайавата, размышляя
О родном своем народе
И бродя в лесу пустынном.

Из мешка он вынул краски,
Всех цветов он вынул краски
И на гладкой на бересте
Много сделал тайных знаков;
Дивных и фигур и знаков;
Все они изображали
Наши мысли, наши речи.

Гитчи Манито Могучий
Как яйцо был нарисован;
Выдающиеся точки
На яйце — обозначали
Все четыре ветра неба.
«Вездесущ Владыка Жизни» —
Вот что значил этот символ.

Гитчи Манито Могучий,
Властелин всех Духов Злобы,

Был представлен на рисунке
Как великий змей, Кинэбик.
«Пресмыкается Дух Злобы,
Но лукав и изворотлив» —
Вот что значил этот символ.

Белый круг был знаком жизни,
Черный круг был знаком смерти;
Дальше шли изображенья
Неба, звезд, луны и солнца,
Вод, лесов и горных высей
И всего, что населяет
Землю вместе с человеком.

Для земли нарисовал он
Краской линию прямую,
Для небес — дугу над нею,
Для восхода — точку слева,
Для заката — точку справа,
А для полдня — на вершине.
Все пространство под дугою
Белый день обозначало,
Звезды в центре — время ночи,
А волнистые полоски —
Тучи, дождь и непогоду.

След, направленный к вигваму,
Был эмблемой приглашенья,
Знаком дружеского пира;
Окровавленные руки,
Грозно поднятые кверху,—
Знаком гнева и угрозы.

Кончив труд свой, Гайавата
Показал его народу,
Разъяснил его значенье
И промолвил: «Посмотрите!
На могилах ваших предков
Нет ни символов, ни знаков.
Так пойдите нарисуйте
Каждый — свой домашний символ,
Древний прадедовский Тотэм,
Чтоб грядущим поколеньям
Можно было различать их».

И на столбиках могильных
Все тогда нарисовали
Каждый — свой фамильный Тотэм,
Каждый — свой домашний символ:
Журавля, Бобра, Медведя,
Черепаху иль Оленя.
Это было указаньем,
Что под столбиком могильным
Погребен начальник рода.

А пророки, Джосакиды,
Заклинатели, Вэбины,
И врачи недугов, Миды,
Начертали на бересте
И на коже много страшных,
Много ярких, разноцветных
И таинственных рисунков
Для своих волшебных гимнов:
Каждый был с глубоким смыслом
Каждый символом был песни.

Вот Великий Дух, Создатель,
Озаряет светом небо;
Вот Великий Змей, Кинэбик,
Приподняв кровавый гребень,
Извиваясь, смотрит в небо;
Вот журавль, орел и филин
Рядом с вещим пеликаном;
Вот идущие по небу
Обезглавленные люди
И пронзенные стрелами
Трупы воинов могучих;
Вот поднявшиеся грозно
Руки смерти в пятнах крови,
И могилы, и герои,
Захватившие в объятья
Небеса и землю разом!

Таковы рисунки были
На коре и ланьей коже;
Песни битвы и охоты,
Песни Мидов и Вэбинов —
Все имело свой рисунок!

Каждый был с глубоким смыслом,
Каждый символом был песни.

Песнь любви, которой чары
Всех врачебных средств сильнее,
И сильнее заклинаний,
И опасней всякой битвы,
Не была забыта тоже.
Вот как в символах и знаках
Песнь любви изображалась:

Нарисован очень ярко
Человек багряной краской —
Музыкант, любовник пылкий.
Смысл таков: «Я обладаю
Дивной властью надо всеми!»

Дальше — он поет, играя
На волшебном барабане,
Что должно сказать: «Внемли мне!
Это мой ты слышишь голос!»

Дальше — эта же фигура,
Но под кровлею вигвама.
Смысл таков: «Я буду с милой.
Нет преград для пылкой страсти!»

Дальше — женщина с мужчиной,
Стоя рядом, крепко сжали
Руки с нежностью друг другу.
«Все твое я вижу сердце
И румянец твой стыдливый!» —
Вот что значил символ этот.

Дальше — девушка средь моря,
На клочке земли, средь моря;
Песня этого рисунка
Такова: «Пусть ты далеко!
Пусть нас море разделяет!
Но любви моей и страсти
Над тобой всесильны чары!»

Дальше — юноша влюбленный
К спящей девушке склонился

И, склонившись, тихо шепчет,
Говорит: «Хоть ты далеко,
В царстве Сна, в стране Молчанья,
Но любви ты слышишь голос!»

А последняя фигура —
Сердце в самой середине
Заколдованного круга.
«Вся душа твоя и сердце
Предо мной теперь открыты!» —
Вот что значил символ этот.

Так, в своих заботах мудрых
О народе, Гайавата
Научил его искусству
И письма и рисованья
На бересте глянцевитой,
На оленьей белой коже
И на столбиках могильных.

XV
ПЛАЧ ГАЙАВАТЫ

Видя мудрость Гайаваты,
Видя, как он неизменно
С Чайбайабосом был дружен,
Злые духи устрашились
Их стремлений благородных
И, собравшись, заключили
Против них союз коварный.

Осторожный Гайавата
Говорил нередко другу:
«Брат мой, будь всегда со мною!
Духов Злых остерегайся!»
Но беспечный Чайбайабос
Только встряхивал кудрями,
Только нежно улыбался.
«О, не бойся, брат мой милый:
Надо мной бессильны Духи!» —
Отвечал он Гайавате.

Раз, когда зима покрыла
Синим льдом Большое Море,
И метель, кружась, шипела
В почерневших листьях дуба,
Осыпала снегом ели,
И в снегу они стояли,
Точно белые вигвамы,—
Взявши лук, надевши лыжи,
Не внимая просьбам брата,
Не страшась коварных Духов,
Смело вышел Чайбайабос
На охоту за оленем.

Как стрела, олень рогатый
По Большому Морю мчался;
С ветром, снегом, словно буря,
Он преследовал оленя,
Позабыв в пылу охоты
Все советы Гайаваты.

А в воде сидели Духи,
Стерегли его в засаде,
Подломили лед коварный,
Увлекли певца в пучину,
Погребли в песках подводных.
Энктаги, владыка моря,
Вероломный бог Дакотов,
Утопил его в студеной,
Зыбкой бездне Гитчи-Гюми.

И с прибрежья Гайавата
Испустил такой ужасный
Крик отчаянья, что волки
На лугах завыли в страхе,
Встрепенулися бизоны,
А в горах раскаты грома
Эхом грянули: «Бэм-Вава!»

Черной краской лоб покрыл он,
Плащ на голову накинул
И в вигваме, полный скорби,
Семь недель сидел и плакал,
Однозвучно повторяя:

«Он погиб, он умер, нежный,
Сладкогласный Чайбайабос!
Он покинул нас навеки,
Он ушел в страну, где льются
Неземные песнопенья!
О, мой брат! О, Чайбайабос!»

И задумчивые пихты
Тихо веяли своими
Опахалами из хвои,
Из зеленой, темной хвои,
Над печальным Гайаватой,
И вздыхали и скорбели,
Утешая Гайавату.

И весна пришла, и рощи
Долго-долго поджидали:
Не придет ли Чайбайабос?
И вздыхал тростник в долине,
И вздыхал с ним Сибовиша.

На деревьях пел Овейса,
Пел Овейса синеперый:
«Чайбайабос! Чайбайабос!
Он покинул нас навеки!»

Опечи пел на вигваме,
Опечи пел красногрудый:
«Чайбайабос! Чайбайабос!
Он покинул нас навеки!»

А в лесу, во мраке ночи,
Раздавался заунывный,
Скорбный голос Вавонэйсы:
«Чайбайабос! Чайбайабос!
Он покинул нас навеки,
Сладкогласный Чайбайабос!»

Собрались тогда все Миды,
Джосакиды и Вэбины,
И, построив в чаще леса,
Близ вигвама Гайаваты,
Свой приют — Вигвам Священный,
Важно, медленно и молча

Все пошли за Гайаватой,
Взяв с собой мешки и сумки,—
Кожи выдр, бобров и рысей,
Где хранились корни, травы,
Исцелявшие недуги.

Услыхав их приближенье,
Перестал взывать он к другу,
Перестал стенать и плакать,
Не промолвил им ни слова,
Только плащ с лица откинул,
Смыл с лица печали краску,
Смыл в молчании глубоком
И к Священному Вигваму,
Как во сне, пошел за ними.

Там его поили зельем,
Наколдованным настоем
Из корней и трав целебных:
Нама-Вэск — зеленой мяты
И Вэбино-Вэск — сурепки,
Там над ним забили в бубны
И запели заклинанья,
Гимн таинственный запели:

«Вот я сам, я сам с тобою,
Я, Седой Орел могучий!
Собирайтесь и внимайте,
Белоперые вороны!
Гулкий гром мне помогает,
Дух незримый помогает,
Слышу всюду их призывы,
Голоса их слышу в небе!
Брат мой! Встань, исполнись силы,
Исцелись, о Гайавата!»

«Ги-о-га!» — весь хор ответил,
«Вэ-га-вэ!» — весь хор волшебный.

«Все друзья мои — все змеи!
Слушай — кожей соколиной
Я тряхну над головою!
Манг, нырок, тебя убью я,
Прострелю стрелою сердце!

Брат мой! Встань, исполнись силы,
Исцелись, о Гайавата!»

«Ги-о-га!» — весь хор ответил,
«Вэ-га-вэ!» — весь хор волшебный.

«Вот я, вот пророк великий!
Говорю — и сею ужас,
Говорю — и весь трепещет
Мой вигвам, Вигвам Священный!
А иду — свод неба гнется,
Содрогаясь подо мною!
Брат мой! Встань, исполнись силы,
Говори, о Гайавата!»

«Ги-о-га!» — весь хор ответил,
«Вэ-га-вэ!» — весь хор волшебный.

И, мешками потрясая,
Танцевали танец Мидов
Вкруг больного Гайаваты,—
И вскочил он, встрепенулся,
Исцелился от недуга,
От безумья лютой скорби!
Как уходит лед весною,
Миновали дни печали,
Как уходят с неба тучи,
Думы черные сокрылись.

После к другу Гайаваты,
К Чайбайабосу взывали,
Чтоб восстал он из могилы,
Из песков Большого Моря,
И настолько властны были
Заклинанья и призывы,
Что услышал Чайбайабос
Их в пучине Гитчи-Гюми,
Из песков он встал, внимая
Звукам бубнов, пенью гимнов,
И пришел к дверям вигвама,
Повинуясь заклинаньям.

Там ему, в дверную щелку,
Дали уголь раскаленный,

Нарекли его владыкой
В царстве духов, в царстве мертвых
И, прощаясь, приказали
Разводить костры для мертвых,
Для печальных их ночлегов
На пути в Страну Понима.

Из родимого селенья,
От родных и близких сердцу
По зеленым чащам леса,
Как дымок, как тень, безмолвно
Удалился Чайбайабос.
Где касался он деревьев —
Не качалися деревья,
Где ступал — трава не мялась,
Не шумела под ногами.

Так четыре дня и ночи
Шел он медленной стопою
По дороге всех усопших;
Земляникою усопших
На пути своем питался,
Переправился на дубе
Чрез печальную их реку,
По Серебряным Озерам
Плыл на Каменной Пироге,
И в Селения Блаженных,
В царство духов, в царство теней,
Принесло его теченье.

На пути он много видел
Бледных духов, нагруженных,
Истомленных тяжкой ношей:
И одеждой, и оружьем,
И горшками с разной пищей,
Что друзья им надавали
На дорогу в край Понима.

Горько жаловались духи:
«Ах, зачем на нас живые
Возлагают бремя это!
Лучше б мы пошли нагими,
Лучше б голод мы терпели,

Чем нести такое бремя! —
Истомил нас путь далекий!»

Гайавата же надолго
Свой родной вигвам оставил,
На Восток пошел, на Запад,—
Поучал употребленью
Трав целебных и волшебных.
Так священное искусство
Врачевания недугов
В первый раз познали люди.

XVI
ПО-ПОК-КИВИС

Стану петь, как По-Пок-Кивис,
Как красавец Йенадиззи
Взбудоражил всю деревню
Дерзкой удалью своею;
Как, спасаясь только чудом,
Он бежал от Гайаваты,
И какой конец печальный
Был чудесным приключеньям.

На прибрежье Гитчи-Гюми,
Светлых вод Большого Моря,
На песчаном Нэго-Воджу
Жил красавец По-Пок-Кивис.
Это он во время свадьбы
Гайаваты с Миннегагой
Так безумно и разгульно
Танцевал под звуки флейты,
Это он в безумном танце
Накидал песок холмами
На прибрежье Гитчи-Гюми.

Заскучавши от безделья,
Вышел раз он из вигвама
И направился поспешно
Прямо к Ягу, где сбиралась
Слушать сказки и преданья
Молодежь со всей деревни.

Старый Ягу в это время
Забавлял гостей рассказом
Об Оджиге, о кунице:
Как она пробила небо,
Как вскарабкалась на небо,
Лето выпустила с неба;
Как сначала подвиг этот
Совершить пыталась выдра,
Как барсук с бобром и рысью
На вершины гор взбирались,
Бились в небо головами,
Бились лапами, но небо
Только трескалось над ними;
Как отважилась на подвиг
Наконец и росомаха.

«Подскочила росомаха,—
Говорил гостям рассказчик,—
Подскочила — и над нею
Так и вздулся свод небесный,
Словно лед в реке весною!
Подскочила снова — небо
Гулко треснуло над нею,
Словно льдина в половодье!
Подскочила напоследок —
Небо вдребезги разбила,
Скрылась в небе, а за нею
И Оджиг в одно мгновенье
Очутилася на небе!»

«Слушай! — крикнул По-Пок-Кивис,
Появляясь на пороге.—
Надоели эти сказки,
Надоели хуже мудрых
Поучений Гайаваты!
Мы отыщем для забавы
Кое-что получше сказок».

Тут, торжественно раскрывши
Свой кошель из волчьей кожи,
По-Пок-Кивис вынул чашу
И фигуры Погасэна:
Томагаук, Поггэвогон,
Рыбку маленькую, Киго,

Пару змей и пару пешек,
Три утенка и четыре
Медных диска, Озавабик.
Все фигуры, кроме дисков,
Темных сверху, светлых снизу,
Были сделаны из кости
И покрыты яркой краской,—
Красной сверху, белой снизу.

Положив фигуры в чашу,
Он встряхнул, перемешал их,
Кинул наземь пред собою
И выкрикивал, что вышло:
«Красным кверху пали кости,
А змея, Кинэбик, стала
На блестящем медном диске;
Счетом сто и тридцать восемь!»

И опять смешал фигуры,
Положил опять их в чашу,
Кинул наземь пред собою
И выкрикивал, что вышло:
«Белым кверху пали змеи,
Белым кверху пали пешки,
Красным — прочие фигуры;
Пятьдесят и восемь счетом!»

Так учил их По-Пок-Кивис,
Так, играя для примера,
Он метал и объяснял им
Все приемы Погасэна.
Двадцать глаз за ним следили,
Разгораясь любопытством.

«Много игр,— промолвил Ягу,—
Много игр, опасных, трудных,
В разных странах, в разных землях
На своем веку я видел;
Кто играет с старым Ягу,
Должен быть на редкость ловок!
Не хвалися, По-Пок-Кивис!
Будешь ты сейчас обыгран,
Жестоко наказан мною!»

Началась игра, и дико
Увлеклись игрою гости!
На одежду, на оружье,
До полночи, до рассвета,
Старики и молодые —
Все играли, все метали,
И лукавый По-Пок-Кивис
Обыграл их без пощады!
Взял все лучшие одежды,
Взял оружье боевое,
Пояса и ожерелья,
Перья, трубки и кисеты!
Двадцать глаз пред ним сверкали,
Как глаза волков голодных.

Напоследок он промолвил:
«Я в товарище нуждаюсь:
В путешествиях и дома
Я всегда один, и нужен
Мне помощник, Мэшинова,
Кто б носил за мною трубку.
Весь мой выигрыш богатый —
Все меха и украшенья,
Все оружие и перья —
Все в один я кон поставлю
Вот на этого красавца!»
То был юноша высокий
По шестнадцатому году,
Сирота, племянник Ягу.

Как огонь сверкает в трубке,
Под седой золой краснея,
Засверкали взоры Ягу
Под нависшими бровями.
«Уг!» — ответил он свирепо,
«Уг!» — ответили и гости.

И, костлявыми руками
Стиснув чашу роковую,
Ягу с яростью подбросил
И рассыпал вкруг фигуры.

Красным кверху пали пешки,
Красным кверху пали змеи,

Красным кверху и утята,
Озавабики — все черным;
Белым только рыбка, Киго;
Только пять всего по счету!

Улыбаясь, По-Пок-Кивис
Положил фигуры в чашу,
Ловко вскинул их на воздух
И рассыпал пред собою:
Красной, белой, черной краской
На земле они блестели,
А меж ними встала пешка,
Встал Инайнивэг, подобно
По-Пок-Кивису красавцу,
Говорившему с улыбкой:
«Пять десятков! Все за мною!»

Двадцать глаз горели злобой,
Как глаза волков голодных,
В тот момент, как По-Пок-Кивис
Встал и вышел из вигвама,
А за ним племянник Ягу,
Стройный юноша высокий,
Уносил оленьи кожи,
Горностаевые шубы,
Пояса и ожерелья,
Перья, трубки и оружье!

«Отнеси мою добычу
В мой вигвам на Нэго-Воджу!» —
Властно молвил По-Пок-Кивис,
Пышным веером играя.

От игры и от куренья
У него горели веки,
И отрадно грудь дышала
Летней утренней прохладой.
В рощах звонко пели птицы,
По лугам ручьи шумели,
А в груди у Йенадиззи
Пело сердце от восторга,
Пело весело, как птица,
Билось гордо, как источник.
Гордо шел он по деревне

В сером сумраке рассвета,
Пышным веером играя,
И прошел по всей деревне
До последнего вигвама,
До жилища Гайаваты.

Тишина была в вигваме.
На порог никто не вышел
К По-Пок-Кивису с приветом;
Только птицы у порога
Пели, прыгали, порхали,
Там и сям сбирая зерна;
Только Кагаги с вигвама
Встретил гостя хриплым криком,
С криком крыльями захлопал,
Взором огненным сверкая.

«Все ушли! Жилище пусто! —
Так промолвил По-Пок-Кивис,
Замышляя злую шутку.—
Нет ни глупой Миннегаги,
Ни хозяина, ни бабки;
Тут теперь что хочешь делай!»

Стиснув ворона за горло,
Он вертел им, как трещоткой,
Как мешком с травой целебной,
Придушил его и бросил,
Чтоб висел он над вигвамом,
На позор его владельцу,
На позор для Гайаваты.

А потом вошел в жилище,
Раскидал кругом порога
Всю хозяйственную утварь,
Раскидал куда попало
Все котлы, горшки и миски,
Мех бобров и горностаев,
Шкуры буйволов и рысей,
На позор Нокомис старой,
На позор для Миннегаги.

Беззаботно напевая
И посвистывая белкам,

Шел он по лесу, а белки
Грызли желуди на ветках,
Шелухой в него кидали;
Беззаботно пел он птицам,
И за темною листвою
Так же весело и звонко
Отвечали пеньем птицы.

Со скалистого прибрежья
Он смотрел на Гитчи-Гюми,
Лег на самом видном месте
И с злорадством дожидался
Возвращенья Гайаваты.

На спине, раскинув руки,
Он дремал в полдневном зное.
Далеко под ним плескались,
Омывали берег волны,
Высоко над ним сияло
Голубою бездной небо,
А кругом носились птицы,
Стаи птиц носились с криком
И почти что задевали
По-Пок-Кивиса крылами.

Он убил их много-много,
Он десятками швырял их
Со скалистого прибрежья
Прямо в волны Гитчи-Гюми.
И Кайошк, морская чайка,
Наконец вскричала громко:
«Это дерзкий По-Пок-Кивис!
Это он нас избивает!
Где же брат наш, Гайавата?
Известите Гайавату!»

XVII
ПОГОНЯ ЗА ПО-ПОК-КИВИСОМ

Гневом вспыхнул Гайавата,
Возвратившись на деревню,
Увидав народ в смятенье,

Услыхавши, что наделал
Дерзкий, хитрый По-Пок-Кивис.

Задыхался он от гнева;
Злобно стискивая зубы,
Он шептал врагу проклятья,
Бормотал, гудел, как шершень.
«Я убью его,— сказал он,—
Я убью, найду злодея!
Как бы ни был путь мой долог,
Как бы ни был путь мой труден,
Гнев мой все преодолеет,
Месть моя врага настигнет!»

Тотчас кликнул он соседей
И поспешно устремился
По следам его в погоню,—
По лесам, где проходил он
На прибрежье Гитчи-Гюми;
Но никто врага не встретил:
Отыскали только место
На траве, в кустах черники,
Где лежал он, отдыхая,
И примял цветы и травы.

Вдруг на Мускодэ зеленой,
На долине под горами,
Показался По-Пок-Кивис:
Сделав дерзкий знак рукою,
На бегу он обернулся,
И с горы, ему вдогонку,
Громко крикнул Гайавата:
«Как бы ни был путь мой долог,
Как бы ни был путь мой труден,
Гнев мой все преодолеет,
Месть моя тебя настигнет!»

Через скалы, через реки,
По кустарникам и чащам
Мчался хитрый По-Пок-Кивис,
Прыгал, словно антилопа.
Наконец остановился
Над прудом в лесной долине,
На плотине, возведенной

Осторожными бобрами,
Над разлившимся потоком,
Над затоном полусонным,
Где в воде росли деревья,
Где кувшинчики желтели,
Где камыш шептал, качаясь.

Над затоном По-Пок-Кивис
Стал на гать из пней и сучьев;
Сквозь нее вода сочилась,
А по ней ручьи бежали;
И со дна пруда к плотине
Выплыл бобр и стал большими,
Удивленными глазами
Из воды смотреть на гостя.

Над затоном По-Пок-Кивис
Пред бобром стоял в раздумье,
По ногам его струились
Ручейки сребристой влагой,
И с бобром заговорил он,
Так сказал ему с улыбкой:
«О мой друг Амик! Позволь мне
Отдохнуть в твоем вигваме,
Отдохнуть в воде прохладной,—
Преврати меня в Амика!»

Осторожно бобр ответил,
Помолчал и так ответил:
«Дай я с прочими бобрами
Посоветуюсь сначала».
И, ответив, опустился,
Как тяжелый камень, в воду,
Скрылся в чаще темно-бурых
Тростников и листьев лилий.

Над затоном По-Пок-Кивис
Ждал бобра на зыбкой гати;
Ручейки с невнятным плеском
По ногам его бежали,
Серебристыми струями
С гати падали на камни
И спокойно разливались
Меж камнями по долине;

А кругом листвой зеленой
Лес шумел, качались ветви,
И сквозь ветви свет и тени,
По земле скользя, играли.

Не спеша, поодиночке
Собрались бобры к плотине:
Осторожно показалась
Голова, потом другая,
Наконец весь пруд широкий
Рыльца черные покрыли,
Лоснясь в ярком блеске солнца.

И к бобрам с улыбкой хитрой
Обратился По-Пок-Кивис:
«О друзья мои! Покойно,
Хорошо у вас в вигвамах!
Все вы опытны и мудры,
Все на выдумки искусны,
Превратите же скорее
И меня в бобра, Амика!»

«Хорошо! — Амик ответил,
Царь бобров, Амик, ответил.—
Опускайся с нами в воду,
Опускайся в пруд с бобрами!»

Молча в тихий пруд с бобрами
Опустился По-Пок-Кивис.
Черной, гладкой и блестящей
Стала вся его одежда,
А хвосты лисиц на пятках
В толстый черный хвост слились,
И бобром стал По-Пок-Кивис.

«О друзья мои,— сказал он,—
Я хочу быть выше, больше,
Больше всех бобров на свете».
«Хорошо,— Амик ответил,—
Вот когда придем в жилище,
В наш вигвам на дне потока,
В десять раз ты станешь больше».

Так под темною водою
Шел с бобрами По-Пок-Кивис,
Под водою, где лежали
Ветви, пни и груды корма,
И пришел с бобрами к арке,
Что вела в вигвам обширный.

Там опять он превратился,
В десять раз стал выше, больше,
И бобры ему сказали:
«Будь у нас вождем отныне,
Будь над нами властелином».

Но недолго По-Пок-Кивис
Мог почетом наслаждаться:
Бобр, поставленный на страже
В чаще шпажников и лилий,
Вдруг воскликнул: «Гайавата!
Гайавата на плотине!»

Вслед за этим раздалися
На плотине крики, говор,
Треск валежника и топот,
А вода заволновалась,
Стала падать, понижаться,
И бобры поняли в страхе,
Что плотина прорвалася.

С треском рухнула и крыша
Их просторного вигвама;
В щели крыши засверкало
Солнце яркими лучами,
И бобры поспешно скрылись
Под водой, где было глубже;
Но могучий По-Пок-Кивис
Не пролез за ними в двери:
Он от гордости и пищи,
Как пузырь, распух, раздулся.

В щели крыши Гайавата
На него смотрел и громко
Восклицал: «О По-Пок-Кивис!
Тщетны все твои уловки,

Бесполезны превращенья,—
Не спасешься, По-Пок-Кивис!»

Без пощады колотили
По-Пок-Кивиса дубины,
Молотили, словно маис,
На куски разбили череп.
Шесть охотников высоких
Положили на носилки,
Понесли его в деревню;
Но не умер По-Пок-Кивис,
Джиби, дух его, не умер.

Он барахтался, метался,
Изгибаясь и качаясь,
Как дверные занавески
Изгибаются, качаясь,
Если ветер дует в двери,
И опять собрался с силой,
Принял образ человека,
Встал и в бегство устремился
По-Пок-Кивисом лукавым.

Но от взоров Гайаваты
Не успел в лесу он скрыться;
В голубой и мягкий сумрак
Под ветвями дальних сосен,
К светлой просеке за ними
Вихрем мчался По-Пок-Кивис,
Нагибая ветви с шумом,
Но сквозь шум ветвей он слышал,
Что его, как бурный ливень,
Настигает Гайавата.

Задыхаясь, По-Пок-Кивис
Наконец остановился
Перед озером широким,
По которому средь лилий,
В тростниках, меж островами,
Тихо плавали казарки,
То скрываясь в тень деревьев,
То сверкая в блеске солнца,
Подымая кверху клювы,
Глубоко ныряя в воду.

«Пишнэкэ! — воскликнул громко
По-Пок-Кивис.— Превратите
Поскорей меня в казарку,
Только в самую большую,—
В десять раз сильней и больше,
Чем другие все казарки!»

Но едва они успели
Превратить его в казарку,—
В исполинскую казарку
С круглой лоснящейся грудью,
С парой темных мощных крыльев
И с большим широким клювом,—
Как из леса с громким криком
Стал пред ними Гайавата!

С громким криком поднялися
И казарки над водою,
Поднялися шумной стаей
Из озерных трав и лилий
И сказали: «По-Пок-Кивис!
Будь теперь поосторожней,—
Берегись смотреть на землю,
Чтобы не было несчастья,
Чтоб беды не приключилось!»

Смело путь они держали,
Путь на дальний, дикий север,
Пролетали то в тумане,
То в сиянье ярком солнца,
Ночевали и кормились
В камышах болот пустынных
И с зарей пустились дальше.
Плавно мчал их южный ветер,
Дул свежо и сильно в крылья.

Вдруг донесся к ним неясный
Отдаленный шум и говор,
Донеслись людские речи
Из селения под ними:
То народ с земли дивился
На невиданные крылья
По-Пок-Кивиса-казарки,—

Эти крылья были шире,
Чем дверные занавески.

По-Пок-Кивис слышал крики,
Слышал голос Гайаваты,
Слышал громкий голос Ягу,
Позабыл совет казарок,
С высоты взглянул на землю —
И в одно мгновенье ветер
Подхватил его, смял крылья
И понес, вертя, на землю.

Тщетно справиться хотел он,
Тщетно думал удержаться!
Вихрем падая на землю,
Он порой то землю видел,
То казарок в синем небе,
Видел, что земля все ближе,
А простор небес — все дальше,
Слышал громкий смех и говор,
Слышал крики все яснее,
Потерял из глаз казарок,
Увидал внизу вигвамы
И с размаху пал на землю,—
С тяжким стуком средь народа
Пала мертвая казарка!

Но его лукавый Джиби,
Дух его, в одно мгновенье
Принял образ человека,
По-Пок-Кивиса красавца,
И опять пустился в бегство,
И опять за ним в погоню
Устремился Гайавата,
Восклицая: «Как бы ни был
Путь мой долог и опасен,
Гнев мой все преодолеет,
Месть моя тебя настигнет!»

В двух шагах был По-Пок-Кивис,
В двух шагах от Гайаваты,
Но мгновенно закружился,
Поднял вихрем пыль и листья

И исчез в дупле дубовом,
Перекинулся змеею,
Проскользнул змеей под корни.

Быстро правою рукою
Искрошил весь дуб на щепки
Гайавата,— но напрасно!
Вновь лукавый По-Пок-Кивис
Принял образ человека
И помчался в бурном вихре
К Живописным Скалам красным,
Что с прибрежья озирают
Всю страну и Гитчи-Гюми.

И Владыка Гор могучий,
Горный Манито могучий,
Распахнул пред ним ущелье,
Распахнул широко пропасть,—
Скрыл его от Гайаваты
В мрачном каменном жилище,
Ввел его с радушной лаской
В тьму своих пещер угрюмых.

А снаружи Гайавата,
Пред закрытым входом стоя,
Рукавицей, Минджикэвон,
Пробивал в горе пещеры
И кричал в великом гневе:
«Отопри! Я Гайавата!»
Но Владыка Гор не отпер,
Не ответил Гайавате
Из своих пещер безмолвных,
Из скалистой мрачной бездны.

И простер он руки к небу,
Призывая Эннэмики
И Вэвэссимо на помощь,
И пришли они во мраке,
С ночью, с бурей, с ураганом,
Пронеслись по Гитчи-Гюми
С отдаленных Гор Громовых,
И услышал По-Пок-Кивис
Тяжкий грохот Эннэмики,
Увидал он блеск огнистый

Глаз Вэвэссимо и в страхе
Задрожал и притаился.

Тяжкой палицей своею
Скалы молния разбила
Над преддверием пещеры,
Грянул гром в ее средину,
Говоря: «Где По-Пок-Кивис?» —
И рассыпались утесы,
И среди развалин мертвым
Пал лукавый По-Пок-Кивис,
Пал красавец Йенадиззи.

Благородный Гайавата
Вынул дух его из тела
И сказал: «О По-Пок-Кивис!
Никогда уж ты не примешь
Снова образ человека,
Никогда не будешь больше
Танцевать с беспечным смехом,
Но высоко в синем небе
Будешь ты парить и плавать,
Будешь ты Киню отныне —
Боевым Орлом могучим!»

И живут с тех пор в народе
Песни, сказки и преданья
О красавце Йенадиззи;
И зимой, когда в деревне
Вихри снежные гуляют,
А в трубе вигвама свищет,
Завывает буйный ветер,—
«Это хитрый По-Пок-Кивис
В пляске бешеной несется!» —
Говорят друг другу люди.

XVIII
СМЕРТЬ КВАЗИНДА

Далеко прошел по свету
Слух о Квазинде могучем:
Он соперников не ведал,
Он себе не ведал равных.

И завистливое племя
Злобных Гномов и Пигмеев,
Злобных духов Пок-Уэджис,
Погубить его решило.

«Если этот дерзкий Квазинд,
Ненавистный всем нам Квазинд,
Поживет еще на свете,
Все губя, уничтожая,
Удивляя все народы
Дивной силою своею,—
Что же будет с Пок-Уэджис? —
Говорили Пок-Уэджис.—
Он растопчет нас, раздавит,
Он подводным злобным духам
Всех нас кинет на съеденье!»

Так, пылая лютой злобой,
Совещались Пок-Уэджис
И убить его решили,
Да, убить его,— избавить
Мир от Квазинда навеки!

Сила Квазинда и слабость
Только в темени таилась:
Только в темя можно было
Насмерть Квазинда поранить,
Но и то одним оружьем —
Голубой еловой шишкой.
Роковая тайна эта
Не была известна смертным,
Но коварные Пигмеи,
Пок-Уэджис, знали тайну,
Знали, как врага осилить.

И они набрали шишек,
Голубых еловых шишек
По лесам над Таквамино,
Отнесли их и сложили
На ее высокий берег,
Там, где красные утесы
Нависают над водою,
Сами спрятались и стали
Поджидать врага в засаде.

Было это в полдень летом;
Тих был сонный знойный воздух,
Неподвижно спали тени,
В полусне река струилась;
По реке, блестя на солнце,
Насекомые скользили.
В знойном воздухе далеко
Раздавалось их жужжанье,
Их напевы боевые.

По реке плыл мощный Квазинд,
По теченью плыл лениво,
По дремотной Таквамино,
Плыл в березовой пироге,
Истомленный тяжким зноем,
Усыпленный тишиною.
По ветвям, к реке склоненным,
По кудрям берез плакучих,
Осторожно опустился
На него Дух Сна, Нэпавин;
В сонме спутников незримых,
Во главе воздушной рати,
По ветвям сошел Нэпавин,
Бирюзовой Дэш-кво-нэ-ши,
Стрекозою, стал он тихо
Над пловцом усталым реять.

Квазинд слышал чей-то шепот,
Смутный, словно вздохи сосен,
Словно дальний ропот моря,
Словно дальний шум прибоя,
И почувствовал удары
Томагауков воздушных,
Поражавших прямо в темя,
Управляемых несметной
Ратью Духов Сна незримых.

И от первого удара
Обняла его дремота,
От второго — он бессильно
Опустил весло в пирогу,
После третьего — окрестность
Перед ним покрылась тьмою:
Крепким сном забылся Квазинд.

Так и плыл он по теченью,—
Как слепой, сидел в пироге,
Сонный плыл по Таквамино,
Под прибрежными лесами,
Мимо трепетных березок,
Мимо вражеской засады,
Мимо лагеря Пигмеев.

Градом сыпалися шишки,
Голубые шишки елей
В темя Квазинда с прибрежья.
«Смерть врагу!» — раздался громкий
Боевой крик Пок-Уэджис.

И упал на борт пироги
И свалился в реку Квазинд,
Головою вниз, как выдра,
В воду сонную свалился,
А пирога, кверху килем,
Поплыла одна, блуждая
По теченью Таквамино.

Так погиб могучий Квазинд.
Но хранилось долго-долго
Имя Квазинда в народе,
И когда в лесах зимою
Бушевали, выли бури,
С треском гнули и ломали
Ветви стонущих деревьев,—
«Квазинд! — люди говорили.—
Это Квазинд собирает
На костер себе валежник!»

XIX
ПРИВИДЕНИЯ

Никогда хохлатый коршун
Не спускается в пустыне
Над пораненным бизоном
Без того, чтоб на добычу
И второй не опустился;
За вторым же в синем небе

Тотчас явится и третий,
Так что вскорости от крыльев
Собирающейся стаи
Даже воздух потемнеет.

И беда одна не ходит:
Сторожат друг друга беды;
Чуть одна из них нагрянет,—
Вслед за ней спешат другие
И, как птицы, вьются, вьются
Черной стаей над добычей,
Так что белый свет померкнет
От отчаянья и скорби.

Вот опять на хмурый север
Мощный Пибоан вернулся!
Ледяным своим дыханьем
Превратил он воды в камень
На реках и на озерах.
С кос стряхнул он хлопья снега,
И поля покрылись белой,
Ровной снежной пеленою,
Будто сам Владыка Жизни
Сгладил их рукой своею.

По лесам, под песни вьюги,
Зверолов бродил на лыжах;
В деревнях, в вигвамах теплых,
Мирно женщины трудились,
Молотили кукурузу
И выделывали кожи;
Молодежь же проводила
Время в играх и забавах,
В танцах, в беганье на лыжах.

Темным вечером однажды
Престарелая Нокомис
С Миннегагою сидела
За работою в вигваме,
Чутко слушая в молчанье,
Не идет ли Гайавата,
Запоздавший на охоте.

Свет костра багряной краской
Разрисовывал их лица,
Трепетал в глазах Нокомис
Серебристым лунным блеском,
А в глазах у Миннегаги —
Блеском солнца над водою;
Дым, клубами собираясь,
Уходил в трубу над ними,
По углам вигвама тени
Изгибалися за ними.

И открылась тихо-тихо
Занавеска над порогом;
Ярче пламя запылало,
Дым сильней заволновался,
И две женщины безмолвно,
Без привета и без зова,
Чрез порог переступили,
Проскользнули по вигваму
В самый дальний, темный угол,
Сели там и притаились.

По обличью, по одежде
Это были чужеземки;
Бледны, мрачны были обе,
И с безмолвною тоскою,
Содрогаясь, как от стужи,
Из угла они глядели.

То не ветер ли полночный
Загудел в трубе вигвама?
Не сова ли, Куку-Кугу,
Застонала в мрачных соснах?
Голос вдруг изрек в молчанье:
«Это мертвые восстали,
Это души погребенных
К вам пришли из Стран Понима,
Из страны Загробной Жизни!»

Скоро из лесу, с охоты,
Возвратился Гайавата,
Весь осыпан белым снегом
И с оленем за плечами.
Перед милой Миннегагой

Он сложил свою добычу
И теперь еще прекрасней
Показался Миннегаге,
Чем в тот день, когда за нею
Он пришел в страну Дакотов,
Положил пред ней оленя
В знак своих желаний тайных,
В знак своей любви сердечной.

Положив, он обернулся,
Увидал в углу двух женщин
И сказал себе: «Кто это?
Странны гостьи Миннегаги!»
Но расспрашивать не стал их,
Только с ласковым приветом
Попросил их разделить с ним
Кров его, очаг и пищу.

Гостьи бледные ни слова
Не сказали Гайавате;
Но когда готов был ужин
И олень уже разрезан,
Из угла они вскочили,
Завладели лучшей долей,
Долей милой Миннегаги,
Не спросясь, схватили дерзко
Нежный, белый жир оленя,
Съели с жадностью, как звери,
И опять забились в угол,
В самый дальний, темный угол.

Промолчала Миннегага,
Промолчал и Гайавата,
Промолчала и Нокомис;
Лица их спокойны были.
Только Миннегага тихо
Прошептала с состраданьем,
Говоря: «Их мучит голод;
Пусть берут, что им по вкусу,
Пусть едят,— их мучит голод».

Много зорь зажглось, погасло,
Много дней стряхнули ночи,
Как стряхают хлопья снега

Сосны темные на землю;
День за днем сидели молча
Гостьи бледные в вигваме;
Ночью, даже в непогоду,
В ближний лес они ходили,
Чтоб набрать сосновых шишек,
Чтоб набрать ветвей для топки,
Но едва светало, снова
Появлялися в вигваме.

И всегда, когда с охоты
Возвращался Гайавата,
В час, когда готов был ужин
И олень уже разрезан,
Гостьи бледные бесшумно
Из угла к нему кидались,
Не спросясь, хватали жадно
Нежный, белый жир оленя,—
Долю милой Миннегаги,—
И скрывались в темный угол.

Никогда не упрекнул их
Даже взглядом Гайавата,
Никогда не возмутилась
Престарелая Нокомис,
Никогда не показала
Недовольства Миннегага;
Все они терпели молча,
Чтоб права святые гостя
Не нарушить грубым взглядом,
Не нарушить грубым словом.

В полночь раз, когда печально
Догорал костер, краснея,
И мерцал дрожащим светом
В полусумраке вигвама,
Бодрый, чуткий Гайавата
Вдруг услышал чьи-то вздохи,
Чьи-то горькие рыданья.

С ложа встал он осторожно,
Встал с косматых шкур бизона
И, отдернувши над ложем
Из оленьей кожи полог,

Увидал, что это Тени,
Гостьи бледные, вздыхают,
Плачут в тишине полночной.

И промолвил он: «О гостьи!
Что так мучит ваше сердце?
Что рыдать вас заставляет?
Не Нокомис ли вас, гостьи,
Ненароком оскорбила?
Иль пред вами Миннегага
Позабыла долг хозяйки?»

Тени смолкли, перестали
Горько сетовать и плакать
И сказали тихо-тихо:
«Мы усопших, мертвых души,
Души тех, что жили с вами;
Мы пришли из Стран Понима,
С островов Загробной Жизни,
Испытать вас и наставить.

Вопли скорби достигают
К нам, в Селения Блаженных;
То живые погребенных
Призывают вновь на землю,
Мучат нас бесплодной скорбью;
И вернулись мы на землю,
Но узнали скоро, скоро,
Что везде мы только в тягость,
Что для всех мы стали чужды:
Нет нам места,— нет возврата
Мертвецам из-за могилы!

Помни это, Гайавата,
И скажи всему народу,
Чтоб отныне и вовеки
Вопли их не огорчали
Отошедших в мир Понима,
К нам, в Селения Блаженных.

Не кладите тяжкой ноши
С мертвецами в их могилы,—
Ни мехов, ни украшений,
Ни котлов, ни чаш из глины,—

Эта ноша мучит духов.
Дайте лишь немного пищи,
Дайте лишь огня в дорогу.

Дух четыре грустных ночи
И четыре дня проводит
На пути в Страну Понима;
Потому-то и должны вы
Над могилами усопших
С первой ночи до последней
Жечь костры неугасимо,
Освещать дорогу духам,
Озарять веселым светом
Их печальные ночлеги.

Мы идем, прости навеки,
Благородный Гайавата!
И тебя мы искушали,
И твое терпенье долго
Мы испытывали дерзко,
Но всегда ты оставался
Благородным и великим.
Не слабей же, Гайавата,
Не слабей, не падай духом:
Ждет тебя еще труднее
И борьба и испытанье!»

И внезапно тьма упала
И наполнила жилище,
Гайавата же в молчанье
Услыхал одежды шорох,
Услыхал, что кто-то поднял
Занавеску над порогом,
Увидал на небе звезды
И почувствовал дыханье
Зимней полночи морозной,
Но уже не видел духов,
Теней бледных и печальных
Из далеких Стран Понима,
Из страны Загробной Жизни.

XX
ГОЛОД

О, зима! О, дни жестокой,
Бесконечной зимней стужи!
Лед все толще, толще, толще
Становился на озерах;
Снег все больше, больше, больше
Заносил луга и степи;
Все грозней шумели вьюги
По лесам, вокруг селенья.

Еле-еле из вигвама,
Занесенного снегами,
Мог пробраться в лес охотник;
В рукавицах и на лыжах
Тщетно по лесу бродил он,
Тщетно он искал добычи,—
Не видал ни птиц, ни зверя,
Не видал следов оленя,
Не видал следов Вабассо.
Страшен был, как привиденье,
Лес блестящий и пустынный,
И от голода, от стужи
Потеряв сознанье, падал,
Погибал в снегах охотник.

О, Всесильный Бюкадэвин!
О, могучий Акозивин!
О, безмолвный, грозный Погок!
О, жестокие мученья,
Плач детей и вопли женщин!

Всю тоскующую землю
Изнурил недуг и голод,
Небеса и самый воздух
Лютым голодом томились,
И горели в небе звезды,
Как глаза волков голодных!

Вновь в вигваме Гайаваты
Поселилися два гостя:
Так же мрачно и безмолвно,
Как и прежние два гостя,

Без привета и без зова
В дом вошли они и сели
Прямо рядом с Миннегагой,
Не сводя с нее свирепых,
Впалых глаз ни на минуту.

И один сказал ей: «Видишь?
Пред тобою — Бюкадэвин!»
И другой сказал ей: «Видишь?
Пред тобою — Акозивин!»

И от этих слов и взглядов
Содрогнулось, сжалось страхом
Сердце милой Миннегаги;
Без ответа опустилась,
Скрыв лицо, она на ложе
И томилась, трепетала,
Холодея и сгорая
От зловещих слов и взглядов.

Как безумный устремился
В лес на лыжах Гайавата;
Стиснув зубы, затаивши
В сердце боль смертельной скорби,
Мчался он, и капли пота
На челе его смерзались.

В меховых своих одеждах,
В рукавицах, Минджикэвон,
С мощным луком наготове
И с колчаном за плечами,
Он бежал все дальше, дальше
По лесам пустым и мертвым.

«Гитчи Манито! — вскричал он,
Обращая взоры к небу
С беспредельною тоскою.—
Пощади нас, о Всесильный,
Дай нам пищи, иль погибнем!
Пищи дай для Миннегаги —
Умирает Миннегага!»

Гулко в дебрях молчаливых,
В бесконечных дебрях бора,

Прозвучали вопли эти,
Но никто не отозвался,
Кроме отклика лесного,
Повторявшего тоскливо:
«Миннегага! Миннегага!»

До заката одиноко
Он бродил в лесах печальных,
В темных чащах, где когда-то
Шел он с милой Миннегагой,
С молодой женою рядом,
Из далеких стран Дакотов.
Весел был их путь в то время!
Все цветы благоухали,
Все лесные птицы пели,
Все ручьи сверкали солнцем,
И сказала Миннегага
С беззаветною любовью:
«Я пойду с тобою, муж мой!»

А в вигваме, близ Нокомис,
Близ пришельцев молчаливых,
Карауливших добычу,
Уж томилась пред кончиной,
Умирала Миннегага.

«Слышишь? — вдруг она сказала.—
Слышишь шум и гул далекий
Водопадов Миннегаги?
Он зовет меня, Нокомис!»

«Нет, дитя мое,— печально
Отвечала ей Нокомис,—
Это бор гудит от ветра».

«Глянь! — сказала Миннегага.—
Вон — отец мой! Одиноко
Он стоит и мне кивает
Из родимого вигвама!»

«Нет, дитя мое,— печально
Отвечала ей Нокомис,—
Это дым плывет, кивает!»

«Ах! — вскричала Миннегага.—
Это Погока сверкают
Очи грозные из мрака,
Это он мне стиснул руку
Ледяной своей рукою!
Гайавата, Гайавата!»

И несчастный Гайавата
Издалека, издалека,
Из-за гор и дебрей леса,
Услыхал тот крик внезапный,
Скорбный голос Миннегаги,
Призывающий во мраке:
«Гайавата! Гайавата!»
По долинам, по сугробам,
Под ветвями белых сосен,
Нависавшими от снега,
Он бежал с тяжелым сердцем,
И услышал он тоскливый
Плач Нокомис престарелой:
«Вагономин! Вагономин!
Лучше б я сама погибла,
Лучше б мне лежать в могиле!
Вагономин! Вагономин!»

И в вигвам он устремился,
И увидел, как Нокомис
С плачем медленно качалась,
Увидал и Миннегагу,
Неподвижную на ложе,
И такой издал ужасный
Крик отчаянья, что звезды
В небесах затрепетали,
А леса с глубоким стоном
Потряслись до основанья!

Осторожно и безмолвно
Сел он к ложе Миннегаги,
Сел к ногам ее холодным,
К тем ногам, что никогда уж
Не пойдут за Гайаватой,
Никогда к нему из дома
Уж не выбегут навстречу.

Он лицо закрыл руками,
Семь ночей и дней у ложа
Просидел в оцепененье,
Без движенья, без сознанья:
День царит иль тьма ночная?

И простились с Миннегагой;
Приготовили могилу
Ей в лесу глухом и темном,
Под печальною цикутой,
Обернули Миннегагу
Белым мехом горностая,
Закидали белым снегом,
Словно мехом горностая,—
И простились с Миннегагой.

А с закатом на могиле
Был зажжен костер из хвои,
Чтоб душе четыре ночи
Освещал он путь далекий,
Путь в Селения Блаженных.
Из вигвама Гайавате
Видно было, как горел он,
Озаряя из-под низу
Ветви черные цикуты.
И не раз в час долгой ночи
Подымался Гайавата
На своем бессонном ложе,
Ложе милой Миннегаги,
И стоял, следил с порога,
Чтобы пламя не погасло,
Дух во мраке не остался.

«О, прости, прости! — сказал он.—
О, прости, моя родная!
Все мое с тобою сердце
Схоронил я, Миннегага,
Вся душа моя стремится
За тобою, Миннегага!
Не ходи, не возвращайся
К нам на труд и на страданья,
В мир, где голод, лихорадка
Мучат душу, мучат тело!

Скоро подвиг свой я кончу,
Скоро буду я с тобою
В царстве светлого Понима,
Бесконечной, вечной жизни!»

XXI
СЛЕД БЕЛОГО

Средь долины, над рекою,
Над замерзшею рекою,
Там сидел в своем вигваме
Одинокий, грустный старец.
Волоса его лежали
На плечах сугробом снега,
Плащ его из белой кожи,
Вобивайон, был в лохмотьях,
А костер среди вигвама
Чуть светился, догорая,
И дрожал от стужи старец,
Ослепленный снежной вьюгой,
Оглушенный свистом бури,
Оглушенный гулом леса.

Угли пеплом уж белели,
Пламя тихо умирало,
Как неслышно появился
Стройный юноша в вигваме.
На щеках его румянец
Разливался алой краской,
Очи кроткие сияли,
Как весенней ночью звезды,
А чело его венчала
Из пахучих трав гирлянда.
Улыбаясь и улыбкой
Все, как солнцем, озаряя,
Он вошел в вигвам с цветами,
И цветы его дышали
Нежным, сладким ароматом.

«О мой сын,— воскликнул старец,
Как отрадно видеть гостя!
Сядь со мною на циновку,

Сядь сюда, к огню поближе,
Будем вместе ждать рассвета.
Ты свои мне порасскажешь
Приключения и встречи,
Я — свои: свершил я в жизни
Не один великий подвиг!»

Тут он вынул Трубку Мира,
Очень старую, чудную,
С красной каменной головкой,
С чубуком из трости, в перьях,
Наложил ее корою,
Закурил ее от угля,
Подал гостю-чужеземцу
И повел такие речи:

«Стоит мне своим дыханьем
Только раз на землю дунуть,
Остановятся все реки,
Вся вода окаменеет!»

Улыбаясь, гость ответил:
«Стоит мне своим дыханьем
Только раз на землю дунуть,
Зацветут цветы в долинах,
Запоют, заплещут реки!»

«Стоит мне тряхнуть во гневе
Головой своей седою,—
Молвил старец, мрачно хмурясь,—
Всю страну снега покроют,
Вся листва спадет с деревьев,
Все поблекнет и погибнет,
С рек и тундр, с болотных топей
Улетят и гусь и цапля
К отдаленным, теплым странам;
И куда бы ни пришел я,
Звери дикие лесные
В норы прячутся, в пещеры,
Как кремень, земля твердеет!»

«Стоит мне тряхнуть кудрями,—
Молвил гость с улыбкой кроткой,—
Благодатный теплый ливень

Оросит поля и долы,
Воскресит цветы и травы;
На озера и болота
Возвратятся гусь и цапля,
С юга ласточка примчится,
Запоют лесные птицы;
И куда бы ни пришел я,
Луг колышется цветами,
Лес звучит веселым пеньем,
От листвы темнеют чащи!»

За беседой ночь минула;
Из далеких стран Востока,
Из серебряных чертогов,
Словно воин в ярких красках,
Солнце вышло и сказало:
«Вот и я! Любуйтесь солнцем,
Гизисом, могучим солнцем!»

Онемел при этом старец.
От земли теплом пахнуло,
Над вигвамом стали сладко
Опечи петь и Овейса,
Зажурчал ручей в долине,
Нежный запах трав весенних
Из долин в вигвам повеял,
И при ярком блеске солнца
Увидал Сэгвон яснее
Старца лик холодный, мертвый:
То был Пибоан могучий.

По щекам его бежали,
Как весенние потоки,
Слезы теплыми струями,
Сам же он все уменьшался
В блеске радостного солнца —
Паром таял в блеске солнца,
Влагой всачивался в землю,
И Сэгвон среди вигвама,
Там, где ночью мокрый хворост
В очаге дымился, тлея,
Увидал цветок весенний,
Первоцвет, привет весенний,
Мискодит в зеленых листьях.

Так на север после стужи,
После лютой зимней стужи,
Вновь пришла весна, а с нею
Зацвели цветы и травы,
Возвратились с юга птицы.

С ветром путь держа на север,
В небе стаями летели,
Мчались лебеди, как стрелы,
Как большие стрелы в перьях,
И скликалися, как люди;
Плыли гуси длинной цепью,
Изгибавшейся, подобно
Тетиве из жил оленя,
Разорвавшейся на луке;
В одиночку и попарно,
С быстрым, резким свистом крыльев,
Высоко нырки летели,
Пролетали на болота
Мушкодаза и Шух-шух-га.

В чащах леса и в долинах
Пел Овейса синеперый,
Над вигвамами, на кровлях,
Опечи пел красногрудый,
Под густым наметом сосен
Ворковал Омими, голубь,
И печальный Гайавата,
Онемевший от печали,
Услыхал их зов веселый,
Услыхал — и тихо вышел
Из угрюмого вигвама
Любоваться вешним солнцем,
Красотой земли и неба.

Из далекого похода
В царство яркого рассвета,
В царство Вебона, к Востоку,
Возвратился старый Ягу,
И принес он много-много
Удивительных новинок.

Вся деревня собралася
Слушать, как хвалился Ягу

Приключеньями своими,
Но со смехом говорила:
«Уг! Да это точно — Ягу!
Кто другой так может хвастать!»

Он сказал, что видел море
Больше, чем Большое Море,
Много больше Гитчи-Гюми
И с такой водою горькой,
Что никто не пьет ту воду.
Тут все воины и жены
Друг на друга поглядели,
Улыбнулися друг другу
И шепнули: «Это враки!
Ко,— шепнули,— это враки!»

В нем, сказал он, в этом море
Плыл огромный челн крылатый,
Шла крылатая пирога,
Больше целой рощи сосен,
Выше самых старых сосен.
Тут все воины и старцы
Поглядели друг на друга,
Засмеялись и сказали:
«Ко, не верится нам что-то!»

Из жерла ее, сказал он,
Вдруг раздался гром, в честь Ягу,
Стрелы молнии сверкнули.
Тут все воины и жены
Без стыда захохотали.
«Ко,— сказали,— вот так сказка!»

В ней, сказал он, плыли люди,
Да, сказал он, в этой лодке
Я сто воинов увидел.
Лица воинов тех были
Белой выкрашены краской,
Подбородки же покрыты
Были густо волосами.
Тут уж все над бедным Ягу
Стали громко издеваться,
Закричали, зашумели,
Словно во́роны на соснах,

Словно серые воро́ны.
«Ко! — кричали все со смехом.—
Кто ж тебе поверит, Ягу!»

Гайавата не смеялся,—
Он на шутки и насмешки
Строго им в ответ промолвил:
«Ягу правду говорит нам;
Было мне дано виденье,
Видел сам я челн крылатый,
Видел сам я бледнолицых,
Бородатых чужеземцев
Из далеких стран Востока,
Лучезарного рассвета.

Гитчи Манито могучий,
Дух Великий и Создатель,
С ними шлет свои веленья,
Шлет свои нам приказанья.
Где живут они — там вьются
Амо, делатели меда,
Мухи с жалами роятся.
Где идут они — повсюду
Вырастает вслед за ними
Мискодит, краса природы.

И когда мы их увидим,
Мы должны их, словно братьев,
Встретить с лаской и приветом.
Гитчи Манито могучий
Это мне сказал в виденье.

Он открыл мне в том виденье
И грядущее,— все тайны
Дней, от нас еще далеких.
Видел я густые рати
Неизвестных нам народов,
Надвигавшихся на Запад,
Переполнивших все страны.
Разны были их наречья,
Но одно в них билось сердце,
И кипела неустанно
Их веселая работа:
Топоры в лесах звенели,

Города в лугах дымились,
На реках и на озерах
Плыли с молнией и громом
Окрыленные пироги.

А потом уже иное
Предо мной прошло виденье —
Смутно, словно за туманом:
Видел я, что гибнут наши
Племена в борьбе кровавой,
Восставая друг на друга,
Позабыв мои советы;
Видел с грустью их остатки,
Отступавшие на Запад,
Убегавшие в смятенье,
Как рассеянные тучи,
Как сухие листья в бурю!»

XXII
ЭПИЛОГ

На прибрежье Гитчи-Гюми,
Светлых вод Большого Моря,
Тихим, ясным летним утром
Гайавата в ожиданье
У дверей стоял вигвама.

Воздух полон был прохлады,
Вся земля дышала счастьем,
А над нею, в блеске солнца,
На закат, к соседней роще,
Золотистыми роями
Пролетали пчелы, Амо,
Пели в ярком блеске солнца.

Ясно глубь небес сияла,
Тихо было Гитчи-Гюми;
У прибрежья прыгал Нама,
Искрясь в брызгах, в блеске солнца;
На прибрежье лес зеленый
Возвышался над водою,
Созерцал свои вершины,
Отраженные водою.

Светел взор был Гайаваты:
Скорбь с лица его исчезла,
Как туман с восходом солнца,
Как ночная мгла с рассветом;
С торжествующей улыбкой,
Полный радости и счастья,
Словно тот, кто видит в грезах
То, что скоро совершится,
Гайавата в ожиданье
У дверей стоял вигвама.

К солнцу руки протянул он,
Обратил к нему ладони,
И меж пальцев свет и тени
По лицу его играли,
По плечам его открытым;
Так лучи, скользя меж листьев,
Освещают дуб могучий.

По воде, в дали неясной,
Что-то белое летело,
Что-то плыло и мелькало
В легком утреннем тумане,
Опускалось, подымалось,
Подходя все ближе, ближе.

Не летит ли там Шух-шух-га?
Не ныряет ли гагара?
Не плывет ли Птица-баба?
Или это Во-би-вава
Брызги стряхивает с перьев,
С шеи длинной и блестящей?

Нет, не гусь, не цапля это,
Не нырок, не Птица-баба
По воде плывет, мелькает
В легком утреннем тумане;
То березовая лодка,
Опускаясь, подымаясь,
В брызгах искрится на солнце,
И плывут в той лодке люди
Из далеких стран Востока,
Лучезарного рассвета;
То наставник бледнолицых,

Их пророк в одежде черной,
По воде с проводниками
И с друзьями путь свой держит.

И, простерши к небу руки,
В знак сердечного привета,
С торжествующей улыбкой
Ждал их славный Гайавата,
Ждал, пока под их пирогой
Захрустит прибрежный щебень,
Зашуршит песчаный берег
И наставник бледнолицых
На песчаный берег выйдет.

И когда наставник вышел,
Громко, радостно воскликнув,
Так промолвил Гайавата:
«Светел день, о чужеземцы,
День, в который вы пришли к нам!
Все селенье наше ждет вас,
Все вигвамы вам открыты.

Никогда еще так пышно
Не цвела земля цветами,
Никогда на небе солнце
Не сияло так, как ныне,
В день, когда из стран Востока
Вы пришли в селенье наше!
Никогда Большое Море
Не бывало так спокойно,
Так прозрачно и свободно
От подводных скал и мелей;
Там, где шла пирога ваша,
Нет теперь ни скал, ни мелей!

Никогда табак наш не был
Так душист и так приятен,
Никогда не зеленели
Наши нивы так, как ныне,
В день, когда из стран Востока
Вы пришли в селенье наше!»

И наставник бледнолицых,
Их пророк в одежде черной,

Отвечал ему приветом:
«Мир тебе, о Гайавата!
Мир твоей стране родимой,
Мир молитвы, мир прощенья,
Мир Христа и свет Марии!»

И радушный Гайавата
Ввел гостей в свое жилище,
Посадил их там на шкурах
Горностаев и бизонов,
А Нокомис подала им
Пищу в мисках из березы,
Воду в ковшиках из липы
И зажгла им Трубку Мира.

Все пророки, Джосакиды,
Все волшебники, Вэбины,
Все врачи недугов, Миды,
С ними воины и старцы
Собрались пред вигвамом,
Чтоб почтить гостей приветом.
Тесным кругом у порога
На земле они сидели
И курили трубки молча,
А когда к ним из вигвама
Вышли гости, так сказали:
«Всех нас радует, о братья,
Что пришли вы навестить нас
Из далеких стран Востока!»

И наставник бледнолицых
Рассказал тогда народу,
Что пришел он им поведать
О святой Марии-Деве,
О ее предвечном Сыне.
Рассказал, как в дни былые
Он сошел на землю к людям,
Как он жил в посте, в молитве,
Как учил он, как евреи,
Богом проклятое племя,
На кресте его распяли,
Как восстал он из могилы,
Вновь ходил с учениками
И с земли вознесся в небо.

И народ ему ответил:
«Мы словам твоим внимали,
Мы внимали мудрой речи,
Мы должны о ней подумать.
Всех нас радует, о братья,
Что пришли вы навестить нас
Из далеких стран Востока!»

И, простясь, все удалились,
Разошлись к своим вигвамам,
Рассказали на деревне
Юным воинам и женам,
Что прислал Владыка Жизни
К ним гостей из стран Востока.

От жары, в затишье полдня,
Тяжким воздух становился;
В полусне шептались сосны
Позади вигвамов душных,
В полусне плескались волны
На песчаное прибрежье,
А на нивах, не смолкая,
Пел кузнечик, Па-Пок-Кина.
Спали гости Гайаваты,
Истомленные жарою,
В душном сумраке вигвама.

Тихо вечер приближался,
Освежая знойный воздух,
И метало солнце стрелы,
Пробивая чащи леса,
В тайники его врываясь,
Все осматривая зорко.
Спали гости Гайаваты
В тихом сумраке вигвама.

С мягких шкур встал Гайавата,
И простился он с Нокомис,
Тихим шепотом сказал ей,
Чтоб гостей не потревожить:

«Ухожу я, о Нокомис,
Ухожу я в путь далекий,
Ухожу в страну Заката,

В край Кивайдина родимый.
Но гостей моих, Нокомис,
На тебя я оставляю:
Сохраняй их и заботься,
Чтоб ни страх, ни подозренье,
Ни печаль их не смущали;
Чтоб в вигваме Гайаваты
Им всегда готовы были
И приют, и кров, и пища».

Так сказав ей, он покинул
Отчий дом, пошел в селенье
И простился там с народом,
Говоря такие речи:

«Ухожу я, о народ мой,
Ухожу я в путь далекий:
Много зим и много весен
И придет и вновь исчезнет,
Прежде чем я вас увижу;
Но гостей моих оставил
Я в родном моем вигваме:
Наставленьям их внимайте,
Слову мудрости внимайте,
Ибо их Владыка Жизни
К нам прислал из царства света».

На прибрежье Гайавата
Обернулся на прощанье,
На сверкающие волны
Сдвинул легкую пирогу,
От кремнистого прибрежья
Оттолкнул ее на волны,—
«На закат!» — сказал ей тихо
И пустился в путь далекий.

И закат огнем багряным
Облака зажег, и небо,
Словно прерии, пылало.
Длинным огненным потоком
Отражался в Гитчи-Гюми
Солнца след, и, удаляясь
Все на запад и на запад,
Плыл по нем к заре огнистой,

Плыл в багряные туманы,
Плыл к закату Гайавата.

И народ с прибрежья долго
Провожал его глазами,
Видел, как его пирога
Поднялась высоко к небу
В море солнечного блеска —
И сокрылася в тумане,
Точно бледный полумесяц,
Потонувший тихо-тихо
В полумгле, в дали багряной.

И сказал: «Прости навеки,
Ты прости, о Гайавата!»
И лесов пустынных недра
Содрогнулись — и пронесся
Тяжкий вздох во мраке леса,
Вздох: «Прости, о Гайавата!»
И о берег волны с шумом
Разбивались и рыдали,
И звучал их стон печальный,
Стон: «Прости, о Гайавата!»
И Шух-шух-га на болоте
Испустила крик тоскливый,
Крик: «Прости, о Гайавата!»

Так в пурпурной мгле вечерней,
В славе гаснущего солнца,
Удалился Гайавата
В край Кивайдина родимый,
Отошел в Страну Понима,
К Островам Блаженных,— в царство
Бесконечной, вечной жизни!

СЛОВАРЬ ИНДЕЙСКИХ СЛОВ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В «ПЕСНИ»

Аджидо́мо — белка.
Амик — бобр.
Амо — пчела.

Бима́гут — виноградник.
Бэм-ва́ва — звук грома.

Вабассо — кролик; север.
Ва-ва-тэйзи — светляк.
Ва́ва — дикий гусь.
Ва́вбик — утес.
Вавонэйса — полуночник (птица).
Вагоно́мин — крик горя.
Ва́мпум — ожерелья, пояса и различные украшения из раковин и бус.
Во-би-ва́ва — белый гусь.
Вобивайон — кожаный плащ.
Вэби́но — волшебник.
Вэбино-Вэск — сурепка.
Вэ-мок-ква́на — гусеница.

Гитчи-Гюми — Верхнее озеро.

Дагинда — гигантская лягушка.
Джиби — дух.
Джосакиды — пророки.
Дэш-кво-нэ-ши — стрекоза.

Иза — стыдись!
Ина́йнивэг — пешка (в игре в кости).
Ишкуда́ — огонь, комета.

Йенади́ззи — щеголь, франт.

Ка́гаги — ворон.
Ка́го — не тронь!
Кайо́шк — морская чайка.
Кива́йдин — северо-западный ветер.
Кинэ́бик — змея.
Киню́ — орел.
Ко — нет.
Куку-Кугу — сова.
Куо-ни́-ши — стрекоза.
Кэно́за, Маскеноза — щука.

Манг — нырок.
Ман-го́-тэйзи — отважный.
Маномо́ни — дикий рис.
Месяц Светлых Ночей — апрель.
Месяц Листьев — май.
Месяц Земляники — июнь.
Месяц Падающих Листьев — сентябрь.
Месяц Лыж — ноябрь.
Миды — врачи.
Мина́га — черника.
Минджико́вон — рукавицы.
Минни-ва́ва — шорох деревьев.

Мискодит — «След Белого» (цветок).
Ми́ше-Мо́ква — Великий Медведь.
Ми́ше-На́ма — Великий Осетр.
Монда́мин — маис.
Мушкодаза — глухарка.
Мэдвэй-о́шка — плеск воды.
Мэ́ма — зеленый дятел.
Мэшино́ва — прислужник.

На́ма — осетр.
На́ма-Вэск — зеленая мята.
Нинимуша — милый друг.
Но́за — отец.
Нэ́го-Во́джу — дюны Верхнего озера.
Нэпа́вин — сон, дух сна.
Нэ́шка — смотри!

Ове́йса — сивоворонка (птица).
Ода́мин — земляника.
Озава́бик — медный диск (в игре в кости).
Окага́вис — речная сельдь.
Омими — голубь.
Онэвэ́ — проснись, встань!
Опечи́ — красногрудка (птица).

Па-Пок-Кина — кузнечик.
Пибоан — зима.
Пимикан — высушенное оленье мясо.
Пишнэкэ — казарка (птица).
Поггэво́гон — палица.
По́гок — смерть.
Пок-Уэджис — пигмеи.
Понима — загробная жизнь.

Са́ва — окунь.
Сибови́ша — ручей.
Соббика́ши — тарантул.
Сон-джи-тэгэ — сильный.
Сэгво́н — весна.

Тэмрак — лиственница.

Уг — да.
Угудво́ш — самглав, луна-рыба.

Читовэйк — зуек.

Ша-ша — далекое прошлое.
Шебамик — крыжовник.
Шингебис — нырок.
Шишэбвэг — утенок (фигурка в игре в кости).
Шовэн-нэмэшин — сжалься!
Шогаши́ — морской рак.
Шогода́йя — трус.
Шо-шо — ласточка.
Шух-шу́х-га — цапля.

Энктаги — Бог Воды.
Эннимики — гром.
Эпо́ква — тростник.





ПРОИЗВЕДЕНИЯ, НЕ ВКЛЮЧАВШИЕСЯ И. А. БУНИНЫМ В СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ

ПО ДНЕПРУ

Из письма

...Я очень люблю первые дни июня — почти всегда в это время стоит чудная погода. За весь год не бывает таких веселых, таких светлых, знойных дней, никогда не дышит природа такой полнотой счастья и жизнерадостности... И порой я готов умереть от солнечного удара, лишь бы провести этот долгий-долгий июньский день в открытой степи,— идти по горячей пыли степной дороги, пробираться по межам, утонувшим в неподвижных ржах, овсах и пшеницах, где стоит и, как от костра, пышет в лицо сухой жар и душно пахнет степной растительностью — нагретыми цветами и травами, и все эти травы наполнены горячечным шепотом и треском кузнечиков, и над головою звенит и звенит воздушная музыка — тысячи дискантовых оркестров насекомых, неумолчно поющих эту радостную могучую жизнь июньского степного дня, эти бесконечные синие дали, млеющие в ослепительном блеске солнца.

А на Днепре в такие дни еще веселей... И мне теперь кажется, что я прожил эти сутки моего пути до Киева по Днепру — во сне, так хорошо мне было все время.

Утром от широкого лона реки, от ее неоглядных берегов, от синеющих прибрежных лесов веяло такою здоровою свежестью, такою ароматною влагою — крепким запахом дубовой зелени, еще недавно вышедшей из-под воды, что с каждым вздохом чувствовалось, как прибавляется во всем организме молодости и крепости. Плавно и свободно шел пароход, а навстречу ему как бы двигалась вся эта ширь многоводной реки, проходили зеленые рощи островов, там и сям тяжело плыли огромные плоты, а на них суетились люди, раздавались бойкие крики, говор и песни... Было людно и весело и на пароходе...

К полудню вся картина как бы замерла в неподвижном знойном воздухе. Воздух, казалось, был так же горяч, как горячий сипящий пар, который, как расплавленное стекло, чуть дрожал над широким жерлом черной пароходной трубы. Замер светло-стальной Днепр, оцепенели окрестные пейзажи, далекие деревушки и тополя, бледно-синеватые силуэты гор за низменными широкими берегами... Ослепительно блестели песчаные полосы мелей, и казалось, что это неподвижно желтеют вдали полосы спелых ржей. Пароход, проплывая мимо них, замедлял ход, и тогда замолкало даже сипение пара, и еще более затихало все кругом под палящими лучами солнца. Палуба была пуста. И только заунывно и странно долетал до нее с носа как бы отдаленный, долгий и монотонный возглас матроса, измеряющего глубину реки...

А в каюте по белому глянцевитому потолку весь день с неуловимой плавностью бежали светлые отражения реки, в открытые окошечки тянуло прохладой, пахло водою и рыбой, а под самыми подоконниками весь день шумели, клубились и рассыпались жемчужными водометами прозрачные массы днепровских волн, так неустанно и ровно бегущие и волнующиеся, что, глядя на них, голова слегка кружилась.

И медленно и спокойно протекал этот безмятежный светлый летний день...

...За Черкассами Днепр становится уже не таким мелководно широким и спокойным. Он разливается могущественнее и полнее, горы правого берега подходят к нему ближе, и от этих гор, вершины которых походят на степные курганы и могилы, и от самого Днепра больше веет стариной. Кажется иногда, что это Днепр не теперешней мирной Малороссии, а Днепр времен «Страшной мести», Днепр могучего и вольного прошлого старой Украины. Так, по крайней мере, чувствовалось мне, и — смешно сказать! — стоя на палубе, я уже искал глазами того места, где когда-то среди гор белел приднепровский хутор пана Данилы...

Увы, Бог его знает, где это жил пан Данило! Теперь по горам на фоне неба рисуются только звездообразные крылья бесчисленных ветряных мельничек... Грозные

были давно отошли в вечность — только от могилообразных вершин гор на минуту повеяло ими — и мирно все было кругом в этом благословенном краю в мирный летний вечер!

А вечер наступал поистине дивный!

После горячего дневного зноя дышалось свободней, и на палубе собралось много народу. Но разговоры шли сдержанные, все притихли, как будто не хотели смущать светлого настроения и тишины этого ясного вечера. Но все же было лучше быть в одиночестве, и я отошел на переднюю часть палубы... Я ждал...

Был один из тех вечеров, которые так любят ласточки, вечер, когда им так привольно уноситься в ясное небо или скользить над зеркальными водами, быстро задевать их острым крылышком и снова с безотчетно-радостным щебетаньем тонуть в чистом воздухе,— вечер, полный идеальной, гармоничной красоты.

Все самые нежные краски — от пепельно-розовой до пурпурно-золотистой, все самые легкие тоны вечерней зари воспринимала неподвижная, широкая, как озеро, поверхность Днепра; даже странно было чувствовать, что мы плывем по ней,— так картинна и спокойна была она... А плыли мы уже за Секирной, в тех местах, где правый берег после гор на несколько верст в ширину и длину расстилается в широкую, низменную равнину. То были луга, заливные луга, не наши великорусские, от которых веет всегда пустынностью, а украинские живописные луга, по которым то зеленеют рощи, то одиноко идут среди сенокосов кудрявые деревья, красивые и картинно сокращенные, как на рисованных пейзажах. Может быть, летний вечер или мое настроение, настроение человека из других краев, опоэтизировали эти места, но только мне казалось, что именно эти места — настоящие украинские, такие, какими я рисовал их себе с детства, со всей поэзией и мечтательной красотой южной природы, милого образа украинской девушки и тоскующих, сладостных песен. И я глядел в вечереющую даль этих заливных лугов, сердцем чуял и рисовал себе там, вдали, этот образ — карие очи, тонкие черты нежно-смуглого личика, девственно-белоснежную сорочку и цветную плахту над стройными, загорелыми ножками, почти слышал девический голос около белой хатки — эти звонкие песни по вечерней заре... Вспоминал и те могилообразные горы, от которых пахнуло на меня старыми былями и думами, и ждал...

Ждал увидеть вечное пристанище того, кто так горячо любил все это,— «край веселый, степ широкий» *, ясные зори и тихие воды своей родины!

И могила великого поэта, тот высокий горный кряж над Днепром, где он покоится вечным сном, уже рисовался впереди как смутно-лиловая точка на золотистом фоне запада. Но до Канева было еще далеко. И всю зо́рю видели мы темные очертания этих гор за безбрежным зеркалом Днепра...

Уже поздно вечером подходили мы к ним.

Стемнело, на мачту подняли фонарь, и палуба опустела. Стало холодно, слегка туманно, и, оглядываясь назад, к востоку, я видел совсем морскую картину.

Теперь уже не видно было очертаний берегов, синий Днепр слился с мутной синевой темной южной ночи. Ночной ветер разводил большую зыбь; Днепр волновался, и казалось, что вся эта туманная синева Днепра и ночи клубится и дышит холодом морской дали; зыбко переливались там, вдали, бледно-зеленые огни уже невидимого парохода, который мы встретили... Наконец, потонули в этом холодном хаосе и они...

А спереди, заслоняя еще брезживший свет заката, надвигались на нас высокие горы. Я ждал, что на самом высоком пункте черных гор, на бледном фоне зари, я увижу, как простертые руки, высокое распятие. Но нет, могила Шевченко находится ниже, на полугоре. Великий поэт почивает скромно... И я старался разглядеть в темноте эту могилу и не мог. Только чувствовал ее близость. Горы надвигались все ближе и ближе, черный мрак как бы плыл от них... У меня захолонуло сердце, когда мы наконец прошли под самыми горами, и пахнуло, так близко пахнуло величавым угрюмым молчанием, вечным покоем этого великого места... Холодом и мраком закрылась в эту ночь могила поэта...

Почти всю ночь я без сна лежал в темной каюте. Как в гробу, было темно в ней... Я был взволнован... И этот мрак, и ровное покачивание — казалось мне, что я в могиле и вся земля тихо качается,— и этот ровный-ровный,

---

* Строка из украинской народной песни «Зібралися всі бурлаки...».

однообразный шорох, непрестанный шорох, плеск и шум днепровских волн, бегущих у изголовья,— еще более странно настраивали и волновали меня...

Там, на горах, над угрюмым Днепром, в темноте глубокой ночи могила молчала вечным молчанием!..

Вечный покой тебе, великое сердце!..

〈1895〉

«КАЗАЦКИМ ХОДОМ»

О Днепре, Словутицю! — ты пробил еси каменныя горы сквозе землю Половецкую!..

Слово о пл. Игореве

I

Навсегда останется памятной для меня эта поездка на «Чайке»! То было мое первое юношеское путешествие. Позднее мне много пришлось помыкаться по белу свету, но, кажется, ни одно мое путешествие не запечатлелось так в моей душе, как эти недолгие скитания по югу России.

Я очень долго лелеял мечты о них. В то время я кончал курс в гимназии и, следовательно, мог воспользоваться своей свободой только летом. Однако готовиться к дороге я начал, кажется, еще с января. Много вечеров я потратил на изучение карты юга, на составление маршрутов и на высчитывание путевых издержек; наконец, большого труда стоило мне уговорить матушку отпустить меня одного. Я старался держаться так серьезно и важно, а главное, так упрашивал ее, что она согласилась-таки. Но если бы она знала, что мне придется путешествовать по порогам!

К чести моей, надо, впрочем, оговориться, что я не обманывал ее, когда говорил, что поеду по Днепру только до порогов. Я много читал перед тем о Малороссии, о Запорожской Сечи, часто рисовал себе в воображении бурные днепровские пороги и переезды через них «казацким ходом», то есть прямым путем через их водовороты, но вовсе не надеялся увидать их в это лето. В дороге я даже забыл о них. Внимание мое было отвлечено видом новой местности и нового типа людей — малороссов, и в вагоне, на пути от Курска до Киева, я или не отходил по целым часам от окна, или прислушивался к мягкому южному говору и вглядывался в лица.

Хохлы мне очень понравились с первого взгляда. Я сразу заметил резкую разницу, которая существует между мужиком-великороссом и хохлом. Наши мужики — народ по большей части изможденный, в дырявых зипунах, в лаптях и онучах, с исхудалыми лицами и лохматыми головами. А хохлы производят отрадное впечатление: рослые, здоровые и крепкие, смотрят спокойно и ласково, одеты в чистую, новую одежду... И места за Курском начинаются тоже веселые: равнины полей уходят в такую даль, о которой жители средних и северных губерний даже понятия не имеют. И даль эта так живописно скрашивается синеющими курганами и силуэтами стройных тополей на хуторах.

Благодаря всему этому я очень долго пробыл в пути до Киева. За Путивлем, за древним Путивлем, где когда-то плакала Ярославна, плакала ранними зорями на «забороле» об Игоре,— я покинул поезд и решил идти несколько дней пешком. Вещи мои были сданы в багаж, револьвер — со мною, и мне ничто не мешало привести в исполнение свое намерение. Во мне уже и тогда жила страсть к пешим путешествиям,— и вот я один в степи, правда недалеко от станции, чтобы иметь возможность запасаться пищей, но все-таки в степи, целый день один и под открытым небом!

А погода, как нарочно, стояла прекрасная. День за днем поднимался все ярче и ярче. И как яркий знойный сон, осталось во мне воспоминание об этих днях. Было начало июня, самое веселое время года. Никогда не бывает таких светлых полдней, никогда не дышит природа такою полнотою счастья и жизнерадостности, как в эту пору; и хорошо мне было идти по горячим, пыльным дорогам, пробираться по межам, утонувшим в неподвижных ржах, овсах, ячменях и пшеницах, где, как от костра, пышет в лицо сухим жаром, душно пахнет степною растительностью — нагретыми цветами и травами, а над головою звенит и звенит воздушная музыка тысячи дискантовых оркестров насекомых, неумолчно воспевающих эту радостную жизнь степного июньского полдня, эти бесконечные дали, млеющие в ослепительном блеске солнца!..

Верст за сто до Киева я наконец снова сел в вагон. Как сейчас помню, солнце уже склонялось к западу, поезд быстро бежал среди приднепровских лесов, и вдруг в воздухе ощутительно повеяло каким-то удивительно

приятным, свежим ароматом. Я выглянул в окно,— и сердце во мне захолонуло от радости: предо мной уже расстилалась на несколько десятков верст и синела лесами, лугами и отдаленными горами — долина Днепра!

— Чем же это так хорошо пахнет? — спросил я своего соседа.

— А! — сказал он с улыбкой.— Это редкий аромат! Это пахнет зеленью дубовых лесов и верболоз на островах, еще недавно вышедших после половодья из Днепра.

Не знаю почему, но слова его показались мне тогда очень поэтичными. Поезд под уклон бежал все быстрее и быстрее, и, стоя у окна, я упивался ароматным ветром, который так ласково и мягко бил мне в лицо навстречу. Долина все привольнее развертывалась в золотистом вечернем освещении. А потом резко засинел разлив и самого Днепра, сверкнули за Днепром, впереди поезда, золотые кресты киевских церквей на высоких горах, загремел под колесами вагонов днепровский мост и долго мелькал перед глазами железными переплетами своей решетчатой галереи, словно поезд бежал в клетке.

— Киев! — слышались голоса вокруг меня.— Слава Тебе, Господи,— приехали!

II

И вот мечты мои осуществились: я — в настоящей Малороссии, на Днепре, да еще стою на палубе «Чайки», отправляющейся в долгое плавание, во время которого придется «казацким ходом» переправляться через пороги!

Попасть на нее мне удалось, как уже было сказано, совсем случайно, благодаря неожиданной протекции одного нашего дальнего родственника, жившего в Киеве и занимавшегося собиранием материалов для истории Малороссии.

— Если вас так уже интересует Днепр,— сказал он мне,— так я вам устрою поездку до самого Александровска на «Чайке». Хотите?

— А что это за «Чайка»? — с любопытством перебил я.

Он хитро и искоса взглянул на меня сквозь очки

и засмеялся жидким смехом худощавого и маленького старичка.

— А це не птица,— сказал он в нос,— це такий гончак, иными словами — барка, нагруженная дровами.

Признаюсь, это меня разочаровало. Я вообразил, что «Чайка» — какой-нибудь красивенький белый бриг под белыми парусами; а тут вдруг — барка с дровами!

— Да, да,— подтвердил старый ученый,— это барка одного моего знакомого еврея, который и прозвал ее «Чайкой». Глупо, конечно, ну да что ж делать! Вам придется двигаться на ней очень медленно, да зато вы перейдете пороги, чего нельзя сделать на пароходе, и увидите настоящих потомков запорожцев — лоцманов, которые поведут «Чайку» от самого Екатеринослава до Хортицы, где когда-то тоже пановали казаки. Таким образом, я думаю, вы примиритесь с «Чайкой»...

Я с благодарностью поспешил согласиться на такое предложение и, надо правду сказать, не жалел потом об этом: я действительно не только примирился с «Чайкой», но привязался к ней и покинул ее с большой грустью.

Мирно и весело протекло наше плавание на ней! Весь экипаж ее состоял из одиннадцати человек: восьми гребцов-белорусов, старика-еврея, его племянника и меня. Белорусы почти весь день, стоя, гребли длинными веслами. Молодой Илья Исаич лежал на палубе и большую часть времени читал лубочные романы, а сам Исай Маркович, толстый и чрезвычайно серьезный человек, был занят какими-то расчетами, молитвою да едою и все сидел в каюте — небольшой деревянной каморке, устроенной на корме под рулем. Я, таким образом, был вполне предоставлен самому себе и мог спокойно наслаждаться красотою Днепра.

По зорям от широкого лона реки, от ее неоглядных берегов и синеющих далей веяло такой здоровой свежестью, такою ароматной влагою — крепким запахом дубовой зелени, что казалось, с каждым вздохом впитываешь в себя молодость и бодрость. Плавно отдавалась медленному течению наша барка, а навстречу ей двигалась многоводная ширь Днепра, проходили зеленые рощи островов, там и сям тяжело плыли огромные плоты,

а на них хлопотали за работой люди, раздавались бойкие крики, говор и песни. И, щурясь от яркого и бодрого блеска утреннего солнца, я не сводил глаз с этой величавой реки, извивающейся больше чем на две тысячи верст по древним местам русского царства. Вид наших гребцов, голубоглазых, покорных и ласковых белорусов, в лаптях и длинных, грязных рубахах, напоминал мне бедную родину Днепра — болота Смоленской губернии. Там таинственно зарождается он маленькою речкою и бежит среди дремучего Полесья, где до сих пор еще бродят кабаны и дикие козы, а бобры строят на лесных затонах свои хижины; там растет он, сливаясь с таинственными притоками в глуши и синеватом сумраке сосновых дебрей, и уже величавым и полноводным появляется в этой мирной и веселой Украйне, благословенной стране земледелия и сельской жизни.

И я думал о том, как прекрасна еще до сих пор эта страна, над которой пронеслось столько веков кровавых войн и раздоров, по степям которой бродили дикие племена печенегов и половцев; думал о том, как долго хранит эта страна печать глубокой старины среди новой, шумной жизни... И,— смешно сказать! — стоя на палубе, я не раз искал глазами того места, где когда-то среди гор белел приднепровский хутор пана Данилы...

Но, увы, Бог его знает, где это жил пан Данило! Времена «Страшной мести», так же как и далекие времена половцев, давно отошли в вечность. Грозные были уже не пугают нас, но еще живо напоминает о них могущественный и глубокий Днепр. Вершины его прибрежных гор все еще похожи на древние курганы... На них видны теперь только звездообразные крылья бесчисленных ветряков, но за ними расстилаются пустынные и необозримые равнины, степь, как море широкое, синеет, да чернеют силуэты каменных статуй — мертвых идолов, при взгляде на которые так жутко сжимается сердце, а мысль невольно переносится к темной и дикой жизни седой старины...

III

В таких размышлениях незаметно проходило для меня время; а «Чайка» между тем спокойно и незаметно совершала свой путь.

Дни продолжали стоять все такие же знойные

и светлые, какие могут быть только на юге. Часов с одиннадцати утра вся картина Днепра как бы замирала в неподвижном воздухе. Воздух, казалось, был так же горяч, как горячий пар, что, подобно расплавленному стеклу, чуть дрожал над широкими, черными трубами белых пароходов, медленно обгонявших нас. Замирал светло-стальной Днепр, цепенели окрестные пейзажи — далекие деревушки и тополи, бледно-синеватые силуэты невысоких гор за низменными, привольными лугами. Ослепительно блестели песчаные полосы мелей, и казалось, что это желтеют полосы спеющих ржей. «Чайка», проплывая мимо них, замедляла ход, и тогда еще более затихало все кругом. И только заунывные голоса белорусов, мерно опускавших и поднимавших весла в такт своим грустным напевам, нарушали этот мертвый покой.

А в дощатой сосновой каюте, горячо нагретой солнцем, весь день с неуловимой плавностью бежали по потолку светлые отражения реки, в открытое окошечко тянуло прохладой, пахло водой и рыбой, между тем как у самого борта весь день шумели и плескались прозрачные днепровские волны, так неустанно и ровно бегущие и волнующиеся, что при взгляде на них кружилась голова и обнимала дремота...

Под влиянием этого мира и покоя мало-помалу бледнели воспоминания древности, неразлучно связанные с киевскими местами, и уступали место впечатлениям новой жизни, переполняющей теперь берега Днепра. Я видел шумные торговые пристани, которые кипели народом в живописных малороссских нарядах; видел старинные большие села, которых так много под Киевом,— эти сотни белых хат, утонувших в зеленых садах, и сверкающие над ними кресты сельских храмов; знал, наконец, что и там, по левую сторону Днепра, на его притоках и на степях, также тонут в садах веселые и многолюдные деревни, и ждал увидеть вечное пристанище того, кто так горячо любил все это, кто воплотил в своих песнях всю красоту своей родины вместе с горестями своей страдальческой жизни и чье простое крестьянское имя — Тарас Шевченко — навсегда останется украшением русской литературы.

Впоследствии я бывал на могилах многих великих людей, но ни одна из них не произвела на меня такого трогательного впечатления, как могила украинского кобзаря. И в самом деле,— чья могила скромнее и в то же

время величественнее и поэтичнее? Вблизи ее — древний Канев, «место крови», по старинному турецкому наименованию, где почивают на древних монастырских кладбищах герои и защитники старинного казачества — Самийло Кишка, Шах и Иван Пидкова. Сама она — на высоких, живописных горах, далеко озирающих и Днепр, и синие долины, и сотни селений,— все, что только дорого было усопшему поэту. И в то же время как проста она! Небольшой холм, а на нем — белый крест с скромной надписью... вот и все! Когда-то тот, кто лежит теперь под ним, лелеял мечты о родной хате, которую ему теперь хотелось поставить над Днепром, «принести и положить на дніпровых горах сердце замучено, источено горем». Он даже побывал перед смертью на этих горах и трогательно делился своими заветными мечтами с горячо любимою сестрою. Но, увы, покой и приют от скитаний и горестей ему суждено было найти лишь в могиле!

Беленькая хатка, окруженная мальвами, маком и подсолнечниками, стоит теперь возле его надгробного креста. Чисто и уютно в ней, но хозяин ее никогда не переступит ее порога. Грустно смотрит его портрет со стены хатки на «Кобзарь»,. лежащий на столе, и как бы с укором говорит посетителю: «Что вы сделали со мною, люди? За что так грустно и одиноко протекала моя жизнь? Зачем положили вы меня в могилу, когда я так любил Божий мир и свою родину?..»

IV

Взволнованный, я часто возвращался мыслями в эту беленькую хату. С грустью смотрел я на удаляющиеся от нас Каневские горы. И еще прекраснее и милее казалась мне теперь родина великого народного поэта.

Был один из тех вечеров, которые так любят ласточки, вечер, когда им так привольно уноситься в ясное небо или скользить над зеркальною водою, быстро задевая ее острым крылышком, и снова с безотчетно радостным щебетанием тонуть в чистом воздухе,— вечер, полный идеальной, гармоничной красоты.

Все самые нежные краски — от пепельно-розовой до пурпурно-золотистой,— все самые легкие отражения вечерней зари воспринимала неподвижная, широкая, как озеро, поверхность Днепра; даже странно было чувствовать, что мы плывем по ней — так картинна и спокойна

была она... А плыли мы уже под Секирной, в тех местах, где правый берег после гор на несколько верст в ширину и длину расстилается в широкую, низменную равнину. То были луга, заливные луга, не наши великорусские, от которых веет всегда пустынностью, а украинские живописные луга, по которым то зеленеют рощи, то одиноко идут среди сенокосов кудрявые деревья, красивые и картинно сокращенные далью, как на рисованных пейзажах. Может быть, летний вечер и мое настроение опоэтизировали эти места; но только мне казалось, что именно эти места — настоящие украинские, такие, какими я рисовал себе их с детства, со всей поэзией и мечтательной красотой южной природы.

И я глядел в вечереющую даль этих заливных лугов, представлял себе зеленую сельскую улицу и почти слышал звонкие девичьи голоса около белых хат, далеко разливающиеся по тихой заре и поющие о том же, о чем пел и великий украинский поэт. Я опять вспоминал те могилообразные горы, от которых пахнуло на меня старыми преданьями, и невольно переплетал свои мысли с мыслями о жизни Тараса, не спуская глаз с его могилы.

И далекие Каневские горы долго рисовались позади нас, как смутно-лиловая тучка, на золотистом фоне запада. И всю зарю маячили их очертания за безбрежным зеркалом Днепра...

А когда стемнело и на мачту подняли фонарь, стало холодно, слегка туманно, и, глядя вперед, на восток, я уже не видел берегов. Синий Днепр слился с мутной синевой темной южной ночи. Ночной ветер разводил большую зыбь; Днепр волновался, и казалось, что вся туманная синева Днепра и ночи клубится и дышит холодом морской дали... Зыбко переливались там, вдали, бледно-зеленые огни какого-то невидимого парохода... Наконец потонули за волнами и они...

Я ушел в каюту, где уже все спали, и до зари без сна лежал на койке. Как в гробу, было темно в ней. И этот мрак, и ровное покачивание,— казалось мне, что я в могиле и вся земля тихо покачивается,— и этот ровный-ровный, однообразный шорох, непрестанный плеск и шум днепровских волн, бегущих у изголовья, еще более странно настраивали и волновали меня...

Там, на горах, над угрюмым Днепром, в темноте глубокой ночи, могила молчала вечным молчанием...

V

С тех пор прошло много лет, но то, что я переживал на Днепре, не исчезло бесследно. Прежде я бессознательно тянулся к скитаниям по новым местам,— теперь я ясно понял, что значат они. Я понял, что для того, чтобы жить полной жизнью, мало науки, мало одних книжных знаний и житейского благополучия. Для меня открылась красота природы, глубокая связь художественных созданий с родиной их творцов, увлекательность изучения народа и поэзия свободы и воли в скитальческой жизни...

— Ой, ой! — говорил Исай Маркович, покачивая головой, когда мы подходили к Екатеринославу,— погода переменилась: задуют ветры... И что мы тогда здесь будем делать на порогах? Это будет хуже, как в прошлом годе...

Но меня только радовали предполагаемые опасности. И хотя погода в день нашего отъезда от Лоцманской Каменки, под которой уже начинаются пороги, стояла тихая и ясная,— мне все казалось, что с нами должно случиться что-то необыкновенное, страшное и поэтическое.

Этому способствовали и бесконечные разговоры на «Чайке» о порогах, и вид двух приехавших из Каменки лоцманов, без которых ни одно судно не может, по закону, идти дальше Екатеринослава, и торжественность нашего отправления в путь. Я почти с благоговением смотрел на этих прямых потомков запорожцев-лоцманов. Один из них был высокий, строгий старик казак, другой — коренастый, добродушный и важный, настоящий Тарас Бульба. Высокий-то и назывался лоцманом, а его товарищ, по обычаю, носил кличку «дяди».

И вот наступил момент, когда, после угощения в каюте, «дядя» быстро встал с места, взял шапку, расправил усы и пошел на палубу.

— Ну, діты,— громко и серьезно крикнул он, снимая шапку,— помолимось Господу Богу!

И первый стал на колени и, побледнев от волнения, низко поклонился в землю. За ним опустились на колени и мы и в торжественной тишине горячо помолились о благополучном плавании. Потом подняли якорь, гребцы стали к веслам, и «Чайка» медленно поплыла по порогам.

Это было, как значится в моей записной книжке, утром во вторник, 12-го июня, а утром 13-го я уже навсегда простился с «Чайкой». То, чего мы ждали все время в пути от Киева,— наступило, и в хлопотах и волнениях день промелькнул как-то совсем незаметно. Плыли мы очень быстро, потому что в этих местах течение Днепра очень сильно. От самого Екатеринослава до Александровска весь он наполнен каменными «заборами» и порогами. Эти пороги и заборы — не что иное, как широкая гранитная полоса, отроги Карпатских гор, пересекающие Днестр, Буг и Днепр. Весной они совсем скрыты под водою, а в «среднюю воду», то есть в то время, когда плыли мы, Днепр очень грозно шумит по их камням и камни эти во многих местах торчат из реки. Всех порогов считается десять, но особого волнения стоили нам только два или три, и между ними главным образом — Ненасытец.

«Чайка», повторяю, очень быстро шла теперь по Днепру даже между порогами. Гребцы отдыхали в это время, лежа на палубе. Светлая, стальная поверхность Днепра плавно всей своей ширью неслась вперед. Но вот вдали начинался шум... ближе... ближе... и вскоре уже явственно было слышно, как гремит порог. Лоцман и «дядя», стоявшие на возвышении на корме и не спускавшие глаз с реки, вдруг замахали шапками, и гребцы бросились к веслам: нужно было разогнать барку, чтобы она быстрее проскочила порог.

— Запеки, запеки, голубчику! — кричали лоцмана, и белорусы, по четыре человека в ряд, разом и крепко навалились на весла, почти припадая к палубе; а «Чайка» неслась все шибче, пока не обозначился перед нею самый порог.

Вид его всегда производил на меня жуткое впечатление. Кругом — стальная гладь реки, плавно скользящая вперед, а впереди — почти черная поперечная полоса волн от берега до берега, словно Днепр перерезан в этом месте. Издалека видно, как его гладь переламывается здесь и несется под уклон, по которому чернеющие волны мечутся и кипят белыми гребнями пены.

— Шабаш! — вдруг, напрягши грудь, вскрикивает «дядя».— К стерну (рулю)!

И белорусы, моментально бросив весла, кидались к громадному деревянному рулю, выдающемуся над кормою, и наваливались на него всей тяжестью,

ворочая его и откидываясь вместе с ним то вправо, то влево. А побледневший лоцман продолжал кричать изо всей силы:

— Тягны, тягны!.. тягны, братцы, голубчики!

Тогда и мы все невольно порывались вперед, стараясь хоть чем-нибудь помочь «Чайке» — уже в пороге! Кругом — шум воды, брызги пены, водоворот несет с ошеломляющею быстротою, так что вся «Чайка», нагруженная несколькими тысячами пудов дров, прыгает и качается на огромных волнах...

— Проскочили! — кричит наконец «дядя» облегченно, и все испускают вздох, снимают шапки и долго крестятся на небо, между тем как Днепр, еще не успокоившийся, тихо колышет «Чайку», а сзади уже замирающим шумом гремит порог.

Так прошли мы Кадацкий порог, Сурский, Лоханский, Звонецкий и, наконец, Ненасытец — «Дід», как зовут его лоцманы,— самый грозный порог, в девять рядов скал,— благополучно миновали «пекло» (так называется огромная яма под порогом, где бушует очень опасный водоворот)— и вздохнули совсем весело. Теперь «Чайка» пошла медленнее, и медленно проплывали мимо нее острова в лесах, прибрежные горы, селения и далекие степи. Солнце мирно спускалось за них, и наступал вечер. Мы бросили якорь и ночевали в каком-то пустынном и глухом месте. Развели огонь, заварили кашу, и долго текла беседа около котелка, рассказы лоцманов о своих приключениях,— тихие рассказы под звездным небом, в темноте синей южной ночи...

А на другой день мы перевалили еще через четыре порога, ловко проскользнули в опасной теснине среди высоких, скалистых берегов, недалеко от Александровска, на крутом повороте Днепра к юго-востоку, и скоро были у пристани Кичкас.

Здесь я распрощался с белорусами, с моими радушными хозяевами-евреями, с лоцманами и с «Чайкой». Я отправился на знаменитый «Остров св. Георгия» — Хортицу и долго блуждал по нем, отыскивая хоть каких-нибудь следов старой Сечи. Но остров был тих и пустынен... Только земляные валы, заросшие травой, говорили о том, что когда-то тут были воинские станы...

И степь здесь была уже недалеко. Там, за Хортицей,

начиналась Великая Днепровская Плавня, где Днепр разливается необозримыми озерами и весь усеян тысячами островов в рощах, верболозах и камышах. Там, возле Плавни, по левую сторону реки, расстилается Великий Днепровский Луг, царство зеленых, сочных степей, степных болот и речек — страна, славная с древности богатством и плодородием своих земель и кровавыми раздорами за эти земли. А еще дальше, за плавнями и степями, синеет море и белеют вольные паруса в морской дали...

«Туда, туда!..— думал я с восторгом.— Жизнь невыразимо прекрасна и увлекательна. Только надо понять, что дорого и нужно в ней!»

Одесса, сентябрь 1898



В АЛЬПАХ

Тихи и безлюдны альпийские долины в серые дни поздней осени! Неясно синеют они, уходя друг за другом в горы, дикие вершины которых тонут в облачном небе. Свинцовое и равнодушное, оно низко висит над озерами, и такие же свинцовые, только более темные и красивые, лежат под ним озера, налитые между гор, сизыми гранитами подымающихся из их лона. Когда глядишь в это облачное небо, тянет уйти в его туманы, провести ночь в каком-нибудь безлюдном горном отеле, скрытом в высоте мглою...

Как-то в начале ноября мы с товарищем скитались в Гларнских долинах. Утром мы покинули на пароходе город, а после полудня уже были далеко в горах. Немного было жутко,— на горах могли разыграться метели,— но крестьяне, встретившиеся нам в начале пути, когда мы только что стали подниматься вдоль забытой до весны зубчатой железной дороги, сказали, что ожидать метелей пока еще нет основания. Но печально было в горах! Низкорослый лес на обрывах был редок и точно задремывал, роняя мелкие желтые листья. Изредка можно было видеть изумленные и тупые морды пасущихся коров, изредка слышался свист мальчиков, собиравших по кустарникам хворост... Потом замерли и эти звуки, в воздухе слегка посвежело... В глубокой тишине мы мерно шагали все выше и выше по крутой дороге, а с гор, с диких скал, сумрачно синеющих сосновыми лесами, серым дымом спускалась к нам зима. Приближались и мы к ней и, останавливаясь, чтобы передохнуть, подолгу смотрели в долины, слабо синеющие сквозь деревья, далеко под нами. Тогда слышно было падение каждого листика в лесу; мокрые кустарники плакали беззвучными слезами, а тишина уже сменялась мертвым молчанием

гор. И, счастливые этим глубоким покоем, мы все дальше уходили в долгие сумерки грустного ноябрьского дня, медленно умирающего среди горного безлюдья.

Близ какого-то большого туннеля, смутно чернеющего в тумане, мы встретили маленькое селенье,— пять или шесть сонных хижин на горном скате. Не спеша одолевали мы трудный подъем по грязной дороге этого ската, но очень скоро от селенья осталось только мутное пятно внизу, а с гор уже веяло на нас сыростью снега. Туман продолжал густеть и темнеть, а мы шли ему навстречу,— миновали черную и гулкую пасть туннеля, перешли почти отвесный мост над бездонным ущельем, полным сырой, сизой мглою, потеряли его из виду, так же скоро, как и туннель и селенье, и почувствовали себя уже в совершенной пустыне. Если товарищ отставал от меня, он тотчас же терялся в тумане. И когда мы перекликались, голоса наши звучали глухо и странно. Мокрые рельсы, покрытые тающим снегом, сбегали сверху, сосны и ели шли оттуда по обрывам; но сквозь туман можно было скорее предчувствовать, чем различать лиловато-темные силуэты бора. В десяти шагах от нас они расплывались в мглистых сумерках, и надо всеми этими хмурыми лесами стояла такая глубокая тишина заоблачного царства, которая исключала всякий признак жизни. Но вот послышался слабый шорох: маленькая серая птичка вспорхнула с мокрого, дымящегося рукава ели, села на мгновенье на дорогу и, оглянувшись на нас светлым глазком, тихо перелетела к обрывам налево. Там она тотчас же затерялась в тумане, но, увидав ее, мы почему-то приостановились... И что-то радостное внезапно шевельнулось в моем сердце; почему-то мне захотелось крепко сжать руку товарища, и по его быстрому, хорошему взгляду я увидал, что он меня понял. Опять вокруг нас пошли мрачные, туманные стены соснового леса, мокрый, бледный снег вдоль крутой дороги, дымные ущелья и обрывы, где глубоко внизу висела тяжелая мгла аспидного цвета, и гробовое молчание заоблачного царства... Но еще долго не выходила у меня из головы серая птичка, одиноко проводящая осень среди мрачного горного леса...

Да, она спокойно, хотя и несмело перелетала в нем с места на место. В мертвой тишине зимних сумерек она была занята каким-то тихим делом,— спокойная в ожидании ночи, которую она надеялась провести где-нибудь под елью, спрятав под крылышко голову и предоставив

себя чьей-то высшей защите. И что-то бесконечно трогательное было в этом слабом намеке на жизнь, который принесла она в горную пустыню. Мы тоже были одиноки и беззащитны среди этой пустыни. Но и мы несли в ночь и туманы искру Божественной тайны — наши мысли и чувства, нашу братскую близость человека к человеку и нашу молодую дружбу, сознание которых так сладостно перед лицом того вечного и враждебного, чем окружает нас мертвая природа и что порождает высшее проявление человеческого духа — поэзию!

⟨1902⟩



ДЕСЯТОГО СЕНТЯБРЯ

Почти все дачи были уже пусты, шло начало сентября, на сад, на желтые клены то и дело шумно сыпал крупный дождь, все сквозь солнце и быстро стихавший. Отец и мать говорили, что пора возвращаться в Москву,— она отвечала холодно и небрежно:

— Ступайте хоть завтра. Я раньше десятого не поеду.

По целым дням она лежала на диванчике, в комнате рядом с гостиной, с шалью на плечах, с книгой в руке, то бессознательно читая, то упорно глядя своими красивыми коровьими глазами на желтизну сада за окнами. Мягкая коса заплетена кое-как, слегка опухшее лицо бледно. Дни в молчаливом доме, где жили только отец, мать, старая нянька и молодой лакей, шли медленно, однообразно, и так же медленно и однообразно шли в ней все одни и те же чувства, мысли, воспоминания — о том постыдном, что случилось с ней летом и казалось ей самым значительным в мире. Порой она мрачно-насмешливо ухмылялась, подбирая ноги, одергивала подол: да, если бы кто знал, глядя на эту серую юбку, то, чего вот-вот уже не скроешь?

Масальский каждый день заходил часа в четыре. Вот слышно, как он бодро говорит в лакейской:

— Здравствуйте, Сергей. Дома?

— Князь с княгиней только что вышли на прогулку.

— А княжна?

— Дома-с.

Потом шаги в гостиной и притворно простой голос:

— Княжна, можно к вам?

Ей казалось, что он знает дачные сплетни о ней, то, что она брошена, обманута, и даже то, что недаром решила не возвращаться в Москву до десятого сентября: догадывается, что она назначила на этот день последнее ожидание ответа на все ее безответные письма в лагерь

под Петербургом и в Петербург. Но приход Масальского все-таки доставлял удовольствие,— он давно был тайно влюблен в нее, был с ней неловко весел, над ним можно было издеваться, и она медленно отзывалась:

— Милости просим.

Он весело входил:

— Здравствуйте, княжна. Чудная погода, а вы все с книжками!

Она презрительно пожимала плечом.

— А вы всегда с одними и теми же фразами. И не вижу ничего чудесного в том, что льет с утра до вечера.

— Да ведь льет с антрактами,— грибной дождь, как говорит ваша нянюшка... И очень хорошо, что вы не уезжаете.

— И совсем нехорошо, что вы тоже не уезжаете. Почему, позвольте спросить?

Он садился в кресло возле диванчика, глядел на ее поджатые ноги,— подозрительно, как ей казалось,— и шутя повторял ее слова:

— Я раньше десятого не поеду.

— Не остроумно,— брезгливо говорила она.

Раз он сказал (тоже с легкой усмешкой):

— Не помню, чьи это стихи: «Как идет к вам эта бледность, этих дней осенних бедность!»

Она подняла на него свои коровьи глаза и спокойно ответила:

— Как идет к вам ваша глупость! Прошу вас и даже требую: не соваться десятого со своими услугами при нашем отъезде.

Десятого он уехал в Москву утром. А перед вечером, когда старенький, маленький князь и рослая большеликая княгиня, уже одетые, с зонтиками в руках, сидели в опустевшем доме, из которого выносили последнюю мебель, когда они покорно ждали выхода дочери, за домом кто-то вдруг радостно закричал что-то, потом с топотом пробежали мимо окон в сад мужики, нанятые везти мебель в Москву, а впереди них какой-то резвый босоногий мальчишка...

Из пруда за садом ее вытащили баграми только в сумерки, с трудом принесли в дом и положили, мокрую, ледяную, тяжелую, с синим лицом, на голом полу в пустой гостиной, темно освещенной чьей-то кухонной лампочкой.

Ночью шел уже ровный, затяжной осенний дождь.

Москва, 1903

НОЧЛЕГ

— Ночуй, ночуй, Алексеич! — сказал мне лесник, рябой широкогрудый мужик в косматой волчьей шапке, стоявший передо мной возле караулки.— Самое лучшее тебе ночевать, а я тем временем ребятишек своих проведаю и лыжи тебе добуду... Без лыж ты в отделку измаешься.

— Да ведь и ты измаешься,— нерешительно возразил я.

Лесник мельком взглянул на меня и улыбнулся.

— Я, брат, не тебе чета,— ласково сказал он и, кивнув головой, пошел по темной тропинке, убегавшей в чаще низкорослого дубняка, смутно черневшего по снежным лужкам и оврагам.

Скоро его коротконогая фигура слилась вдали с сумраком, скрылась за изгородью пустого пчельника в разлужье, где из снега торчали ульи, прикрытые камнями и похожие на грибы, и я остался один, совсем один в сонном зимнем лесу. И такая тишина теплого мартовского вечера воцарилась кругом, что хотелось закрыть глаза и стоять так долго-долго, чтобы вполне слиться с окружающим оцепенением. И неподвижно сидели и сонно жмурились у моих ног собаки,— черный с белым жилетом Цыган и остромордый рыжий Волчок в своей пушистой шубке... «Вот и опять дома! — подумал я, глядя в сумерки.— Какой нежный и теплый вечер!..»

Медленно стал падать снежок, вывел меня из задумчивости, и мрачно взглянула на меня пустая изба, когда я отворил ее тяжелую дверь. Низкая и просторная, с маленькими окошечками в толстых кирпичных стенах и огромной широкоплечей печью, она производила впечатление жилища почти дикого, но почему-то меня радовал мой одинокий ночлег в этой молчаливой лесной избе. Дубки уже гудели в белесой темноте за окнами; с утра

в лесу таяло, перед вечером на задворках караулки однотонно и нежно стонала пустушка — совсем как в полую воду; теперь снова возвращалась зима, и, когда я зажег в печи солому, поставил на загнетку чугунчик с водой и вышел в сени, чтобы взять охапку хворосту, навстречу мне понесло свежестью весенней метели. Сонный ночной ветер зашуршал в темноте по крыше, и мне стало холодно, но зато как приятно было снова вбежать в теплую избу и накрепко захлопнуть ее черную, липкую дверь! Изба уже наполнилась душистым запахом сырых дубовых дров и фантастично была озарена яркой пастью печки. Длинные оранжево-красные языки вырывались из нее и, дрожа и переплетаясь, бежали и лизали устье, а противоположная стена, покрытая густым слоем сажи от топки по-курному, трепетно искрилась, как смоляная. Кошка, черная и блестящая, точно пантера, примостилась в конце широкой лавки у самой загнетки, съежилась и жмурилась, сладостно мурлыкая; красный голенастый петух, разбуженный огнем, тупо бродил по соломе, накиданной на полу, в теплом кругу света, а из-под лавки вдруг блеснули самоцветными камнями два глаза Волчка, с приподнятыми ушами смотревшего на кошку, и — Боже! — сколько негодования было в его пристальном взгляде!

— Ты зачем сюда?! — закричал я на него с деланной злобой и, распахнув дверь, отчаянно затопал ногами, когда Волчок, поджав хвост, с визгом кинулся в сени.

Чугун с кулешом между тем нагревался. Он уже шипел и запевал задумчивыми, жалобными голосами, и было что-то трогательное в его детском напеве, и дикой красотой старой русской сказки притягивала к себе широкая ярко-цветная игра пламени, когда я присаживался порой на дубовый пенек среди полутемной избы и подолгу, как очарованный, смотрел на бегущие оранжевые ленты.

Наконец таган на загнетке прокалился почти докрасна...

Черный хлеб был липок, как замазка, от чугунка резко воняло салом, но я ел с неразборчивостью крепко проголодавшегося человека. Свет замирающего в печи пламени дрожал вокруг меня под низкими потолками и озарял то окна, то покоробленную доску иконы, стоявшей в переднем углу на лавке; изображение на доске было суздальское, большие глаза Христа, похожего на Будду, были страшны в этом мерцании, но, собрав со стола корки и настелив на лавке возле печки соломы,

я перекрестился на старую икону почти с детской верой. Потом я кликнул в избу собак, кинул в изголовье полушубок и растянулся на соломе. Собаки подошли, посмотрели на меня и, с визгом зевая, улеглись возле лавки. И все кругом стало еще тише и печальнее.

Чтобы не угореть, я не закрыл трубы и не задвинул печку заслонкой. Дрова между тем прогорели, и свет от углей стал медленно меркнуть. Темнота угрюмо сгущалась, отовсюду подвигаясь к печке. На мгновение в сумраке у дверей мне померещилась фигура монахини — и вдруг мне стало жутко...

— Цыган! — тихо крикнул я, приподнимаясь.

Цыган тотчас же перекосил и насторожил уши. Насторожился и Волчок. Однако, прислушиваясь, оба очень выразительно поглядели на меня и успокоились. «Спи, никого нет!» — сказали мне эти взгляды. Но темнота все сгущалась. Она уже подошла к самому устью, и последний уголек на загнетке глядел в темноту, подобно закрывающемуся глазу, озаряя лишь своды... Потом и он померк... Теперь лишь где-то в глубине печки краснела чуть заметная точка. Ветер шуршал по окнам и заносил их снегом... Окна тускло серели в темноте... И вот кто-то подошел и заглянул в них. Чья-то высокая тень мелькнула мимо окон и скрылась...

«Кто там?» — хотел было крикнуть я с сильно застучавшим сердцем и вдруг сразу опомнился: да ведь это просто притуга, оборвавшаяся на крыше!..

И опять сладкая усталость тихо закрыла мне веки. Хороша ты, долгая и печальная зимняя ночь, знакомая своими страхами еще с детства! А тут еще петух смело затрепыхал и забил крыльями, и что-то дружеское, родное было в его громком, почти человеческом крике! Случайно открыв глаза, я увидел странный белесый свет, падавший из окон откуда-то снизу и таинственно озарявший смоляные стены избы: то был отблеск свежего снега на завалинке. И в белесом сумраке, в каких-то бесконечных снежных лугах, которые тотчас же после этого стали мне грезиться, передо мной замелькали бесчисленные огоньки зеленоватых волчьих глаз. Они выглядывали отовсюду, плыли, то приближаясь, то удаляясь,— и вдруг целым роем неслись куда-то вдаль, и тогда по всему лесу, по вершинам, побелевшим от снега, разрастался и, убегая, замирал смутный, убаюкивающий шум вьюги...

⟨1903⟩



С ВЫСОТЫ

Я был на Ляй-Лю, на перевале по пути на север. Стояла весна — средина апреля.

Все утро в горах дремал густой туман. В грязной корчме на перевале я выпил кислого красного вина на прощанье с югом и отдохнул, пока перепрягали тройку. Было сыро, холодно и сумрачно. Все тонуло во мгле, проносившейся по ветру мимо окон, и воображению невольно рисовались осенние сумерки, пастухи, проводящие здесь почти всю свою жизнь среди облаков и свиста горного ветра, овцы, робко жмущиеся друг к другу в загонах... Невольно закрадывалась в душу серая, как это утро, скука — и вдруг туман стал розоветь и таять, в мглистой вышине просветлело. Предчувствие тепла и солнца сразу оживило все, а в небесах, в тающем дыму, уже обозначилось что-то радостное, нежное. Оно росло, ширилось — и внезапно засияло божественной красотой лазури. В величавом храме дикой и пустынной природы, которая окружала меня, проглянул небесный купол, но еще долго реяла по Ляй-Лю рассеянная мгла, еще долго, как жертвенники, курились зубчатые утесы над стремнинами, пока не блеснуло, наконец, солнце. И тогда от тумана не осталось и следа, голубое небо засияло над горами во всей своей необъятности, далеко зазеленело в чистом и прозрачном воздухе волнистое плоскогорье и далеким миражем вырисовались за ним нежно-четкие фиолетовые вершины, уходящие друг за другом к востоку. Ветер тянул с севера, но он был ласков, весел, и, опьяненный солнечным теплом и ветром, я быстро пошел к обрывам, чтобы взглянуть в последний раз на море.

Исполинская дымчатая тень в радужном ореоле пала от меня в зыбкий пар под обрывом; бесконечная волнистая равнина сгустившихся облаков, целая страна белых

рыхлых холмов развернулась перед моими глазами, и я остановился, пораженный хаотическим величием этой картины. Вместо глубоких стремнин и обрывов, вместо далеких зеленых прибрежий и заливов я увидел необозримый океан белых застывших волн, сияющих под солнцем, необозримый облачный слой, повисший над морем и к востоку, и к югу, и к западу. И вся сила моей души, вся печаль и радость — печаль о ней, которую я так мучительно любил тогда, и безотчетная радость молодости — все ушло к горизонту, туда, где за последними гранями облаков, высоко в небе, синело далекое, далекое море.

«Прости! — мысленно сказал я ей всей моей душою.— И ты любила бы меня, и ты простила бы меня, как прощаю я тебя за все мои страдания, но тайна жизни разлучила нас, тайная сила, не дающая нам заглянуть в душу друг друга с высоты — в наши лучшие минуты. А лучшие минуты моей любви к тебе — моя печаль о тебе вдали от тебя, моя радость, что и в печали, и одиночестве, и в страданиях я люблю — и прощаю тебя!..»

Колокольчик однообразным дорожным напевом говорил о долгом пути на родину, о том, что прошлое — отжито, о том, что впереди — новая жизнь, новая весна, весна севера. Старая дорожная коляска, старая почтовая тройка, фигура ямщика-татарина на высоких козлах рядом с увязанными чемоданами, дружный топот копыт под несмолкающий плач колокольчика, бесконечная лента шоссе... Еще долго я оборачивался и глядел на сизые зубцы скал, вознесшихся над обрывом к югу и вырезавшихся на фоне пустого голубого неба, где черной точкой реял орел... Потом все это мелькнуло перед глазами еще раз — и скрылось. Тройка с дружным топотом копыт, с заливающимся звоном колокольчика покатилась снова в долины, чтобы катиться так все ниже и ниже, все дальше и дальше от перевала, возрастающего и уплывающего в небо, все глубже и глубже в лесистые живописные пропасти...

Но еще долго глядел я в эти пропасти с высоты, еще долго и душа моя была на высоте.

Здесь, в этих безмолвных горных долинах, еще царила красота и тишина первых весенних дней, безоблачно-прозрачного голубого неба, черных сучьев деревьев, прошлогодней коричневой листвы, слежавшейся в кустах,

первых томных подснежников и диких тюльпанов. Здесь еще только что начинали зеленеть горные скаты, здесь все отдыхало, только что освободившись от снегов и бурь долгой темной зимы, и все было кротко и задумчиво, как девушка, впервые замечтавшаяся о жизни, о счастье, о будущем. Здесь еще хрустально-чист и свеж был воздух, как бывает он чист и свеж только ранней весною и — на высоте.

Но мертвое молчание гор окружало меня. Как всегда в лучшие мгновения моей жизни, я был один. И если бы я заплакал горячими слезами страстной скорби, никто бы не увидал моих слез. И если бы я крикнул — дико и весело, как молодой орел — от страстной радости жизни, никто не ответил бы мне на этот крик, кроме звонкого и жуткого голоса природы — горного эха.

⟨1904⟩



ИЗ РАННИХ РЕДАКЦИЙ

СВЯТЫЕ ГОРЫ

Вторая глава

Сквозь сон я долго слышал, как казалось, над самой головою, странный перезвон колоколов. Я заснул на каких-то бревнах около пристани парома, и тело сразу оцепенело от переутомления; но я чувствовал себя среди несметной толпы народа, говор которого гулом стоял над рекою; чувствовал, что прозяб от весенней речной свежести, и никак не мог очнуться.

Новый монастырь, тот, что находится у подошвы горы, не так красив, как это кажется издали. Хозяйственные его постройки, особенно громадное здание гостиницы, походят на казармы. Везде было тесно от наехавшего народа. Пожилой монах, дремавший на крыльце гостиницы, на мой вопрос о помещении только посмотрел на мою блузу и затянулся долгим ленивым зевком. Послушник, которого я встретил в воротах, так спешил куда-то, что я не успел остановить его. Он только оглянулся и зашагал еще шире и неуклюжее, махаясь и подаваясь вперед всем телом, отчего на плечах его болтались бледно-желтые волосы. Другой какими-то тайными путями — темным, узким коридором, где стоял тяжелый дух склепа, воска, ладана и угар от самоваров,— провел меня в номер, уже занятый постояльцем.

Постоялец лежал на жестком диване, выставив кверху колени худых ног, и лицо его было желто и постно, как у мертвеца. На нем был серый пиджак, слишком широкий для его худощавого тела, на шее — шарф, на ногах — кроме сапог, рыжие голенища которых виднелись под короткими штанами,— резиновые глубокие калоши. Козлиная бородка его изобличала «кацапа», человека благочестивого, подозрительного и очень любопытного. Очень зорко осмотрев меня, он прикрыл глаза, полежал минуту молча и спросил:

— Из дальних, позвольте спросить?

Я сказал.

— Та-ак. По торговой части или, может, в услужении у кого?

— Нет.

— Значит, капитал свой имеете?

— А что?

Сожитель мой поднял брови, искоса глянул на меня и закашлялся...

— О-ох...— простонал он, тяжело повертываясь на бок.

— Вы нездоровы?

— Болезни не замечаю, а слабость большая во мне, особливо теперь. Очень без пищи ослабел я.

— Как без пищи?

Он тускло улыбнулся.

— А вы, что же, разве Бога ни за что почитаете? Святые отцы, к примеру, прямо на то указывают, чтоб не вкушать за эти дни пищи, особливо с четверга...

И опять прикрыл глаза.

— А вы — торгуете? — спросил я.

— Косники были.

— Косы продавали?

— Правильно-с. Ну, а потом, хоть товар этот, прямо надо сказать, темный и прибыльный, и не сразу тут дойдешь до понимания, восемь гривен коса аль два с полтиной,— пришлось оставить.

— Отчего же?

— Результату нету настоящего.

Он помолчал и злорадно добавил:

— Теперича господа коммерцию полюбили; господину земскому председателю тоже желается барышок себе иметь.

— Да ведь это не в пользу председателя идет.

— Понимаем тоже...

— Так вы и бросили торговлю?

— Ну, нет,— без дела нельзя-с. Винную лавку содержим, черную...

— А в монастыре-то вы часто бываете?

— Да, как теперича я недалеко живу. А вы к чему же это? Про усердие-то?

Он сдвинул брови и заговорил строго:

— Всякому это подобает. И при деле всякий должон состоять и храмы Божии не оставлять без внимания.

Хочешь не хочешь, а исполняй. У меня теперича, к примеру сказать, самое горячее дело, а я вот все на жену бросил...

Он опять закашлялся слабым, внутренним кашлем и замолк.

— Вам нужен покой,— сказал я, вставая,— лучше я где-нибудь еще переночую.

— Теперь не до покоя.

— Да нет, все-таки...

— Ну, с Богом! — сказал лавочник уже совсем неприязненно.

Весь берег перед монастырем был занят, как на ярмарке, телегами и народом. Тут были и смоленские мужики в бараньих шлыках, и туляки, и полтавцы, и волжане. Многие спали под телегами, другие закусывали, умывались; говор стоял сдержанный и сливался в однообразный гул. Под этот говор я и заснул. Когда же проснулся, берег уже опустел: все были в церкви.

(Полное собрание сочинений, т. 2, с. 99—101)

БЕЛАЯ ЛОШАДЬ

Первая глава

— А и глухая же сторона наша! — весело сказал землемер своим грудным, слегка сиплым тенором.

И, наклонившись, худой волосатой рукой подсунул под сиденье тележки, стоявшей возле хуторской конторы, старые пыльные ботики, завернутые в газету.

Был теплый сухой вечер конца августа — вечер среди степных полей, таких задумчивых и мирных в засуху позднего лета, после уборки хлеба. Солнце только что закатилось за вишневым садом, окружавшим контору, и не оставило никаких красок после себя. Разве вот стало бледнее голубое однотонное небо, яснее луна на востоке, спокойнее лиловатые волнистые равнины да слышнее осторожный треск пересохших за лето стручков акации... Была во всем этом какая-то большая грусть, но землемеру и она была приятна. Все трогало его нынче, но почему — Бог знает. Это чувство, что все хорошо, все восхитительно, бывало у него после долгих томлений в астме. Но астма не душила давно, уже больше месяца.

Помещик Стоцкий, высокий белоглазый блондин в батистовой косоворотке и лакированных сапогах, посмотрел с крыльца с той благодушно-презрительной улыбкой, которая всегда появлялась у него на лице после двух-трех рюмок. Нынче их было выпито пять, и угреватое лицо бывшего семеновца стало так сизо, что редкие белые волосы, тщательно причесанные на косой ряд, казались льняными, а глаза голубовато-оловянными. И глаза эти с легкой улыбкой оглядели землемера — кожаную куртку на шитой малоросской рубахе, штаны, заправленные в сапоги, по-цыгански загорелое и волосатое лицо с добрыми блестящими глазами, черную с проседью бороду... Кивнув работнику, державшему под уздцы коренника, помещик ответил:

— Глухая-то глухая, а вот голову кореннику надо опустить.

Но землемер замахал руками.

— Ни Боже мой! — поспешно и весело сказал он мягким грудным голосом.— Люблю, грешный человек, с шиком проехать. Вот свернем на дорожку, да и с Господом.

— Да и курите же вы! — вставил помещик равнодушно.

— И покурить люблю! — ответил землемер, привычным жестом доставая из бокового кармана камышовый мундштук и старый серебряный портсигар с Московским Кремлем на крышке.

И, быстро крутя папиросу, еще раз оглядел тележку.

Да, все в исправности! Чуйка на сиденье, сундук с причиндалами — под козлами, тренога — сзади. Про лошадей же и говорить нечего. С закрученными в узлы хвостами и с задранной мордой коренника — прямо щеголи: час езды до неба!

— И стало быть, прощения просим! — сказал землемер, сняв белый, пропотевший по околышку картуз и по-военному щелкнув каблуками.— Тысячу рублей денег и детей кучу! Дай, Боже, и на лето то же.

Вынул и помещик свой портсигар,— плоский, с оранжевым жгутом, с монограммами вкривь и вкось,— и, постукивая мундштуком папиросы о крышку, мутно усмехнулся.

— Живы ли еще будем, господин хороший! — сказал он.

— Что? — воскликнул землемер, поднимая большие черные брови.— Да ни за что не умру! Вы там как себе хотите, а я — пас. Нет на то моего полного согласия.

— Нас с вами не спросят,— сказал помещик.

— А без спросу — это уж не тае... не годится.

— Не годится-то не годится,— сказал помещик,— а признайтесь-ка, потрухиваете небось? Недаром не любите разных там пятниц, понедельников и тому подобного...

Землемер сдвинул кистью руки картуз на затылок и слегка нахмурился.

— По совести сказать, не знаю,— ответил он, глядя в землю.— Боюсь, если говорить правду, всю жизнь — и весьма основательно боюсь. В хоре пел, по покойникам читал, а не привык вот...

— То есть как по покойникам? — спросил помещик.— Разве вы из духовных?

— Отчасти,— сказал землемер.— Дед — дьячок, отец — землемер, а я, верно, в деда. В молодости чуть не всю Библию наизусть знал. Теперь забывать стал...

— Стара стала, слаба стала,— вставил помещик армянским голосом.

— Да нет,— простодушно возразил землемер.— Мне ведь всего сорок пятый. А вот — астма! Помните в Долгом коричневого рогатого черта на алтарной двери? Лежит с высунутым языком, а Гавриил наступил ему на грудь и копьем его... Так вот и смерть: наступит, а ты вывертывайся!

— Ох, какая чертовщина! — прибавил он, закрывая глаза.— Гроб, свечи, венчик... А потом — погост, ночь, холод, темь, лозинки от ветра гудут... А ты лежишь без шапки, в одном сюртучке, весь гнилой, лиловый... Эх, умирать бы по-птичьему, по-звериному!

— Ну, это уж философия,— сказал помещик.— Звери тут ни при чем. Зверь издох — и дело с концом.

— Вот именно! — воскликнул землемер.— Попроще, понимаете, надо! Я, конечно, в этих штуках — как крот в соломе, но что такое смерть? «Я, Чувиль, веселая...»

Работник, державший лошадей, засмеялся и деликатно отвел глаза в сторону.

Засмеялся и помещик.

— Это еще что за Чувиль такой?

— Да сказка такая есть,— ответил землемер с рассеянной улыбкой.— Жил-был, понимаете, какой-то Чувиль, и выросли у него на яблоньке золотые яблоки. Ну конечно, с ума сошел мужик, стережет пуще зеницы ока... И вдруг в одну прекрасную ночь — шасть к нему в сад Баба-Яга. Нос крючком, голова сучком, но веселая-развеселая! «Дай яблочка...» Оробел мужик, тряхнул яблоньку... «Нет, ты, говорит, из ручки в ручку дай!» И цап его за руку да в лес, в избушку. А в избушке сидят, понимаете, девки ее простоволосые: Аленка и Акулька. Вот Яга и говорит этак беспечно: «Сжарь-ка мне, Аленушка, Чувиля к ужину, а я пока по делу сбегаю...» Сейчас Аленка к печке, разжарила ее — чертям тошно, посадила мужика на лопату — и трах в огонь! Да не тут-то было! Уперся мужичишка боком, никак не всунет его Аленка. «Что ж ты, говорит, не лезешь?» — «Да я не умею,— ты научи,

как сесть-то».— «У, дурак, да вот так-то!..» А Чувиль шмыг ее в печь!

— Да и говорун же вы! — сказал помещик.— Вот у нас в полку был некто Шахов, не хуже вас: уморительный субъект.

— Ну-с,— не слушая, продолжал землемер,— та же самая история происходит и с Акулькой...

— Позвольте,— перебил помещик,— я не понимаю: опять, что ли, мужик девку зажарил?

— Ну конечно! — воскликнул землемер.— Да суть-то не в том, а в том, что все-таки добралась Яга до мужика. Посадила на лопату, тащит в печь, да еще и посмеивается: «Уж и легок же ты, мужик!» — «А ты кинь,— говорит мужик,— авось навек не налопаешься!» — «Да мне и лопать-то не хочется...» — «Вот те на! Так чего ж тебе хочется?» — «А поиграть да силу твою попробовать: я ведь, Чувиль, веселая!..»

— Хороша, стерва, веселая! — сказал помещик.

Землемер помолчал, рассеянно глядя в землю, и вдруг засмеялся.

— Действительно! — подхватил он, смеясь и думая о чем-то своем.— Действительно! Есть, знаете, у нас в Долгом лавочник и ростовщик, Иван Павлов... Плут первостатейный, но деликатен — на редкость. Ростом под потолок, сюртук — по щиколотки, глаза косые, томные... И вот умирает в прошлом году у нашего попа сын... Является Иван Павлов, краснеет, как девица, и говорит: «Имею честь, батюшка, поздравить с новопреставленным!»

— Это великолепно! — воскликнул помещик.— Имею честь поздравить с новопреставленным!

— Так вот,— докончил землемер,— мне все и лезет в голову: задохнешься ночью, а Иван Павлов войдет этак вежливо, поздоровается со всеми за ручку — и радостно поздравит... Но, однако, пора и честь знать. Доброго здоровья, Николай Николаевич! Спасибо за ласку.

— Прощайте, Егор Гаврилыч,— сказал помещик.— Не забывайте.

— Не прощайте, а до свидания! — шутливо подчеркнул землемер, разбирая вожжи.

И легко вскочил в тележку.

Работник посторонился, и лошади сразу тронули рысью. Помещик посмотрел на широкую и слегка сутулую

спину землемера и вдруг, посинев от натуги, заорал не своим голосом:

— Домой!.. Дом-мой, тебе говорят!.. Тишка, лови!

Землемер обернулся и увидал со всех ног бегущего работника. Оказалось, что пегий легаш Кадо выскочил из окна и кинулся следом за тележкой. Но, услыхав крик, тотчас же прижался к земле и виновато пополз в сторону. Землемер посмотрел, как работник ловил собаку за ошейник, и засмеялся, как ребенок.

«Боже, что за чудесный пес!» — подумал он с нежностью.

А лошади уже вынесли тележку мимо картофельных ям и старых ометов в поле.

Последние (восьмая и девятая) главы

Вечером на столе горела лампа под абажуром из розовой бумаги и стояла миска со щами. Марья Яковлевна медленно и аккуратно ела, вся поглощенная думами о капусте, а дети щипали друг друга за ноги, вскрикивали от боли, хохотали и хватали друг у друга из тарелок, расплескивая по столу. Землемер, сгорбившись, сидел с дымящимся мундштуком в руках и глубоко затягивался.

Возня детей волновала его, и он глядел на них почти с ненавистью. Руки у него дрожали, глаза лихорадочно блестели, темя ломило, сердце трепетало, в груди, где-то глубоко внутри, чесалось... Было похоже на отравление табаком, на угар.

— Я не буду ужинать,— сказал он, вставая,— лягу спать сейчас, вели не шуметь детям...

И затворился в кабинете.

Там он сел в кресло, согнувшись и крепко, с цепкостью сумасшедшего, стиснув ледяными пальцами ручки. Рот его изредка раскрывался, со свистом ловя воздух, блестящие глаза были расширены. Лицо посинело от натуги, и поседевшая борода казалась страшной.

Потом, собрав все силы, с поднятыми плечами, он стал жечь на свечке селитренную бумагу и жадно втягивать едкий дым ртом и ноздрями.

Стало немного легче, и тогда он поспешил раздеться, дунул на свечку и тотчас же забылся в наступившей темноте.

Но темнота начала сгущаться, чернеть и давить грудь.

Он сделал усилие, вздохнул и перевернулся на бок. Черная темнота заколебалась, поплыла, и колокольня, обозначившаяся в ней, стала наклоняться, наклоняться — и вдруг вся рухнула на него. Он барахтался, силясь освободиться от сыплющихся на него камней, пыли, известки,— и наконец, глухо, по-животному, заревев всем нутром, раскинул их. Раскинул — и, весь в ледяном поту, с трепещущим сердцем, порывисто сел на постели... Нужно было нашарить в темноте коробку со спичками, поскорее зажечь свечу и закурить черную, пахнущую горящим веником сигару «Эспик»... По крыше шумел проливной дождь, и этот шум, вместе с лихорадочным шумом в ушах, с каждой минутой становился все певучее, наполняясь вызывающими звуками краковяка.

Под утро землемер забылся и, свистя запухшими бронхами, крепко спал до десяти часов утра. Мирный величавый гул, от которого нежно дребезжали стекла, слышался ему сквозь сон. Он открыл глаза и понял, что это колокол: было первое октября, престольный праздник в Долгом. Нежно звенящие стекла были матово-голубые,— значит, перед утром был крепкий мороз, чистый легкий воздух, яркое небо... Землемер освежил водой свое точно заплаканное лицо. В доме было тихо,— все были в церкви,— на столе в зале стоял остывший самовар. Землемер выпил стакан теплого чаю и на минутку вышел на крыльцо,— первый раз после болезни.

Боже, какое невыразимое счастие — дышать! Думать, смотреть, двигаться — это дивно, сладко, но дышать... люди даже и представить себе не могут, чего они лишатся, утратив блаженство пить этот божественный напиток жизни!

И, сладостно слабея от душистой свежести, проникавшей до самой глубины наболевшей груди, землемер прислонился к двери.

На крыльце — яркое радостное тепло, из палисадника тянет холодком сырой земли и вялым ароматом гниющих цветов и листьев. Противоположная сторона улицы еще в тени, и в прозрачном воздухе так близки кажутся голубовато-белые стены мазанок. Ветви лозин за ними уже голы и четко рисуются на чистой лазури... Какой простор сияет теперь за селом, в степи,— на мерзлых кочковатых дорогах, на озимях, над которыми дрожат острые крылья ястребков и кобчиков! Но стоять было трудно, воздух пьянил и резал грудь.

Он повернулся и столкнулся с Василисой, выносившей из дому медный поднос с самоваром и чашками. «Вот здоровье!» — острой завистью мелькнуло у него в голове. Не то кукла, не то истукан какой-то! Черные глаза бессмысленно блестят, лицо сизо от густого румянца и цинковых белил, бордовое шерстяное платье, неуклюже сшитое по моде и надушенное «персидской сиренью», чуть не трещит по швам, в черных волосах краснеет бумажная роза, на шее разноцветные бусы...

— С праздником, барин! — сказала Василиса бойко.— Чуть было не задавила вас!

И ловко захлопнула дверь ногою.

А в зале, на высоком стуле возле стола, сидел Котик, ел с блюдечка яйцо всмятку и таращил глаза, засовывая в рот чайную ложечку. За столом стояла недавно нанятая нянька, бедная мещанка Пелагея, очень худая и высокая, с длинным лицом, с длинными зубами, в темном старушечьем платье горошком, и говорила печально и рассеянно:

— Вы, батюшка, яичка-то поменьше, а хлебца побольше,— вот и сыты будете...

В одиннадцать пришли из церкви дети и Марья Яковлевна, нарядные, церемонные,— как гости. Марья Яковлевна — в лиловом шелковом платье, маленькой старомодной шляпке; девочки, бледные, некрасивые,— обе в розовом, Павлик, стройный, хорошенький,— в темно-синем суконном костюмчике, похожем на матросский. И только один Павлик вошел в комнату бодро, блестя черными злыми глазками. А девочки и Марья Яковлевна еле двигались.

— Ах, Боже мой! — жеманно сказала Марья Яковлевна, поставив в угол зонтик и развязывая под подбородком ленты черной корзиночки, чуть державшейся на макушке ее прилизанной головы с широким пробором.

И девочки, крутя головками, томно повторили в один голос:

— Ах, Боже, какая духота была в храме!

— Давайте поскорее обедать,— сказал землемер, чувствуя отвращение ко всему своему дому.

Есть не хотелось, но чем, кроме еды, наполнить долгий праздничный день в этом скучном и противном домишке, где интересен только один черноглазый Павлик?

«Я зол, измучился за ночь»,— подумал землемер и с тяжелым камнем на сердце лег в постель.

Но сердце дрожало, замирало, и, как только землемер закрыл глаза, постель полетела в бездну. Он с трудом приподнялся, снял пиджак, ситцевую рубашку и швырнул в угол жаркую лисью курточку. Но и рубашка была противна: еще ни разу не мытая, горячая, с запахом галантерейной лавки. От этого запаха тошнило и ломило голову... Потом поднялся мучительный затяжной кашель с насморком... И замученного землемера охватила страстная жажда смерти, нечеловеческого вздоха, от которого сразу лопнуло бы сердце... С этой жаждой он и забылся.

В три часа он внезапно очнулся, услыхав какую-то возню в зале, и слабо крикнул:

— Кто там?

Но никто не отозвался.

Марья Яковлевна ушла с детьми в гости к становому. Прислуга была за воротами. И в душе вдруг так ясно, так отчетливо послышались резкие ухабистые звуки, хриплые басы и альты аристона, играющего краковяк, что на голове зашевелились волосы. И опять с ужасающей яркостью представилась белая лошадь, вошедшая в темнеющий зал.

«Боже, какой вздор! — подумал землемер, закрывая глаза и силясь освободиться от этого нестерпимо живого образа.— Боже, какое издевательство!»

Вдруг что-то стукнуло. По столу мелькнул длинный хвост большой серой крысы. Землемер затаил дыхание и стал поджидать, что будет дальше.

«Придет или нет? — думал он, дрожа всем телом.— Если придет, значит, нынче конец мне!»

И, не дождавшись, снова заснул глубоким сном. А когда открыл глаза, весь похолодел от страха: в комнате почти темно, тишина гробовая, а крыса стоит на столе на задних лапках, задом к окну, и пристально смотрит на постель... Ушки подняты и розовеют на свет... Значит, конец! Он спал, как спят перед казнью!

И, весь дрожа от страха и холода, землемер уронил голову на подушку.

— Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей! — пробормотал он умоляюще-бессильно.

Он представил себе свое детство, младенчество — и почувствовал невыразимую жалость к этому бедному

маленькому осленку, неизвестно зачем пришедшему в мир и осмелившемуся мудрствовать. Что ответит ему Бог в шуме бури? Он только напомнит безумцу его ничтожество, напомнит, что пути Творца неисповедимы, грозны, радостны, и разверзнет бездну величия своего, скажет только одно слово: я — Сила и Беспощадность. И ужаснет великой красотой проявления этой силы на земле, где от века идет кровавое состязание за каждый глоток воздуха и где беспомощней и несчастней всех — человек.

— Кто сей, омрачающий Провидение словами без смысла? — вспомнил он страшные слова, звучавшие когда-то в шуме бури.— Препояшь ныне чресла свои, как муж: Я буду спрашивать, а ты отвечай Мне...

— О, какая красота! — сказал землемер, и горячие слезы выступили из-под его ресниц.

— Знаешь ли ты время, когда рождают дикие козы на скалах? Они изгибаются, рождая детей своих, а дети их приходят в силу, растут в поле и не возвращаются к ним. Знаешь ли ты, кто разрешил узы онагру, которому степь я назначил домом, а солончаки жилищем? Захочет ли единорог служить тебе и переночует ли у яслей твоих? Ты ли дал перья и пух страусу? Он оставляет яйца свои на песке и забывает, что полевой зверь может растоптать их. Он жесток к детям своим, как бы не своим...

— Все сила, сила и — звериная свобода! — воскликнул землемер, садясь на постели и почти видя в темноте перед собой свою гибель, свою смерть — белую лошадь с дико-веселым, вызывающим и беспощадным взглядом.

— Храпение ноздрей ее — ужас,— с безумным восторгом вспомнил он стихи о лошади в книге Иова.— Роет ногою землю и восхищается силою. В порыве ярости глотает землю и не может устоять при звуке трубы. При звуке трубы издает голос: «Гу! Гу!» — и издалека чует битву, громкие голоса вождей и крик...

— А верх путей Его! — дерзко и громко, точно в бреду, сказал землемер.— Верх путей Его — бык Ивана Павлова... бегемот... левиафан...

— Сила в чреслах бегемота и крепость в мускулах его. Поворачивает хвостом своим, как кедром. Жилы же на бедрах его переплетены. Ноги у него, как медные трубы. Кости у него, как железные прутья. Это — верх путей Божиих.

— *Астма Ты,*— сказал землемер, блестящими бешеными глазами глядя в темноту и свистя бронхами.

Ночью в тусклом воздухе кабинета тускло горела лампа. Тяжело пахло холодным дымом сигар и жженой бумаги. Землемер, с опухшим пятнистым лицом, с расширенными черными глазами и густой белой бородой, в разорванной сверху донизу рубашке, полулежал на высоко взбитых подушках. Грудь его, покрытая седеющими курчавыми волосами, была в круглых кровоподтеках: вернувшаяся в десять часов от станового Марья Яковлевна нашла его без сознания и поставила ему банки, зажигая вату и быстро прикрывая стаканами... Стало легче, и он уговорил Марью Яковлевну идти спать. И в доме, после суматохи и беготни, наступила тишина.

В полночь землемер привстал с постели, потушил лампу и закрыл глаза в смертельной жажде отдыха. Но лампа внезапно зажглась снова — сама собою. От страха у землемера опять заколотилось сердце, и он опять пошел тушить ее. И увидал, что он в людном дымном вагоне, бегущем среди зыбких снежных полей,— лежит на диване и смотрит на кавалериста-офицера, сидящего напротив. Офицер молод, красив и крепко-крепко затянут в рейтузы и смешно короткий китель. Глаза у него блестят, губы яркие, короткие курчавые волосы черны как смоль. Усики маленькие, нахальные. И, нахально наклоняясь к землемеру, офицер глухо кричит ему на ухо:

— Вы все-таки счастливец! Скоро приедете!

И, наклоняясь все ниже и ниже и чувствуя, что землемер почти не слышит его, кричит еще громче и еще невнятнее:

— А надо вам сказать, что я безумно люблю свою жену...

Но землемер с отчаянием чувствует, что не слышит его. По лицу офицера видно, что он кричит,— но голоса не слышно. И, задыхаясь от напряжения, землемер вскочил и побежал к воротам скотного двора, упал на землю и нырнул в подворотню, но ворота тотчас же осели — и стопудовой тяжестью притиснули его к земле. Он крикнул и сделал нечеловеческое усилие освободиться... И, вскочив с постели, кинулся к окну, за которым белел рассвет, и с размаху ударил ладонью в раму. Рама распахнулась, в комнату ворвался свежий сырой воздух, но

землемер не успел глотнуть его: он упал в кресло и так и остался на месте с закинутой назад головой, выкатившимися белками и раскрытыми посиневшими губами... И долго тянуло в эти раскрытые губы холодной пахучей сыростью ненастного осеннего рассвета...

А в полдень, когда землемер уже спокойно лежал на столе, на сене, застланном простынею, вымытый, причесанный, в сюртуке и крахмальной рубашке, в зал на цыпочках вошел Иван Павлов, поклонился ему до земли, поцеловал в ледяной лоб, в лиловатые выпуклости закрытых глаз и, увидав выходящую из кабинета заплаканную Марью Яковлевну, вежливо, кротко и радостно сказал:

— Имею честь поздравить с новопреставленным.

(Полное собрание сочинений, т. 4, с. 49—53, 70—76)

МАЛЕНЬКИЙ РОМАН

Последняя глава

Были зимне-весенние сумерки, только что начало таять. Я вышел из села, перешел железную дорогу, вскинул ружье на плечи и пошел целиком.

За Каменкой я сбежал с горы в луга, к нашему лесочку «Ключики». Хотелось сделать что-нибудь необыкновенное, и, дойдя до караулки, я постучал в окошечко. Вышел Сибирка, рябой, широкогрудый и приземистый мужик в косматой волчьей шапке.

— Вот, Сибирка,— сказал я ни с того ни с сего,— получил я нынче письмо: помер один мой приятель. Дома скука, хочу у тебя переночевать.

Сибирка тряхнул шапкой, зорко глянул мне на ноги.

— Что ж,— сказал он,— царство небесное, вечный покой. Все помрем, да не в одноё время.

И сейчас же попросился домой сбегать, ребятишек проведать.

Я согласился и прибавил:

— Ехал я домой, Сибирка, было мне вроде как восемнадцать лет. А теперь мне сорок.

— Горе-то хушь кого смотает,— отозвался Сибирка.

И, кивнув головой, зашагал по темной тропинке, убегавшей в дубняк, по оврагам.

Скоро его коротконогая фигура слилась вдали с сумраком, скрылась за изгородью пустого пчельника в разлужье, где из снега торчали ульи, прикрытые корой и похожие на грибы. И такая тишина была в теплом зимнем воздухе, что хотелось закрыть глаза и стоять так долго, долго... И неподвижно сидели и сонно жмурились у ног моих собаки,— черный в белом жилете Цыган и остромордый рыжий Волчок в своей пушистой шубке.

Стал падать снежок, вывел меня из оцепенения,— и мрачно взглянула на меня пустая изба, когда я отворил

ее тяжелую, потную дверь. Низкая, просторная, с маленькими окошечками и огромной широкоплечей печью, она производила впечатление жилища почти дикого. Дубки уже гудели в белесой темноте за нею. Возвращалась зима. И когда я зажег в печи лучины, поставил на них таганчик и чугун с водою и вышел в сени за хворостом, навстречу мне понесло свежестью метели. Нервно хотелось работать, и, прозябнув в сенях, я с наслаждением вбежал опять в избу и крепко прихлопнул ее черную, липкую дверь.

Изба наполнялась душистым запахом сырых дубовых дров, сказочно была озарена яркой пастью печки. Длинные оранжево-красные языки вырывались из нее,— дрожа, переплетаясь, бежали и лизали устье, и стены, покрытые сажей от топки по-курному, трепетно блестели, как смоляные. Черно-бархатная кошка примостилась на конце широкой лавки у загнетки, ежилась, мурлыкала и жмурилась. Красный голенастый петух, разбуженный огнем, тупо бродил по соломе в теплом кругу света. А из-под лавки зелеными самоцветами вспыхивали иногда глаза Волчка.

Чугун с кулешом меж тем нагревался. Он уже шипел и запевал задумчивыми жалобными голосами. Дикой красотой старой русской сказки притягивала к себе широкая ярко-цветная игра пламени. И, присев на дубовый обрубок среди полутемной избы, я долго смотрел на бегущие оранжевые ленты.

— Умерла! — говорил я себе — и, вздрагивая, смеялся.

Черный хлеб был липок, как замазка, от чугуна воняло салом, но ел я с жадностью. Свет замирающего пламени дрожал под низким потолком, озарял то окно, то покоробленную доску иконы, стоявшей в переднем углу на лавке. Образ был суздальский, большие косые глаза Кого-то, похожего на Будду, были страшны в этом мерцании... Страшны пути Твои, Господи!

Я настелил на лавке соломы, кликнул в избу Цыгана, кинул в изголовье полушубок... Собаки подошли, посмотрели и, с визгом зевая, легли... И все вокруг стало тихо и печально.

Чтобы не угореть, я не закрыл трубы и не задвинул печку заслонкой. Дрова прогорели, свет медленно меркнул. На мгновение в сумраке у дверей мне померещилась высокая темная фигура...

— Цыган! — слабо крикнул я, приподнявшись, с застучавшим сердцем.

Цыган перекосил и насторожил ухо. Насторожился и Волчок. Однако, прислушавшись, оба поглядели на меня и успокоились. «Спи, никого нет»,— сказали мне эти взгляды.

Но красноватая темнота все сгущалась. На мгновение со страшной живостью увидел я *ее* на лавке против печки. Она была в короткой юбке, свет углей освещал ее ноги. Приподняв руки, она поправляла волосы и, ласково глядя мне в лицо, беззвучно смеялась... Нежность, боль и ужас охватили меня...

Темнота подошла к устью, и последний уголек на загнетке глядел в нее, подобно закрывающемуся глазу. Вот и он померк... Ветер шуршал по завалинке, заносил снегом окошечки. Окошечки тускло серели... Кто-то подошел и заглянул в одно из них... Чья-то высокая тень промелькнула и скрылась...

Я знал: это оборвавшаяся притуга. Но тяжело и страшно было мне, как в могиле. То, что так радостно сыпало дождем сквозь солнце под Москвою, что так вольно звало вдаль над Ляй-Лю, теперь смотрело в окошечко таким тусклым, тусклым оком!

(Полное собрание сочинений, т. 4, с. 89—91)

ПТИЦЫ НЕБЕСНЫЕ

Последняя глава

Лежало оно вниз лицом. Подняли его в тот же день, в обед. Но какой-то зверек уже успел изгрызть ему шею.

Станового оно дожидалось в холодной избе старосты. Постелили на полу соломки — и положили...

Закопали просто и равнодушно.

Взглянуть на него студент не решался. Пошел только к выносу, к церкви. Опять был морозный ясный вечер, опять блестел крест в зеленоватом небе. На крыльце сторожки, возле ворот церковной ограды, без шапки стоял лысый сторож, георгиевский кавалер, и с азартом в сотый раз рассказывал студенту о том, как он был под «Кискинтинополем».

— А боялся ты на войне? — спросил студент.— Смерти-то боишься?

— Смерти-то? Чего ж ее бояться? Двум смертям не бывать, одной не миновать! — бойко ответил сторож.

— Эко-ся! — сказал студент, подделываясь под его тон.— А ну-ка да нет там ничего,— на том свете-то?

Сторож подумал, хитрыми глазами глядя в землю. И вдруг быстро и восторженно срезал его:

— Так. А кто ж колчег-то строил?

Студент опешил. «Какой такой колчег? Ковчег, что ли?» — хотел спросить он. Но сторож уже заметил, что срезал.

— Вот то-то и оно-то! — воскликнул он восторженно.

«Дикарь!» — подумал студент с сердцем и отвернулся.

Наконец показалась небольшая толпа: несколько человек, без шапок, низко несли на полотенцах огромный тесовый гроб. Ударили в колокол. Подкатили козырьки с высоким и сутулым дьяконом и седобородым попом в теплой скуфье.

— Поживей, ребятушки, поживей! — бодро крикнул поп, выпрастывая из козырьков ногу в большой калоше.

И тащившие гроб почти бегом, спотыкаясь под тяжестью, дружной толпой кинулись в ворота среди девок и мальчишек. Студент, с застучавшим сердцем, приподнял картуз и покосился на коленкор, закрывавший лицо этого странного, всем чуждого покойника.

Вдруг из-под горы показался мужик, лохматый, тоже с раскрытой головой,— с детским гробиком под мышкой. Он бежал и весь сиял от радости.

— Разрешил! — крикнул он сторожу и, добежав до церковной ограды, остановился перевести дух.— Дьякон было уперся, а батюшка и слова не сказал!

Сторож хлопнул себя по ляжкам и вытаращил слезящиеся глаза.

— Да что ты? Ну, значит, магарыч! Только что ж ты, дурак, с гробом-то бегал?

Мужик заволновался.

— Чудак человек! Да ты ж сам болтал,— не велит, мол, батюшка без спросу в церковь ставить... Да и тяжести-то всего два фунта.

— А в чем дело? — спросил студент.

— Да в том дело, что уж очень ловко линия мне вышла,— радостно сказал мужик.— То бы мне, значит, для девчонки-то могилку рыть, да батюшку, али, скажем, хоть отца дьякона тревожить, да то, да се, а тут так ловко вышло, что поставлю я ее с Господом на этого самого странничка — и шабаш!

— Ну вот, к тому я и говорю,— перебил сторож.— К тому и веду, что магарыч с тебя на радостях.

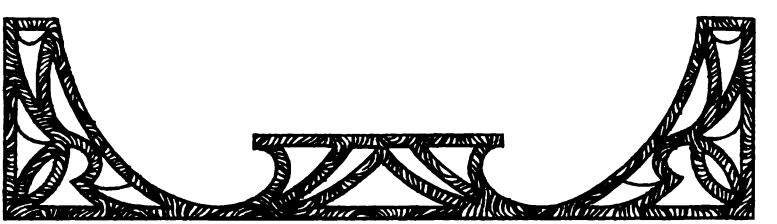
— За мной, брат, не пропадет,— пробормотал мужик, поворачиваясь к воротам.

Долго казалась студенту странной безыменная могила, выросшая на погосте за церковью. Все вспоминались высокий костыль, черные глаза, прядь длинных волос. Хотелось написать рассказ... Но ведь столько уже написано об этих замерзающих! Хотелось озаглавить зло и резко: «Дикари». Но дикари ли? Да и смущал, трогал детский гробик, случайно попавший в эту могилу, на чей-то бестолково-огромный, всем чужой гроб... Разве это выразишь?

(Полное собрание сочинений, т. 4, с. 97—99)



КОММЕНТАРИИ





Проза Бунина 1890—1900-х гг. издавалась в сборниках, выходивших с 1897 г.; основные из них:

1. Бунин Ив. А. На край света и другие рассказы. Издание О. Н. Поповой, СПб., 1897. Напечатаны:

«На край света», «На даче», «Фантазер», «Вести с родины», «Танька», «На чужой стороне», «Кастрюк», «Тарантелла», «На Донце».

2. Бунин Ив. Рассказы. СПб.: изд-во «Знание», 1902.

3. Бунин Ив. Перевал и другие рассказы. М.: Московское книгоиздательство, 1912.

В 1915 г. вышло «Полное собрание сочинений И. А. Бунина», т. 1—6, издание товарищества А. Ф. Маркс, Петроград. Оно включает и произведения 1890—1900-х гг.

В эмиграции Бунин издал ранние рассказы — и внес некоторые изменения в их текст —в книге: Начальная любовь. Прага: Славянское издательство, 1921.

Неоднократно выходили дешевые издания для народа, в том числе — в серии книг «Библиотека-копейка» и «Народношкольная библиотека». «Велга» напечатана отдельным изданием с иллюстрациями (М., 1901).

Некоторые рассказы после стилистической правки и с измененными заглавиями были опубликованы в эмигрантских газетах 1920—1930-х гг.

Рассказы настоящего тома не были включены Буниным в «Собрание сочинений» изд. «Петрополис», Берлин, 1934—1936 гг., для которого он многое исправлял и сокращал в прозе и в стихах и настаивал, чтобы его произведения печатались по этому изданию, с учетом авторских исправлений 1940—1950-х гг. (экземпляры этих томов хранятся в РГБ).

В последние годы жизни Бунин все же обратился к своим произведениям 1890—1900-х гг. и правил их тексты

по экземпляру «Собрания сочинений» 1915 г. (приложение к журналу «Нива») — хранится в ИМЛИ. Но эту работу не завершил.

Выполняя волю Бунина, выраженную в «Литературном завещании» и неоднократно в письмах, не желавшего перепечатывать даже многое из того, что вошло в первые тома «нивского» издания, мы отказались при составлении настоящего тома от некоторых ранних рассказов, не включенных Буниным в это издание и перепечатанных в изданиях изд-ва «Художественная литература» 1965 и 1987 гг.



СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РГБ — отдел рукописей Российской государственной библиотеки.

Дневник — Устами Буниных. Дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и другие архивные материалы / Под ред. Милицы Грин: В 3 т. Т. 1. Франкфурт-на-Майне: изд-во «Посев», 1972.

«Жизнь Бунина» — Муромцева-Бунина В. Н. Жизнь Бунина. Париж, 1958.

«Материалы» — Бабореко А. И. А. Бунин: Материалы для биографии с 1870 по 1917. 2-е изд. М.: Художественная литература, 1983.

ИМЛИ — Институт мировой литературы им. М. Горького Российской Академии наук.

ЛН — Литературное наследство. Т. 84. Кн. 1. М.: Наука, 1973.

«На край света» — Бунин Ив. А. На край света и другие рассказы. Издание О. Н. Поповой, СПб., 1897.

«Начальная любовь» — Бунин Ив. Начальная любовь. Прага: Славянское издательство, 1921.

«Перевал» — Бунин Ив. Перевал и другие рассказы. М.: Московское книгоиздательство, 1912.

Полное собрание сочинений — Бунин И. А. Полное собрание сочинений, т. 1—6, издание товарищества А. Ф. Маркс, Петроград, 1915.

РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ
1892—1909

Перевал (стр. 13).— Журн. «Русская мысль». М., 1901, № 8. Печатается по тексту *Полного собрания сочинений.*

Танька (стр. 16).— Журн. «Русское богатство». СПб., 1893, № 4. Печатается по тексту *Полного собрания сочинений.*

В «Автобиографической заметке» 1915 г. Бунин писал:

«...Первый же рассказ (без заглавия) послал в «Русское богатство», руководимое тогда Кривенко и Михайловским. Михайловский написал, что из меня выйдет «большой писатель», и рассказ, под чьим-то заглавием — «Деревенский эскиз» — был напечатан...»

Стр. 16. *Ко́ник* — лавка для спанья.

Стр. 18. *Чи́чер* — резкий, холодный ветер.

Стр. 20. *Кстины́* — крестины.

Стр. 21. *Козырьки́* — маленькие санки, одиночные и без полсти.

Стр. 24. *«Зоренька».*— Бунин делал многие фольклорные записи, а также кое-что выписывал из сборников народного творчества. Одну из песен о зореньке выписал из «Песен, собранных П. В. Киреевским» (ЛН, 403).

Кастрюк (стр. 25).— Журн. «Русское богатство». СПб., 1895, № 4, с подзаголовком «Очерк». Печатается по тексту *Полного собрания сочинений.*

Горький рекомендовал Н. Д. Телешову включить этот рассказ в сборник произведений для народа.

На чужой стороне (стр. 35).— Журн. «Мир Божий». СПб., 1895, № 4, под заглавием «Святая ночь». Печатается по тексту *Полного собрания сочинений.*

На хуторе (стр. 40).— Журн. «Русское богатство». СПб., 1895, № 5, с подзаголовком «Очерк». В сб. «На край света» и в книге «Рассказы», изданной «Знанием» в 1904 г., рассказ печатался под заглавием «Фантазер». В последующих изданиях Бунин восстановил первоначальное его название. Печатается по тексту *Полного собрания сочинений.*

Образ «тетеньки», старой девы, которая «от несчастной любви сошла с ума», получил дальнейшее развитие в «Суходоле»: «тетя Тоня», подобно героине рассказа «На хуторе», также пережив драму любви, «тронулась» и в каком-то экстазе играла «Полонез Огинского».

14 декабря 1895 г. Бунин подарил Чехову — вскоре после знакомства с ним — оттиск рассказа «На хуторе», с надписью: «Антону Павловичу Чехову в знак глубокого уважения и искреннего сердечного расположения.— Бунин» («Жизнь Бунина», с. 95).

Горький находил, что в рассказе «Фантазер» Бунин подражает Чехову (Горький М. Собр. соч.: В 30 т. Т. 28. С. 77). Подобные суждения Чехов считал нелепостью и говорил Бунину:

«Ах, как это глупо! Ах, как глупо! И меня допекали «тургеневскими нотами». Мы похожи с вами, как борзая на гончую. Вы, например, гораздо резче меня» (ЛН. Т. 68. М., 1960. С. 406).

Вести с родины (стр. 45).— Журн. «Русское богатство». СПб., 1895, № 6, под заглавием «Неожиданность». Печатается по *Полному собранию сочинений.*

В дневнике за 1893 г. Бунин отметил: «Осенью в Полтаве писал «Вести с родины...» (*Дневник*, с. 24).

По словам В. Н. Муромцевой-Буниной, в этом рассказе «выведен крестьянин, друг детства, отрочества и ранней юности автора, умерший во время всероссийского голода» («Жизнь Бунина», с. 84).

На край света (стр. 53).— Журн. «Новое слово». СПб., 1895, № 1, с подзаголовком «Из записной книжки». Печатается по книге «Начальная любовь».

В дневнике 1894 г. Бунин отметил:

«Летом ⟨...⟩ поездка на отправку переселенцев с Зверевым. Написал «На край света» (*Дневник*, с. 26).

Статистик Зверев из Полтавской земской управы, где числился на службе Бунин, пригласил его «поехать с ним на переселенческий пункт, откуда чуть ли не все село отправилось в Уссурийский край. Он под свежим впечатлением, что с ним бывало редко, написал рассказ: обычно деревенские рассказы он писал в Полтаве, а украинские в деревне, но тут он сделал исключение. ⟨...⟩ Озаглавил его «На край света» («Жизнь Бунина», с. 86).

Рассказ этот с большим успехом Бунин читал в первое свое выступление на литературном вечере, в котором участвовали известные писатели: Н. К. Михайловский, Д. Н. Мамин-Сибиряк, З. Н. Гиппиус, Д. С. Мережковский. Это выступление Бунина было в Петербурге «в знаменитом зале «Кредитного общества». 21 ноября 1895 г. Бунин вспоминал:

«Незадолго перед этим, в первой книжке народнического журнала «Новое слово» под редакцией С. Н. Кривенко, одного из бывших столпов «Отечественных записок», я напечатал рассказ «На край света»,— о переселенцах. Рассказ этот критики так единодушно расхвалили, что прочие журналы стали приглашать меня сотрудничать, а петербургское «Общество попечения о переселенцах» даже обратилось ко мне с просьбой приехать в Петербург и выступить на литературном вечере в пользу какого-то переселенческого фонда. И вот я в Петербурге,— в первый раз в жизни,— и отправляюсь на этот вечер. Беру почему-то лихача и несусь среди огней и блеска великолепного

морозного Невского» (Бунин И. А. Собр. соч.: В 6 т. М., 1988. Т. 6. С. 567).

Критик А. М. Скабичевский писал об этом рассказе: «Давно уже не появлялось у нас ничего столь поэтичного, художественного, столь хватающего вас за сердце» (Новости, 1895, 26 октября).

Газета «Сибирь» (СПб., 1897, № 17, 7 февраля) назвала рассказы «На край света» и «Кастрюк» «довольно редким явлением в нашей народной и детской литературе».

Рецензент журнала «Мир Божий» (1897, № 2) говорит о художественной чуткости автора, удерживающей его от фальшивой сентиментальности, для которой «тема представляет благодатную почву». Бунин «умеет,— пишет он,— открыть и дать нам почувствовать новые стороны в старых темах, внести в них дыхание жизни».

По отзыву «Русского богатства» (1897, № 2), рассказ «На край света» — «яркий и задушевный ⟨...⟩ сжатый и картинный, почти стихотворение в прозе по мягкому лиризму и строгой симметрии формы, сразу настраивает читателя и располагает его к малоизвестному автору ⟨...⟩. Внешней интриги в его рассказах чаще всего нет никакой, их движение — в душе их безмолвных героев. Прочитав эти рассказы, хочется сказать: да, это все правда, но уже знакомо нам — знакомо из жизни, да и из книг тоже. Но это не упрек в банальности; сам автор не вычитал своих героев из книг: мелкие, но тонкие и значительные по своему внутреннему содержанию детали, сообщающие особенную жизненность и оригинальность этим знакомым фигурам, свидетельствуют о художественной, вдумчивой наблюдательности. Отдельные картины, переносящие читателя в настроения мира неодушевленных предметов, удаются г. Бунину превосходно, несмотря на простоту средств, которые он для этого употребляет».

В статье «Русского обозрения» (1898, январь, с. 561—562) отмечалось знание Буниным деревенской жизни, крестьянской и помещичьей. «Все рассказы его (в книге «На край света».— *А. Б.*),— пишет рецензент,— проникнуты глубокою симпатией и любовью к русскому народу и свидетельствуют о верном понимании характера и нравственного облика простого русского человека,— понимании, одинаково чуждом и сентиментальному народническому культу и высокомерному презрению...»

В описаниях природы, говорится далее в статье, Бунин «проявляет незаурядную наблюдательность, тонкое чувство художественной правды и умение одним творческим словом уло-

вить и закрепить мимолетное настроение, навеваемое природой. Под его пером пейзаж оживает, приобретает красоту и колоритность, становится близким и понятным читателю».

Л. Е. Оболенский, критик, публицист и философ, издатель-редактор журнала «Мысль», писал о прозе Бунина, составившей книгу «На край света»: «Сколько здесь тонких черт, жизненной правды, художественного чутья и глубокой поэзии! Каждая страница, каждая строка веет жизнью, пахнет лесом, лугом, снежной степью, деревней». По его словам, книжка Бунина «доказывает, что талант его растет и крепнет. По складу своему этот талант представляет как бы сочетание таланта Ант. Чехова с глубокой вдумчивостью и общественной отзывчивостью Гаршина. Этим я не хочу сказать, что талант молодого писателя не оригинален. Наоборот, с первых же строк вы видите, что у автора своя собственная манера, индивидуальность,— что он никому не подражает, пишет то, что диктует ему сердце, ум, любовь к народу, человеку и какое-то тихое, грустное, глубоко проницающее, но не кричащее негодование к отрицательным типам и явлениям жизни».

В 1897 г. вышло отдельное издание рассказов «На край света. Кастрюк» («Народная и детская библиотека»). Изд. О. Н. Поповой.

Святые Горы (стр. 59).— Сборник «На край света и другие рассказы». СПб., 1897, под заглавием «На Донце». Заглавие «Святые Горы» дано Буниным при публикации рассказа в газете «Последние новости», Париж, 1930, № 3279, 15 марта,— где он исправлен и сокращен.

В 1895 г. Бунин, путешествуя по Малороссии, побывал в Святогорском монастыре и изобразил его в этом рассказе.

Учитель (стр. 65).— Журн. «Новое слово». СПб., 1896, № 7, апрель, под заглавием «Тарантелла», с подзаголовком: «Из жизни деревенской интеллигенции». Печатается по книге *«Начальная любовь»*.

Рассказ написан в Полтаве 4 августа 1894 г.

Секретарь журнала «Наблюдатель» М. М. Гербановский, бывший в приятельстве с Буниным, жившим одно время у Гербановского на Русских Фольварках, хлопотал о том, чтобы рассказ был напечатан в этом журнале, но он почему-то там не появился.

А. И. Эртель писал Бунину 27 января 1898 г. о рассказе «Учитель»: «Все тут, по-моему, совершеннейшая правда. Тип (учителя) нарисован смело, объяснен правильно, включая и его «падение»...» («Русская литература», 1961, № 4, с. 151).

Стр. 65. *«Ночной зефир // Струит эфир...»* — начальные строки стихотворения Пушкина, которое было опубликовано в альманахе «Литературный музеум на 1827 год», под заглавием «Испанский романс», с приложением нот А. Н. Верстовского.

Стр. 71. *«В глубокой теснине Дарьяла...»* — начальная строка стихотворения М. Ю. Лермонтова «Тамара», музыку к которому написал Э. Ф. Направник.

Стр. 77. *«Не шуми ты, рожь...»*— стихотворение А. В. Кольцова, без заглавия; музыка Ю. К. Арнольда.

Стр. 85. *Заньковецкая* Мария Константиновна (1860—1934) — украинская драматическая актриса и театральная деятельница. Бунин восхищался ее талантом; он писал брату Юлию Алексеевичу из Орла 15 декабря 1890 г.:

«Видел раза четыре («Пидгоряне», «Ой, не ходи, Грыцю», «Черноморци», «Дай сердцу волю») Заньковецкую ⟨...⟩ Ну, брат, Заньковецкая! Три раза плакал от нее!» (Литературный Смоленск: Альманах. Кн. 15. Смоленское книжное издательство, 1956. С. 289—290).

Мазини Анджело (1844—1926) — итальянский певец-тенор, гастролировал в России, в частности в 1879—1903 гг. Бунин писал в 1947 г., вспоминая публичное чтение рассказа «На край света» в 1895 г. в зале Кредитного общества:

«Совсем молодым я однажды был участником литературно-музыкального вечера в огромнейшем зале в Петербурге, и знаете вместе с кем? Вы не поверите! С самим Мазини, который хотя был уже далеко не молод, но был еще в великой славе и чудесно пел неаполитанские песни! И вот вылетел я на эстраду после него,— вы понимаете, что это такое: после него?» (Наука и жизнь. 1976. № 6. С. 128).

Фигнер Николай Николаевич (1857—1918) — русский певец-тенор.

«...пародии Буренина на надсоновские стихи».— Буренин Виктор Петрович (1841—1926) — поэт и журналист, фельетонист газеты «Новое время». Бунин и его брат Юлий Алексеевич «без конца говорили» о смерти Надсона, имя которого возбуждало тогда восторг «даже в самой глухой провинции»; они «возмущались вместе со всей левой Россией Бурениным, незадолго до смерти поэта грубо издевавшимся над ним в «Новом времени» («Жизнь Бунина», с. 41).

Стр. 86. *Вессель* Николай Христианович (1834—1906) — русский педагог и журналист.

Песталоцци Иоганн Генрих (1746—1827) — швейцарский педагог, основоположник теории начального обучения.

Стр. 87. *Григ* Эдвард (1843—1907) — норвежский композитор, пианист, дирижер, широко претворивший в своем творчестве норвежский фольклор.

Стр. 88. *«Белые ночи» Чайковского»* — фортепьянное произведение из цикла «Времена года».

«Какая ночь! На всем какая нега!» — строки из стихотворения А. А. Фета «Еще майская ночь».

Молитва девы — фортепьянная пьеса польского композитора Теклы Бадаржевской (1838—1862); «Молитва...» была известна под наименованием на французском языке: «La prière d'une vierge».

В поле (стр. 99).— Журн. «Новое слово». СПб. 1896, № 12, под заглавием «Байбаки», с подзаголовком «Из быта мелкопоместных». Печатается по книге *«Начальная любовь»*.

Рассказ датирован автором 1895 г. Но Бунин, по-видимому, продолжал работать над ним и в 1896 г. Он писал Ю. А. Бунину 5 ноября 1896 г.: «...пишу рассказ, Кривенко просит для декабрьской книги» *(РГАЛИ)*.

Стр. 101. *Поярковые* — из шерсти ярки, овцы по первой осени, первой стрижке (Вл. Даль).

Стр. 109. *«Что ты замолк и сидишь одиноко?»* — Как пишет В. Н. Муромцева-Бунина, эту песню любил петь под гитару отец Бунина («Жизнь Бунина», с. 33—34).

Стр. 111. *Аспид* — баснословный змей, злобный человек, скряга.

Василиск — дракон, змей.

На даче (стр. 113).— Сборник «На край света». Заглавие в рукописи было «Сутки на даче». Из чернового автографа видно, как Бунин варьировал заглавие: сперва написал «День на даче», затем слово «День» зачеркнул и написал «Сутки на даче» (Музей И. С. Тургенева в Орле); один из персонажей, Гриша, в черновой рукописи именовался Миша, а имя толстовца — Клопский.

Печатается по тексту *Полного собрания сочинений*.

Бунин предлагал этот рассказ «Русской мысли», но там он напечатан не был; редактору В. А. Гольцеву не понравился тип толстовца; к тому же, по его мнению, «написано очень живо, но эскизно». Отверг его и А. М. Скабичевский в «Новом слове» и написал Бунину, по его словам, «очень злобное» письмо. Бунин читал рассказ одному из редакторов «Нового слова» С. Н. Кривенко и его жене; *«оба в восторге»*,— сообщал он Юлию Алексеевичу 1 ноября 1896 г.

Издательница О. Н. Попова просила Бунина включить «На

даче» в сборник «На край света»; ее привлекало критическое изображение толстовца, могшее вызвать споры.

В 1893—1894 гг. Бунин, «от влюбленности в Толстого, как художника», был толстовцем. Он жил тогда в Полтаве, «прилаживался к бондарному ремеслу», посещал толстовские колонии.

Брат Бунина Юлий Алексеевич говорит в своих воспоминаниях, что И. А. Бунин «ездил в Сумской уезд Харьковской губернии к сектантам села Павло́вки для ознакомления и собеседований с ними. Сектанты эти по своим взглядам близко примыкали, как известно, к толстовскому учению». Это были «малёванцы». Они отказывались от военной службы, к православной церкви относились крайне враждебно (сжигали иконы). 16 сентября 1901 г. «малёванцы» произвели в Павло́вках бунт — разгромили церковь, которая была одновре́менно и школой. За это их отправили в тюрьму в г. Сумы.

В самом конце 1893 г. Бунин уехал из Полтавы в Харьковскую губернию к толстовцам хутора Хилко́во, принадлежавшего известному толстовцу князю Д. А. Хилкову,— от Павло́вок в 4—5 километрах. Прожил здесь дня три-четыре. Оттуда он отправился в Москву к Толстому, о встрече с которым давно мечтал. Посетил Толстого в один из дней между 4 и 8 января 1894 г.

Скоро увлечение Бунина толстовством кончилось, сам Толстой, писал он впоследствии, «и отклонил меня опрощаться до конца».

Стр. 114. *Замашная рубаха* — сотканная из замашки — пряжи, приготовленной из пеньки пыльниковой конопли, дерганца, поскони.

Стр. 133. *«Камергер редко наслаждается природой».*— Афоризм Козьмы Пруткова.

Стр. 141. *Тертуллиан* Квинт Септимий Флоренс (ок. 160 — после 220) — христианский теолог и писатель.

Стр. 142. *Липперт* Юлиус (1839—1909) — австрийский ученый, автор трудов по истории культуры и религии. Бунин был знаком с трудами Липперта. 3 апреля 1895 г. он сообщал Ю. А. Бунину: «Читаю Липперта...» («Материалы», с. 50).

Стр. 143. *«Паяцы»* — опера итальянского композитора Леонкавалло (1857—1919).

Стр. 144. *Лаодзи.*— Лао-Цзы — полулегендарный философ, автор древнекитайского трактата «Лао-Цзы» (3—4 вв. до н. э.), основная идея которого — призыв к человеку освободиться от всякого рода обязанностей и вернуться к жизни, близкой к природе.

Амиель Анри Фредерикс (1821—1881) — швейцарский поэт и моралист.

Стр. 145. *Будда* (он же Шакья-Муни) — священный титул Сиддхартхи Гаутамы (623—544 до н. э.), основателя буддийского религиозного учения.

Стр. 147. *Паскаль* Блез (1623—1662) — французский религиозный философ, математик, физик. Развивал идею: путь постижения тайн бытия и спасения человека от отчаяния — в христианстве. Изречения Паскаля Толстой включил в «Круг чтения», где даны мысли мудрых людей.

Велга (стр. 149).— Журн. «Сын Отечества». СПб., 1898, № 350, 25 декабря/ 6 января, с подзаголовком «Северная легенда» и с посвящением Н. Д. Телешову. Печатается по тексту *Полного собрания сочинений.*

Бунин писал С. Н. Кривенко 3 октября 1898 г.:

«Это вполне самостоятельная работа, порожденная долгим чтением описаний севера, северных морей и т. д.» (Сб. «Весна пришла». Смоленск, 1959. С. 233).

Без роду-племени (стр. 158).— Журн. «Мир Божий». СПб., 1899, № 4, с подзаголовком «Из повести о современных людях». Печатается по тексту *Полного собрания сочинений.*

Рассказ написан в начале 1897 г. Он автобиографичен многими деталями. В. Н. Муромцева-Бунина писала, что в нем Бунин «чуть касается пережитой драмы» («Жизнь Бунина», с. 101),— драмы любви к В. В. Пащенко.

Стр. 161. *«...корреспонденцию... о народной столовой...»* — В рассказе переданы подлинные факты из жизни самого автора. Бунин писал, что подобных корреспонденций он опубликовал, когда жил в Орле и Полтаве, столько, что если их собрать — получилось бы тома три-четыре. Он говорит в одном из писем тех лет о своей работе литературного поденщика, на которую обрекало его нищенское существование:

«Кругом голова пошла, когда пришлось, например, составлять статью о *мукомольном деле* (!), в котором я понимаю столько же, сколько свинья в апельсинах; а потом «крестьянские кредиты», а потом «народные чтения», «садоводство» и т. д.». Писал очерки «о борьбе с вредными насекомыми, об урожае хлебов и трав»,— вспоминал он в автобиографических заметках (Альманах «Литературный Смоленск», 1956, с. 277).

Стр. 162. *«Полюбив, мы умираем...»*— Слова и музыка романса «Азра», в котором содержится эта фраза, поразили Бунина. 17 марта 1892 г. он сообщал В. В. Пащенко из Полтавы:

«Был раза два в концертах, слышал Серебрякова, Михайлова и Чернова. Чудная вещь эти концерты! Ей-Богу, несколько дней как очарованный ходишь, просветленный и облагороженный. Поразительно сильное впечатление произвел на меня романс Рубинштейна на слова Гейне — «Азра» (там же, с. 284).

В. Н. Муромцева-Бунина писала: «Двадцать два года носил он в себе впечатление от «полюбив, мы умираем»... И пережил его в «Митиной любви» («Жизнь Бунина», с. 76).

Стр. 163. *«Посмотрите... какой он маленький, плюгавый».*— Жизнь провинциальной интеллигенции Бунин наблюдал в Орле, когда сотрудничал в газете «Орловский вестник». Эта же среда саркастически изображена в «Жизни Арсеньева».

Антоновские яблоки (стр. 172).— Журн. «Жизнь». СПб., 1900, т. 10, с подзаголовком «Картины из книги «Эпитафии». Печатается по тексту сборника *«Начальная любовь».*

Задолго до написания рассказа Бунин наметил его тему; в письме 14 августа 1891 г. из Огневки к В. В. Пащенко он говорит:

«Нынче почти весь день пропадал на охоте... Я еще у Евгения,— он упросил меня остаться у него денек... Вчера мы проболтали с ним почти до двух часов ночи, но проснулся я все-таки рано. Вышел на крыльцо и увидал, что начинается совсем осенний день. Заря — сероватая, холодная, с легким туманом над первыми зеленями... крыльцо и дорожки по двору отсырели и потемнели. В саду пахнет «антоновскими» яблоками... Просто не надышишься! Ты ведь знаешь, милый зверочек, как я люблю осень!.. У меня не только пропадает всякая ненависть к крепостному времени, но я даже начинаю невольно поэтизировать его. Хорошо было осенью чувствовать себя именно в деревне, в дéдовской усадьбе, с старым домом, старым гумном и большим садом с соломенными валами! Хорошо было ездить целый день по зеленям, проезжать по лесным тропинкам, в полуголых аллеях, чувствовать лесной, холодный воздух!.. Право, я желал бы пожить прежним помещиком! Вставать на заре, уезжать в «отъезжее поле», целый день не слезать с седла, а вечером, с здоровым аппетитом, с здоровым, свежим настроением возвращаться по стемневшим полям домой, в усадьбу, где уже блестит, как волчий глаз на лесной опушке, далекий огонек дома... Там тепло, уютно, освещенная столовая и в ней — Варенька!..» (Отдел рукописей ИМЛИ; напечатано с большими искажениями в Собрании сочинений Бунина, т. 1. Библиотека «Огонек». М., 1956. С. 419).

В лице Арсения Семеновича Клементьева выведен родственник Бунина — Алексей Иванович Пу́шешников, муж

двоюродной сестры Ивана Алексеевича — Софьи Николаевны; он жил в селе Глотово, в имении Васильевском, Орловской губернии. «Алексей Иванович,— пишет В. Н. Муромцева-Бунина,— ему нравился и своей удалью, и красотой цыганского типа, и очень приятным голосом, и тем родственным чувством, с каким он относился ко всей его семье. Бывал он с ним и на охоте, когда Алексей Иванович был очарователен в своей несколько дикой красоте и отваге» («Жизнь Бунина», с. 37).

Бунина упрекали в консерватизме и пристрастии к описаниям природы. Критик В. Шулятиков писал, что в «Антоновских яблоках» и в других ранних рассказах Бунина — идеализация «старобарского склада жизни и старобарской культуры» (Шулятиков В. Очерки реалистического мировоззрения. СПб., 1904. С. 639—645).

Подобное мнение высказывал Горький в письме К. П. Пятницкому в ноябре 1901 г. «Антоновские яблоки», по его словам, «пахнут отнюдь не демократично» (Горький М. Собр. соч.: В 30 т. М., 1954. Т. 28. С. 201).

Эти упреки беспочвенны. В «Антоновских яблоках» нет ничего «не демократичного». Бунин прежде всего — поэт; у него удивительно переданы порывы к счастью, энергия молодой души, доступной поэзии, открытой благостной красоте мира; завороженный темно-синей глубиной, переполненной созвездиями, он восклицает: «Как хорошо жить на свете!»

Бунин мыслит и чувствует, как народ, воспевший в дивных песнях и красоту русской земли, и очарование звездного неба. В этом его народность. Оттого он живой и сейчас, как живы Пушкин, Толстой и Достоевский, после них он самый большой писатель в русской литературе — гений XX века; и он останется в литературе на века. А Горький — «с его,— как писал Бунин,— мировой знаменитостью, с его большими и примитивными литературными способностями, как нельзя более подходившими для вкусов толпы»,— затуманивший свой взор марксистско-классовой идеологией, ушел уже в историческое прошлое.

Бунин тонкий художник, но у него не было в те давние годы столь выдающейся популярности, как у модных писателей того времени — у Горького, декадентов, символистов. Это обстоятельство «очень огорчало и даже удивляло Чехова»,— вспоминал критик Лоэнгрин о своей встрече и беседе с Чеховым в 1902 г. («Южное обозрение», Одесса, 1904, 4 июля); яркое и кричащее у Горького, как в пейзаже Ялты, не привлекало Чехова.

Художник П. А. Нилус писал в статье 1913 г. «Ив. Бунин и его творчество»:

«Тогдашняя «идейная» критика совершенно не угадала ни размеров, ни качества таланта Бунина. Господа критики проглядели одну замечательную особенность молодого писателя: его непосредственность и вкус изображения, качества редчайшие, особенно в эпоху восьмидесятых, начала девяностых годов,— про наше время и говорить нечего. И критика, и публика того времени требовали в беллетристике ложной идейности, были варварски грубы, и ничего нет удивительного, что прозрачные, деликатные акварели Бунина, особенно его стихи, казались незначительными» (*ЛН*. Т.84. Кн. 2. М., 1973. С. 429).

В критике отмечалось также, что Бунин «несомненно лучший лирик в современной русской литературе»...» («Северный край», 1902, 1 июля).

Сам автор «Антоновских яблок» говорит в письме шведскому профессору Сигурду Агреллу 15 января 1923 г., Париж, о «давнем времени», когда его «литературная деятельность, обнаружившаяся более ярко и разнообразнее лишь с 1908, 1909 года, еще носила несколько иной характер, что и заставило некоторых критиков трактовать меня, например, как меланхолического лирика или певца дворянских усадеб, певца идиллий» («Slaviska institut. Lund. Årsbok». 1965—1966. Lund, 1967).

Бунин возражал таким критикам. Он писал В. С. Миролюбову, издателю широко распространенного «Журнала для всех», 1 июня 1901 г.:

«Кстати сказать про природу, которой, насколько я вас понял, я чересчур предан; это немного неверно, я ведь о голой и протокольно о природе не пишу. Я пишу или о красоте, то есть значит, все равно, в чем бы она ни была, или же даю читателю, по мере сил, с природой часть своей души. Всякий пишет по-своему, и пусть Мамин пишет о том-то, Горький — о том-то, а я о своем. И разве часть моей души хуже какого-нибудь Ивана Петровича, которого я изображу? Это у нас еще старых вкусов много — все «случай», «событие» давай. А за всем тем и я не отказываюсь от людей, и о них буду писать» (Новый мир. 1956. № 10. С. 202—203).

Стр. 182. *«Дворянин-философ»*.— Речь идет о книге: Дмитриев-Мамонов Ф. И. Дворянин-философ. Аллегория. Смоленск, 1796. Типография приказа общественного призрения.

Эразм Роттердамский (1469—1536) — филолог, писатель и богослов эпохи Возрождения, автор сатиры «Похвала глупости».

«Тайны Алексиса» и *«Виктор, или Дитя в лесу»* — романы французского писателя Дюкре Дюмениля (1761—1819).

Поздней ночью (стр. 186).— Альманах «Северные цветы». М., 1901. Печатается по тексту *Полного собрания сочинений.*

В. С. Миролюбов писал Бунину, что он будто бы в этом рассказе описывает эпизоды своей семейной жизни. На это Бунин отвечал в письме 1 июня 1901 г.:

«Что же касается «Поздней ночи» в «Северных цветах», то я и не думал касаться своей семейной жизни. Там настроение общечеловеческое, и фигурируем в нем вовсе не мы с Анной Николаевной ⟨Цакни́⟩,— никогда в жизни у нас и подобного ничего не было. Еще Лермонтов с горечью писал предисловие к «Герою нашего времени» о том, как читатель все на автора валит» (Новый мир. 1956. № 10. С. 203).

Эпитафия (стр. 189).— «Журнал для всех». СПб., 1901, № 8, под заглавием «Руда», с подзаголовком «Из книги «Эпитафии», с посвящением С. Я. Елпатьевскому. Печатается по книге *«Начальная любовь»*. Заглавие в рукописи было «Покров Богородицы». Бунин предлагал рассказ журналу «Жизнь», но из-за цензурного запрета его издание прекратилось и рукопись пришлось забрать.

Рецензент «Русской мысли» (1903, кн. 2, Библиографический отдел, с. 1—2) писал о первом томе Сочинений Бунина, куда вошел и рассказ «Эпитафия»: «Рассказы г. Бунина проникнуты горячей любовью к родной природе и тонким пониманием ее. Сосновый запах леса, широкая, беспредельно раскинувшаяся степь, соленая свежесть и гул морского прибоя,— все это вы слышите и чувствуете на страницах его рассказов».

Над городом (стр. 193).— «Журнал для всех». СПб., 1902, № 11. Печатается по книге *«Начальная любовь»*.

Стр. 195. *«Хождением в училище, где гибло наше детство...»* — Бунин вспоминает свою учебу в гимназии в г. Ельце, где, как он писал в «Жизни Арсеньева», три четверти того, чему учили, не нужно было никому.

Мелитон (стр. 198).— «Журнал для всех». СПб., 1901, № 7, под заглавием «Скит». Печатается по тексту газеты «Последние новости», Париж, 1930, № 3392, 6 июля.

Сосны (стр. 204).— Журн. «Мир Божий». СПб., 1901, № 11. Печатается по книге *«Начальная любовь»*.

Этот рассказ Бунин написал у Чехова в Ялте, когда, по его выражению, дни «протекали в каком-то поэтическом опьянении» (*«Материалы»*, с. 83). Он писал И. А. Белоусову 12 января 1901 г.:

«Одиноко, но дивно. Если бы ты знал, какие дни и какой вид у меня из окон! Пишу стихи и рассказы, читаю» (т а м ж е).

После разрыва с первой женой, А. Н. Цакни́, Буниным владела грусть по уходящей молодости и чувство одиночества, заглушить которые не могло и восхищение всей той красотой, которая окружала его в этот приезд к Чехову. Он писал Н. Д. Телешову 24 января 1901 г.:

«Море, небо полно невыразимой радости, а я один, дьявольски один, то есть не в смысле знакомых, конечно... Пропадает моя молодость ни за что! — Я все еще у Чехова» (т а м ж е).

Это настроение выразилось в «Соснах».

В. П. Куровский писал Бунину 14 ноября 1901 г.: «Читал «Сосны», мы с тобой читали их, и, читая, я все помнил — признак того, что вещь правдивая и выражена сильно» (Музей И. С. Тургенева в Орле).

Бунин послал рассказ Чехову. Антон Павлович отозвался письмом 15 января 1902 г.:

«Писал ли я вам насчет «Сосен»? Во-первых, большое спасибо за присланный оттиск, во-вторых, «Сосны» — это очень ново, очень свежо и очень хорошо, только слишком компактно, вроде сгущенного бульона» (Ч е х о в А. П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Письма. Т. 10. М., 1981. С. 169).

Новая дорога (стр. 215).— Журн. «Жизнь». СПб., 1901, т.4. Печатается по *Полному собранию сочинений.*

27 марта 1901 г. Бунин сообщал брату Юлию Алексеевичу об окончании работы над рассказом:

«Послал в «Жизнь» два рассказа — один («Туман») страницы четыре печатных, другой пол-листа — «Новая дорога» (РГАЛИ).

Туман (стр. 223).— Журн. «Жизнь». СПб., 1901, т. 4. Первоначальное заглавие было «Туман на море». Печатается по тексту *Полного собрания сочинений.*

В. Е. Чешихин-Ветринский, историк русской литературы, критик, писал в газете «Нижегородский листок» (1901, № 141, 27 мая), что в рассказе «Туман», написанном несколько во вкусе Эдгара По, «мастерски передано жуткое чувство одиночества, затерянности человека перед бесконечным. Описание самого тумана и настроения, навеянного мертвым молчанием туманного моря, делают пять страничек наброска настоящею поэмою в прозе».

Тишина (стр. 228).— Журн. «Мир Божий». СПб., 1901, № 7, под заглавием «На Женевском озере». Печатается по тексту *Полного собрания сочинений.*

В этом рассказе отобразились впечатления путешествия Бунина, о котором он рассказал в письме к Ю. А. Бунину 18

ноября н. ст. 1900 г., посланном из Швейцарии, из Риги-Кульм. Путешествовал он вместе с художником В. П. Куровским:

«Выехали из Парижа 10-го, вечером приехали в Женеву. Ночь провели в г... снаружи и всюду, но с чистой комнатой в «Отеле Солнца», вышли утром и поразились тихим, теплым утром. Из нежных туманов, скрывавших все впереди, проступали вдали горы и озеро, нежное, лазурно-зеленого цвета. Нежный туман был полон солнца, и когда туман растаял, чистый, веселый, заграничный город был очень весел и изящен. Взяли лодку, купили сыру и вина и вдвоем, без лодочника, уехали по озеру. В час, когда еще утро, но к полудню было очень хорошо. Тишина, солнце, лазурное, заштилевшее озеро, горы и дачи. В тишине — звонкие и чистые колокола, издалека — и тишина, вечная тишина озера и гор. Думал о той тишине, которая царит в заповедном царстве Альп, где только сдержанный шум водопадов, орлы и пригревает полдень. Помнишь, как в «Манфреде». Он один. «Уж близок полдень»... Берет из водопада воды хрустальной в пригоршни и бросает в воздух. В радуге водопада появляется Дева гор или, кажется, Земли... и т. д.

Потом возвратились на набережную. Что за погода, как дачи, и пожелтевшие и покрасневшие платаны на ясном, чистом лазурном, южно-осеннем небе рисовались. А вдали налито озеро необыкновенного, мне кажется, итальянского цвета. Сели на электрическую конку и уехали за город. А там пошли среди дач — редких — к горам. Совсем лето. В деревне Верье закусили и пошли на гору «Sléve». Она такая (изображена графически.— *А. Б.*). Тут в седле отели и деревня. Все просто, хорошо, по-швейцарски. Выпили кофе и коньяку — дешево. Вышли — по другую сторону седла глубокая долина, а за ней две снежные горы. Наконец. Было часа четыре. Пошли в Трэз-Арбр, сказали, что оттуда виден Монблан. Путь вообще был труден и долог. Пошли в гору, по лесу, засыпанному листьями, по каменистой дороге. Стали мертветь, бледно мертветь дальние снеговые конусы. Наверху уж дымился туман. Устали наконец сильно. А уже сумерки. Дошли, наконец, до вокзальчика — пустой — зубчатой железной дороги. И вошли, выпили вина, совсем стемнело» (Новый мир. 1956. № 10. С. 207).

Бунин и Куровский посетили Шильонский замок, приезжали к горе Юнгфрау. Места эти будили мысли о поэзии Байрона.

В Шильон в XVI веке герцог Савойский заточил защитника Женевы Боннивара, «великого человека, перед которым будут преклоняться все, кого трогает геройская доблесть...» (Джордж Гордон Байрон. Избранные произведения: В 2 т. М.: Художественная литература, 1987. Т. 1. С. 448).

Байрон воспел его в поэме «Шильонский узник». В. Н. Муромцева-Бунина писала: «Иван Алексеевич переводил в то время «Манфреда», и ему захотелось заглянуть всюду, где «бывал Манфред» («Жизнь Бунина», с. 118).

Бунин переводил, кроме драматической поэмы «Манфред», также мистерии «Каин», «Земля и небо» Байрона. У Байрона захватила его грандиозность философского замысла, идея постижения тайн мира, воплощенная в мощные образы. Эти произведения становились для него как бы его собственными, как всегда, когда он переводил с увлечением. Смятение души человека перед неразрешимостью проблем бытия, проникшее трагедии Байрона, проблемы жизни общечеловеческой, вечной — все это соответствовало широте замысла самого Бунина и находило выражение в его стихах.

Стр. 228. *Савойские горы.*— Савойя — историческая область Франции, в Альпах.

Стр. 231. *«Помнишь Ибсена: «Ты слышишь, Майя, тишину?»* — неточная фраза из драмы Г. Ибсена «Когда мы, мертвые, пробуждаемся» (действие 1-е).

Костер (стр. 233).— Журн. «Русская мысль», М., 1901, кн. 8, вместе с рассказами «Перевал» и «В августе», под общим заглавием «Три рассказа». Печатается по тексту газеты «Последние новости», Париж, 1932. № 4036, 10 апреля.

В августе (стр. 235).— Журн. «Русская мысль», М., 1901, книга 8. Печатается по тексту *Полного собрания сочинений.*

Стр. 236. *«...в гости к толстовцам».*— См. о посещении Буниным толстовцев комментарий к рассказу «На даче».

Осенью (стр. 239).— Журн. «Мир Божий», СПб., 1902, № 1, с подзаголовком «Эскиз». Печатается по книге *«Начальная любовь».*

Чехов писал О. Л. Книппер-Чеховой 31 января 1902 г.: «Осенью» Бунина сделано несвободной, напряженной рукой...» (Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем. Письма. Т. 10. М., 1981. С. 182).

Новый год (стр. 244).— Журн. «Русская мысль», М., 1902, книга 1. Печатается по тексту *Полного собрания сочинений.*

П. Ф. Якубович писал в рецензии на том рассказов Бунина, вышедший в «Знании» в 1902 г., и на другие его книги о преобладании лирического элемента над повествовательным, эпическим: «Чаще всего мы имеем дело не с «рассказами» в обычном смысле слова, а с картинками настроений, с элегическими набросками, из которых иные прямо можно назвать стихотворе-

ниями в прозе». Якубович говорит о Бунине как о «большом знатоке и ценителе природы, г. Бунин,— продолжает он,— воспринимает ее до того тонко, что в применении к нему способность «слышать дольной лозы прозябанье» почти перестает казаться поэтической гиперболой. Господин Бунин явственно чувствует «запах» январской метели, «сильный, как запах разрезанного арбуза» (Русское богатство, 1902, № 7. С. 103—107).

Стр. 247. *«Татьяна на широкий двор...»* — строки из «Евгения Онегина» (гл. пятая, строфа IX) Пушкина.

Заря всю ночь (стр. 250).— Журн. «Русская мысль». М., 1902, книга 7, под заглавием «Свидание», с посвящением М. П. Чеховой. В сборнике «Корабли» (М., 1907) рассказ помещен под заглавием «Счастье». Печатается по тексту газеты «Возрождение», Париж, 1926, № 446, 22 августа.

«Надежда» (стр. 256).— Печаталось в книге: Бунин И. А. Рассказы. СПб.: изд-во «Знание», 1902. Печатается по тексту газеты «Последние новости», Париж, 1932, № 4036, 10 апреля.

Н. Д. Телешов в письме Бунину 15 марта 1902 г. говорит, что рассказ «не мускулистый»; «это не «Женевское озеро» (*ЛН*, с. 544). Бунин возражал: «Нет, Николай Дмитриевич!.. Ты ошибаешься... красивая и тонкая штука!» Не морщись, это не наглость, а просто и искренность» (там же, с. 545).

Сны (стр. 259).— «Сборник т-ва «Знание» за 1903 год», кн. 1, СПб., 1904, вместе с рассказом «Золотое дно», под общим заглавием «Чернозем». «Последние новости», Париж, 1928, № 2782, 14 октября, с подзаголовком: «Из книги «Далекое». В постскриптуме к этому рассказу, напечатанному в сборнике «Петлистые уши и другие рассказы» (Издательство имени Чехова, Нью-Йорк, 1954), составленном Буниным, но вышедшем посмертно, он говорит:

«Рассказ «Сны» написан мною в конце 1903 г.,— полвека тому назад! — сдан был наспех в первый сборник «Знания» и напечатан в нем без моей корректуры,— я был тогда в Ницце,— чем и объясняются многие погрешности этого рассказа в его первой редакции (ныне мною устраненные). Весь он — вымысел, кроме того, что в нем главное — вещее и даже зловещее, ибо уже не далек был роковой 1905 год, начало гибели России,— этот сон старичка священника, те три петуха, которых он будто бы видел и слышал ночью в своей церкви. Разговоры о них шли тогда в народе упорно, а лично я о них слышал в нашем уездном городе, в Ельце, в базарном трактире,

от мещан, пивших там чай. Рассказ мой, повторяю, был в некоторых частностях далек от совершенства (и, как я уже сказал, не совсем по моей вине). Однако, вот что писал о нем Чехов в письме к Амфитеатрову 13 апреля 1904 года, незадолго до своего рокового отъезда за границу:

«Пишу я теперь мало, читаю много.... Сегодня читал «Сборник» изд. «Знания», между прочим горьковского «Человека», очень напомнившего мне проповедь молодого попа, безбородого, говорящего басом, на *о*, прочел и великолепный рассказ Бунина «Чернозем». Это в самом деле превосходный рассказ, есть места просто на удивление, и я рекомендую его вашему вниманию».

Я узнал об этом отзыве Чехова совсем недавно — из собрания Чеховских сочинений и писем, вышедшего в Москве тоже сравнительно недавно. Узнал, конечно, с большой радостью.

Париж, 1953 г.».

Письмо Чехова Амфитеатрову 13 апреля 1903 г. см.: Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Письма. Т. 12. М., 1983. С. 85.

Чехов сообщал К. П. Пятницкому 27 апреля 1904 г., что Амфитеатров «в восторге от Бунинского рассказа» (там же, с. 96).

Печатается по книге: Бунин И. А. Петлистые уши и другие рассказы. Нью-Йорк: Издательство имени Чехова, 1954.

Золотое дно (стр. 265).— «Сборник товарищества «Знание» за 1903 год», кн. 1, СПб., 1904, вместе с рассказом «Сны» под общим заглавием «Чернозем». Печатается по тексту *Полного собрания сочинений.*

О помещике, который «тронулся» и жил, охраняемый свирепыми овчарками, Бунин пишет также в «Жизни Арсеньева» (книга 1, гл. XX).

Стр. 266. *Заказ* — заказная или заповедная роща, где было запрещено рубить деревья, охотиться.

Восемь лет (стр. 273).— Журн. «Правда», М., 1904, № 3, под заглавием «В хлебах»; в *«Полном собрании сочинений»* озаглавлено «Сон Обломова-внука». В газете «Возрождение», Париж, 1926, № 464, 9 сентября, рассказ называется «Далекое». Печатается по тексту газеты «Последние новости», Париж, 1937, № 5993, 22 августа. В «Собрании сочинений в девяти томах» (т. 2. М.: Художественная литература, 1965) и в «Собрании сочинений в шести томах» (т.2. М.: Художественная литература, 1987) ошибочно напечатан рассказ в редакции 1926 г.; в этой публикации повествуется о поездке на охоту Или с отцом. В публикации в газете «Последние новости» рассказ ведет-

ся от первого лица; Бунин сделал и другие изменения в тексте, кое-что сократил.

Цифры (стр. 278). – Сборник «Новое слово», кн. 1. М., 1907. Печатается по тексту *Полного собрания сочинений.*

Ю. И. Айхенвальд писал о «вдумчивом рассказе И. Бунина, где эпизод, разыгравшийся в детской, искусно раздвинут в общую перспективу жизни с ее наградами и наказаниями...» (Русская мысль. 1907. № 7. Библиографический отдел. С. 130).

Редактор газеты «Жизнь и школа» Н. Н. Окулов писал Бунину 6 октября 1907 г. о «Цифрах» как о «блестящем рассказе из детской жизни»; в нем «проникновенно прочувствована психология ребенка» (Музей И. С. Тургенева в Орле).

Зеркало (стр. 287).— Альманах «Шиповник», кн. 2, СПб., 1907, под заглавием «У истока дней». Печатается по тексту газеты «Последние новости», Париж, 1929, № 3203, 29 декабря. В изданиях издательства «Художественная литература» (том II, 1965, и том II, 1987) напечатана ранняя редакция. Бунин, готовя рассказ для газеты «Последние новости», исключил главы IV, V, VI, а главу VIII разделил на две: на V и VI,— сделал также другие сокращения и поправки.

Помещать законченный рассказ, озаглавленный «Зеркало», среди вариантов «Жизни Арсеньева», как это сделано в изданиях издательства «Художественная литература», нет оснований, хотя он и имеет подзаголовок «Из давних набросков «Жизни Арсеньева». Это не варианты главы XVII, кн. 1 романа, как указано в названных выше изданиях 1965 и 1987 гг. В главе XVII «Жизни Арсеньева» краткий — в полстраницы — рассказ о смерти девочки Нади; а «Зеркало» — произведение о «всепроникающей власти тайны, таинственного, власти чаще всего темной, жуткой», ассоциирующейся в сознании ребенка с загадкой отображения в зеркале его лица и комнаты, и с загадкой смерти его маленькой сестры.

Белая лошадь (стр. 294).— Альманах «Шиповник», кн. 3, СПб., 1907, под заглавием «Астма». Печатается по тексту газеты «Возрождение», Париж, 1927, № 639, 3 марта, где дан рассказ лишь частично, продолжение печатается по газете «Последние новости», Париж, 1929, № 3122, 9 октября.

Бунин начал писать рассказ в 1901 г., когда жил на даче у Чехова в Ялте. 12 января он сообщал Ю. А. Бунину:

«Бьюсь над ⟨...⟩ «Белой смертью» (*РГАЛИ*; см. также: Литературное наследство. Т. 68. М., 1960. С. 396).

Закончил через шесть с лишним лет, в 1907 г., в Глотове. Он, по-видимому, читал рассказ Телешову 8 сентября 1907 г. на его даче в Малаховке, под Москвой (*ЛН*, с. 565).

Первоначально рассказ заканчивался фразой: «Имею честь поздравить с новопреставленным» (см. в настоящем томе раздел «Из ранних редакций»). В. Н. Муромцева-Бунина пишет о смерти А. И. Пушешникова: «После панихиды к вдове стали подходить знакомые и выражать ей сочувствие. Подошел и один из лавочников в Глотове со словами:

— Позвольте вас поздравить с новопреставленным...

И несмотря на ужас и горе, Ваня это поздравление запомнил и через двадцать один год в рассказе «Астма» приводит его» («Жизнь Бунина», с. 38).

Нилус писал Бунину 8 декабря 1907 г.: «Только что купил третью книжку «Шиповника» и тотчас же прочел «Астму» ⟨...⟩ Вся цель и прелесть рассказа в ночной поездке и в таинственном, окружающем нашу жизнь ⟨...⟩ Августовская ночь с твердой землей прелестна и конь хорош...» (РГАЛИ, ф. 44, оп. 1, ед. хр. 168, л. 50).

Белая лошадь, «с ее дико-веселым, вызывающим и беспощадным взглядом», с «человечьими глазами», гордо и «грациозно несшая свою голову», казалась при лунном свете литой из серебра,— в этом было проявление силы и красоты, гармонировавшей с красотой «светлой поляны среди живописных старых дубов в сказочно прекрасной глубине рощи» и с тем «сильным, беспощадным, таинственным, что окружало» землемера со всех сторон. Во всем этом было отражение всемогущества Бога и тайны жизни. Люди в своем ослеплении не понимают, что «Бог — Сила и Беспощадность», не понимают «великой красоты проявления этой силы на земле».

Землемер читал Ветхий Завет о страдающем праведнике Ио́ве (Книга Иова, глава 39, стихи 19—25) и вспоминал себя молодым, сильным; теперь он болен астмой и умирает от воспаления легких. Сила соседствует с бессилием, жизнь — со смертью. И ему видится белая лошадь. Сказанному о лошади в «Книге Иова» Бунин придал расширенный смысл; у него лошадь — и Сила, и Смерть,— Конь Бледный — Смерть, ведь рассказ поначалу так и назывался: «Белая смерть».

«И се конь блед и сидящий на нем, имя ему Смерть».

Откровение, VI, 8.

Стр. 302. *«Всевидящее Око»* — «Промысл Божий, всеведение, изображаемое оком в лучах, среди треугольника» (Вл. Даль).

Стр. 303. *Бла́нжевый* — телесного цвета.

Стр. 305. *Юрий Милославский.*— Милославские — древний боярский род в России. Юрий Милославский — персонаж исторического романа М. Н. Загоскина о Смутном времени «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году».

Стр. 309. *Онáгр* — дикий осел.

Маленький роман (стр. 310).— Журн. «Северное сияние». СПб., 1909, № 5, под заглавием «Старая песня». Печатается по тексту газеты «Возрождение», Париж, 1926, № 478, 23 сентября.

Птицы небесные (стр. 319).— «Сборник товарищества «Знание» за 1909 год», кн. 27, СПб, 1909, под заглавием «Беден бес». Печатается по тексту газеты «Возрождение», Париж, 1927, № 599, 22 января.

Стр. 323. *Юнг* Карл Густав (1875—1961) — швейцарский психолог и философ.

Арктýр — самая яркая звезда в созвездии Волопаса в Северном полушарии.

Подторжье (стр. 325).— Журн. «Звено», Париж, 1925, № 6, 9 февраля, с примечанием: «Неиспользованный отрывок из «Деревни». Печатается по книге: Бунин И. А. Собр. соч. Т. 2. Берлин: Издательство «Петрополис», 1934.

Стр. 325. *Подтóржье* — канун ярмарки, базара.

ПЕРЕВОДЫ

Генри Лонгфелло (1807—1882). Песнь о Гайавате (стр. 329)

Газ. «Орловский вестник», 1896, № 114, 116, 120, 128, 132, 133, 163, 168, 175, 180, 198, 200—202, 208, 210, 213, 217, 220, 226, 229, 236, 243, 248, 249, 252, 2 мая — 4 сентября. Печатается по кн.: Генри Лонгфелло. Песнь о Гайавате. Перевод Ив. А. Бунина, издание 8-е. Русское книгоиздательство в Париже «Север», 1921,— с рукописными исправлениями Бунина.

Над «Гайаватой», с ранних лет пленившим его, Бунин работал многие годы. Он писал О. А. Михайловой в феврале — марте 1895 года: «...я ведь помешан на Гайавате,— я ведь с самого детства сплю и вижу перевести всю эту дивную песню, и издать ее, и любоваться, и сотни раз самому перечитывать ее, если не будет читателей» (*ЛН*, кн. 1, с. 660). Бунин говорит в письме к брату Юлию Алексеевичу 28 марта 1896 года: все лето этого года «ездил по Днепру, по Крыму, бродил в степях, сидел у моря». Во время этих странствий занимался переводом, по его словам, «божественной» «Песни о Гайавате» (см.: Бабореко А. И. А. Бунин о переводах.— Сб. «Мастерство перевода». М., 1968, с. 377—378).

Перевод, напечатанный в «Орловском вестнике» и вышедший отдельным изданием в 1896 году, Бунин сильно переработал для нового издания (1898). При повторных публикациях он снова обращался к этой поэме, достигая все большего совершенства стиха. Он хотел, чтобы перевод был высокопоэтическим, не дословным,— «дословный перевод,— говорил он,— все искажает» (*ЛН*, кн. 2, с. 317),— чтобы чувствовался «запах первобытных лесов» (*ЛН*, кн. 1, с. 441). Этой цели и служил многолетний, охватывающий более трех десятилетий, труд над стилем поэмы.

Для девятого издания Бунин сократил предисловие, несколько изменил заглавие «Словаря индейских слов...» — и на титуле написал: «Для новых изданий брать только этот текст. Ив. Бунин. 11 октября 31 г.» (этот экземпляр «Гайаваты» хранится в Отделе рукописей *РГБ*).

«Гайавата» сопутствовал Бунину всю жизнь. Читая свои произведения близким ему людям, он особенно любил читать «Гайавату». Г. Н. Кузнецова писала 7 ноября 1968 года:

«Вспоминаю, как Иван Алексеевич читал мне «Песнь о Гайавате». Он очень любил ее и сам очень трогался образом Миннегаги. До сих пор слышу его голос, читающий главу о том, как Гайавата берет в жены Миннегагу и уходит с ней».

Бунина поражала «оригинальность... сюжета и новизна блестящей, строго выдержанной формы». Главное, «что навсегда упрочило за «Песней о Гайавате» славу,— писал он в 1908 году,— это — редкая красота художественных образов и картин, в связи с высоким поэтическим и гуманным настроением. В «Песне о Гайавате» отразились все лучшие качества души и таланта ее творца. Лонгфелло всю жизнь посвятил служению возвышенному и прекрасному. «Добро и красота незримо разлиты в мире»,— говорил он и всю жизнь всюду искал их. Ему всегда были особенно дороги чистые сердцем люди, его увлекала девственная природа, манили к себе древние народные предания с их величавой простотой и благородством, потому что сам он до глубокой старости сохранил в себе возвышенную, чуткую и нежную душу. Он говорил о поэтах:

«Только те были увенчаны, только тех имена священны, которые сделали народы благородней и свободнее».

Эти слова можно применить к нему самому. Он призывал людей к миру, любви и братству, к труду на пользу ближнего. В его поэмах и стихотворениях всегда «незримо разлиты добро и красота»; они всегда отличаются, не говоря уже о простоте и изяществе формы, тонким пониманием и замечательным художественным воспроизведением природы и человеческой жизни.

«Песнь о Гайавате» служит лучшим доказательством всего сказанного. Она трогает нас то величием древней легенды, то тихими радостями детства, то чистотою и нежностью первой любви, то безмятежностью трудовой жизни на лоне природы, то скорбью роковых и вечных бед человеческого существования. Она воскрешает перед нами красоту девственных лесов и прерий, воссоздает цельные характеры первобытных людей, их быт и миросозерцание» (Бунин И. А.) Собр. соч. в девяти томах. Т. 8. М., 1967, с. 43—44).

Критика оценила перевод как высокопоэтический и точно передающий подлинник. На каждое издание поэмы печать отзывалась с восхищением. Перевод, писала одна из газет, «музыкален, поэтичен, передает вполне дух подлинника и вообще очень близок к нему» (цитируется по вырезке из газеты. Музей И. С. Тургенева в Орле).

По мнению писателя А. М. Федорова, «трудно передать поэтическое произведение с большею точностью и вместе с тем с большим настроением, чем это сделал г. Бунин» («Южное обозрение», 1898, № 576, 4 сентября).

По отзыву газеты «Сын Отечества» (1899, № 61, 5 марта), перевод Бунина сделан «с величайшей тщательностью... Стих его легок и музыкален, образы поэтичны, тон выдержан прекрасно и как нельзя лучше передает то величественное впечатление, какое и должна производить эта поэма Лонгфелло».

Бунин,— говорится в рецензии журнала «Вестник воспитания» (1899, № 6),— «проникся духом подлинника, духом своеобразной природы и человека и дал произведение, отличающееся всею прелестью оригинала».

По мнению рецензента журнала «Мир Божий» (1899, № 5), Бунин «сумел сохранить необыкновенную простоту стиля подлинника, не ослабив могучей образности его».

Современники отмечали, что в процессе работы над поэмой Бунин в совершенстве овладел стихом. Об этом писал художник и писатель П. А. Нилус; «эта большая работа,— развивал он далее свою мысль,— несомненно, оказала на Бунина влияние: так много прекрасной простоты и свежести в этом замечательном произведении» (*ЛН*, кн. 2, с. 430).

«Гайавата» был отмечен Пушкинской премией Академии наук — решением 19 октября 1903 года.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ, НЕ ВКЛЮЧАВШИЕСЯ И. А. БУНИНЫМ В СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ

По Днепру (стр. 478).— Газ. «Полтавские губернские ведомости», 1895, № 142, 5 июля. Печатается по тексту *ЛН*.

Бунин путешествовал по Днепру в 1895 г. 30 сентября он писал И. А. Белоусову из деревни Огневки Елецкого уезда: «...летом ездил по Днепру и был в Каменец-Подольске...» (сб. Весна пришла. Смоленск, 1959. С. 231).

Стр. 479. *Пан Данило* Бурульбаш — персонаж «Страшной мести» Гоголя. В исторических мотивах этой повести отобразилась борьба казачества с Польшей за независимость Украины в XVI веке.

Стр. 481. *«Ждал увидеть вечное пристанище...»* — могилу Т. Г. Шевченко, «гениального» поэта, как писал о нем Бунин в «Жизни Арсеньева». Он напечатал статью о Шевченко в газете «Орловский вестник», 1891, № 56. Бунин перевел стихи Шевченко «Завещание» и «Во зеленой, темной роще...».

«Казацким ходом» (стр. 483).— Журн. «Всходы», СПб., 1898, № 21, под заглавием «На «Чайке». Печатается по тексту сборника «Стихи и рассказы», М., 1900.

О путешествии, о котором говорится в этом рассказе, Бунин записал в дневнике в 1896 году:

«Днепровские пороги (по которым я прошел на плоту с лоцманами летом 1896 года).

31 мая. Екатеринослав. Потемкинский сад, где провел я с час, потом за город, где под Екатеринославом на пологом берегу Днепра Лоцманская Каменка. В верстах в пяти ниже — курганы: Близнецы, Сторожевой и Галагана — этот насыпан, по преданию, разбойником Галаганом, убившим богатого пана, зарывшим его казну и затем всю жизнь насыпавшим над ней курган. Дальше Хортица, а за Хортицей — пороги: первый самый опасный — Неяситец или Ненасытец; потом тоже опасные: Дед * и Волнич; за Волничем в четырех верстах, последний опасный — Будило, за Будило — Лишний; через пять верст — Вильный и наконец Явленный» («Жизнь Бунина», с. 97).

В Альпах (стр. 495).— «Журнал для всех». СПб, 1902, № 12. Печатается по тексту журнала.

В Альпах Бунин путешествовал вместе с художником В. П. Куровским в 1900 г.; см. его письмо Ю. А. Бунину 18 ноября 1900 г. (Новый мир, 1956. № 10) и комментарий к рассказу «Тишина».

---

* Дед — другое название порога Ненасытец. *(Примеч. ред.)*

Десятого сентября (стр. 498).— Опубликовано в «Новом журнале», Нью-Йорк, 1961, по тексту, присланному В. Н. Муромцевой-Буниной; перепечатано в *ЛН*. Рассказ датирован автором: «Москва, 1903 г.». Печатается по публикации в «Новом журнале».

Ночлег (стр. 500).— Газ. «Курьер». М., 1903, № 18, 16 марта.

С высоты (стр. 503).— Журн. «Правда». СПб, 1904, № 1. Печатается по тексту журнала.

А. БАБОРЕКО



СОДЕРЖАНИЕ

Петр Пильский. И. А. Бунин 5

ПРОИЗВЕДЕНИЯ
1892—1909

Перевал 13
Танька 16
Кастрюк 25
На чужой стороне 35
На хугоре 40
Вести с родины 45
На край света 53
Святые Горы 59
Учитель 65
В поле 99
На даче 113
Велга 149
Без роду-племени 158
Антоновские яблоки 172
Поздней ночью 186
Эпитафия 189
Над городом 193
Мелитон 198
Сосны 204
Новая дорога 215
Туман 223
Тишина 228
Костер 233
В августе 235
Осенью 239
Новый год 244
Заря всю ночь 250
«Надежда» 256
Сны 259
Золотое дно 265

Восемь лет 273
Цифры 278
Зеркало 287
Белая лошадь 294
Маленький роман 310
Птицы небесные 319
Подторжье 325

ПЕРЕВОДЫ

Генри Лонгфелло. Песнь о Гайавате

От переводчика 332
Вступление 334
I. Трубка Мира 337
II. Четыре ветра 341
III. Детство Гайаваты 348
IV. Гайавата и Мэджекивис 355
V. Пост Гайаваты 363
VI. Друзья Гайаваты 371
VII. Пирога Гайаваты 375
VIII. Гайавата и Мише-Нама 379
IX. Гайавата и Жемчужное Перо 385
X. Сватовство Гайаваты 393
XI. Свадебный пир Гайаваты 400
XII. Сын Вечерней Звезды 406
XIII. Благословение полей 416
XIV. Письмена 422
XV. Плач Гайаваты 427
XVI. По-Пок-Кивис 433
XVII. Погоня за По-Пок-Кивисом 439
XVIII. Смерть Квазинда 448
XIX. Привидения 451
XX. Голод 458
XXI. След белого 463
XXII. Эпилог 469

Словарь индейских слов, встречающихся в «Песни» 476

ПРОИЗВЕДЕНИЯ, НЕ ВКЛЮЧАВШИЕСЯ И. А. БУНИНЫМ В СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ

По Днепру 478
«Казацким ходом» 483
В Альпах 495

Десятого сентября 498
Ночлег 500
С высоты 503

ИЗ РАННИХ РЕДАКЦИЙ

Святые Горы 506
Белая лошадь 509
Маленький роман 520
Птицы небесные 523

Комментарии 525

Бунин И. А.

Б91 Собрание сочинений в 8 томах: Рассказы. Повести. Переводы. 1892—1909. Том второй / Предисловие П. Пильского. Составление, подготовка текста, комментарии и подбор иллюстраций А. К. Бабореко.— М.: Моск. рабочий, 1994.— 556 с.

Б $\frac{4702010100—3}{М172(03)—94}$ Подписное **ББК 84Р1**

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН

Собрание сочинений в восьми томах

ТОМ ВТОРОЙ

1892—1909

Редактор *Н. Снитко*
Художественный редактор *И. Лопатина*
Технический редактор *А. Ершова*
Корректоры *Т. Семочкина, Е. Коротаева, З. Кулемина*

Лицензия № 010184 от 05.02.92.
Сдано в набор 12.03.93. Подписано к печати 02.02.94. Формат 84 × 108/32.
Бумага офсетная № 2. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 46,20. Усл. кр.-отт. 63,84. Уч.-изд. л. 31,64. Тираж 30 000 экз. Заказ № 3602.

Издательство «Московский рабочий»,
101854, ГСП, Москва, Центр, Чистопрудный бульвар, 8.

Российский государственный
информационно-издательский
центр «Республика»
Полиграфическая фирма «Красный пролетарий».
103473, Москва, Краснопролетарская, 16.

В 1994 г.
в издательстве
«Московский рабочий»
выйдут в свет следующие подписные издания:

В. ГЮГО
Собрание сочинений в 7 томах

Сборник **«МЫ ЖИЛИ ТОГДА НА ПЛАНЕТЕ ДРУГОЙ»**
в *4 книгах* — антология русской зарубежной поэзии XX в.

Отдельным неподписным изданием
выйдут *6 книг*
«ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО»
Н. М. КАРАМЗИНА.
7-я книга посвящена описанию жизнедеятельности
самого *Н. М. Карамзина*
в изложении известного писателя
историка-москвоведа *В. Б. Муравьева.*



·МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ·
1994